Покровский Михаил Николаевич

Русская история с древнейших времен

Часть 2

Содержание:

Глава IX. Борьба за Украину

Западная Русь XVI - XVII веков

Внешняя политика дворянской России - Стратегические условия - Колонизация - Борьба двух типов колонизации; идеология борьбы - Юго-Западная Русь после монголо-татарского разгрома - Литовско-русский феодализм - Люблинская уния; ее социальные условия - Экономический переворот XV - XVI столетий - Замена натурального оброка денежным - Барщина - Уменьшение крестьянского надела - Судьба обезземеленных - Вольная колонизация: романтическое представление о казачестве - Действительное социальное значение казачества великорусского и

украинского - Казацкая революция как эпизод борьбы феодальной и буржуазной собственности

Господство среднего помещика определяло не только внутреннюю, а и внешнюю политику Московского государства после Смуты. Боярская Русь XVI века остерегалась обострять свои отношения с Западом и была, по своему, права: ливонская война при Грозном кончилась неудачей; феодальные ополчения московского царя не выдерживали схватки грудь с грудью против регулярных армий новой Европы. Надо было искать врага по себе, каким казались крымские и поволжские татары. От них умели, по крайней мере, отбиваться: а когда под Москву в 1610 году пришла польская армия, ей сдались сразу, и не пытаясь завязывать неравной борьбы. Дворянское ополчение, собранное торговыми городами, уничтожило ореол непобедимости, окружавший до тех пор польское "рыцарство". Раньше полякам случалось проигрывать отдельные сражения: то, что произошло под Москвой в 1612 году, было проигрышем целой кампании. Правда, дальнейший переход в наступление не удался победителям. А когда против Московского государства оказались еще шведы, и вовсе пришлось сдаваться. К 1620 годам Московская Русь была отброшена на Восток дальше, чем это было когда бы то ни было со времени Ивана III. Не только у Москвы не было теперь ни одного порта на Балтийском море, но все выходы в это море были наглухо для нее заперты: в XVII веке стало чужим даже то, что целые столетия было своим для Великого Новгорода. А сухопутная западная граница с Литвой подошла почти к пределам нынешней Московской губернии. Днепр на всем протяжении стал нерусской рекой, а Вязьма стала первым пограничным русским городом с Запада. Такой разгром, казалось, должен был бы надолго отбить охоту от всяких предприятий в эту сторону. На самом деле, XVII столетие оказалось веком "западных" войн по преимуществу, как XVI было по преимуществу веком войн восточных. С первого взгляда может показаться, что причины этого явления были чисто стратегические: с польской армией под Вязьмой, со шведской - под Новгородом Московскому государству жить было нельзя: для того чтобы оно могло когда-нибудь приспособиться к такой границе, его жизненные центры должны были бы стоять южнее и восточнее. Имея столицу где-нибудь на Средней Волге, можно было помириться с границей на верховьях Днепра, но Москва не могла же оставаться в постоянном риске польской осады. Стратегические причины - стремление "поворотить" обратно к Москве отобранные у нее города, если не все, то хотя бы Смоленск с Дорогобу-жем, - всего больше выступают на вид в мотивах первой же, после Смуты, войны Московского государства с польско-литовским. Но рядом со стратегическими мотивами еще раньше, уже в 20-х годах, выступают другие, современникам менее заметные, но на самом деле более непосредственные. Уже на Соборе 1621 года указывалось, что в пограничных уездах - Путивльском, Брянском, Великолуцком и Торопецком - "литовские люди начали в государеву землю вступаться, остроги и слободы ставят, села и деревни, леса и воды освоивают, селитру в Путивльском уезде в семидесяти местах варят, будники золу жгут, рыбу ловят и зверь всякий бьют, на пограничных дворян и детей боярских наезжают, бьют, грабят, побивают, с поместий сгоняют..." Шел спор о том, чья колонизация возьмет верх в краях, отчасти искони пустых, отчасти опустошенных

Смутой. И едва ли нужно говорить, что медаль имела две стороны. Тот же Путивльский уезд, где "литовские люди" контрабандой варили селитру, бывал свидетелем и других картин. В начале 40-х годов путивльский воевода писал в Москву, что к нему приходят "литовские люди белоруссы" и бьют челом, чтобы им дали хлебное и денежное жалованье, и землю - и они тогда будут верно служить Московскому государству. Московское правительство весьма охотно исполняло такие просьбы и всячески наказывало своим агентам, "чтобы въезжим черкасам (так называли тогда этих литовских эмигрантов) ни от каких людей продажи и налогов и убытков никаких не было, и лошадей и всякия животны у черкас никто не отнимал и не крал, и самому воеводе к черкасам держать ласку и привет добрый, чтобы черкас жесточью в сомненье не привесть". До какой внимательности к "черкасам" доходило суровое к своим московское начальство, видно из того, что даже бродивших по Москве "меж двор", совсем нищих эмигрантов охотно подбирали, снабжали деньгами, давали им хлебную подмогу и устраивали их в южных уездах, поручая специальному вниманию местного воеводы. На что способны были закрыть глаза в Москве, когда дело шло о "черкасах", покажет один характерный случай. По южному рубежу, на границе степи, сохранились еще обширные, девственные леса: их нарочно берегли, так как они служили естественным барьером против татарской конницы, не решавшейся углубляться в их чащу. Леса были объявлены заповедными, и за порубку их полагалась, на бумаге, смертная казнь, а на деле, по крайней мере, били кнутом; даже за простой "въезд" в такой лес без надобности и разрешения начальства подвергали наказанию. Что, казалось бы, должны были сделать с людьми, которые "заповедный" лес распахивали и устраивали в нем пасеки и винокурни? Но когда за таким делом заставали "черкас", то ограничивались тем, что приводили их "ко кресту" - к присяге на верность московскому государю да рекомендовали им устраиваться на "русской", т. е. противоположной от степи, стороне леса. И если сломали их винокурню, то только ввиду явного намерения поселившихся курить вино не только для своего обихода, а и для продажи: такого нарушения казенного интереса в Москве снести не могли. Не нужно, конечно, думать, что эти "черкасы" были бездомными людьми, не имевшими над собою никакого начальства. Это были "подданные" пограничных польских панов, которые могли бы в этом смысле составить не менее длинный список жалоб, чем какой читали на Соборе 1621 года. В 1638 году лубенский староста писал путивльскому воеводе: "Подданные князя Иеремии Вишневецкого, поднявся в нынешнюю свою казацкую войну от места Гадяцкого (города Гадяча), несколько тысяч, ушли в Путивль". Граница была так неопределенна, впрочем, что и сам князь Иеремия не был вполне уверен, кому принадлежат земли, населенные его "подданными", - Москве или Польше. Когда заключали поляновский мир (в 1634 году, после неудачного русского похода под Смоленск), Вишневецкий очень хлопотал о том, чтобы как-нибудь не отмежевали части его "Лубенщины" к Московскому государству. И лишь когда побитые на войне москвичи "без спору" уступили спорную территорию "в королевскую сторону", хозяин Лубенщины осмелел и стал требовать, чтоб московское правительство пустило его агентов уже в заведомо московские уезды - разыскивать его беглых крепостных. Москва была тогда в таком угнетенном настроении, что согласилась и на это, по крайней мере, на словах. Велено было "князь Еремея

подданных с государевой земли ссылать беспрестанно тихостью": последнее слово должно было показать московскому начальству на местах, что энергии особенной в этом деле от него не требовали.

Колонизационная подкладка русско-польской борьбы и сделала главным театром ее не верховья Днепра, стратегически наиболее важные для Московского государства, а земли к востоку от его среднего течения - "левобережную Украину", нынешние Черниговскую и Полтавскую губернии. Борьба с Польшей в XVII веке стала борьбой за Украину. Национальная по форме, национально-религиозная по своей идеологии, в сознании самих боровшихся, борьба эта была, в сущности, социальной. Боролись два типа колонизации - воплощенные в двух общественных группах: казачестве, с одной стороны, крупном землевладении - с другой. Так как первое рекрутировалось преимущественно из людей русского языка и православной веры, а представителями второго были люди польского языка и польской культуры - католичество же в Польше этой эпохи стало чем-то вроде сословной религии всех людей "порядочного общества" и "хорошего" происхождения, - то национально-религиозная оболочка происходившей здесь классовой войны была довольно естественна. Ее не приходилось выдумывать позднейшим ученым, как это в значительной степени случилось с дворянско-посадским восстанием, закончившим Смуту. Но более плотная и прочная, чем в Московском государстве начала века, это была все же лишь оболочка. Казак ненавидел польского пана, потому, что ему, мелкому землевладельцу-хуторянину, не было больше места среди росших со сказочной быстротой и отовсюду надвигавшихся на казацкую землю панских фольварков. А московский помещик потому оказывался союзником этого казака, что он и сам в этих местах был таким же мелким землевладельцем-хуторянином, как и казак, значит, и таким же, как он, социальным врагом панских латифундий. Что в борьбе приняли деятельное участие пробивавшиеся в казачество верхние слои поспольства (посполитый - общенароный), крепостного крестьянства, это было опять вполне естественно так же естественно, как и то, что в 1606 - 1608 годах крепостное крестьянство боярских вотчин шло рука об руку с мелкопоместными дворянами. Но и там, и тут союз был до поры до времени. Когда враг был выбит с поля, все пришло в норму: казачество осталось казачеством, поспольство - поспольством, и даже тот факт, что казацкие старшины стали уже настоящими помещиками, не дал ничего нового: и в начале века казацкие атаманы ни к чему так не стремились, как к тому, чтобы быть поверстанными государевыми поместьями и стать, "настоящими" дворянами, чего более удачливые из них и достигали. Великоросские события начала века были не так ярки и шумны, как малоросские лет сорок спустя - на Севере все было серее и молчаливее, Юг был красочнее, а кроме того, Юг был ближе к Европе - значит, культурнее и сознательнее. Но основные тенденции движения были сходны, и нет ничего удивительного, что экспансивные украинцы, нашумев и наговорив гораздо больше своих великорусских собратьев, кончили тем же, чем и они: в 1654 году стали "под высокую руку" той самой династии, что сидела на московском престоле уже с 1613 года.

Мы оставили Юго-Западную Русь в тот момент, когда татарское нашествие добило последние остатки древнейшей русской "государственности", экономическим базисом которой была "разбойничья торговля", а главным театром

- бассейн Днепра. Здесь старая общественная постройка подгнила больше, чем где бы то ни было, и последствия толчка, данного татарами, были разрушительнее. Правда, ходячее мнение, что Киев после Батыева нашествия превратился в не очень большую деревню, с большим жаром и большой ученостью оспоривалось в новейшей литературе. Но спор привел лишь к тому, что люди стали правильнее оценивать непосредственные результаты монгольского погрома вообще - и прежде всего научились отличать судьбу города от судьбы земли. Мы уже упоминали в своем месте*, что татары, прежде всего другого, были разрушителями городов, и что это неслучайное обстоятельство было логическим выводом из их стратегии столько же, как и из их политики. Более живые города Северо-Восточной Руси оправились довольно быстро после погрома. Уже ранее несколько раз опустошавшийся и с каждым десятилетием все более падавший, в хозяйственном и политическом отношениях, Киев подняться из своих развалин не смог. Допустив даже, что известный рассказ Плано-Карпини о "большом и населенном городе", "обращенном почти в ничто", - в нем осталось не более 200 домов, - относится и не к Киеву, остаются еще известия русских летописей о том, что население Киева, если не непосредственно после Батыя, то в конце XIII века "все разбежалось". Один факт, точно установленный именно критиком общераспространенного мнения, особенно ярко подчеркивает запустение города Киева: во второй половине XIII столетия здесь вовсе не было князей, а когда в следующем веке они появились, то это были "владетели весьма невысокого полета", промышлявшие разбоем по большим дорогам**. Представлять себе, как это готов сделать наш автор, что киевляне этого времени были счастливыми республиканцами - значит переносить в XIII век понятия и отношения гораздо более позднего времени. Князья из Киева ушли, очевидно, потому, что им нечем было там жить: княжеские доходы были слишком незначительны, чтобы можно было держать там княжеский стол, как были слишком незначительны церковные доходы, чтобы можно было сохранить в Киеве митрополию. Насчет последнего мы имеем документальные свидетельства, а первое, по аналогии, гораздо более вероятно, нежели Киевская республика XIII века. Но запустение "матери городов Русских" вовсе еще не обозначает запустения и всей Киевщины - в этом критики старого мнения вполне правы. Сельскую Русь татары опустошили ровно настолько, насколько это было неизбежно при тогдашнем способе ведения войны. Бестолкового истребления жителей они не могли допустить уже потому, что собирались их эксплуатировать - и действительно эксплуатировали, между прочим, и население Киевщины. Мы довольно точно знаем натуральные повинности, установленные для населения этих мест татарами, и уже самая наличность этих повинностей предполагает как само собою разумеющееся, что здесь в достаточном количестве имелись живые люди: те "мертвые кости", о которых говорит Плано-Карпини, и которые, с его слов, фигурируют во всех учебниках, не могли бы доставлять татарам пшеницу и звериные шкуры. А раз страна была достаточно заселена, хотя, вероятно, и гораздо реже, нежели в цветущие времена Киевщины, должен был со временем заселиться вновь и ее главный город: этим вполне объясняются противоречивые, на первый взгляд, показания летописей и документов о процветании и красоте Киева еще в XV веке, о его тогдашней торговле и новых разгромах (особенно в 1416 и 1482 годах), тогда как после Батыя громить там, казалось, было уже и нечего.

Настоящее, хотя все же и в это время не абсолютное, запустение Киевщины относится, по-видимому, именно к концу XV века, когда стали посещать страну крымские татары, приходившие за живым товаром, и потому опустошавшие гораздо энергичнее, чем Батый.

** См. т. 1.*

*** Грушевский М. Очерк истории Киевской земли, с. 468.*

Территория древнерусских княжеств к западу от Днепра ни в один момент древнерусской истории не являлась, таким образом, совершенной пустыней. Переход ее под главенство Литвы в половине XIV века (наиболее правдоподобной датой занятия литовцами Киева является, как известно, 1362 год: старые рассказы о завоевании Киева Гедимином около 1320 года новейшей критикой признаются легендарными), если что-нибудь изменил в положении дел, то только к лучшему. В лице литовского великого князя Киевщина получила очень сильного сюзерена, от которого, в случае надобности, можно было ждать поддержки, но который, как и всякий феодальный сюзерен, во внутренние дела своих вассалов не вмешивался. "В Литовско-Русском государстве, - говорит один из новейших историков этого последнего, - установился социально-политический строй, сильно напоминающий средневековый западноевропейский феодализм. В тогдашней канцелярской латыни это сходство стало отмечаться западноевропейскою феодальной терминологией еще ранее, чем названный строй установился окончательно. В различных грамотах, писанных в первой половине XV века, встречаются упоминания о "баронах", "рыцарях", "вассалах", "присяжниках" (homagiales), "феодальных службах". Позже эта терминология проникла и в русский канцелярский язык великого княжества*. Феодальные отношения составляют не "западноевропейское", а "общеевропейское" или даже общечеловеческое явление, как мы знаем. Но литовский феодализм был действительно ближе к западному типу, нежели, например, московский. Здесь были резче выражены как феодальный иммунитет, так и иерархичность феодального строя, делавшая из господствующего общественного слоя некоторое подобие лестницы. Литовский великий князь вовсе не собирал податей в вотчинах своих вассалов, тогда как северо-восточные князья всегда собирали, по крайней мере, татарскую дань и вовсе не имел там права суда, тогда как его великорусские современники всегда оставляли себе наиболее лакомые куски судебного дохода. Аррьер-вассалы, которые в Московской Руси только встречаются, в литовской составляют общераспространенное явление - нельзя себе представить большое западнорусское имение без своих "земян" и своих "бояр", зависевших всецело от своего непосредственного сюзерена и вполне отрезанных от сюзерена верховного, великого князя. Великокняжескому суду они подлежали лишь в том случае, если их ближайший сюзерен не давал на них суда и управы; но и в этом случае, получив челобитье от обиженного, великий князь всегда начинал с вежливых напоминаний, пуская в ход свою власть только в крайней необходимости. Феодализм вообще равнодушен к национальным перегородкам - национализм появляется лишь на следующей ступени социального развития. Уже поэтому нельзя было ожидать какого-нибудь гнета со стороны литовского сюзерена по отношению к его русским подданным, только потому, что он - литовец, а они - русские. Присутствие в

"господарской раде" - курии или боярской думе наследников Гедимина - русских бояр из бывших удельных княжеств, аннексированных Литвою, достаточно засвидетельствовано для самых первых десятилетий после аннексии: совершенно не видно, чтобы здесь была какая-нибудь борьба за национальное право, очевидно, и мысли об этом не приходило в голову ни завоевателям, ни завоеванным. Католическая церковь, явившаяся в Литву после унии с Польшей (в 1386), пыталась провести другую границу: запереть дверь в великокняжескую думу "схизматикам", сделав из православных, так сказать, вассалов второго сорта. Сравнительно малое число "панов радных" русского происхождения и православной веры и, в особенности, бледная роль в господарской раде православных архиереев - рядом с выдающимся влиянием в ней высшего католического духовенства - долгое время поддерживали у историков убеждение, что попытка эта Католической Церкви удалась. Впечатления от позднейшей религиозной борьбы, в дни католической реакции второй половины XVI века, когда боровшиеся стороны не останавливались и перед подделкой документов, укрепили этот предрассудок еще более. Теперь, однако, можно считать доказанным, что тенденции католицизма не нашли себе воплощения в литовско-русской действительности. Знаменитый Городельский привилей 1413 года, устранявший вассалов некатолического исповедания от высших должностей в великом княжестве, в этом своем пункте остался мертвой буквой, а в 1432 году все преимущества, данные этим привилеем боярам-католикам, были формально распространены и на бояр-православных. Позднейшие документы, содержавшие ограничение этого рода, по-видимому, просто были сочинены иезуитами в конце XVI века. Православное же меньшинство в господарской раде достаточно объясняется тем, что католицизм уже тогда успел сделаться фешенебельной верой, которую поспешило усвоить все, что претендовало на знатность: все крупнейшие землевладельцы, за единичными исключениями, оказались католиками, а непосредственными вассалами великого князя были, разумеется, именно крупные землевладельцы. И в то время как католическая церковь в крае рекрутировалась из сливок местного общества, "православные архиереи выходили большею частью из мелкого люда, из духовенства или простонародья, мещан и крестьян, и изредка из мелкой или средней шляхты"**. То, что казалось историкам религиозной перегородкой, на самом деле было социальной, и религиозной борьбы в Западной Руси не было до конца XVI века точно так же, как не было национальной.

** Любавский М. Литовско-Русский сейм. - М., 1901, с. 101.*
*** Любавский, с. 363.*

Не вызвало такой борьбы и формальное присоединение Юго-Западной Руси к Польскому королевству по Люблинской унии 1569 года. История этой унии представляет собой чрезвычайно поучительный пример того, как под национальным конфликтом скрывается, в сущности, социальный. В старой литературе, например, у Соловьева, дело изображалось так, что унию поляки навязали Литве, литовцы же "сильно упорствовали, но потом должны были согласиться на соединение, когда увидели, что не поддерживаются русскими". Мотив, заставлявшим русских держать нейтралитет в споре, были притеснения,

которые они якобы испытывали от литовских вельмож. Что последние не пользовались никакими особенными привилегиями, сравнительно с вельможами русскими, это мы уже знаем. Несомненный факт, что и русская знать относилась к унии так же враждебно, как и паны радные литовского происхождения: в числе крупных землевладельцев непосредственно аннексированного Польшею Подляшья (восточный угол позднейшего "Царства Польского"), устроивших настоящую обструкцию в борьбе с унией, мы находим коренные русские фамилии: Ходасевичей и Сопег. Причины, делавшие этих вельмож различных национальностей патриотами автономной Литвы, очень любопытны и гораздо сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Дело было не только в нежелании делиться своей властью с вельможами польскими. Автономное великое княжество Литовское было предприятием, на которое магнаты затратили огромные фамильные капиталы в форме ссуд скарбу (великокняжеской казне), и им, естественно, хотелось по-прежнему хозяйничать и распоряжаться в этом предприятии. Уния, как ее понимали поляки, угрожала положить конец этому хозяйничанью, и потому магнаты так и противились ей. Самые ярые противники унии были как раз те именно паны, которые потратили так много своих денег на нужды великого княжества, вроде, напр., пана Яна Еронимовича Ходкевича, старосты Жмудского или подканцлера Остафия Воловича. Очевидно, они боялись не только за свое значение в будущей соединенной Речи Посполитой, но и за свои "пенязи", отданные в ссуду скарбу и гарантированные заставами (залогом) господарских имений*. Каким образом государство этого времени могло стать своего рода капиталистическим предприятием, это мы увидим позже: здесь мы найдем один из характернейших показателей экономического переворота, совершавшегося в эту именно эпоху. Сейчас мы должны отметить другое: если "капиталисты" знатного происхождения косо смотрели на унию, к ней совсем иначе должны были относиться незаинтересованные в предприятии средние и мелкие землевладельцы. Так оно и было. Поляки всегда имели на своей стороне литовское рыцарство, без различия происхождения, а противились унии только литовские "потентаты", по словам польских делегатов, докладывавших о ходе переговоров на Петроковском сейме в 1565 году. Оттого стремление отделить это рыцарство от его потентатов и вступить с ним в непосредственные сношения было одним из главных приемов польской политики, а стремление не допустить этого - одним из главных приемов литовской рады. Но литовско-русская шляхта не ограничивалась платоническими симпатиями к унии - она проявляла в этом отношении инициативу, весьма смущавшую литовских потентатов. Около 1563 года рыцарство, находившееся тогда в походе против Москвы, составило между собою особое соглашение с целью добиваться унии во что бы то ни стало, даже вопреки желанию официального литовского правительства; отступившие от этого соглашения, напомнившего русскому исследователю классические конфедерации польской шляхты, должны были считаться изменниками и, в случае победы сторонников унии, подлежали изгнанию, а если бы паны радные вздумали преследовать какого-нибудь земянина за участие в соглашении, остальные должны были за него вступиться как один человек. Польша шла впереди Литвы в процессе социального развития - в ней переход политической власти в руки среднего помещика (в Польше величавшегося "народом", как в Московском государстве

такой же помещик был "всей землей") совершился уже в первой половине XVI века. Глядя на это, литовско-русская шляхта не могла не "разлакомиться", и никакие попытки литовской аристократии купить себе мир со своим дворянством социальными уступками не достигали цели. На Вельском сейме 1564 года феодальная знать отказалась от своих судебных привилегий, согласившись подчиниться одинаково со всеми земянами выборному Земскому суду. Это было, помимо всего другого, тяжелой материальной жертвой, потому что непосредственные вассалы литовского великого князя лишились теперь крупной доли своего судебного дохода. Но для рыцарства этой уступки было мало. Статут 1566 года повел дело дальше: этим статутом законодательная власть с рады (боярской думы) была перенесена на Бальный сейм (Земский собор), без согласия которого великий князь обязался не издавать никаких уставов. Собственно, шляхетский "народ" Литвы уже держал верховную власть в своих руках, но ему было мало и теоретического признания его верховенства: ему нужно было свое, шляхетское правительство, а этого он не надеялся достигнуть без помощи польской шляхты. Люблинская уния, поставившая весь ход дел в объединенной Речи Посполитой под контроль общего Польско-Литовского сейма, где не было ни литовских "княжат", ни иных членов по личному праву, а только "послы, избранные литовским и польским рыцарством", осуществила это желание. Насколько оно было главным, а все другие стороны унии второстепенными, видно из того, что отдельные "земли" не остановились перед перспективой стать непосредственными подданными "короны", как только явилось сомнение, удастся ли провести план объединения на шляхетских условиях для всей Литвы. "Захват", поляками Подляшья и Волыни, а затем Подолья и Киевщины при совершенно явном попустительстве местной шляхты, которая все время хлопотала об обороне не от "захватчиков"-поляков, а от своей туземной аристократии (доходившей до угроз татарами!), представляет собою одну из любопытнейших сторон унии 1569 года. Он лучше всего другого показывает, что образование единой Речи Посполитой было последствием не каких-нибудь дипломатических шахматных ходов - так часто изображались дела в старые годы, - а политическим закреплением общего как для "короны", так и для "княжества" социального явления: перехода фактического влияния в обществе от крупной феодальной знати к среднему землевладению. В Польше и Литве в XVI веке произошло то же, что в иных политических формах случилось на три четверти столетия позже в Московской Руси.

** Любавский М., цит. соч., с. 821.*

В этой последней, как мы знаем, основу социальной перемены составляла перемена экономическая: зарождение ранних форм менового хозяйства и в связи с этим превращение феодального землевладельца в сельского хозяина-предпринимателя. В Польше и Литве этот процесс выступает перед нами еще отчетливее. Все основные его черты - замена натурального оброка денежным, появление барской запашки и в связи с нею барщины, уменьшение крестьянского надела в пользу барской пашни - все это прекрасно знакомо и западнорусским писцовым книгам XVI века, которые гораздо богаче таким материалом, чем их

московские современницы. В Московской Руси этого времени денежный оброк был, как мы видели в своем месте, очень распространен: в Руси Литовской и аннексированных польской короной русских областях он решительно господствовал, причем мы имеем ряд характернейших случаев превращения невинных натуральных поборов патриархального средневековья в очень серьезную денежную подать. Такова была, например, история медовой дани. В королевских имениях львовского староства - части старинной Галицкой Руси, присоединенной к Польше еще в XVI веке, по инвентарю 1545 года те крестьяне, кто имел пчел, давали ежегодно по пяти полумерок меду. "Люстрация" 1565 года показывает нам медовую дань уже как постоянный налог, по 30, в среднем, грошей с хозяйства (от 2 до 3 рублей золотом на теперешние деньги): и всего через 5 лет, к 1570 году, этот налог доходит до 50 грошей на хозяйство (более 4 рублей). В то же время в имениях Пинского повета - нынешней Минской губернии - та же медовая дань была главным платежом крестьян и составляла на каждое хозяйство от 20 до 127 грошей литовских (которые были крупнее польских). Чтобы правильно оценить эти цифры, надо иметь в виду, что в эти годы и в этих местах двухдневная барщина выкупалась обыкновенно 1 злотым - 24 грошами. Минимальные размеры медовой дани были немногим меньше, а максимальные в пять раз больше этого. Одинаковые условия в нынешней Минской губернии и в нынешней Галиции не должны, однако, вводить нас в заблуждение, будто всюду было одно и то же. Даже в самой Галичине различия были довольно резкие и не случайные. В то время как в восточных староствах можно было найти, в довольно чистом виде, "первоначальные элементы, из которых складывались крестьянские платежи", в западных большая часть натурального оброка переведена на деньги, а в Самборщине мы видим денежные платежи за все "данины"*. Ту же особенность мы замечаем и в распространении барщины. Она есть уже всюду; но на востоке, в землях великого княжества Литовского, в начале второй половины XVI века она только что заводилась; известный "Устав о волоках" короля Сигизмунда-Августа (1557) только еще высказывает пожелание, чтобы во всех королевских имениях в Литве заводились фольварки - усадьбы с барской запашкой. Под последнюю отводилась 1/3 всей культурной площади: на каждую волоку дворцовой пашни должно было приходиться не менее 7 волок крестьянских, с вполне устроенным хозяйством, "з волы и с клячами" на каждой, так как обрабатывать хозяйскую пашню предполагалось крестьянским инвентарем. Как и в дворцовых имениях Московской Руси того же времени, хозяйство пытались поставить рационально: из "Устава о волоках" мы выносим очень живое представление о том, как была организована крестьянская работа в большом благоустроенном имении Юго-Западной Руси. Староста - войт - в воскресенье назначал каждому из подданных его урок на всю неделю. За исправным выполнением этого урока следили строго: кто не выходил на работу вовремя, в первый раз платил грош, во второй раз - барана, в третий раз его "бичом на лавке карали"; если манкировка была злонамеренная, например, по причине пьянства, телесное наказание полагалось сразу. Зато можно было избавиться от наказания вовсе, если предварительно заявить начальству об уважительной причине, мешающей выйти на работу; только от самой работы ни в каком случае нельзя было избавиться: пропущенные дни должны были быть отработаны во что бы то ни стало. Регламентировано было употребление времени и

в течение самой работы: кто работал со скотом - волом или лошадью, - имел право отдыхать три часа в продолжение рабочего дня: час перед обедом, час в полдень и час перед вечером; пеший работник отдыхал все эти три раза по получасу. Выходить на барскую работу обязательно было "як солнце всходить", а уйти можно было только на заходе солнца. Но строго регламентированная количественно барщина была еще невелика, как можно было бы догадаться уже по относительным размерам барской и крестьянской запашки: у крестьянина брали в Литве 2 дня в неделю, т.е. 1/3 его рабочего времени. В Галичине мы встречаем гораздо более высокие нормы работы: двухдневная барщина спускается чуть ли не на последнее место, наиболее распространенной является обязанность работать 3 дня в неделю или же каждый день по полудню; и не редки - нисколько не реже двухдневной барщины - четырех-и пятидневная: это был максимум эксплуатации, так как два дня в неделю, воскресенье и базарный день, крестьянам оставляли всегда. Такие порядки были в галицких "королевщинах", т. е. имениях совершенно того же типа, как и те, о которых говорит "Устав о волоках". На частновладельческих землях эксплуатация была гораздо сильнее: это мы можем видеть очень наглядно, когда какая-нибудь "королевщина" попадает "в держанье" к частному лицу. Одно дворцовое село Львовского староства еще в 1554 году не несло никаких повинностей, кроме натуральной данины, по барану и по свинье с каждого хозяйства; пашня была даже не меряна. Но вот в нем явился "державен", Станислав Жолкевский, и тотчас же завелись новые порядки. Пашня была тщательно вымеряна, и часть ее отошла к усадьбе (прежде гут барской усадьбы не было), для обработки этой земли была заведена барщина, но натуральный оброк не только не был отменен, а к нему прибавился еще денежный. "Жизнь и хозяйство села изменились до неузнаваемости. В 1534 году здесь было 28 хозяйств на немеряной земле, дававших 28 баранов и столько же свиней, причем тех и других у каждого хозяйства было значительное стадо... В 1565 - 1570 годах здесь было уже 60 тяглых хозяйств на 10 ланах (по-московски - вытях) и 26 загородников (по-великорусски - бобылей), причем крестьянские земли уменьшились, по малой мере, втрое..." Упало и скотоводство: в 1565 году с 62 хозяйств получено только 20 штук свиней и 1 баран - далеко меньше, чем раньше получалось с 28 хозяйств**. Как отнеслись к этой перемене сами обитатели села, источники не говорят. Но мы имеем один случай, показывающий, что заведение новых порядков не всегда было простым и легким делом. В том же Львовском старостве было село Добряны, по привилею короля Владислава, от 1439 года, дававшее ежегодно 8 дней барщины, 24 гроша "чиншу" (денежного оброка) и колоду овса с "лана". Тогда в нем считалось 14 ланов; к XVI веку, благодаря распашке новых земель, оказалось уже 36. Но главным фактом было расширение барской запашки в Добрянах: 8 дней в год для ее обработки стало не хватать, и приходилось сгонять крестьян из дальних имений. Ввиду этого дворцовое управление, производя в 1530-х годах новое обмежевание земель, постановило, чтобы добрянцы работали на барщине по два дня в неделю (тогдашняя норма в королевских имениях). Но селяне "противились этому силой, не приняли нового межевания и не хотели работать барщины", и до 1570 года их не удавалось к этому принудить. Попытка посадить в Добряны новых "осадников", чтобы получить рабочих для барской пашни, не удалась - местное население их выжило. Люстрация 1570 года ввела опять двухдневную барщину, понизив чинш

до 18 грошей, но добрянцы и теперь не послушались и до 1578 года не приняли "реформы". Что с ними далее случилось - неизвестно***.

** М. Грушевский, в предисловии к т. 1 "Источники украинско-русской истории" ("Жерела до истории Украины и Руси").*
*** Жерела, т. 7, с. 7.*
**** Ibid.,с. 7 - 9.*

Понижать чинши, вводя барщину, приходилось очень часто, но это вовсе не обозначало обыкновенно облегчения крестьянских повинностей. В Теребовльском старостве до 1550-х годов работали по 8 дней в год и платили 48 грошей чиншу. Новый староста уменьшил чинш до 50 грошей, но ввел двухдневную барщину, по тогдашней цене рабочих рук она обошлась бы, применяя вольнонаемный труд, не дешевле 60 грошей, иными словами, крестьянские повинности, в переводе на деньги, выросли почти вдвое. Но чинш никогда не исчезал вовсе, даже в тех случаях, когда крестьяне работали ежедневно; были случаи, что ежедневная барщина сочеталась даже с довольно высоким денежным оброком - до 24 грошей с хозяйства в год. При таких условиях крестьянский надел уже в XVI веке превращался в то, чем он должен был стать впоследствии, при "капиталистической" барщине, - в особую форму натуральной заработной платы барского батрака. В тесной связи с ростом барщины стоит поэтому другое явление: дробление крестьянских наделов, поощряемое барской экономией. Географический закон этого явления тот же, что и двух предыдущих. "Вообще говоря, крестьянские участки уменьшались по направлению с востока на запад и с юга на север". "На востоке в половине XVI века господствуют хозяйства на целых дворищах, или на дворище сидят по два хозяйства... дальше на запад число хозяйств, приходящихся на одно дворище, увеличивается..."*. Падение размеров хозяйства идет чрезвычайно правильно: если ехать с востока на запад, путешественник встретил бы на самой восточной границе Галичины крестьян, сидевших на полной выти ("дворище" или "лане"); дальше начинали попадаться полудворищные хозяйства; еще дальше они преобладали, и попадались уж четвертьдворищные; и, наконец, еще западнее начинали встречаться "вісімки" - хозяйства на V, лана. Начало дробления весьма точно совпадает с началом изучаемого нами экономического процесса - полу- и четвертьдворищные хозяйства начинают появляться с конца XV - начала XVI века.

** М. Грушевский, ibid., т. 1, с. 15 - 16.*

Был, однако, предел дробления, ниже которого неудобно было спускаться и с точки зрения барской выгоды, мы уже видели, как измельчание хозяйств влияло на скотоводство, а барские пашни обрабатывались крестьянскими волами и лошадьми. Но тут две тенденции барщинного хозяйства сталкивались. Барину нужен был не только крестьянский скот для обработки земли, ему прежде всего нужна была сама земля, и если для фольварка ее не хватало, не у кого было взять ее, кроме крестьян. Отдельные случаи гонения крестьян с надела мы наблюдали и в Восточной России. Но там это не более чем симптом процесса, во всей широте

никогда не развертывавшегося. Не то было в Руси Западной. Здесь эти явления были настолько распространенными, что начинали внушать правительству опасения чисто финансового характера: можно было бояться в иных местах, что скоро не с кого будет брать таких специально крестьянских налогов, как "надельные" - прямая подать с каждого крестьянского хозяйства. Сухие "люстрации" (переписи) становятся почти сентиментальными, рассказывая, как тот или иной пан "скупил" крестьянина. "Служебники (вассалы) нынешнего староства (Саноцкого) скупили в этом году трех селян, - говорит одна люстрация, - не без розлива слез; а они были очень хорошими хозяевами, на тех пашнях родились и состарились, и было под ними полтора вымеренных лана пашни, с которых они аккуратно платили чинш и тягло, как рассказывают о них соседи. Про эти ланы Змеевский (один из "скупивших" вассалов) сказал, что их дал ему король, уволивши их от права и от власти города и от уплаты всяких чиншей. Так осиротели убогие люди, а тягло и чинш с этих земель пропадет". Бог весть, заинтересовался ли бы судьбою "убогих людей" королевский ревизор, если бы тягло и чинш не пропали, но его словам о "розливе слез" можно поверить, и нельзя считать очень преувеличенным заключительное его замечание, - что "коли так каждый год будут скупать по нескольку крестьян, их немного останется в старостве". Но крестьян не только "скупали" - у них и просто отбирали землю неизвестно по какому праву, как отмечает люстрация в другом месте. Обезземеливали не только отдельных селян, но и целые селения. В одном селе Перемышльского староства, где еще в 1553 году было 36 тяглых хозяйств, сидевших на полудворищах, в 1565 году оставалось лишь 20 "загородников" - безземельных бобылей, работавших на барской пашне. Люстрация глухо замечает, что это случилось по вине самих крестьян, но трудно ли было найти вину в подобном случае?

Что делали обезземеленные? В одних случаях, как мы уже видели, параллельно с экспроприацией крестьянства рос разряд загородников - рос, кажется, даже быстрее, чем шло обезземеление. В одном из сел Перемышльского староства за 70 лет, с 1497 по 1565 год, из 22 ланов крестьянской земли успели оттягать только 1'/2 лана, а рядом с 40 хозяевами мы видим здесь уже 14 загородников, не имевших своей пашни. В другом селе в 1497 году был всего один лан земли, а в 1565 году мы находим здесь 5 хозяев и 24 загородника. Впрочем, наиболее энергичное обезземеление падает на средние десятилетия века, и на них приходится максимальный рост загородничества, так что предыдущие десятилетия можно, пожалуй, и не считать: с 1553 по 1565 год в 21 селении Перемышльского староства число загородников с 66 увеличилось до 141 - на 133%. В Саноцком старостве за еще меньший период, с 1558 по 1565 год, число загородников удвоилось; здесь загородники составляли к этому последнему году 11% всего населения, а в Перемышльском даже 26%. Но далеко не все обезземеленные попадали в эту категорию. То, что крестьян довели до потери своего хозяйства, ясно указывало на избыток в данном имении рабочих рук: но если были избыточные рабочие руки, естественно было использовать их в другом месте, где были "великие и густые леса". О том, чтобы "осаживать" людьми леса, "на волоки размеренные", заботится даже устав Сигизмунда-Августа, в сравнительно просторной еще Литве. Новым поселенцам давалась льгота на пять, на шесть, даже на десять лет, а где были

"черные леса, тяжкие к вырублению", и еще больше. На западной окраине должны были заботиться о том же еще ревностнее: и действительно, добрая доля Саноцких "королевщин" была свежим колонизационным приобретением; в начале XVI века здесь было не более 30 сел, принадлежавших короне, в средине - до 54. Прибыль падала здесь, как и в Перемышльской земле, почти исключительно на горские села, villae submontaneae, врезавшиеся в лесную чащу Карпат, куда уходили "копать лес" люди, не примирявшиеся дома с положением загородников. Как быстро шло здесь заселение, видно из того, что на верховьях Вислока люстрация 1565 года застала 18 сел с 311 хозяйствами на 200 ланах земли, о которых и помину не было в начале столетия. Нет надобности говорить, что здесь условия крестьянской жизни были совсем иные, чем на старых местах: о барщине здесь и во второй половине XVI века иной раз ничего не слыхали, разве что ходили в горячую пору на помощь. Но перейти на другую землю того же хозяина - это было еще полсвободы. Просторные земли на Востоке манили больше, нежели "тяжкие леса" Карпат. Переписи нередко сообщают нам, как крестьяне, у которых соседние паны оторвали добрый кусок пашни и сенокоса, кинули оставшуюся землю и "пошли себе" - пошли неведомо куда. И такие неведомо куда ушедшие люди встречались уже в изобилии не только на Западе, а и на Востоке: "Устав о волоках" много внимания уделяет беглым, видимо, очень заботясь о том, чтобы не отрезать им дороги назад, ежели захотят вернуться. Среди восточных панов были особые спекуляторы на таких беглых: ими, главным образом, Вишневецкие колонизовали свое Посулье, где на месте пустыни, бывшей здесь еще в начале XVI века, к концу его были десятки сел, а к середине следующего - довольно густозаселенная местность, с порядочными городскими центрами. По инвентарам 1640 годов в "Вишневеччине" было до 40 000 хозяйств, в том числе в ее столице, Лубнах, 2646 дворов: а владелец всего этого, уже упоминавшийся нами выше князь Иеремия, мог затратить на свою свадьбу 250 000 злотых (почти 300 000 золотых рублей). При этом целые города, например, Пирятин, были заселены беглыми*. Замки Вишневецких давали этому пришлому люду оборону от татар. Но кто был похрабрее, в своих поисках воли и лучшей жизни не останавливался, конечно, на подданстве Вишневецким: на восточной окраине панская колонизация сталкивалась с другой колонизационной струей - с колонизацией вольной, казацкой.

** Специальный исследователь Лубенщины и Вишневецких относится к этим цифрам подозрительно - не без оснований. Но других нет. Колоссальный же рост Вишневечины и он признает (см.: Лазаревский. Лубенщина).*

Романтическое представление о казачестве как о союзе вольных людей, не стерпевших крепостного ига и ушедших в вольную степь строить себе новый мир, где все равны, где нет крепостных и господ, - это представление очень живуче в исторической литературе даже до сего дня. Знакомясь с фактами, вы, однако же, напрасно ищете той демократической, пролетарской дружины, о которой вы столько читали и слышали. Под именем "казаков" вы везде встречаете мелких землевладельцев, очень напоминающих тогдашнего окраинного помещика и целыми рядами незаметных переходов, связанных с земледельческим классом вообще. Мы уже упоминали об этом, не приводя подробностей, по поводу роли

казачества в Смуте. Вот несколько образчиков того, что представляли собою великорусские казаки южной окраины. Под Белгородом было село Стариково, населенное беломестными атаманами и казаками. У каждого из первых было по 30 четвертей пашни в поле т. е. по 45 десятин пахотной земли всего и по 150 копен сена; у каждого из вторых - по 20 четвертей (30 десятин) и по 100 копен. Кроме казаков в том же селе жил 34 человека бобылей, работавших на этой же казацкой земле. То же самое было и под Воронежем. Писцовая книга говорит: "На Воронеже (река) на атаманских и на казачьих придаточных землях деревни, в тех деревнях дворы атаманские и казацкие поставлены на приезд, а за ними живут бобыли, пашут их землю". В двух деревнях Оскольского уезда тоже жили казаки. Но они мало чем отличались от детей боярских. По крайней мере, в одной челобитной они писали, что "как были в Осколе дозорщики и писцы, и ту... землю писали за ними, и в сошное письмо в уезде писали с Осколяны детьми боярскими вряд" и что они "четвертные деньги в ямской приказ и стрелецкие кормы и всякие государевы подати платят с Осколяны детьми боярскими вряд ежегодь" и вместе же с ними служили всякую службу*. Но, скажет читатель, это казаки "городовые", "служилые", а были особые "вольные" - на Дону, например. К тому же все эти данные относятся уже к XVII веку. Мы, однако, тщетно стали бы искать между "служилыми" и "неслужилыми" казаками той демаркационной черты, которую обыкновенно проводят с такой уверенностью, и раннее казачество ничем в этом случае не отличалось от позднейшего. В половине XVI века ехал из Москвы в Константинополь посол Новосильцев. Провожать его до Азова должны были донской атаман Мишка Черкашенин, с 50 атаманами и казаками "своего прибору": это была, стало быть, вольная казацкая дружина, временно подрядившаяся в службу к московскому правительству. По дороге один из членов этой дружины дезертировал, о чем подсол доносил государю так: "Мишкина прибора казак поместный (такой-то) на твою государеву службу не пошел, воротился из Рыльска к себе на вотчину Рыльскую". Можно было быть служилым государевым казаком и в то же время присоединиться к одному из вольных казацких отрядов - одно другому вовсе не мешало. В данном случае поместный казак пошел за вольным атаманом (которого мы скоро видим ведущим на свой страх и риск войну с турками) с целью, так сказать, благонамеренной: с тем, чтобы охранять царского посла. Но благонамеренная цель вовсе не была обязательна. Незадолго перед тем шестеро путивльских, т.е. "городовых", казаков примкнули к отряду черкасов и с ними вместе ограбили крымского гонца, шедшего из Москвы. Дело это казалось им настолько естественным, что затем четверо из них, как ни в чем ни бывало, вернулись к себе в Путивль. Правда, в ответ на жалобы крымского правительства царь отрекся от этих своих "слуг" и честил их "разбойниками". Но это была обычная фразеология, раз навсегда выработанная для случаев подобного рода. И в Крыму, и в Константинополе по аналогичным поводам всегда говорили: "Сами знаете, что на Тереке и на Дону живут воры беглые люди, без ведома государева, не слушают они никого..." Но когда обращались к самим казакам, говорили совсем другое. Когда в конце XVI века донских казаков заставляли без выкупа отдавать назад черкас, т.е. литовских пленников, захваченных ими во время набега (среди полного официального мира, разумеется), а казаки в ответ стали грозить, что они уйдут с московской службы, царский посол говорил: "Отъездом вам государю

грозити непригоже, холопы вы государевы и живете на государевой отчине". Но не считая этого специального повода к разрыву, казаки и не думали отрицать своих обязанностей по отношению к Москве: "Тебя, посланник, провожать и государю служить мы готовы", - говорили они. Их только очень обижало, что хотят отнять у них пленных, которых они добыли "своей кровью" и которые представляли, конечно, значительную хозяйственную ценность в этих пустых краях, где даже и бобылей найти было уже нельзя. А под конец Смуты, когда казацкая служба в этих местах стала особенно нужна, в одном официальном документе писалось даже, что "их атаманскою и казачьего службою, радением и дородством Московское государство очистилось и учинилось свободно". Московский дипломатический стиль отличался большой гибкостью, и понимать его буквально было бы очень неосторожно: те, к кому обращались московские дипломаты непосредственно, турецкие паши и крымские мурзы, никогда бы себе такой неосторожности не позволили. "Вы говорите, донские казаки - вольные люди, воруют без ведома вашего государя, - отвечал русскому послу великий визирь в 1592 году, - крымские и азовские люди такие же вольные. Вперед только государь ваш не сведет с Дону казаков, и я вам говорю по богу: не только крымским с нагаями велим ходить, но сами пойдем своими головами с многою ратью сухим путем и водяным, с нарядом и городом, хотя и себе досадим, а уж сделаем это, и тогда миру не будет". В ответ на эти воинственные речи великого визиря московское правительство, которое только что уверяло, что с казаками оно не имеет ничего общего, послало на Дон грамоту, где, между прочим, говорилось: "Вы бы службу свою показали: перебрав лучших атаманов и молодцов конных, послали на Калмиус, на Арасланов улус, улус его погромили бы..."

** Миклашевский И. К истории хозяйственного быта Московского государства, т. 1, с. 77, 83, 111.*

Что было на Дону, то было и на Днепре. В этом отношении черкасские казаки, городовые и запорожские, были родными братьями великорусских казаков верховых и низовых. И тут, и там экономической основой было промысловое хозяйство: охота, рыболовство и, в очень большой степени, бортничество. О последнем стоит сказать несколько слов. Охотничьи промыслы казаков слишком хорошо известны, отметим только, что на Днепре в это время они приобретают особое значение, так как, с уплотнением населения Западной Руси охота там становится все больше и больше панской привилегией: уже в 1557 году, по "Уставу о волоках", за убийство серны или другого крупного зверя крестьянину угрожала смертная казнь, так же, как и тому, кто попадется в пределах "пущи", заповедного королевского леса, с "рушницею" - огнестрельным оружием. Экономическая роль бортничества была никак не менее значительна, чем охоты или рыбной ловли. В Путивльском уезде незадолго перед Смутой одного медвяного оброка собиралось 2320 пудов - да еще к тому 100 рублей деньгами. "Литовское разорение" уменьшило натуральный оброк почти вдвое но зато скоро после него в крае появляется более интенсивная форма пчеловодства, занесенная все теми же черкасами: вместо "бортных ухожаев" появляются пасеки, иными словами, пчел начинают разводить искусственно, не довольствуясь тем, что можно было найти

готовым в лесу. То, что мы знаем о людях, принесших с собою это техническое новшество, не оставляет сомнения, что то были эмигрировавшие из польских пределов казаки. "Тех пасек литовские люди, - жаловались обитатели Вольновского уезда, - у нас на Вольной лошадей крадут и сильно отнимают и нас бьют и смертное убойство нам чинят и по дорогам проезду от них нет". По сыску оказалось, что эти черкасы пришли из Ахтырки, Гадяча, Миргорода, Полтавы и т.п. Как всегда, московское правительство не захотело применять к литовским эмигрантам крутых мер. Сначала велено было "сослать их с государевой земли, без бою и без задору", а когда и пришельцы, со своей стороны, повели себя корректно и подали царю челобитные, прося оставить их на занятых ими землях, в Москве не затруднились исполнить эту просьбу. Пасечники-казаки встречаются нам и в Западной, правобережной, Украине - еще в половине XVI века. Одна петиция Веницких земян, 1546 года, упоминает, что, по местному обычаю, паны брали с казаков, имеющих 30 пчел, копу грошей "поклону": упоминание об этой пошлине рядом с крестьянским "выходом" бросает свет на положение казаков в ту эпоху; они, очевидно, сидели не всегда на вольной, а, иногда и на панской земле. В Вишневечине мы встречаем позже сплошные и очень крупные казацкие поселения на земле Вишневецких. Это приводит нас к вопросу о происхождении западнорусского казачества, выясненному, в соответствующей литературе, гораздо лучше, чем происхождение казачества великорусского.

Мы не будем останавливаться на этимологии слова "казак" (или "козак", как пишут и говорят на Юго-Западе). Нет ничего более шаткого, чем этимологические толкования. Можно себе представить, что будет, если какой-нибудь историк, положим, XXX века вздумает путем этимологических сближений определять, что такое были наши сибирские "стрелковые полки" времени русско-японской войны. Из того, что корень один со словом "стрела", он заключит, вероятно, что то были отряды пехоты, вооруженной луками и стрелами, а так как полки назывались "сибирскими", то дело ясно - это были вспомогательные дружины диких сибирских инородцев на русской службе. Мы ничего не извлечем для истории казачества ни из того факта, что так назывались отряды легкой татарской конницы, ни из того, что в половецком словаре 1303 года "козак" значит "сторож". Слово пришло, конечно, с Востока, но понятие было вполне местное, и обозначавшаяся словом вещь существовала в действительности ранее, чем к ней приурочили именно это слово. В основе западнорусского казачества, как и восточного, лежала обязательная военная служба всего пограничного населения, нельзя даже сказать "служба", потому что с этим словом связывается представление о некотором принуждении сверху, а здесь, на окраине степи, откуда ежегодно появлялись татары, человеку естественно было быть военным: безоружный человек здесь жить не мог. Нужно было или отказаться от колонизации этих мест, или идти сюда не только с сохой, косой и топором, но и с ружьем. Ружье было так же необходимо здешнему поселенцу XVI - XVII веков, как и южноафриканскому колонисту XIX: причем и там, и тут роль этого орудия производства отнюдь не была только пассивная, как часто изображается. Грабежи татарских стад, "лупление чабанов татарских", а в более удачных случаях "лупление" и соседних турецких городков входили в круг обычных промыслов в южнорусской степи точно так же, как грабежи туземцев в круг "промыслов" южноафриканских. Если житомирские мещане 1552 года

обязаны были "рушницы мать и стреляти добре ум!ги", а их сельский сосед, вольшский крестьянин, по словам одного писателя конца XVI века, "идя на работу, нес на плече ружье, а до боку чеплял шаблю або меч", то это, конечно, не значило, что все эти люди представляли собою нечто вроде современной швейцарской милиции. Надоело пахать или торговать, можно было отправиться и "козаковать": кто был помоложе и попредприимчивее, тот это и делал. Когда "козакованье" становилось неудобно польскому правительству, оно и взывало обыкновенно к старшему поколению: требовало, "абы отцово сынов своих на козацтво не выпущали". Благодаря этому, отсутствие там или сям названия казаков вовсе еще не указывает на отсутствие и самого явления. В Барском старостве середины XVI века мы не встречаем казаков как особой общественной категории, а это было одно из казацких гнезд того времени. Козаковала здесь, главным образом, мелкая шляхта, преимущественно русская. "В правительственных актах, например, в грамоте киевскому воеводе 1541 года, казаки разумеются под общим названием мещан"*.

** Грушевский. Примітки до ісгорт козачини, т. 22 (Записки научного товарищества Имени Шевченко).*

Это отсутствие резкой социальной отграниченности малороссийского казачества от других общественных классов продолжается и в позднейшею эпоху, когда казачество становится революционным элементом. Один из предводителей казацкого восстания 1590-х годов, Шаула, был черкасским мещанином, и притом не из бедных, судя по тому, что у него занимал деньги Киево-Печерский монастырь. В Киеве, по поводу того же восстания, было конфисковано несколько домов, принадлежавших казакам-"здрайцам" (мятежникам). Но теснее всего казачество было связано, конечно, с землевладением. В 70-х годах XVI века мы находим большие земли на р. Ворскле, принадлежащие козаку-земянину Омеля-ну Ивановичу: королевская грамота титулует этого казака-дворянина "шляхетным". В 90-х годах другой казак, Тимко Волевич, имел большие поместья в Чигиринщине, "издавна принадлежавшие его предкам, купившим их на свои деньги". За то же восстание 1596 года был конфискован целый ряд имений, принадлежавших "казацким особам": мы узнаем об этом из жалованой грамоты короля знакомому нам по истории Смуты гетману Жолкевско-му, которому были отданы эти имения. Наконец, один из главных вождей того же восстания, знаменитый гетман Лобода, "несомненно, был богатым человеком: на это указывают многочисленные справки об его имуществе, которое искали по монастырям, у евреев (некоего Леона Перцовича) и у помещиков (Семена Бутовского, киевского войскового)". Будучи уже гетманом, Лобода купил себе село Сотники. В следующем столетии земельная собственность становится даже социальной основой для партийной группировки казачества. Когда впервые введен был реестр, т.е. сделана попытка ограничить казацкие привилегии сравнительно небольшим, тесным кругом более зажиточных казаков, держались относительно польского правительства лояльно, "дуки", - партия, к которой "принадлежали, главным образом, казаки богатые". "Между ними бывали в те времена богачи, что могли смело равняться с земянами; некоторые были шляхетского происхождения. Им было что терять, и они должны

были оглядываться на польское правительство". Иначе совсем относились к этому последнему "нетяги", казаки бедные, для которых козакованье было промыслом: "запрещение грабежей для них было отобраним главного источника дохода"*.

** Грушевский. Материяли до ісгорні казацких рухів 1590-х рр. (ibid. 31 - 32); Рудницкий. Украинськи козаки в 1625 - 30 рр (там же). Мы не можем здесь коснуться истории реестра, она подробно рассмотрена в цитированной статье проф. Грушевского. Там вполне убедительно доказывается, что, во-первых, при Стефане Батории никакого реестра не было, а во-вторых, что реестр преследовал, главным образом одну цель: избавиться от дипломатических затруднений с Турцией, порождавшихся казацкими набегами.)*

Как видим, мы весьма далеки от "пролетарских демократических дружин", принципиально враждебных наличному общественному строю. В казачестве и польских помещиках мы видим двух классовых противников внутри одного и того общества. Это были два разных способа ликвидации древнейшего, натурального, феодализма. Польским панам лучше удалась задача, на которой сломало себе шею московское боярство XVI века. Их латифундии более успешно превращались в сельскохозяйственные предприятия с обширной барской запашкой и массовым применением крепостного труда. Здесь мы имеем уже в XVI веке тот восточноевропейский тип хозяйства, который в великорусские области стал проникать лишь в XVIII столетии. Но и противник у польской латифундии был более европейский. Если не бояться характеризовать сложное явление по одному признаку, казацкую земельную собственность, в массе среднюю или мелкую, знавшую батраков и "подсуседников", но не знавшую ни организованной барщины сотен крестьян, ни сеньориальных прав землевладельца, ни иммунитета, ни права суда, ни мелких земян-вассалов, - можно бы назвать буржуазной. Казацкая буржуазия, в лице Богдана Хмельницкого, и подняла знамя восстания против польского феодализма. Как и всякая другая буржуазия, она не могла обойтись без чернорабочих, без массы поспольства - и благодаря этому она была в своих лозунгах демократичнее своей социальной сущности. Но когда боевой момент прошел, экономические отношения взяли свое: казачество разместилось наверху, поспольство осталось внизу.

Казацкая революция

Идеологическая оболочка казацкого движения и его организационный центр - Церковная уния - Церковь и денежное хозяйство - Церковь и буржуазия; братства - Феодальная реакция в церкви - Связь казачества и буржуазии - Запорожье - Экономический конфликт: хлебная торговля и пиратство - Политический конфликт - Первые "рухи" - Схема казацкого восстания - Этапы наступления Польши на Запорожье - Хмельничина - Условия, обострившие кризис; "ординация" 1638 года - Роль Крымской орды - Политическая обстановка: Богдан и "чернь" - Отношение казацкого и крестьянского движения, роль мещан - Хмельницкий как

выразитель казацкого и казацко-мещанско-церковного движения - Разрыв с крестьянством

С последней четверти XVI века тот антагонизм мелкого и крупного землевладения, который воплотился в украинских казаках и польских панах, приобретает свою окончательную форму. Первые находят идеальное оправдание своих классовых требований, выступая защитниками православия против унии; вторые, проводя эту унию, стараются сделать Православную Церковь орудием в руках крупного землевладения. А на попытку польских помещиков подчинить всецело казачество польской "государственности", взять его целиком на коронную службу и точно регламентировать его положение на этой службе казаки отвечают тем, что создают себе заграничный центр, не зависимый от польского государства, в образе Запорожской Сечи.

Мы видели выше, что Православная Церковь в предшествующее время не пользовалась в Юго-Западной Руси особым почетом и уважением, но и не была в то же время предметом гонений. Руководящие общественные слои просто не обращали на нее внимания, предоставляя эту "хлопскую веру" хлопам. Этим объясняется и демократический состав Православной Церковной иерархии, о котором тоже говорилось выше. Демократическое происхождение русских архиереев вовсе, однако, не означало, что православная церковь в Юго-Западной Руси была организована демократически. Напротив, и в то время она, как всякая церковь в феодальном обществе, зависела от крупного землевладения. Церкви и монастыри стояли на боярской и княжеской земле, и владельцы этой земли были их патронами: назначение священников, игуменов и архиереев зависело от них. Но при натуральном хозяйстве это право не давало им почти никакой выгоды. Церковные доходы состояли из тех же продуктов, что и натуральный оброк, платившийся помещику, и увеличивать количество этих продуктов выше известной меры было, как мы знаем, бессмысленно при условиях натурального хозяйства, при отсутствии рынка и сбыта. Положение стало быстро меняться по мере того, как в Западную Русь стало проникать денежное хозяйство. Два факта местной церковной жизни тесно связаны с этим новым явлением. Оба давно обратили на себя внимание историков, но брались они не с той стороны, которая была для них характерной, потому они оставались изолированными друг от друга и не связанными с общим ходом исторического процесса. Очень известен, даже из "Тараса Бульбы", факт отдачи в аренду православных церквей в Западной России этого времени. Но и в повести Гоголя, и в исторических работах старого времени подчеркивалось при этом только то обстоятельство, что арендаторами обыкновенно были евреи: как будто отдача церкви в аренду лицу другого исповедания что-нибудь здесь меняла. Суть дела была здесь в том, что возможность быстро превращать продукты в деньги соблазняла и на церковные учреждения смотреть как на выгодные предприятия. Еще больше церквей соблазняли в этом отношении монастыри, эксплуатировавшие не один какой-нибудь отдельный приход, а целую округу. До нас дошел от конца XVI века целый ряд документов, относящихся к монастырю Святого Спаса во Владимире на Волыни. Из этих документов мы видим, что монастырь составлял частное имущество одной дворянской семьи, некоего Михаила Оранского с тремя

сыновьями. В состав этого имущества входила и "церковь со всеми речми (вещами) церковными, с книгами, с образами, с уборами священническими и со всем тем, что только в той церкви и монастыре есть, и ключи церковные". При этом одна из королевских грамот специально оговаривала, что никто из владельцев этих священных предметов не обязан быть сам духовным лицом: "в сан духовный становиться и стричься". Они обязаны были только держать в том монастыре викария, "человека духовного, хорошо сведущего в Священном Писании, для отправления церковных треб". Раз монастырь мог быть предметом частного освоения, он мог, разумеется, и арендоваться, и закладываться: в том же собрании документов мы имеем, например, "заставную запись", удостоверяющую, что кн. Чарторыйский отдал в заклад земянину (помещику) Лазарю Иваницкому "монастырь Честный Крест, с церковью и островом всем, на которое монастырь и церковь Честного Креста стоят". А дальше здесь же мы встречаем арендную запись на одно имение холмского повета, где в числе арендного имущества мы находим рядом с садами, огородами и виноградами, с коровами, и их приплодом, и церкви "с подаваньем их" - с церковными доходами. Арендаторов было двое: один из них был еврей, другой же местный помещик. Нужно иметь в виду, что превращение церкви в предприятие сопровождалось таким же усилением эксплуатации, как и превращение в предприятие обыкновенного имения. Арендатор старался вытянуть из "подаванья церковного" возможно больше денег, и население не могло не почувствовать этой перемены. А так как народная ненависть всегда обращается на ближайший источник зла, не стараясь докопаться до его корней, то совершенно естественно, что в народных песнях XVII века "жиды-рандари" (арендаторы) занимают такое выдающееся место, совершенно заслоняя собою панов-собственников церквей и монастырей, в чей карман шло, в конечном счете, "церковное подаванье".

Но те же новые экономические отношения вызвали к жизни и явление совершенно иного порядка и противоположного значения. Денежное хозяйство как в Московской Руси, так и в Западной выдвигало если не на первое, то на очень видное место буржуазию. Смиренно подчинявшаяся феодальной церкви раньше, эта последняя начинает теперь поднимать голову и в церковных делах - и именно для своей церковной самостоятельности. Положение православной веры, как веры хлопской, в Литовско-Русском государстве очень помогало буржуазии в этом случае. Здесь не успела сложиться та прочная, централизованная церковная организация, опиравшаяся на всю силу государственной власти, какая образовалась к XVI веку в Москве, например. В Москве было свое, местное церковное начальство - святейший патриарх Московский и всея Руси, без разрешения которого никто и подумать не мог что-либо предпринять в церковных делах. В Западной Руси были отдельные владыки - луцкий, львовский, киевский и другие, сильные каждый у себя в епархии, но когда перед ними являлся какой-нибудь из восточных патриархов, хотя бы из далекого Иерусалима или же совсем проблематичной в XVI веке Антиохии, западнорусский епископ в глазах своей собственной паствы отходил на второе место. Но восточные патриархи, паствой которых у себя дома являлась по большей части местная буржуазия, давно стояли на почве менового хозяйства. Церковные привилегии на турецком Востоке были настолько практически ценной вещью, что их давно продавали и покупали, как

всякое другое благоприобретенное право. Отчего было не торговать ими и в других местах, если находились покупатели? И вот какой-нибудь антиохий-ский патриарх, приехавший за милостыней на Русь, проезжая город Львов, весьма охотно и без малейшего стеснения продаст местному "мещанству" ни более ни менее как полный иммунитет по отношению к местному, львовскому, архиерею. Братство, образованное львовской буржуазией (она упомянута в грамоте на первом месте, но членами братства могли быть и шляхтичи и крестьяне), получало право не только ставить себе священника, которого епископ не мог отказаться посвятить, но и следить за нравственностью всего вообще духовенства, не исключая и самого епископа, а если бы епископ вздумал не подчиниться этому контролю, "таковому епископу сопротивляться всем как врагу истины". Можно себе представить лицо львовского владыки, когда он читал этот документ, против которого юридически он был, однако, бессилен, так как патриарх, хотя бы и антиохийский, был в церковной иерархии старше его. Притом восточные владыки наезжали за милостыней часто - можно было, в подкрепление антиохийской грамоты, добыть такую же от иерусалимского патриарха или, еще лучше, от константинопольского: это было не сложнее, нежели в наши дни купить какой-нибудь экзотический орден, вроде Льва и Солнца. Можно было отмежеваться от местной церковной власти еще решительнее: рекордной, по теперешнему выражаясь, является в этом случае одна грамота константинопольского патриарха Кирилла, где епископ, который осмелился бы посягнуть на привилегии Крестовоздвиженской церкви (Луцкого братства), приравнивается к "святокрадцам", и ему сулится отлучение от церкви не только на этом свете, но и "по смерти" - на веки вечные. Как было западнорусскому архиерейству не заскучать по "своем" начальстве, которое могло бы оградить его от подобных неприятностей и восстановить год от года все более утрачивавшуюся им монополию "вязать и решать"? Но выработать местный патриархат было не так легко при отсутствии туземной государственной власти и при таком отсутствии единодушия между самими владыками, что один из них, случалось, выгонял другого из его резиденции пушками. Оставалось одно - опереться на соседнюю церковную организацию, по силе и дисциплинированности далеко оставлявшую за собой не только местную, но даже и московскую церковь. Такой организацией был католицизм. На этой почве и возникла Брестская уния 1596 года. Этот основной мотив унии - борьба западнорусского епископата с "засильем" восточных патриархов - чрезвычайно отчетливо звучит во всех униатских документах эпохи, и, прежде всего, в самом главном из них - в том послании, с которым обратились к королю Сигизмунду III западнорусские владыки в декабре 1594 года. Их уполномоченный должен был говорить королю: "Видя в старших наших, патриархах, великие нестроения и нерадения о церкви божией и законе святом, видя их неволю, видя, что вместо четырех патриархов сделалось восемь, видя, как они живут на патриаршествах, как один под другим подкупается, как, сюда к нам приезжая, они никаких диспутаций с иноверными не чинят, только поборы с нас берут и, набравши откуда ни попало денег, один под другим там, в земле поганской, подкупаются, - видя все это, мы, епископы, не желая далее оставаться в таком беспорядке и под таким их пастырством, единодушно согласившись, хотим приступить к соединению веры и пастыря единою, главного, которому самим искупителем мы вверены, святейшего Папу Римского пастырем своим признать". В

официальном документе, каким было это обращение к королю, нельзя же было обойтись без патетических фраз о развращении восточной церкви - в частной переписке говорили проще и откровеннее. Один из творцов унии, убеждая одного из своих товарищей, писал ему уже без всяких претензий на моральный пафос: "Патриархи будут часто ездить в Москву за милостынею, а едучи назад, нас не минуют; Иеремия (константинопольский патриарх) уже свергнул одного митрополита, братства установил, которые будут и уже суть гонители владык: чего и нет, и то взведут и оклевещут; удастся им свергнуть кого-нибудь из нас с епис- копии - сам посуди, какое бесчестье! Господарь король дает должности до смерти и не отбирает ни за что, кроме уголовного преступления, а патриарх по пустым доносам обесчестит и сан отнимет, - сам посуди, какая неволя! А когда поддадимся под Римского Папу, то не только будем сидеть на епископиях наших до самой смерти, но и в лавице сенаторской засядем, вместе с римскими епископами и легче отыщем имения, от церкви отобранные". Особенно не давали жить епископату братства, по словам тогдашнего киевского митрополита, львовский владыка (во Львове было самое старое и самое сильное братство), "будучи в крайнем томлении от братства", готов был поддаться не только что Папе, а хотя бы самому дьяволу - "врага душевного рад был бы на помощь взять". Но братства были органами церковного влияния буржуазии, а епископы были ставленниками крупного землевладения. Инициатива унии как раз и принадлежала церковным феодалам: Кириллу Терлецкому, одному из епископов, отстаивавших свои права артиллерией, Ипатию Потею, в миру, до пострижения, сенатору и брестскому каштеляну (коменданту), Гедеону Балобану, получившему львовскую кафедру по наследству от своего отца, тоже епископа Львовского. Сведение Гедеона с епископии по жалобе братства и было тем событием, которое дало непосредственный повод к унии. Дальше нечего было ждать, не дожидаться же было, когда братства начнут выбирать своих епископов. Церковный конфликт сводился, таким образом, к классовому, и православные по-своему были правы, когда они впоследствии со злорадством указывали униатам, что без буржуазии и униатская церковь все-таки обойтись не может, и что самый энергичный униатский епископ, Иосафат Кунцевич, - сын сапожника. Зато потомки знатных фамилий попадали теперь на кафедры двадцати лет и могли, не проявляя особой энергии, просидеть на них до глубокой старости, не боясь мещанских "братств". До конца XVI века буржуазия наступала, а церковный феодализм оборонялся. Теперь стало наоборот. Волынский депутат на сейме 1620 года рассказывал о том же Львове - центре буржуазного движения: "Кто не униат, тот в городе жить, торговать и в ремесленные цехи принят быть не может, мертвое тело погребать (по православному обряду), к больному с тайнами христовыми итти открыто нельзя". Вести легальную борьбу с униатской церковью, за спиной которой стоял весь полицейский аппарат польской "государственности", было немыслимо. А попытки борьбы революционной встречали немедленную и свирепую репрессию. Мятеж витебских мещан, во время которого был убит Кунцевич, кончился тем, что более ста горожан из самых зажиточных были приговорены к смерти, двадцать из них, в том числе два бургомистра, были действительно казнены, остальным удалось бежать, но все имущество их было конфисковано; ратуша и православные церкви были

разрушены. Нет ничего мудреного, что западнорусское мещанство в таком положении все чаще и чаще начинало вспоминать о казаках.

В обычном представлении запорожские казаки рисуются до такой степени противоположными всему, что мы связываем со словом "буржуазия", что классовое родство казачества и мещанства теперешнему читателю, смотрящему сквозь призму исторической романтики, разглядеть не легко. Современникам, для которых казаки были вполне реальной вещью, это удавалось лучше. Посол германского императора, Эрих Лясота, бывший в Запорожской Сечи в конце XVI века, говорил сечевикам, жаловавшимся ему, что у них нет лошадей для похода в Молдавию, куда звал их император: "Поднимитесь вверх по Днепру - и вы сможете достать лошадей в своих городах и селах, где вы родились и выросли, и где у каждого из вас есть родные и знакомые". А двумя десятками лет раньше польский хронист Мартин Вольский так описывал низовое казачество: "Эти посполитые люди обыкновенно занимаются на низу Днепра ловлею рыбы, которую там же, без соли, сушат на солнце и тем питаются в течение лета, а на зиму расходятся в ближайшие города, как-то: Киев, Черкасы и другие, спрятавши предварительно на каком-нибудь днепровском острове, в укромном месте, свои лодки и оставивши там несколько человек на курене или, как они говорят, на стрельбе". Эти показания вполне сходятся с тем, что мы знаем о запорожцах из документов: в древнейшем из них, грамоте литовского великого князя Александра (1499), фигурируют казаки, приходящие сверху, от Киева и Черкасс, на низовье Днепрарыбу ловить; часть улова они должны были отдавать киевскому воеводе, по этому случаю дана и грамота. Через сто лет связь Запорожья с Киевом была еще настолько прочна, что в Киеве делалась запорожская политика, инициатива союза казаков с императором принадлежала некоему Хлопицкому, который в своем проекте основывался именно на том, что он слышал в Киеве. В самой Сечи проект наткнулся на затруднение, но совсем особого рода. Более подвижные демократические низы казачества были за поход в Молдавию, но более зажиточные слои, среди которых видную роль играли "владельцы челнов" и к которым принадлежали запорожские старшины, не обнаруживали никакой охоты к сухопутной авантюре. Из описания этого эпизода у Лясоты мы узнаем, что "демократическая, пролетарская дружина" была организована весьма аристократически. Запорожское вече состояло из двух "кол": одного, в котором совещались старшины, и другого "из простого народа, называемого у них чернью" (!). В это последнее коло членов запорожской демократии есаулы загоняли палками. Решения здесь постановлялись быстро и провозглашались с большой экспансивностью: с первого же совещания "чернь" стала величать германского императора, бросая вверх шапки и изъявляя готовность принять все условия, предлагавшиеся его послом. Но это не имело никакого практического значения: деловые переговоры все ж-таки пришлось вести со старшиной. Та была несравненно менее уступчива, и дело затянулось; тем временем "владельцы челнов" повели свою агитацию, и скоро "чернь" высказывалась с такою же экспансивностью против союза с империей, как раньше за него. В конце концов Лясоте так и пришлось уехать, не добившись никакого практического результата: он должен был удовольствоваться "принципиальным" обещанием низового казачества помогать императору против турок, да и за это пришлось заплатить 8000 золотых дукатов. Запорожская аристократия умела

блюсти интересы Сечи, где она была хозяйкой не только в политическом отношении, конечно. Роль "владельцев челнов" мы уже видели: помимо них Лясота упоминает в числе "зажиточных казаков" еще "охотников", а современные документы - "хуторян". Казак как мелкий землевладелец проник, таким образом, и за пороги, но здесь, в этих нетронутых местах, он перемешивался еще с промышленником, вовсе, однако же, не походившим на горьковского босяка. Сечь была достойной представительницей мелкой казацкой буржуазии.

Особенности географического положения Запорожья создавали здесь, помимо земледелия, охоты и рыболовства, еще один промысел, который всего больше определял собою физиономию низового качества. "Владельцы челнов" совсем не потому только делали в Сечи и дождь, и хорошую погоду, что суда были необходимы для рыбной ловли - рыболовная лодка далеко не была таким ценным орудием производства, как мореходная чайка, необходимая отнюдь не для одного рыболовства. Северные берега Черного моря уже тогда были покрыты турецкими и татарскими поселениями, достаточно богатыми и культурными, чтобы там было, что взять. В Бело-граде (Аккермане, Бессарабской губернии) был, по словам польского хроникера, "большой порт, из которого до самого Кипра пшеницу с Подолии возили; теперь через тот город сухим путем на Очаков к Москве ходят только караваны". Автор тут же и объясняет, кажется, сам того не замечая, почему упала аккерманская торговля: "Из Бело-града пролегает широкая дорога, на которой казаки часто турецких купцов разбивают, и если хотят добыть языка, то добывают его скорее всего именно там", "Они (казаки) причиняют очень часто большую беду татарам и туркам и уж несколько раз разрушали Очаков, Тягинку, Белгород и другие замки, а в полях немало брали добычи, так что теперь и турки, и татары опасаются далеко выгонять овец и рогатый скот на пастбище, как они прежде пасли, также не пасут они скота нигде, и по той (левой) стороне Днепра на расстоянии десяти миль от берега..." Так, случайное указание польского летописца вскрывает перед нами специальную причину постоянных столкновений уже не казачества, а именно Запорожья с поляками: морские разбои низовых казаков лишали крупное польское землевладение ближайшего рынка для продуктов его имений. Спор шел, действительно, между "культурой" и "дикостью", как склонны изображать дело новейшие польские писатели*: вернее сказать, между двумя ступенями культуры - к северу от порогов была уже полукапиталистическая Европа XVI века, к югу процветали нравы времен Святослава Игоревича. Стремление подчинить Запорожье государственной опеке и прекратить губившее польскую торговлю пиратство, с одной стороны, стремление не допустить этой опеки и обеспечить за собою исконный "национальный промысел" - с другой, составляют исходную точку всех столкновений Польши с Запорожьем, начиная с бунтов Косинского и Наливайки до восстания Хмельницкого. Суть конфликта опять-таки очень хорошо и опять-таки бессознательно намечена тем же польским хронистом, которого мы уже цитировали выше (Лартином Вельским). "Казаки нас наиболыпе ссорят с турками, - говорит он, - сами татары говорят, что если б не казаки, то мы могли бы хорошо с ними жить; но только татарам верить не следует: хорошо было бы, чтоб казаки были, но нужно, чтобы они находились под начальством и получали жалованье... Если бы мы захотели привести в порядок казаков, то это легко можно было бы сделать: нужно принять их на жалованье и

построить города и замки по самому Днепру и по его притокам, что очень легко сделать, так как леса на островах имеется весьма достаточно, - было бы лишь к тому желание"...

** А следом за ними и увлекшиеся их взглядами малороссkие историки, например, покойный Кулиш.*

В то время когда писались эти строки, "желание" было уж обнаружено в достаточной мере, в 1572 году король Сигизмунд Август назначил "старшего и судью" над запорожскими казаками, подчиненного, в свою очередь, коронному гетману (главнокомандующему польской армией). Несколько позже началась постройка и замков (сначала в Кременчуге), откуда польские гарнизоны могли бы "держать в порядке" Запорожье. Но политика польского правительства в этом пункте не отличалась выдержанностью: среднее землевладение, шляхта, господствовавшая в это время на сеймах, не склонна была очень принимать к сердцу интересы украинских магнатов. Тем приходилось самим заботиться о себе, - и первое казацкое восстание, Косинского, носит чрезвычайно характерную физиономию дуэли низового рыцарства с отдельными феодалами, сначала Острожским, потом, когда Острожский оказался сильнее, чем думали его противники, с Вишневецким, на победе которого движение и оборвалось. Позднейшие украинские летописцы уже к этому моменту казацкой революции усваивали ту религиозную идеологию, которая должна была неразрывно связаться с казацким движением позднее. Но на самом деле Косинский и его товарищи не выставляли еще никаких, ни религиозных, ни социальных лозунгов, их движение даже не было движением всего казачества, а с другой стороны, в нем видную роль играли и неказацкие элементы: сам Косинский был шляхтич. Наиболее определенный пункт его программы заключался в требовании казацкого "присуда", т.е. упразднения феодального суда и предоставления казачеству того же права выбирать себе судей, какого давно добилась западнорусская шляхта*. Но не прошло двух лет со смерти Косинского, как мы имеем перед собою уже весьма типичный казацкий бунт, со всеми его классическими признаками - участием панских "подданных", крестьян, погромами католиков и униатов и т.д. То было разыгравшееся в 1595 - 1596 годах и захватившее все Поднепровье, от Могилева до Черкасс, восстание Наливайки и Лободы. Лозунг "За православие против католицизма и унии" был поднят впервые Наливайкой; его деятельным помощником был православный священник, его брат, Демьян. Как понимали они борьбу за православную веру, показывает их первое выступление, направленное против известного нам инициатора унии Терлецкого. Не будучи в состоянии достать его самого (тот был тогда в Риме именно по делу унии), Наливайко со своими казаками, во-первых, дотла ограбил имение его брата и жены этого последнего, забрав у них все, что только было в их усадьбах ценного; а затем экспроприировал ризницу Терлецкого, предусмотрительно спрятанную последним перед отъездом в одном частном доме, что, однако же, не спасло ее от казаков. Затем, по очереди, были ограблены все тянувшие к унии духовные и светские феодалы, попадавшиеся на пути восставших. Но мы напрасно стали бы искать каких-нибудь положительных шагов со стороны Наливайки с целью восстановить

господство православия: редко в истории так называемых религиозных войн религия более наивно выдвигалась, как простой предлог, чем здесь. Врагами православия очень быстро оказывались все, у кого было что взять: рядом с епископами-униатами и католическими костелами Наливайко грабил и торговцев-караимов, и православных мещан, которые сами, как мы видели, были противниками унии. Формулируя свои требования в письме к королю Сигизмунду, Наливайко, в сущности, все сводил к тому, чтобы польское правительство взяло его казаков на жалованье, а самого Наливайку сделало над казаками гетманом. И еще более откровенно та же мысль проводится в замечательном письме другого героя восстания 1595 - 1596 годов, запорожского кошевого Лободы, к гетману Замойскому. "Ты не требуешь от нас услуг великому княжеству литовскому и всей Речи Посполитой, - писал вождь низового казачества, - ты указываешь на мир со всех сторон, со всеми неприятелями короны польской. За это да будет хвала Господу Богу за такой мир люду христианскому, что он смягчил сердце каждому неприятелю креста святого. Но если мы пришли в этот край, то причина этого для всякого очевидна: в это зимнее непогодное время, когда ты нас никуда не требуешь на услугу, Бог знает, куда нам направиться; поэтому покорно и униженно просим, благоволи не заборонять нам хлеба соли". А так как на это гетман мог бы ответить, что "хлеба-соли" достаточно забрал себе Наливайко, то Лобода спешит откреститься от этого союзника-конкурента: "Что же касается того своевольного человека Наливайка, который, забывши почти страх Божий и пренебрегши всем на свете, собрал по своему замыслу людей своевольных и чинил большие убытки короне польской, то мы об нем никогда не знали и знать не желаем".

** См. выше.*

Письмо Лободы с совершенной определенностью ставит перед нами причину собственно запорожского движения. Как раз перед 1595 годом адресат этого письма гетман Замойский в интересах молдавской политики Польши, избегая разрыва с Турцией, строжайше запретил низовым казакам беспокоить турок. "Национальный промысел" Запорожья был пресечен, надо было найти где-нибудь вознаграждение за это. О том же, что сделало экспедицию низового рыцарства за жалованьем (за "стациями", как это тогда называлось в Польше) народным мятежом крупного масштаба, мы узнаем совершенно случайно из одного описания конца восстания. Когда казацкий лагерь был со всех сторон окружен коронными войсками, и осажденные вынуждены были вступить в переговоры, польский военачальник, уже не раз нам встречавшийся на этих страницах гетман Жолкевский, потребовал от казаков, чтобы они по указаниям находившихся в польском войске помещиков выдали всех беглых крепостных, приставших к казачеству. Казаки отказались, и лагерь был взят штурмом со страшным кровопролитием - по одной версии; по другой - были выданы только казацкие предводители с Наливайкой и Шаулой во главе (Лободу перед этим убили сторонники Наливайки), и за это Жолкевский уступил по остальным пунктам.

Восстание Наливайки дает нам уже стереотипную картину казацких "рухов" вплоть до Хмельницкого. Картина очень не сложна и складывается, приблизительно, из таких элементов: прелюдией всегда является запрещение со

стороны польского правительства "национального промысла", страшно дорого обходившегося Польше, так как за каждый набег запорожцев турки платили жестокими репрессалиями по отношению к южным областям королевства: запрещение морского разбоя вынуждает низовых рыцарей искать "хлеба-соли" в другом месте, и они почти инстинктивно, вместо того чтобы спускаться по Днепру вниз к Черному морю, начинают "выгребаться" кверху, в направлении Киева. Здесь они быстро находят себе массу союзников в придавленном новыми хозяйственными условиями крепостном крестьянстве и озлобленном унией мещанстве; начинается борьба "за православную веру" и, фактически, за свободу сельского люда: "посполитые" массами превращаются в казаков. Польское правительство всегда оказывается неготовым, и полуразрушенные замки Киевщины, Подолья и Волыни, с их слабыми гарнизонами, становятся на первых порах легкой добычей восставших. Но проходит несколько месяцев, и на сцене появляется медленно мобилизуемая коронная армия. К этому времени первое увлечение народной массы успевает уже остыть; она начинает смутно сознавать, что у казачества свои интересы, отдельные от посполььства, а казачество начинает так же смутно чувствовать, что превращение всех посполитых в казаков было бы весьма невыгодно для самого казачества. Военные неудачи в столкновениях с польскими регулярными силами поспевают как раз вовремя, чтобы быстро довести этот процесс разложения до конца. Восставшие капитулируют, а польское правительство облегчает эту капитуляцию, стараясь не доводить противника до крайности. Свирепо карая отдельных "здрайцев" (мятежников), оно не стремится уничтожить тот порядок, который создаст мятежи. Остается казачество, верхи которого прямо берутся на коронную службу, остаются панские имения с их барщиной и поборами, остается уния с ее бесконечной церковной склокой. Проходит несколько лет, пары в котле вновь накопляются, и когда правительство Речи Посполитой в вечной заботе о хороших отношениях с Турцией, вновь затыкает клапан, закрывает запорожцам дорогу на юг, происходит новый взрыв.

Нужно отдать справедливость польскому правительству - оно принимало все меры к тому, чтобы казацкая революция стала своего рода perpetuum mobile. Но "вечное движение" на одном месте так же немыслимо в истории, как и в механике. Экономическое развитие автоматически, без чьего-либо сознательного вмешательства, обостряло "классовые противоречия" в деревне - раздувало ненависть хлопа к пану. То же экономическое развитие так же автоматически поднимало значение буржуазии и делало для нее все более невыносимой ту своеобразную форму феодального гнета, которая звалась унией и, как мы видели, через церковь захватывала области, не имевшие ничего общего с религией, мешала ремесленнику работать, а купцу торговать. То же экономическое развитие, наконец, все больше и больше стесняло казачество, стесняло чисто территориально, прежде всего, так как пустых земель становилось все меньше, и панскому фольварку некуда было раздвигаться, не затрагивая казацких хуторов. Захват казацких земель панами стоит на одном из первых мест в жалобе, поданной послами Хмельницкого на Варшавском сейме летом 1648 года. Но и там, где у казаков ничего не отнимали прямо, им становилось тесно хозяйничать: денежное хозяйство все промыслы - и охоту, и рыбную ловлю, и даже "национальный промысел" запорожцев - превратило в выгодные статьи дохода, арендовавшиеся не

хуже церквей и монастырей. Народные песни надолго запомнили, как казаку нельзя было ни рыбки в реке поймать, ни лисичку убить, не заплатив предварительно "жидурандарю", и жалоба на то, что у казаков отнимают "их добычу - татар и татарчат молодых", стоит не на последнем месте в списке обид, привезенном в Варшаву послами Хмельницкого. На последнем месте здесь стоит православная вера... Надежда польского правительства найти среднюю линию среди этой отчаянной борьбы двух крайностей, экономически исключавших друг друга, была полнейшей утопией. И хотя министры и генералы Речи Посполитой, можно думать, искренно желали быть умеренными, объективные условия делали и их радикалами против их воли. Приняв решительную меру, они обыкновенно пугались; сделав два шага вперед, они делали полтора шага назад, но, поминутно запинаясь, жалея о собственном радикализме, они все же наступали на казачество все ближе и ближе и, невольно являясь акушерами истории, делали решительный взрыв все неизбежнее.

В этом наступлении польского "уряда" на казаков вообще и на Запорожье в частности можно насчитать четыре этапа. Первым была попытка создания окончательного казацкого реестра, попытка выделить из жидкой массы казачества некоторый твердый осадок, "настоящих казаков", за которыми и оставить все казацкие права и привилегии, слив остальных с массою "штатского" населения. Эта более алхимическая, нежели химическая, операция имела место после так называемого Куруковского дела - восстания казаков (вызванного, разумеется, запрещением похода на Турцию) в 1625 году. Побежденные на Куруковом озере (около нынешнего посада Крюкова на Днепре), казаки должны были согласиться на то, чтобы казацкое войско было ограничено 6000 человек, внесенных в реестр, которые и получили самоуправление и все казацкие права по части охоты и других промыслов. Остальные, не вошедшие в реестр (выписанные из него, отсюда - "выписчики"), должны были сравняться с "посольством" и быть обезоруженными. Но так как в это время у Польши шла война со шведами, и профессиональные солдаты, какими были казаки, были крайне ценны, то само же польское правительство вербовало выписчи-ков на коронную службу, уничтожая левою рукою то, что оно только что сделало правою. Затем настояния турецкого правительства, все чаще и чаще грозившего войной за казацкие набеги, заставили правительство польское от платонических запрещений набегов перейти к мерам более практическим: в 1635 году в начале Запорожья по планам французских инженеров была построена крепость Кодак, где постоянный польский гарнизон должен был бдительно следить, чтобы ни одна запорожская "чайка" без разрешения начальства не смела пробраться к Черному морю. Первый комендант Кодака вел дело так решительно, что не позволял запорожцам ездить даже на рыбную ловлю. Но при первом же восстании крепость была моментально взята, и это повторялось при всех следующих восстаниях. Бунт Павлюка и Остряницы (1638) дал толчок к следующему этапу. "Ординацией" этого года было упразднено казацкое самоуправление, и казаки были подчинены полковникам, назначенным Речью Посполитой. Влияние этой меры можно оценить по тому, что поведение назначенных правительством старшин было одним из главных предметов жалобы, поданной казаками, восставшими под предводительством Хмельницкого. И, наконец, это был последний удар, видя, что Кодак не помогает, у запорожских

казаков отняли и уничтожили их мореходные суда ("челны"), оставив им только речные рыболовные лодки. После этой меры, которая, по мнению польских политиков, должна была окончательно умиротворить низовое рыцарство, новое общее восстание было совершенно неизбежно.

Восстание Хмельницкого в своем первоначальном периоде не отступало от обычной схемы. Личные обиды Чигиринского сотника, которым так много места отдают историки, в действительности имели очень мало значения рядом с основной обидой, нанесенной запорожскому войску истреблением челнов, закрытием для низового казачества дороги к Черному морю. Польская администрация поняла это сразу, и первое, что предложил королю Владиславу коронный гетман Потоцкий, как только пришли первые слухи о начинающемся в Запорожье движении, - это "позволить казакам выйти в море". Об этом отлично знали и сами казаки: "Была воля королевская, чтобы мы на море шли, - говорили послы Хмельницкого в Варшаве, - и деньги даны нам на челны". Но организовать сразу морскую экспедицию было немыслимо после того разгрома, который произвели сами поляки, и Потоцкий должен был это признать. "В один час этого не сделается, - писал он, - одни челны еще не готовы, другие готовы, но не в таком порядке, чтобы на них можно было в море идти". А запорожцам приходилось выбирать быстро, ибо они оказывались между двух огней. Было два новых условия, обострявших положение так, как этого не было ни в одном из предшествующих "рухов". Первое заключалось в том, что отмена казацкого самоуправления "ординацией" 1638 года временно погасила всякую партийную рознь внутри самого казачества во всем его объеме. Перед лицом назначенных польским правительством полковников не было больше ни "дуков", ни "нетяг" - первым, зажиточному слою, теперь даже больше доставалось, потому что у них больше можно было отнять. Личная история самого Богдана Хмельницкого характерна именно для периода после 1638 года. До того времени этот крупный хуторянин отлично уживался с "лядской неволей" и делал карьеру в рядах реестрового, состоявшего на королевском жалованье, казацкого войска. Но эта карьера была теперь недоступна для него и его сверстников - в старшины попадали теперь не те, кого выдвигало зажиточное казачество, а те, кого хотели видеть во главе казаков польские паны. А история с Чаплинским показала ему, и показывала опять-таки всем его односословникам, таким же крупным хуторянам, как он, что дело идет не просто о "прекращении политической деятельности" для них, что и "уйти в частную жизнь" невозможно - и там достанут польские "урядники" и обидят, когда захотят. Потеряв хутор, и сына, и любимого коня, ограбленный и обиженный, Богдан Хмельницкий должен был понять, что никакая "легальная" борьба с администрацией была невозможна, и, что было важнее, это поняли все. Почти моментальный переход всех реестровых, т. е. всей более зажиточной части казачества, на сторону восстания сам по себе не давал выбора запорожцам.

Другим условием, заставлявшим низовое казачество спешить, был новый фактор, который Хмельницкому удалось ввести в игру. Этим новым фактором была Крымская орда. Дружба крымцев с казаками была очень не новым явлением: еще в 20-х годах польскому правительству приходилось много хлопотать, чтобы расстроить казацко-татарский союз. Но тогда эти отношения больше были использованы ордою, чем Запорожьем. Мы часто видим казаков в Крыму, на

службе той или другой из боровшихся там за власть партий. Но никогда раньше крымцы не приходили на Украину бороться за казацкие вольности. Чтобы поставить дело так, нужна была недюжинная моральная отвага. Было бы наивностью думать, а Хмельницкий совсем не был наивным человеком, что татары даром, из симпатии к казачеству, вмешаются в междоусобную войну. Открытыми воротами в Поднепровье они, конечно, должны были воспользоваться для своего обычного дела, для того, чтобы вернуться в Крым "ополонившеся челядью", как возвращались из похода древнерусские князья "ясыри" (невольники) и (опять как в старое время) в особенности невольницы для крымцев составляли главное, приходили ли они на Русь с Хмельницким или без него, ибо это была главная статья их отпускной торговли. За участие татар в игре приходилось платить несколькими десятками тысяч украинской молодежи, которая пошла на невольничьи рынки Средиземного моря и Малой Азии. И украинцы хорошо запомнили эту сторону войны Хмельницкого: до XIX века дожили песни, полные горького сарказма по адресу того, кто призвал татар на Русь. "Погляди, Василь, на Украину, - говорит одна из таких песен, - вон Хмельницкого войско идет, все парубочки (юноши) да девушки, молодые молодицы да несчастные вдовицы. Парубочки идут - на дудочках играют, девушки идут - песни поют, а вдовы идут - сильно рыдают да Хмельницкого проклинают, чтобы того Хмельницкого первая пуля не минула, а другая ему в самое сердце попала!" Но зато военные результаты достигнуты были этим отчаянным шагом самые решительные: с ордой вместе казаки на первых порах были безусловно сильнее коронной армии. Ни Желтых Вод, ни Корсуни нельзя себе представить без Тугай-бея, начальника вспомогательного крымского отряда. И недаром так ценил дружбу этого татарина "старший войска запорожского", как подписывался Хмельницкий в эту пору. "Тугай-бей, брат мой, душа моя, один сокол на свете, - говорил Богдан во время своей знаменитой беседы с польскими послами (в Переяславле, в феврале 1649 года), - готов все сделать, что я захочу. Вечная наша казацкая дружба, которой всему свету не разорвать!" А когда эта "вечная дружба" дала трещину, когда поляки пообещали хану такой же "ясырь" без всякой войны, Богдан на самом верху своей военной славы, под Збаражем, оказался бессилен и должен был капитулировать на другой день после блестящей победы. До самого союза с Москвой вопрос о том, на чьей стороне татары, был совершенно равносилен вопросу: кто сильнее на поле битвы?

Этот успех дала Хмельницкому не только его дипломатическая ловкость, разумеется. Момент был благоприятный как никогда: Крым переживал тяжелый экономический кризис, богатый "ясырь" выводил орду из тупика, орде, значит, нужна была война. С другой стороны, по мере того, как Польша укреплялась на низовьях Днепра, запорожцы становились регулярным войском на королевской службе, Крым чувствовал у себя на шее врага куда более опасного в будущем, чем казаки. "Лупленье чабанов" казацкой молодежью было дело вполне терпимое сравнительно с возможностью, что татарские "шляхи" будут перехвачены регулярной польской силой. Словом, экономика, и прямо, и косвенно, одинаково толкала крымцев на этот союз. Старые малорусские историки стыдились его. Антонович и Драгоманов весьма неохотно напечатали приведенную нами выше песню и, видимо, не прочь были внушить читателю мысль, что, быть может, она

еще и не подлинная. Новые историки склонны, пожалуй, даже преувеличивать значение факта, и Грушевский, например, видит в татарском союзе главную причину "неслыханного в истории казацких войн успеха" Хмельницкого. Сам Богдан, кажется, лучше видел причины своего успеха, лучше понимал, что татары гарантируют только военную сторону дела, и союз с ними только военный успех, а успеха политического нужно искать иным путем. "Поможет мне вся чернь, - говорил он в том же разговоре с польскими послами, - до Люблина, до Кракова. Как она не изменяла (православной вере), так и я ей не изменю, это - правая рука наша". Причина "неслыханного успеха" в том и заключалась, что на Украине поднялась вся чернь, и только когда союз Хмельницкого с чернью был разорван, ему не оставалось другого выхода, кроме татарского, турецкого, шведского или московского союза*. Войны Хмельницкого с поляками резко распадаются на два периода: демократическую, крестьянско-мещанско-казацкую революцию 1648 - 1649 годов и чисто казацкие кампании последующих лет. Разрыв Богдана с "чернью" служит гранью обоих периодов и в то же время меткой его наивысшего успеха, после этого его влияние идет на убыль как и его слава.

** Это признает и проф. Грушевский но, весьма характерно, он дает этому не объективное объяснение - от несовместимости интересов казаков и "посольства", а субъективное - от неумения Хмельницкого оценить значение народной массы.*

Хлопское движение точно так же было лишь использовано Хмельницким, а началось оно самостоятельно раньше, чем запорожцы и крымцы пришли на Украину, и там, куда они еще и не заходили. Еще Богдан сидел в Запорожье и вел переговоры с сечевиками, а в вотчинах Вишневецкого было больше чем простое брожение: Потоцкий доносил королю, что воевода русский (Иеремия Вишневецкий) отобрал у своих людей "несколько десятков тысяч самопалов", с которыми они собирались идти к Хмельницкому. Движение в Галиции началось задолго до того, как в этих краях показались первые отряды казаков: масса восставшего крестьянства была, наоборот, "авангардом армии Хмельницкого", по словам одного историка*. Организационно этот авангард совсем не был связан с главными силами: от одного из его вождей, Кривоноса, Богдан открещивался не хуже, чем в свое время Лобода от Наливайки. Восставшие крестьяне уже в это время, в глазах казацкого предводителя, были бунтовщиками, которых он не усмирял еще только потому, что они били поляков, значит, в военном отношении, как-никак, ему помогали. Один современный документ рисут нам живую картину этой, не имевшей социально ничего общего с казачеством, украинской пугачевщины. В одном галицийском селе отряды восставших, "разбойницкие хоругви", начали с того, что захватили замок, ограбили его и добром поделились. Потом вернулись на село, одни на телегах, другие пешком, с женами и детьми. Вся эта орда добиралась не столько до личности, сколько до имущества панов. Убегавших помещиков не тронули, но забрали сундуки с их вещами, выпорожнили двенадцать сусеков с мукой, пшеном, горохом, солодом, житом, на лошадях въехали в гумно, забрали и оттуда овес, ячмень, горох, а самое строение разобрали и бревна увезли. А чего не смогли увезти, собрали в огромную кучу на дворе и

зажгли. Это был, собственно, погром, а не вооруженное восстание, но погромщиков было столько, что небольшие отряды польской регулярной конницы были бессильны против них, а главные силы были связаны борьбою с Хмельницким и с татарами. Но движение не ограничивалось деревенскими низами; уже и они имели своих организаторов в лице духовенства. Почти в каждом погроме мы видим в качестве руководителя православного священника. Если верить показаниям одного попавшего в польские руки казацкого шпиона, и высшее духовенство не было движению чуждо: владыка луцкий Афанасий посылал будто бы казакам порох и пули, владыка львовский - три бочки пороху. Один священник говорил рассказчику: "У нас лучше вести, чем у вас, мы один другому пишем, и так вести доходят до самого Киева". Письма важных духовных лиц ходили будто бы по рукам между казаками. Еще сильнее было революционное движение среди буржуазии? Мещане копили тоже порох и пули для казаков, другие портили городские пушки, чтобы помешать обороне против казаков, третьи не останавливались даже перед обещанием зажечь город в случае надобности для той же цели. Львов Хмельницкий взял при помощи тамошних мещан, указавших ему, где идет городской водопровод и как его перерезать. А в то время, как земля всюду тряслась, громадное народное движение разрасталось час от часу. Хмельницкий писал униженные просьбы польскому королю, уверяя его в своих верноподданнических чувствах, и клялся всеми святыми, что только нарушение казацких привилегий и вольностей заставило его, Хмельницкого, взяться за оружие и призвать к себе на помощь крымского хана. Стоит Речи Посполитой уважить законные требования казаков, и все сразу прекратится. А в этих требованиях нет ни звука ни о мещанах, ни о крестьянах, и только православная вера упомянута на самом конце, как бы для соблюдения приличия.

---

* *Томашевский С. Народи, рухи в Галицкой Руси 1648 р. - Записки научного товарищества имени Шевченко, т. 23 - 24, с. 16.*

Требования Богдана Хмельницкого не оставались, правда, на одном уровне за все это время. Первая их редакция, относящаяся к лету 1648 года, не идет дальше ограждения казацких интересов в самом узком понимании этого слова. Первый пункт жалобы, поданной на Варшавском сейме, резюмирует их вес: "Польское начальство обращается с нами, людьми рыцарскими, хуже, чем с невольниками". Казаки протестуют не вообще против тяжести податей, а против того, что подати берутся и с них, казаков, не вообще против непомерно высокого оброка, а против того, что оброк берут с матерей и отцов казацких, хоть их сыновья и на службе, "как с других хлопов"; не вообще против барщины, а лишь против того, чтоб на барщину гоняли "наравне с мещанками" казацких жен; не вообще против стеснений права охоты, а на то, что даже на Запорожье право казака охотиться обусловлено тяжелыми поборами. "И здесь, на Запорожье, не дают нам поков - писал королю Хмельницкий тем же летом, - не обращая m какого внимания на права и привилегии, которые мы имели с вашего королевского величества, вольности наши войсковые и т самих обратили в ничто". В феврале следующего 1649 года м слышим уже другое. Главной причиной зла оказываются уже и польские "урядники" с их злоупотреблениями, а уния - "неволя, горше турецкой,

которую терпит наш народ русский". Уния должна быть упразднена: пусть остаются по-старому греческая вера и римская вера: что принадлежало православным до унии пусть вернется к ним. Воевода киевский чтобы был "русского народу" и православной веры, каштелян тоже, и чтобы они оба как и митрополит киевский, имели место в сенате. К этому прибавляется личное требование, касающееся только Хмельницкого, выдача его ворога Чаплинского, и одно общеказацкое требование, тоже личного характера, чтобы коронным гетманом не был Иеремия Вишневецкий. За полгода перед тем требования были "сословными", казацкими, теперь они становятся национально-религиозными. Причина перемены совершенно ясна: за это время Хмельницкий победителем вступил в Киев, где его встречали "как Моисея", "спаситель и освободителя народа от неволи ляшской", встречала киевская академия и духовенство, как и следовало для полноты картины, одним из восточных иерархов, патриархом иерусалимским, во главе. Движением завладела украинская интеллигенция - буржуазная интеллигенция, ибо и борьба с унией была, как мы видели прежде всего мещанским делом. Но мы напрасно стали бы искали в официальных заявлениях Хмельницкого демократических требований, выражавших настроение той "черни", которая была "правой рукой" Богдана, по его собственным словам. Когда нужно было похвастать своей силой перед польскими послами, "чернь сыграла в последний раз свою роль. Но даже в этой замечательной речи, которую до сих пор сочувственно цитируют украинские историки, Хмельницкий договаривается до обещаний, которые немало удивили бы хлопов, если бы те их услышали. Пообещав сначала, что ни одного князя и ни одной шляхеткой ноги в Украине не останется, Богдан затем и с ними готов был примириться - "пусть с нами хлеб едят", только бы войска запорожского слушали да на короля не "брыкались". Нам еще ни разу не приходилось останавливаться на этой черте "демократическое пролетарской дружины" - ее глубоком монархизме. Хмельницкий не мог представить себе казаков без короля, как его донские собратья не могли бы представить себе Руси без царя всех православных. Королевские привилегии, подлинные или фантастические, составляли, в его глазах, юридическую основу всех его требований. Он непрестанно уверял в своих верноподданнических чувствах и Владислава, и позже Яна-Казимира. Когда последний прислал ему знаки гетманского достоинства - булаву и знамя, - он был этим весьма польщен, не меньше, нежели какой-нибудь варварский король эпохи переселения народов, получивший от императора консульские инсигнии. Победа над королевскими войсками внесла в этот монархизм только то, что Богдан стал чувствовать себя немножко ровней своему владыке: "Хотя плохой я и ничтожный человек, а все же Бог меня учинил единовластием, самодержцем русским". Но даже и в эту минуту, хотя он и пьян был, по собственному признанию, он не забывал, что "король королем будет, чтобы карать и казнить шляхту, дуков, князей, но чтобы был он в этом волен: согрешит князь - отрубить ему голову; согрешит казак - и ему то же сделать". Если у Хмельницкого был какой-нибудь политический идеал, шедший дальше знакомых ему по опыту форм "государственности", то это был идеал не народоправства, хотя бы самого примитивного, а централизованной абсолютной монархии, с военной диктатурой во главе, наподобие той, о которой мечтал Иван Пересветов. Только такие идеалы и могло выращивать Запорожье.

В практической политике он руководился, однако же, даже и не этим идеалом, а просто ближайшими, насущными интересами того класса, который он представлял, - буржуазии казацкой и неказацкой. Когда измена крымского хана под Збаражем поставила на карту все казацкие завоевания, Хмельницкий очень скоро пошел на основное польское требование, которое красной нитью проходит через все переговоры на протяжении этих двух лет - "отступиться от черни, чтобы хлопы пахали, а казаки воевали". Добившись утверждения королем Яном-Казимиром всех казацких вольностей, запорожское войско очень охотно согласилось "вместе с коронным войском, общими силами, как давать отпор всякому пограничному неприятелю, так и усмирять всяческие бунты". И это не были пустые слова. До нас дошло несколько универсалов Хмельницкого, показывающих, что обещание "усмирять бунты", т.е. помогать панам обращать обратно в крепостное состояние только что завоевавших себе свободу хлопов, понималось им вполне серьезно. В этих универсалах "Богдан Хмельницкий, гетман, с войском его королевской милости запорожским" предписывали, чтобы подданные и нереестровые (т.е. не внесенные в реестр казаки - даже и они!) ".панам своим были послушны, как прежде, и никаких бунтов и своевольных поступков не учиняли". А кто вздумал бы учинить какую ни есть кривду, того полковники киевский и черниговский должны были казнить смертью без всякого промедления. Другой универсал предоставляет право смертной казни и самим панам, только под надзором казацких полковников. Причем для вящего вразумления тут прибавляется, что не один мятежный хлоп уже и казнен. Не будем удивляться, что украинский народ в своих песнях так плохо поминает Хмельницкого и так славит полковника Нечая, убитого поляками именно в то время, когда коронные войска явились на Украину снова, чтобы вместе с запорожцами восстановливать порядок.

Украина под московским владычеством

Необходимость иностранной поддержки после разрыва; колебания между Швецией и Москвой - Альтернатива казацко-московского или московско-польского союзов - Хмельницкий и московское самодержавие - Влияние успеха на Хмельницкого; "единовластец русский"; борьба за политическую автономию - Условия договора 1654 года; социальная реакция - Классовая борьба на Украине и московский захват - Обрусение Украины и интересы русских помещиков - "Нобилитация" казацких старшин - Москва и киевская митрополия - Нарушения автономии - Московская демагогия, Самко и Брюховецкий - Андрусовское перемирие - Социальная реставрация - Возрождение крупного землевладения - Его экономические условия - Украинское дворянство первой половины XVIII века - Монастырское землевладение - Земельное ростовщичество - Военный резким и феодализация - Закрепощение казаков

Разрыв с чернью и ненадежность хана, который за хороший "ясырь" готов был продать кого и что угодно, - это после Берестечка* было уже совершенно очевидно, но достаточно ясно было это и под Зборовым, - делали для Хмельницкого неизбежным союз с одной из "великих держав" Восточной Европы. Не считая Польши, с которой Хмельницкий вел войну, таких держав было две:

Московское государство и Швеция. Может показаться, что упоминать эту последнюю страну как возможную союзницу казаков в борьбе с Польшею, - своего рода исторический педантизм, объясняемый суетным стремлением перечислить все "исторические возможности", хотя бы и крайне далекие от осуществления. На самом деле оба союза, с Москвою и со Швецией, объективно были одинаково возможны, и Хмельницкий действительно колебался между ними до последних дней своих, причем в эти последние дни шведский союз был большею реальностью, чем московский. Но он совсем не был новостью. "От шведского короля, - говорил в 1657 году Богдан московскому послу, - я никогда отлучен не буду, потому что у нас дружба давняя, больше шести лет". Начало союза со шведами довольно точно совпадает, таким образом, с Берестечком и с окончательным разочарованием в крымском союзе. Своим скандинавским союзником Хмельницкий был очень доволен: "Шведы - люди правдивые, - говорил он в той же беседе с окольничим Бутурлиным, - всякую дружбу и приязнь додерживают, слово свое держат". Правда, говорилось это не без того, чтобы уколоть москвичей, которые слова своего не додерживали. Но Карл X мог действительно обещать казацкому гетману нечто такое, чего от царя Алексея тот дожидался тщетно: положение вассального государя, "удельного князя киевского", в своих внутренних делах независимого от кого бы то ни было, а по внешнему положению равного герцогу курляндскому или даже курфюрсту бранденбургскому. И такие обещания на самом деле были даны и приняты. В начале 1657 года союз, считавший уже шесть лет фактического существования, был окончательно оформлен. "Изменник" Мазепа мог бы найти весьма авторитетный пример в подтверждение своего образа действий по отношению к Карлу XII. Если, в конце концов, Украина осталась в зоне московской политики и за исключением короткого эпизода при Мазепе никогда не была шведским вассалом, здесь, очевидно, виноват был не Хмельницкий лично. Идеалистическая историография, конечно, всегда готова была дать этому факту субъективное объяснение: русское и православное казачество не могло примириться с зависимостью от иноверного и иноземного государя. Но мы скоро увидим, что представительница православия на Украине, киевская митрополия, с зависевшим от нее духовенством, была самым упорным врагом, какого встречало здесь московское владычество. Что касается русских симпатий Хмельницкого и его товарищей, то не надо забывать, что в рядах сражавшегося с ними польско-литовского войска было сколько угодно русских. Вся шляхта Волыни, Подолии, Польской Галиции и Литовской Белоруссии была русской крови и, по большей части, русского языка; главные деятели со стороны поляков в области дипломатии - Адам Кисель, на поле битвы - знакомый нам Иеремия Вишневецкий, были русские, а первый даже и православный. Казаки и сами заявляли, что считают Киселя "своим", но это нисколько не прибавило ему авторитета в глазах казаков и не помешало его переговорам с Хмельницким кончиться полной неудачей. А в припадках гнева на Москву тому же Хмельницкому случалось говаривать, что он отдастся в подданство турскому царю, и вместе с турками и крымцами будет ходить войною на Московское государство. Хоть и сказанные в гневе, это не были пустые слова. До нас дошла грамота султана Магомета IV (от декабря 1650 года), где Богдан титулуется "голдовником" (вассалом) Турции, в знак чего ему и

жалуется от султана почетная шуба. А уж кто бы, казалось, дальше был от казачества и по национальности, и по вере, и по всему историческому прошлому, чем "неверные" турки? Союзы государств и в XVII веке, как теперь, определялись не симпатиями народных масс, а политическими расчетами руководящих слоев - симпатии же очень легко инсценировались и тогда, как теперь, если руководящим слоям то было нужно. Когда Богдану был нужен московский союз, посланцы царя Алексея отовсюду слышали хвалы Московскому государству и выражения горячего желания "в государеву сторону перейти". Но переговоры и после этого шли не только с Москвой, а и со Швецией, и с султаном, и венгерским правителем Ракочи, и если, в конце концов, ближе всех оказалась все же Москва, то это был результат своего рода "естественного отбора". Почему в этой борьбе союзов московский оказался "наиболее приспособленным", хотя личные симпатии Хмельницкого и руководящих кругов казачества к нему вовсе и не лежали, это становится ясно, когда мы читаем переписку Богдана с Москвой с первых же шагов восстания. В первых же письмах перед нами стоит чудовищный, с точки зрения традиции, образ - польско-московского союза против казаков. Едва узнав о восстании запорожцев, московское правительство сосредоточило под Путивлем 15 000 человек. Формальным предлогом для этого был союз Хмельницкого с крымским ханом и возможность нападения беззастенчивых по части международного права крымцев на соседние русские области. Но казаки этому не верили и говорили, что москвичи "в речи на татар, а более на самих нас хотели ляхам помогать", как писал Богдан (20 июня 1648 года, вскоре после корсунской битвы) Хотмыжскому воеводе кн. Семену Волховскому. Месяц спустя он писал путивльскому воеводе еще прямее: "Не надеялись мы того от вас, чтобы вы ляхам, недоверкам, на нас, православных христиан, на братию свою, помощь войсками своими давали..." Но московское правительство по-своему было право: даже и позднее, когда Украина уже признала московскую власть, беглые боярские люди и крестьяне собирались в глухих лесах целыми ватагами и хотели идти к Хмельницкому, надеясь найти на Украине и землю, и волю. Но в это время московская администрация в союзе и единении с казацкой могла их хватать и вешать, а что было бы делать, если бы казацкое государство стало совсем независимым? На Москве значение того факта, что чернь - "правая рука" Хмельницкого, понимали едва ли не лучше, чем сам Богдан. Поскольку Московское государство было дворянским, а не боярским, оно было ближе к казакам, нежели к польским панам, но поскольку казацкая революция в начальном своем периоде была и крестьянской, она была одинаково страшна и панской, и дворянской "государственности". Хмельницкий должен был дать известный залог своей благонадежности, чтобы в Москве согласились хотя бы разговаривать с ним. В 1653 году, когда запорожское войско дало виденные уже нами блестящие примеры "восстановления порядка", вопрос был только об условиях союза: принципиально дело могло считаться решенным. Но в 1649 году для Москвы разумнее было держаться выжидательной политики, а чем осторожнее были в Москве, тем настоятельнее нужен был Хмельницкому московский союз, или, по крайней мере, благожелательный нейтралитет Московского государства. Как польское восстание 1865 года было раздавлено между Россией и Пруссией, так казацкое восстание XVII века было бы, вне всякого сомнения, раздавлено между

Москвою и Польшей, действуй эти последние вместе. Разъединить их было основной дипломатической задачей гетманов и после Хмельницкого, но те иногда разрешали эту задачу, становясь на сторону Польши, как это сделал Выговский. В разгаре же борьбы с поляками Хмельницкому не оставалось другого выхода, как искать московской дружбы, независимо от того, был он сам другом Москвы или нет. Московский союз был политической необходимостью для казачества, как крымский был необходимостью военной. Находясь в различных плоскостях, они, как это ни кажется на первый взгляд странно, и не мешали друг другу- Получив 27 марта 1654 года в качестве "вечного подданного" царя Алексея жалованную грамоту на город Гадяч, Богдан через три недели, 16 апреля, писал крымскому хану, что и ему присяги он не нарушит "на веки вечные" и сам, и все потомки его. Хана он называет в этом письме "своим всемилостивейшим государем", а насчет московского союза объясняет, что хану нечего от того бояться, ведь всякий ищет "иметь побольше приятелей". Поляки заключили же союз с венграми и волохами, отчего же ему, Богдану, не подкрепить себя, со своей стороны, московской дружбой? Но уже из этого совпадения двух союзов с двумя обычно враждовавшими между собою государями видно, что "подданство" но Украине понималось совсем не так, как понимали его обычно в Москве. В первое время подчинение Украины московскому царю представлялось Хмельницкому в очень своеобразной форме. Мы знаем, что "сильный король" Речи Посполитой был его заветной мечтой. Ему казалось, что когда властная рука сверху обуздает панов, последние сразу притихнут и станут для казаков безвредны. Но у выборных польских государей у самих не было другой опоры, кроме этих же панов, могли ли они обуздать тех, от кого сами зависели? Иное дело, если король будет иметь собственную силу, независимую от польской аристократии, такому королю легко будет справиться с панами. Вот, если бы королем стал государь московский, он бы показал панам, как обижать казаков! "Мы бы желали себе такого государя-самодержца в своей земле, как ваша царская вельможность, - писал Богдан в первом своем письме царю Алексею (8 июня 1648 года), - если бы была на то воля Божия, да твое царское желание, сейчас же, не мешкая, на панство то наступати - мы бы со всем войском запорожским готовы были услужить вашей царской вельможности!" В этом водворении "православного хрестьянского царя" на польский престол руками запорожского войска казацкий гетман (в переписке с Москвой он уже тогда подписывался так, чего еще тщательно избегал, писавши полякам) видел даже исполнение какого-то "предвечного пророчества Христова", хотя едва ли сам сумел бы сказать, где его можно найти. Вначале Москва, так недавно сама избавившаяся от польского царя, относилась, однако же, к "предвечному пророчеству" довольно холодно. За пятнадцать лет перед тем Смоленск не удалось добыть обратно у поляков - где уж тут, казалось бы, мечтать о польском престоле? Только неожиданно блестящие успехи московских войск в начавшейся в 1654 году войне (в первых числах июня сдался первый "литовский" город Дорогобуж, а в августе московские воеводы стояли уже на старой литовской территории, под Могилевом; год спустя московский царь вступал в Вильну и, с благословения патриаршего, стал писаться "великим князем литовским") выдвинули вопрос о польской кандидатуре Алексея Михайловича в область практической политики. Но тут сейчас же и обнаружилось, как близоруки были

надежды запорожского войска. Одна мысль о том, что московский царь, может быть, сделается и королем Польши, крайне ослабила энергию Москвы в борьбе с этой последней. Польские дипломаты систематически манили царя Алексея престолом Речи Посполитой и очень удачно выменивали на эти туманные надежды вполне реальные куски занятой московскими войсками территории. А к Украине будущий православный государь Польши стал так относиться, что Хмельницкому пришлось искать подмоги у Карла X Шведского и Ракочи Венгерского.

** Перед этой битвой (20 июня 1651 года) московский агент доносил из Крыма: "Татары говорят: если поляки окажутся сильнее нас и казаков, то мы против них стоять не будем, а заберем за выход у казаков жен и детей в полон и приведем в Крым".*

Надежды на всемогущего короля-царя, который смирит гордых панов, поблекли у Хмельницкого, впрочем, еще гораздо раньше. Не нужно забывать, что, он по собственному признанию, "сделал то, чего не мыслил". Казацкие восстания до сих пор всегда кончались неудачей, как только на театре войны появлялась регулярная коронная армия. Теперь случилось неслыханное: вся эта армия, с двумя ее главными командирами, гетманами, оказалась в казацком плену. По той же переписке Богдана с царем Алексеем видно, до какой степени самому казацкому предводителю трудно было освоиться с таким неожиданно счастливым оборотом дела: взятие в плен гетманов Хмельницкий прямо приписывает татарам, уменьшая свою военную славу к явной невыгоде для своей конечной цели - союза с Москвой. Ряд новых побед приучил его к тому, что он сильнее, чем мыслил когда бы то ни было. Тон его переговоров с московскими дипломатами становится все увереннее. Москва ему еще очень нужна, но он говорит с нею уже почти как с равным. Вначале он, и бунтуя против Речи Посполитой, не мог себе представить себя иначе, как польским подданным; мы видим, что даже еще в разгаре революции он не переставал уверять короля Яна Казимира в своих верноподданнических чувствах. Но это было в официальных документах, где каждое слово взвешивалось. В застольной беседе, когда языки развязывались, Богдан уже в феврале 1649 года начинает называть себя "единовластием русским". Эта мысль, что он, Хмельницкий, - государь новой страны, независимой казацкой Украины, мысль, которой раньше он сам испугался бы в трезвом виде, начинает сквозить все отчетливее в его внешней политике и в мелочах, вроде подыскивания для своего сына невесты непременно из владетельного дома, хотя бы и не важного, молдавского, сквозит и в крупном - в его договоре с Москвой. "Борони Боже смерти на пана гетмана (ибо всякий человек смертен - и без того не может быть)" - читаем мы в одном из пунктов этого договора: и вы чувствуете, что это не только договор казацкого войска с московским правительством, но и договор двух государей, гетмана Богдана с царем Алексеем. Наиболее полного выражения эта идея достигает в одном из позднейших документов, грамоте Хмельницкого обывателям пинского повета, прибегнувшим к покровительству войска запорожского. Проф. Грушевский справедливо отметил, что в этой грамоте нет ни звука о Москве (если не считать титула - "гетман войска его царской милости запорожского"), и это, без сомнения, характерно для тех отношений, в каких стоял

тогда к московскому правительству гетман, но, может быть, еще характернее обещание пинчанам протекции гетмана с "потомками нашими и всем войском запорожским". Богдан чувствовал себя в эту минуту не только монархом, но и наследственным монархом, несмотря на выборы гетмана, которые он, конечно, признавал теоретически, но это так же мало делало его демократом, как раньше казацкий "республиканизм" мало мешал его верноподданническим чувствам к Яну Казимиру. Конечно, гетмана выбирают, но выбрать должны, разумеется, моего сына - в этой формуле было мало логики, но психологически она понятна.

Защита казачества от панов уступает теперь место защите своей внутренней политической самостоятельности от своих союзников и покровителей. Объективное основание такой перемены не нужно долго искать. Паны были сметены народной революцией так чисто, что когда они понадобились, пришлось их завести заново. Прибегать против них к помощи земного провидения, в образе царя-короля, перед которым все равны, не имело смысла. А московский воевода был реальностью, которую можно было видеть необычайно близко, в соседнем Путивле, откуда этой реальности ничего не стоило передвинуться немного на запад и очутиться в Переяславле или Киеве. Богдан-инсургент 1648 года, может быть, и не поднял бы вопроса о пределах воеводской власти на Украине, не поднял бы, по крайней мере, до той поры, пока не столкнулся бы с этой властью на практике. Богдан-государь 1653 - 1654 годов был подозрительнее и предусмотрительнее. Петиции Хмельницкого царю Алексею, которые юридически, может быть, и не совсем правильно называть "договором", потому что представители московского царя, как известно, отказались по ним присягнуть, к великому смущению казацкой старшины, и носят, прежде всего, этот политически оборонительный характер. Обороняются, во-первых, само собою разумеется, права и преимущества казачества: "сначала изволь, твое царское величество, подтвердить права и вольности войсковые, как от веку было в войске запорожском, которое по своим правам судилось и вольности свои имело, чтоб в именья и суды его ни воевода, ни боярин, ни стольник не вступались, в войсковые суды: пусть товарищество так судит, - где три человека казаков, двое судят третьего". Ближе всего к казачеству стояла шляхта: "скасовав шаблею козацкою" права и привилегии крупного феодального землевладения, польского по культуре, католического по вере, казацкая революция не тронула среднего землевладения, русского и православного: около 300 шляхтичей присягнуло в январе 1654 года царю Алексею вместе с казаками. Естественно было позаботиться и о них. Гетман просил, чтобы "они (шляхтичи) при своих шляхетских вольностях пребывали и между собою выбирали старших на служебные должности (мы знаем, что добиться выборного дворянского суда было крупным успехом литовско-русской шляхты еще до унии с Польшей) и имения свои и вольности имели, как при королях польских было, чтобы и другие, видя такую милость твоего царского величества, стремились под державу и могущую великую руку" московского царя. Сохранение шляхетством своих "добр" в прежнем виде само собою предполагало и сохранение в прежнем виде крестьянских повинностей в этих "добрах", другими словами - крепостного права. Казачество, использовав хлопское восстание в борьбе с Польшей, вовсе не собиралось закреплять результаты этого восстания, ломая традиционный общественный строй Украины. Оно ограничилось тем, что вобрало в себя

экономически более сильные элементы поспольства, увеличив реестр до 60 000, но сохранив его все-таки. Это сохранение реестра, введенного некогда польским правительством против казаков, теперь, когда польское господство было свергнуто, необычайно характерно. Казаки меньше всего желали, чтобы права и вольности войсковые сделались общим достоянием: реестр играл роль новейшего ценза, держа в стороне от власти слишком уже черную чернь. "Можнейшие пописались в казаки, а подлейшие остались в мужиках", - такими словами одного документа XVIII века можно охарактеризовать социальные результаты восстания Хмельницкого. Но, оставив при своих "звичних обовязких" массу поспольства, казачество не могло не позаботиться о своем давнем союзнике - городской буржуазии, "чтобы в городах начальство выбиралось из наших людей (т.е. украинцев), на то способных, которые и обязаны будут управлять подданными твоего царского величества и правильно вносить в казну твоего царского величества следуемые доходы". Все эти "урядники" - "войты, бурмистры, райцы и лавники" - должны были, очевидно, остаться такими же, какими были они при польском господстве; как шляхетство осталось при своих "вольностях", так и города Украины - при своем "магдебургском праве". Но "политической страной" оставалось одно казачество: в случае смерти гетмана нового выбирали не все украинцы, а только одно запорожское войско, притом оно выбирало совершенно самостоятельно, только "извещая его царское величество" - "чтобы не было это для его царского величества тайной". А гетман имел даже право, хотя и ограниченное (Хмельницкий желал неограниченного), сноситься с иностранными государствами. Москва монополизировала только дипломатические сношения Украины с главными московскими соперниками - Польшей и султаном; послов от них гетман не имел права принимать, ни к ним посылать, со всеми остальными он мог сноситься, опять-таки, извещая Москву.

В свое время, в дни казацкого самоуправления, польское правительство играло на противоречиях классовых интересов внутри самого казачества - на вражде "дуков" и "нетяг". Ошибка ординации 1638 года в том и заключалась с польской стороны, что ординация, уничтожив казацкое самоуправление вовсе, на время отодвинула на старый план всякие внутренние казацкие разногласия, и "дуки" выдвинули из своей среды гетмана Богдана. Восстановление казацкой, а не украинской, автономии должно было восстановить и прежние отношения внутри автономного казачества, и московское правительство не хуже польского сумело использовать классовую вражду казацкого верха с казацким низом. Постепенное превращение казацкого государства в московскую провинцию, только управляемую на особых условиях, было ближайшим результатом этого. В трех гетманствах - Выговского, Юрия Хмельницкого и Брюховецкого - процесс был почти закончен. Боярин Брюховецкий был уже не столько "казацким государем", сколько просто наместником государя московского с особыми полномочиями. А к началу XVIII века это положение стало считаться настолько нормальным, что попытка Ивана Мазепы подражать Хмельницкому в деле шведского союза даже для самого казачества показалась настоящей государственной изменой.

Москве необходимо было ассимилировать Украину по той простой причине, что иначе московская "польская Украина" превращалась в бездонную бочку, и основная задача, из-за которой только и стоило вмешиваться в казацко-панскую

войну, - колонизация пристенных южных уездов Московского государства, становилась задачей неразрешимой. В Москве на каждого прибылого черкаса смотрели как на ценную добычу и даже по поводу Хмельницкого одно время питали надежду, что, может быть, он со всем "войском запорожским" перекочует в московские пределы, на Донец, а теперь Украина начала полниться на счет этих самых московских пределов. То явление, которое мы отмечали уже выше, бегство великороссских крестьян в казачину, продолжалось неудержимо и после смерти Хмельницкого. "В это время, - говорит Костомаров о гетманстве Юрия Хмельницкого, - Малая Русь сделалась притоном беглых людей и крестьян из Великой Руси. Из уездов Брянского, Карачевского, Рыльского и Путивльского от вотчинников и помещиков бегали боярские люди и крестьяне в Малую Русь, составляли шайки около Новгорода-Северского, Почепа и Стародуба, нападали на имения и усадьбы своих прежних владельцев, и делали им всякие "злости и неисправимые разорения"*. Любопытно, что интересы "можнейших" и московского правительства в этом пункте совпадали: для казачества и свои "гультяи", просившиеся в его ряды, были не малой докукой. Что же было сказать о тех, кто старался пробраться на Украину из-за московского рубежа? Гетман Выговский (заступивший место Хмельницкого после смерти последнего 27 июля 1657 года) бил челом царю Алексею, чтоб великий государь послал сделать перепись между казаками, написать 60 000 и вперед бы гультяям в казаки писаться было не вольно. Очень хорошо, что решено царских воевод посылать по украинским городам: "Этим в войске бунты усмирятся; да хотя бы государь и в иных городах изволил воеводам быть, то у них бы в войске было гораздо лучше и смирнее; изволил бы великий государь послать в войско запорожское своих воевод и ратных людей для искоренения своеволия"**. Найдя московское правительство в деле "искоренения своеволия" недостаточно энергичным, Выговский ушел к полякам, к тем кто его поддерживал, это достаточно ясно из договора, заключенного им с Речью Посполитой в Гадяче (6 сентября 1658 года). По одной из этих знаменитых "гадячских статей", король обязывался "нобилитовать", возвести в шляхетское звание казаков, которых представит ему гетман, по другой - все уряды и чины в воеводствах Киевском, Брацлавском и Черниговском должны были остаться в руках шляхты. Казацкая старшина и местное дворянство сливались теперь и фактически, и юридически в один класс. В первую минуту Москва так испугалась неминуемой, казалось, потери Украины, что московскому главнокомандующему, князю Трубецкому, было дано полномочие - просто переписать гадячские статьи на царское имя, если Выговский согласится. Но Москва напрасно беспокоилась: если царские воеводы не хотели покончить с "своевольниками", дабы не нарушать необходимого для них на Украине неустойчивого равновесия, всегда дававшего повод для московского вмешательства, то поляки не могли этого сделать. Занятые в это время войной на других театрах, они не в состоянии были предоставить в распоряжение Выговского более 1500 человек коронного войска. С москвичами преемник Хмельницкого справился только при классической помощи татар, лишний раз оправдав поговорку: "За кого хан, тот и пан". Крымцы уничтожили московское войско (под Конотопом, весной 1659 года), но оставить их в стране для "поддержания порядка" не пришло бы в голову самым жадным до шляхетского звания казакам. А между

тем без жандарма они обходиться уже не могли. "Благоразумнейшие из старшин казацких молят Бога, чтобы кто-нибудь или ваша королевская милость, или царь взял их в крепкие руки и не допускал грубую чернь до такого своеволия", - писал польскому королю его генерал, начальствовавший небольшим коронным войском на Украине. Пришлось обратиться опять к Москве, и Выговский уступил булаву сыну Хмельницкого Юрию. Условия, предъявленные Москве при этом случае казацкой старшиною, представляют собой последнюю попытку отстоять казацкую автономию, как понималась она при отце нового гетмана. Мы опять видим перед собой казацкое государство, самостоятельно сносящееся с иными странами, только с ведома своего союзника и покровителя; опять находим просьбу, чтобы царских воевод на Украине не было, разве в одном Киеве. Но в 1659 году выяснились уже кое-какие новые пункты, о которых при Хмельницком еще не думали. Царь русский и православный, принявший под свою высокую руку Украину, именно ради того, чтобы там не терпела больших обид православная вера (это была официальная мотивировка войны с поляками), должен бы, казалось, иметь в малороссийском православном духовенстве своих ревностнейших слуг, главную опору своего влияния. На деле, как только зашла речь о присяге московскому государю украинцев, первые, кто от этого уклонился, были шляхта и дворовые люди митрополита киевского.

** Соловьев. Исторические монографии и исследования, т. 12, с. 170 - 171.*
*** Изд. "Общественной пользы", кн. 3, с. 20.*

Сам митрополит, хотя и признавал свою обязанность "за государево многолетнее здоровье Бога молить", одобрял, однако же, поведение своего вассалитета в вопросе о присяге и упорно избегал личного свидания с представителем московского царя. Такое начало не обещало ничего доброго. И действительно, довольно скоро в Москве узнали, что киевский митрополит и остальное высшее украинское духовенство присылали к Яну Казимиру тайно двоих монахов "с объявлением, что им (митрополиту и другим малорусским архиереям) быть с московскими людьми в союзе невозможно, и они этого никогда не желали; Москва хочет их перекрещивать: так чтобы король, собравши войско, высвобождал их, а они из Киева московских людей выбьют и будут под королевской рукой по-прежнему"* Московские люди, в свою очередь, не оставались в долгу, и первый же московский комендант Киева начал с того, что отобрал часть земли у митрополита и различных киевских монастырей для постройки на этой земле укреплений. Хмельницкому приходилось в одно и то же время искоренять крамолу среди украинского духовенства и защищать это духовенство от слишком круто наступавших на него московских порядков. Приходилось рядом с автономией войска запорожского ставить автономию украинской церкви. Это и выполняли статьи, предъявленные казацкими полковниками князю Трубецкому в Переяславле в октябре 1659 года; малороссийское духовенство должно было остаться таким же выборным, как и казацкая старшина, а в духовном отношении зависеть от патриарха не московского, а константинопольского, к которому привыкли и с которым знали, как ладить. Но единого казачества уже давно не существовало, это и в Москве отлично знали, да этого и старшина в своих пунктах не умела скрыть.

Она сама признавалась, как плоха у нее дома дисциплина, прося, чтобы царь не принимал челобитий из Украины иначе, как через гетмана или его представителя, и чтобы он прислал в распоряжение гетмана московское войско. Но два требования - "не мешайтесь в наши внутренние дела" и "защитите нас от наших внутренних врагов" - взаимно исключали друг друга, и Москва отлично поняла это. Коли гетман не может обойтись без московского войска, чего же он чурается московских воевод? Нужно тебе войско, бери воеводу с ним. "Быть царским воеводам с войском в городах Переяславле, Нежине, Чернигове, Браславле, Умани", - ответили из Москвы на пункт о воеводах. А затем, явно нелогично было ставить гетмана независимым правителем автономной Украины и в то же время признаваться, что без московской поддержки ему не усидеть: тот, при чьей помощи гетман только и может быть гетманом, очевидно, и есть настоящий хозяин Украины. Москва должна же была знать, кого она будет поддерживать. Пусть гетмана выбирают, но под контролем московского правительства, пусть, если угодно, меняют, но только с его разрешения. А что применимо к главе всей казацкой старшины, применимо и к ней вообще: судить и казнить полковников гетман мог, опять-таки, только с ведома и разрешения Москвы. Очевидно, при такой постановке дела, что сношений отдельных казаков и казацких "урядников" с Москвой мимо гетмана никак нельзя было запретить. "Если кто из войска запорожского к царскому величеству без гетманского листа и приедет, то царское величество велит дело рассмотреть, - поучали в Москве казацких депутатов, - и если которые люди станут призжать по своим делам, а не для смут, то царское величество и указ им велит чинить по их делам; от которых же объявятся ссоры, то государь никаким ссорам не поверит и велит отписать об этом к гетману. Так гетман бы ничего не опасался; если же исполнит эту их просьбу, то вольностям их будет нарушенье, этим они вольности свои замыкают". Точно так же, ограждая "вольности" украинского духовенства, в Москве не согласились и на его автономию. "Митрополиту киевскому быть под благословением патриарха московского, потому что духовенство на Переяславской раде приговорило так". А о том, что Переяславская рада 1659 года совещалась, окруженная со всех сторон московскими войсками, обеспечивавшими свободу прений, само собою разумеется, чтобы какие-нибудь смутьяны ее не нарушили, - об этом что же было вспоминать? Ведь сам же гетман просил, чтобы войск царских из Украины не уводить.

** Соловьев, т. 1, с. 1674.*

Москва имела теперь против себя не только верхи казачества, но и украинскую буржуазию, ибо западнорусская церковь, как мы видели, была прежде всего буржуазной организацией. За это московское правительство поплатилось еще одной военной неудачей: благодаря тому, что и Юрий Хмельницкий, подобно Выговскому, вынужден был "изменить" и присягнуть королю, повторился Конотоп, и даже в увеличенном масштабе. В октябре 1660 года вся московская украинская армия под командой Шереметева при Чуднове (около Житомира) должна была положить оружие. Но политически Москва вела беспроигрышную игру: чем резче проявляли свою антипатию к московскому режиму верхи, тем преданнее были низы Москве. А единственная опора верхов после "измены",

польское войско, оказалась так же слаба при Юрии Хмельницком, как и при Выговском: на другой день после Чуднова татары (без которых и здесь, конечно, не обошлось) ушли, а коронное войско, не получая жалованья, стало бунтовать. Старшина опять, волей-неволей, начала думать о примирении с Москвой; и на раде, где не было черни (как наивно объясняли собравшиеся, чтобы избежать чересчур больших расходов), был выбран гетманом Самко, дядя постригшегося в монахи Юрия Хмельницкого, тотчас же начавший уверять царя Алексея в свой преданности. Но для Москвы подобные союзники были уже не нужны: это была пройденная ступень, и простого повторения истории Выговского теперь было мало. Нужно было нанести старшине такой удар, после которого ей осталось бы только сдаться на милость победителю. Предлог же не утвердить Самка гетманом - что без утверждения московского государя гетманом быть нельзя, об этом теперь уже не спорили - был превосходный: гетмана должно выбирать все казачество, "как старшие, так и меньшие", а где же эти последние? Кто их видел на выборах Самка? Повести на этой почве демагогическую агитацию было крайне легко, и весьма скоро мы находим депутатов от запорожской черни в очень дружеских разговорах с московским воеводою князем Ромодановским, тут же, при них, третировавшим Самка и его сторонников. Депутаты эти, подпив, откровенно говорили, что они "сошлись затем, чтобы перебить городовую старшину, которая обогащается на счет простого народа"*.

** Костомаров, ibid., с. 280.*

Под видом демократической, "черной", рады подготовляли, таким образом, просто погром старшины казацкими низами, и программа эта была выполнена как не надо лучше. Казацкая демократия выдвинула кандидатом в гетманы Брюховецкого, который сразу стал и официальным кандидатом московского правительства: царский представитель разбил свой шатер рядом с его ставкой, и Самко со своими сторонниками должен был идти во вражеский стан для того, чтобы принять участие в выборах. "Их кармазинные, вышитые золотом жупаны, богатые уборы на конях составляли противоположность с сермяжными свитами и лохмотьями пеших, обнищалых, разоренных сторонников Брюховецкого, сбежавшихся отовсюду на добычу". Оставшаяся еще на стороне Самка часть черни, увидав своих у Брюховецкого, стала массами покидать кандидата старшины. Самка прогнали с места выборов - не без содействия и московских войск, а потом отпраздновали свою победу грандиозным грабежом всех его богатых сторонников, которых тут же, на раде, ободрали догола. "Брюховец-кий исполнил свое обещание, которое сообщали черному народу его пособники: он дозволил грабить богатых и потешаться вообще над "знатными" в течение трех дней. По этому дозволению безобразное пьянство, грабежи, насилия продолжались три дня; "знатных" мучили беспощадно, никто за них не взыскивал, все обращалось в шутку, - говорит самовидец. - Все имение тех, которые сидели в замке под стражею, было расхищено, так что у них во дворах не осталось ровно ничего. Худо было всякому, кто носил кармазинный жупан; иных убивали, а многие тем спасли себя, что оделись в сермяги"*. На место ограбленных, убитых и казненных - к числу последних принадлежал сам Самко с ближайшими сторонниками, -

поставлена была новая старшина, полковники "из гультяйства запорожского", которые из "голоты" ставши начальниками, прежде всего стремились материально использовать возможно скорее доставшуюся им - бог весть, надолго ли? - власть и от того "имеяху всегда на мысли разграбление". Главные вожди "черной" рати были пожалованы дворянами московскими, а их начальник Брюховецкий стал боярином. За такую царскую милость нельзя было не отблагодарить, и новый гетман ударил государю челом - всей Украиной приехав в Москву, просил, чтобы великий государь пожаловал, велел малороссийские города со всеми принадлежавшими к ним местами принять и с них денежные и всякие доходы сбирать в свою государеву казну, и послать в города своих воевод и разных людей. А насчет церкви Брюховецкий оказался радикальнее самой Москвы - прямо предложил, чтобы киевским митрополитом был "святитель русский из Москвы". Московский государь нашел, что это уже слишком, и пообещал только снестись об этом с патриархом константинопольским.

** Ibid.,c. 295,301 - 302.*

Мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что этот демократический гетман отсутствие "сепаратизма" выкупал какими-либо социальными новшествами, проведенными ценою уступок Москве. Ничуть не бывало. В этом отношении Брюховецкий решительно ничем не отличался от своих предшественников. Отдавая московскому царю доходы с украинских городов, он и себя не забывал. Вдобавок к Гадичу - гетманскому домену со времен Хмельницкого, он просил себе еще в личное, не по гетманской должности, наследственное владение целую "сотню" (волость) в Стародубеком полку, да еще мельницу под Переяславлем. Всем полковникам своим новый гетман выпросил по селу. И, наконец, не довольствуясь московскими войсками, которым теперь и не суждено было уходить из Украины, хлопотал об организации постоянной гетманской гвардии "из московских людей": "Без таких людей мне никакими мерами быть нельзя в шаткое время - меня уже раз хотели погубить, да сведал вовремя", - говорил он приставленному к нему московскому дворянину Желябужскому. Москва могла быть довольной - несмотря на полный разгром старшины Брюховецкий не остался без противников. Буржуазия с духовенством во главе ненавидела новую старшину и боялась ее. Боярин Шереметев писал из Киева: "Теперь епископ, архимандрит печерский и всех малороссийских монастырей архимандриты и игумены, и приходские попы с мещанами в большом совете и соединении, а с гетманом, полковниками и казаками совету у них мало за то, что гетман во всех городах многие монастырские местности, также и мещанские мельницы отнимает, да он же, гетман, со всех малороссийских городов, которыми великому государю челом ударил, с мещан берет хлеб и стацию большую грабежом, а с иных за правежом". А Брюховецкий на вопрос, чем успокоить "шатость" в малороссийских городах, отвечал: "Одно средство - когда эти города будут взяты государевыми ратными людьми (после бунта, подразумевалось), то надобно все их высечь и выжечь, и всячески разорить, также и села около них, чтобы вперед в этих городах и селах жителей не было"*. При таких отношениях вождя голоты и зажиточного мещанства (включая сюда и зажиточных казаков, проживавших в городах, которые

теперь охотнее писались мещанами, чем казаками), пожива для московской дипломатии оставалась богатая.

** Соловьев, ч. 3, с. 151, 158.*

Если этой дипломатии пришлось по Андрусовскому перемирию (1667) отказаться от целой половины захваченной было добычи, от всей правобережной Украины, кроме Киева, в этом виноваты были не внутренние украинские условия, а те тиски, в которые извне схватили Москву с севера шведы, с юга турки, призванные правобережным гетманом Дорошенком. Чего стоила Московскому государству тринадцатилетняя война, мы увидим в следующей главе: начинать новую кампанию с противниками посильнее расшатанной казацкими и крестьянскими восстаниями Речи Посполитой думать не приходилось. Оставалось пользоваться тем, что в тех же тисках была и сама Польша, но предложение - поделить Украину Днепром, и тем покончить спор - шло из Москвы. И даже уступка Киева была для московских дипломатов приятным сюрпризом: "Свыше человеческой мысли", - писал об этом нежданном приобретении Ордин-Нащокин. Насколько Москве был нужен мир, видно из того, что она не отказалась заплатить бывшим польским помещикам Левобережной Украины за их "скасованные козацкою шаблею" права, правда, не совсем по их оценке: паны желали получать по 3 миллиона золотых в год, а московский государь отпустил им один миллион единовременно. Но принципиально конфискация латифундий Вишневецкого и других магнатов была все же не без выкупа.

К этому времени, впрочем, не было уже недостатка в новых магнатах: крупное землевладение возродилось так же быстро, как и пропало. Об имениях гетманов, не уступавших Конецпольским и Вишневецким, мы уже не раз упоминали мимоходом. Но за гетманом шла и остальная старшина. "...Пожалуй меня, подданного своего, - бил челом царю Алексею нежинский полковник Василий Золотаренко (март 1660 года), - и их, ясаула Леонтия Бута и сотников Романа и Филиппа, за их к тебе, государь, верную службу, и за раденье, и за давнюю и за нынешнюю работу: вели, государь, им дать вновь - Леонтию Буту, ясаулу, сельцо Киселевку и Адамовку... а крестьянских дворов в них с сорок, опричь казаков... сотника Романа в Нежинском полку селом Кистер... а в нем крестьянских дворов, опричь казаков, со сто; глуховского сотника Филиппа селом, называемым Гремячи... и в том селе крестьянских дворов с шестьдесят, опричь казаков...". Брюховецкий в то время, когда еще он не был гетманом, а был в оппозиции и обличал неправды Самка и его друзей, говорил московскому посланнику Ладыженскому: "У нас в войске запорожском от века не бывало того, чтобы гетманы, полковники, сотники и всякие начальные люди без королевских привилегий владели мещанами и крестьянами в городах и селах, разве кому король за великие службы на какое-нибудь место привилей даст: те только и владели. А гетманской, полковницкой, и казацкой, и мещанской вольности только и было, что если кто займет пустое место земли, лугу, лесу, да огородит или окопает, да поселится со своею семьей - тем и владеет в своей городьбе; а крестьян держать на таких землях, кто сам собою занял, никому не было вольно, - разве позволялось мельницу поставить; да и вином в чарки казаки не торговали: одни мещане

торговали тогда и с того платили королю или панам, за кем кто жил... А теперь гетман, полковники и прочие начальные люди самовольно позабирали себе города, и места, и пустовые мельницы, а черных людей отяготили так, что под бусурманом в Царьграде христианам такой тягости не наложено"*. Характеристика тех экономических условий, которые, в свою очередь, "скасовали" завоевания казацкой сабли на Украине во второй половине XVII века, так хорошо сделана одной новейшей исследовательницей, что мы можем воспроизвести эту характеристику здесь дословно, с небольшими оговорками, читатель увидит, какими. "Хлеб, почти единственный продукт южной полосы края, не имел сбыта ни внутреннего, так как население, вообще говоря, не нуждалось в покупном хлебе, ни внешнего: хлеб, по своей дешевизне и по затруднительности транспорта, не выносил сколько-нибудь отдаленной перевозки. Чтобы обратить хлеб в деньги, необходимо было его переработать. И вот, первою страстною заботой каждого пана стало всеми правдами и неправдами завладеть возможно большим числом мельниц и мест, для них удобных, а затем и понастроить винокурен с возможно большим 1 Памятники, изданные Киевской археологической и географической комиссией, т. 3, с. 425; Костомаров, цит. соч., с. 284. 62 числом казанов, т. е. винокуренных котлов. Свобода винокурения, предоставленная московским правительством украинскому народу, была такой важной привилегией, что, конечно, та более обеспеченная часть населения, которая могла извлекать из этой привилегии непосредственные выгоды, дорожила ею не менее, чем всеми своими политическими правами и преимуществами. Водка распродавалась и на месте по шинкам, выдерживала и отдаленную перевозку; паны даже брали ее для распродажи с собой в походы, и куда бы случайности войны ни загоняли наших воинов - всюду находил себе рынок этот ходкий товар. Вторым предметом торговых оборотов был скот, главным образом, волы, которые так отлично выпасались "вольны, не хранимы" на безграничном свободном степу. Скот гоняли в Москву, в Петербург, гоняли и за границу. Главными заграничными местами были Гданьск и Шленск (Данциг и Силезия). Иной хозяйственный склад представляла северная полоса края, собственно, так называемый Стародубский полк. Здесь имело место разведение промышленных растений, главным образом конопли, более скудная почва, песчаная и болотистая, покрытая лесами, давала побуждение искать в земле иных источников дохода. Предприимчивость обратилась на устройство руден (заводы для добывания и обработки железной руды), буд (поташных) и гут (стеклянных заводов); бортное пчеловодство, исконный местный промысел, также обратило на себя внимание панов, которые стали захватывать в свои руки борти. Уряды Стародубского полка, в особенности, конечно, стародубское полковничество, стали считаться завиднейшими из урядов. Пунктами сбыта, в особенности для пеньки, служили Рига и Кенигсберг. Наконец, для всего края издавна были проторены торговые пути на юг, в Крым, куда также находили свой сбыт различные продукты и откуда вывозилась, главным образом, соль"*.

** Ефименко А. Малороссийское дворянство и его судьба // Вестник Европы, 1891, август.*

К середине XVIII века крупное землевладение на Украине если и уступало по размерам имениям прежних польских магнатов, то с вотчинным землевладением "Великой России" смело могло помериться. В одном списке малороссийской старшины, от начала царствования Елизаветы Петровны, мы находим Андрея Полуботка, владеющего 1269 дворами, Кочубеев с 1193 дворами, Галаганов и Лизогубов - с тремя-четырьмя сотнями дворов. Все это - потомство гетманов, полковников, судей, есаулов и других казацких начальных людей; с другой стороны, и старшина XVIII века сплошь состоит из крупных землевладельцев, за одним "генеральным судьею", Горленком, числится 232 двора, за другим, Лисенком, даже 415, за "подскарбием енеральным", Скоропадским, 405 дворов. Казацкая Украина Хмельницкого за сто лет успела превратиться в такую же дворянскую страну, какою было Московское государство XVII века. Правда, это дворянство не было настолько старым, чтобы его генеалогию можно было возводить до времен мифических, и, по словам малороссийского генерал-губернатора Румянцева, когда два украинских шляхтича начинали считаться знатностью, один у другого без большого труда находил в предках "мещанина, либо жида". Но деньги все исправляли - и какой-нибудь мелкий торговец-грек, ходивший по Украине с коробом на спине, по заказу его правнука легко превращался в знатного греческого выходца, ведшего свой род чуть не от Палеологов. Сказочно быстрый рост новых латифундий на почве, довольно основательно нивелированной революцией, дает нам зато великолепный случай наблюдать образование крупной земельной собственности без всякой помощи феодальной традиции. Лишь в очень редких случаях украинское крупное землевладение второй половины XVII века было простым продолжением того, что было до хмельничины. Таковы были, главным образом, церковные имения. Уже сам Богдан очень заботился о том, чтобы в них все оставалось по-старому, и чтобы Православная Церковь от революции только выиграла, ничего не потеряв. В одном документе 1652 года гетман требует, чтобы казаки, поселившиеся на землях Никольского пустынного монастыря в Киеве, обязательно отбывали в пользу владельца земли все те повинности, на которые игумен монастыря показывал Хмельницкому "листы, права и привилеи давние", выданные еще польскими королями: там, в остальной Украине, как хочешь, а в монастырских имениях все должно было быть так, как при "ляшской неволе". Но в громадном большинстве случаев, "права и привилеи" приходилось создавать заново. Самым простым средством создания новых имений было, конечно, ростовщичество - средство классическое и универсальное, одинаково знакомое как античной Греции и античному Риму, так и современной России. Вот один случай, приводимый как типичный пример несколькими историками. Один из Лизогубов дал казаку Шкуренку в долг 50 злотых (10 рублей) и взял у него "в арешт" его "грунтик". Казак имел чем заплатить в срок, у него был скот, который он специально "выготовил" для продажи, но Лизогуб принял меры, чтобы его должник не мог вовремя достать денег и оказался, таким образом, неисправным. Когда пришел срок, он попросту арестовал Шкуренка у себя на дворе и держал две недели - тот скота продать и не смог. А затем управляющий Лизогуба оценил казацкий "грунтик" и отвел несчастного владельца к конотопскому попу, который и написал от имени Шкуренка купчую на имя Лизогуба. Вырвавшись, наконец, на свободу,

злосчастный казак прежде всего поспешил достать денег и принес их "пану", но пан сослался на купчую и заявил, что земля теперь его, панская, казаку на ней делать нечего*. Рядом с этим универсальным способом применялись и украинские. Превратив Украину в военный лагерь, хмельничина все управление поставила на военную ногу: полковники и сотники совмещали в своей округе все власти в своем лице - и судебную, и исполнительную, и даже законодательную. Как всеми этими полномочиями пользовалась старшина уже во времена, весьма недалекие от Хмельницкого, показывает такой рассказ о полтавском полковнике Витязенке, относящийся к 1667 году. Тот полковник "Козаков многих напрасно зневажает, а иных и бьет напрасно; а жена де его полковникова жон козацких напрасно же бьет и бесчестит. А кто де, казак или мужик, упадает хоть в малую вину, и их де полковник животы все, и лошади, и животину, емлет на себя. Да он же со всего полку согнал мельников и заставил на себя работать, а мужики де из села возили ему, полковнику, на дворовое строение лес и устроили де от себя дом такой, что де у самого гетмана такого дому и строения нет". Витязенко грабил, преимущественно, движимость, но это был его вкус: другие полковники при подобных же условиях отбирали и земельные участки**. Кроме того, каждый "уряд", каждая войсковая должность давала право на известные натуральные повинности крестьян - вначале небольшие: помощь при покосе, перевозка зерна на мельницу (мельницы были весьма обычным натуральным вознаграждением за службу) и т.п. Но при полном отсутствии контроля легко было сделать из этих повинностей каторгу, заставлявшую население разбегаться куда глаза глядят. "Обнявши они селцо Хмелевку в подданство, - жаловались крестьяне на одного из подобных панов, - немерными и несносными работизнами и податками нас утеснили для того, чтобы мы по слободкам расходились, а ему чтобы грунта наши и дворы остались, яко с десяти тяглых человек один только остался человек; прочие по слободам, оставивши свои оседлости, мусели (должны были) разволоктися".

** Целый ряд других примеров см. в назв. статье Ефименко, ibid, с. 532.*
*** Лазаревский. Очерки, т. 1, с. 94 и др.*

Как видим, в большинстве случаев речь шла не только о земле, а о земле плюс повинности сидевших на ней крестьян. Возрождалось, как мы уже упоминали, не только крупное землевладение, а и крепостное право. И это возрождение крепостного права началось еще во время Хмельницкого: его послы в Москве, Зарудный и Тетеря, выпрашивая себе имения, желали, чтобы они "были вольны в своих подданных, как хотя ими урежати и обладати". Дискреционная власть казацкой старшины не только над военным, но и над штатским населением своего околотка, над "посполитыми", чрезвычайно облегчала создание нового подданства в пользу новых панов - мы уже видели достаточно примеров этого. К началу XVIII века почти все повинности и поборы с посполитых, существовавшие перед восстанием Хмельницкого, действовали снова в полной силе*. Гораздо любопытнее, что и процесс закрепощения казаков, начатый Вишневецкими и их собратьями в конце XVI века, после небольшого перерыва продолжался с прежней интенсивностью. Закрепощение было здесь, прежде всего, неизбежным спутником

обезземеления: лишенный земли казак не имел возможности отбывать военную службу и уже тем самым падал до положения посполитого, из шляхтича второго сорта становился мужиком. С чрезвычайной простотой и выразительностью обрисовано это превращение в одной купчей начала XVIII столетия. "Мы, нижепоименнованные, чиним ведомо сим нашим писанием, - читаем мы здесь, - что хотя покойные отцы наши, а по них и мы, козацко, аже посполито служачи, воинскую повинность до сих времен отбывали, однако же теперь, до крайнего убожества и скудости пришедши и не будучи в силах впредь службы козацкой отбывать, продали мы его милости Игнатию Галагану, полковнику прилуцкому, дворовую землю нашу, на которой хаты наши построены, где мы, продолжая жить, обязываемся служить пану полковнику посполито, а не козацко и всякие повинности отбывать, и на будущее время неповинны уме будем ссылаться на наш козацкай чин, чего ради и сие наше писание до рук его милости пана полковника прилуцкого выдаем". Мы не знаем, дожидался ли этот Галаган естественной смерти казацкого звания у своих будущих подданных, но у одного из его родственников на это не хватило терпения, и он посылал своих "куренчиков" (нечто среднее между вестовыми и вассалами, но у нового панства были и настоящие вассалы, называвшиеся по-старому "боярами") "с оружием, как надлежит воинскому человеку, по козачьим дворам и дворы их разорял: в хатах двери и окна снимал, забирал скот и взятым скотом - лозу, колоду дерева, что найдет во дворе и что ему понадобится в свой двор перевозить приказывал. А кто с того принуждения ему, Галагану, быть подданным подпишется, тому все забратое возвращается".

** См. их перечень по данным Малороссийской коллегии и Верховного тайного совета, приводимый Л. Ч. в его статье "Украина шсля 1654 року". - Записки научного товарищества имени Шевченко, т. 30, с. 38.*

Глава X. Петровская реформа

Торговый капитализм XVII века

Традиционное представление об "европизации России" - Параллелизм русского и западного культурного развития XV - XVII веков - Военно-финансовая схема реформы - Ее экономическая основа - Московская торговля XVII века; ее некапиталистический характер вначале - Московское ремесло: его средневековые особенности - Вторжение европейского торгового капитала - Русско-нидерландская торговля - Хлебный рынок в начале XVII века - Московское государство как голландская "хлебная колония" - Голландские проекты и местный торговый капитал - Концентрация капитала на почве главным образом заграничной торговли; царские монополии - Торговля шелком и ее назначение - Роль гостей - Западные приемы торговой конкуренции: почта - Массовый характер заграничного ввоза - Влияние торгового капитализма на внешнюю

политику: Рига и Архангельск, коммерческие интересы на Балтийском море и Северная война - Балтийская торговля и комбинация держав в начале XVIII века.

В очень старые времена тот культурный переворот, который пережило Московское государство на пороге XVII - XVIII столетий, рассматривали исключительно, так сказать, с педагогической точки зрения: Россия "училась". Запад "учил", мы стали "учениками" Западной Европы. Что нас сделало учениками, было ясно само собой: любовь к просвещению. "Ученье - свет, неученье - тьма"; пока свет был от нас закрыт, пока русские люди не видали просвещенной Европы, они еще могли коснеть в своем невежестве. Но вот русские стали ездить за границу (при этом всегда рассказывалось несколько анекдотов, показывающих, какие они тогда были смешные), иностранцы стали ездить в Москву, а так как речь шла о просвещении, то из иностранцев на первый план выдвигались врачи, аптекари, художники и техники всякого рода; мало-помалу началось "культурное взаимодействие", благополучно приведшее при Петре к тому, что московские дикари, сбрив волосы, естественно росшие у них на подбородке, увеличили запас волос на голове большой искусственной накладкой в виде кудрявого, волнистого парика. В то же время они построили флот и завели сначала элементарные школы, а потом и Академию наук, после чего в Россию стали приезжать уж не только аптекари и врачи, но и светила европейской науки.

Тем читателем, которые скажут, что это - грубая карикатура, мы можем посоветовать заняться изучением многочисленных писаний покойного Брикнера, несомненно, лучшего знатока "культурного взаимодействия" России и Европы петровских времен, какого только имела русская наука. Там обширный - и иногда очень ценный - фактический материал объединен именно этой точкой зрения, и популярная русская историография довольствовалась ею чуть не до вчерашнего дня. Не очень далеко от этого наивного школярства ушел даже Соловьев, и первый шаг к действительно научному пониманию "европеизации России" был сделан - довольно редкое событие - историком литературы. Раньше других Н.С. Тихонравов в нескольких строках своей знаменитой рецензии на "Историю русской словесности" Галахова наметил параллелизм русского и западного культурного развития XV - XVII веков. Те же литературные темы, те же идейные тенденции сами собой наводили на мысль, что мы имеем здесь не заимствование, а сходство самостоятельных, оригинальных переживаний, вернее, что внешнее заимствование, только благодаря этому внутреннему сходству, и было возможно. Тихонравов не нашел непосредственных продолжателей на этом пути, а сам, по обыкновению, не развил мимоходом брошенных им замечаний. Но скоро уже и "русским историкам", в тесном смысле этого слова, уподобление Московской Руси гимназическому классу стало казаться слишком пресным. И так как туманная метафизика, в которую спасались от этой пресноты Соловьев и Чичерин, тем временем вышла из моды, пришлось искать конкретных, осязательных корней европеизма в московской почве. Ученикам Соловьева и Чичерина вполне естественно было начать эти поиски с того конца, который был ими лучше всего изучен, - с "государственности". Объективная необходимость переворота впервые была демонстрирована как необходимость военно-финансовая. Россия должна была стать Европой потому, что иначе она не могла бы выдержать конкуренции с

европейскими государствами - так можно вкратце резюмировать новую схему. Внимательный читатель уже уловил, что в этой схеме осталось от чичеринско-соловьевской метафизики. Заранее предполагалось, что Россия для чего-то должна существовать, что в этом одна из целей мирового процесса. Но пока план этого последнего нам неизвестен, и есть даже большие основания сомневаться в самом существовании этого плана, - объяснение висит в воздухе. Оно напоминает известную тавтологию. Россия уцелела, потому что сумела стать Европой, а Европой она стала для того, чтобы уцелеть: опиум усыпляет, потому что он обладает усыпительной силой, а не будь в нем этой усыпительной силы, он не был бы опиумом. Но вот, столетие спустя, Польша не сумела стать централизованной бюрократической монархией и оттого погибла, говорят нам те же историки; отчего же Польша не могла стать тем, чем ей было нужно, а Россия могла? Почему опиум обладает усыпительной силой? Ощупью дойдя до границы как раз тех фактов, которые помогли бы сорвать завесу с тайны, новая схема, схема Ключевского и Милюкова, тут именно и останавливалась. Правда, чтобы научно обосновать дальнейшие шаги русской академической историографии, пришлось бы выйти из заколдованного круга, в котором она вращалась до 90-х годов прошлого столетия: пришлось бы перестать быть историей приказов и канцелярий и стать историей народного хозяйства. Мало того, ей пришлось бы даже выйти за географические рамки своих привычных тем, так как ключа к петровской реформе - читатель это увидит ниже - приходится искать, в конечном счете, в условиях европейской торговли XVII века. Именно эти условия и дают ответ на знаменитый вопрос г. Милюкова: что сделало неизбежным появление России в кругу европейских государств того времени? Но самая форма вопроса, взваливающая заботу о его разрешении на кого-то другого (по-видимому, на соседей автора по кафедре - "всеобщих" историков), ясно показывала, как, всего 15 - 20 лет назад, склонны были люди довольствоваться той истиной, что опиум действительно обладает усыпительной силой. Понадобилась помощь со стороны кафедры, по-видимому, не предусматривавшейся в числе союзников г. Милюковым, когда он писал о государственном хозяйстве России в эпоху Петра Великого. Лет шесть спустя после появления его книги, в одной диссертации по политической экономии впервые было определенно указано на торговый капитализм как экономическую основу петровской реформы. Это был один из первых случаев влияния идей Маркса в той области, которая до тех пор была в безраздельном владении исторического идеализма в различных его ипостасях.

Исследование г. Туган-Барановского по истории русской фабрики - читатель уж догадался, что речь идет о нем, - лишь очень немногими, общими штрихами нарисовало картину допетровской экономики. Автор, видимо, спешил покончить с этим отделом и перейти к дальнейшим, более для него интересным, а для XVII века ограничился простой констатацией факта, беглой и поэтому даже не вполне точной. Выписав замечание Килъбургера, что все русские, от высших до низших, любят торговлю, и что в Москве больше лавок, нежели в Амстердаме или даже в целом ином государстве, он опустил дальнейшие слова того же автора: "Мы не будем отрицать, что эти лавки малы и ничтожны по своим оборотам: мы хотим только доказать, что русские любят торговлю, и не делаем никаких сравнений - иначе пришлось бы согласиться, что из одной амстердамской лавки можно сделать

десять и даже больше московских"*. Если бы он привел цитату до конца, и ему, и его читателям было бы ясно, что это место в пользу его тезы еще ничего пока не говорит, и что от такой чисто ремесленной и типично средневековой формы торговли еще очень далеко до торгового капитализма. Нужно прибавить, что именно слабое развитие этого последнего в России того времени - Кильбургер писал около 1674 года - и заставило взяться за перо шведского автора: основная идея "Краткого сообщения о русской торговле" в том и состоит, что в "Московии" налицо все, что нужно для крупной торговли европейского типа, а ее самой-то вот и нет, - по тупости московитов. А так как в то же время они производили на Кильбургера впечатление людей необыкновенно коварных и искусившихся во всяких мошенничествах, то добрый швед останавливается в совершенном недоумении перед этой загадкой и приводит такой образчик хитрости и тупости русских, в одно и то же время, при виде которого ему самому остается только развести руками. Именно, часто бывает, говорит он, что русские, выменяв у немцев на свои товары заграничные материи, атлас или бархат, "тотчас же снова продают это какому-нибудь немцу, и так дешево, что их без убытка можно снова послать в Гамбург или Амстердам". Предшественник - и, во многом, источник для Кильбургера - рижский купец и шведский комиссар де Родес, писавший на 20 лет раньше, приводит другой пример такой же хитрой тупости, отлично поясняющий первый. Русские, говорит де Родес, крайне упрямо стоят на своей цене и не стесняются тем, что из-за своего упрямства иногда пропускают сезон: бывают случаи (де Родес приводит один такой), что им из-за этого удается сбыть товар только на пятый год. Если бы они с самого начала уступили за ту цену, которую предлагали им иностранные купцы, то эта сумма, с процентов за пять лет, была бы выше той, которую они требовали, "но они не считают процентов, пропадающих из-за того, что капитал лежит у них без движения". В противоположность капиталисту, русский купец XVII века не гнался за прибылью не по бескорыстию, а потому, что не имел этого понятия: прибыли на капитал. Он стремился выручить то, что казалось ему "справедливым" вознаграждением за труды и хлопоты по доставке товара на рынок. Оттого привезенный из Персии шелк он ценил очень высоко, не соображаясь с тем, что цены на европейском шелковом рынке зависели от цены шелка, привезенного морем, через Турцию. А купленные на месте, в Архангельске, атлас или бархат не стоили ему никаких хлопот, и он спешил сбыть их, за что попадется, чтобы поскорее выручить некоторое количество наличных денег, в которых этот типичный средневековый торговец чувствовал живую нужду.

** Ср. в другом месте: "Большая часть (московских) лавок так малы и узки, что продавец еле может повернуться среди своих товаров".*

Итак, внутренняя, а отчасти даже и заграничная торговля Московской Руси носила еще ремесленный характер, почти такой, какой носила она в Руси Киевской*. Это вполне отвечало общей физиономии московской экономики. Мы видели, что в деревне этой поры решительно брало верх мелкое хозяйство крестьянского типа**; в промышленности также господствовало исключительно мелкое, ремесленное производство. Теперь*** с большим трудом поддерживают и спасают русского кустаря - и стараются проложить ему дорогу за границу,

устраивая кустарные музеи и кустарные отделы на международных выставках. Тогда без всяких ухищрений европейцы, вообще знавшие во второй половине XVII века Россию не хуже, чем мы теперь знаем, например, Китай, знали и ценили русское ремесленное мастерство, занимавшее в тогдашнем мире приблизительно такое же место, какое теперь принадлежит различным "восточным" базарам. И круг товаров был отчасти тот же. Кильбургер перечисляет, в соответствующем месте, патронташи, разные дорожные вещи: сундуки, котомки, саквояжи, кошельки, шелковые шарфы, башлыки из верблюжьей шерсти и тому подобное. Очень часто и приемы были заимствованы с Востока. Один польский автор, бывший свидетелем еще Смуты, писал о современных ему русских кустарях: "Все русские ремесленники превосходны, весьма искусны и так смышлены, что все, что сроду не видывали, не только не делывали, с первого взгляда поймут и сработают столь хорошо, как будто с малолетства привыкли, в особенности турецкие вещи: чепраки, сбруи, седла, сабли с золотой насечкой. Все эти вещи не уступают турецким". Но позже они так же удачно подражали и западным образчикам. Бывший в Москве на четверть столетия позднее знаменитый Олеарий, подтверждая то, что говорилось об искусстве рук и способности к подражанию русских ремесленников, приводит как пример, что их точеные и резные вещи "не хуже и даже лучше самых лучших из тех, которые делают в Германии". "Иностранцы, которые хотят сохранить про себя секрет их искусства, не должны заниматься им в присутствии московитов", - прибавляет он, и рассказывает, как быстро проникли русские во все тайны литейного мастерства, несмотря на то, что заграничные литейщики, приглашенные московским правительством, всячески прятались от туземцев. Некоторые продукты русского ремесла не только не уступали привозным из-за границы, но и находили себе сбыт за границу; таковы были, в особенности, всякого роцакожаные изделия. Уже Олеарий, в 30-х годах, говорит о "русской коже" как предмете экспорта, главным образом из Новгорода. Исключительной репутацией пользовалась русская юфть, которую Московское государство поставляло, кажется, на всю Европу. Во времена де Родеса (1650-е годы) она занимала первое место в русском отпуске, и ее вывозилось за границу ежегодно до 75 000 свертков, на 335 000 рублей (не менее пяти миллионов рублей на золотые деньги), тогда как общая сумма вывоза немногим превышала миллион тогдашних рублей. Другим предметом оптовой заграничной торговли были рукавицы: они продавались в Москве на сотни, и шли в большом числе в Швецию. Надо заметить при этом, что скотоводство тогда было в самом Московском государстве в плохом состоянии, и кожа русского скота не годилась в дело. "Самые красивые и большие кожи собираются и скупаются русскими отовсюду, - говорит де Родес. - Они пользуются для этого санным путем, когда скупщики кожи и заготовители юфти отправляются в Польшу, а в особенности в Подолию и на Украину, и скупают там, что только могут достать". Кожи затем мокли до весны, когда начиналась горячая, лихорадочная работа, чтобы изготовить их к отпуску по полой воде, от Вологды, по Сухоне и Двине, на архангельскую ярмарку. На этом примере хорошо видно, как и в какой именно области торговый капитализм завладевал русским ремеслом: этой областью была заграничная торговля. Внутри страны русский ремесленник, как и русский торговец, продолжали стоять на средневековой точке зрения. Иностранцы с удивлением рассказывают о дешевизне русских кустарных изделий: по

Кильбургеру, серебряные пуговицы в Москве продавались за столько серебряных копеек, сколько весили сами пуговицы; он мог объяснить это только тем, что серебро русских ювелиров было очень невысокой пробы, но нужно сказать, что и тогдашняя серебряная копейка делалась из очень плохого серебра. Олеарий был ближе к правильному пониманию дела, когда он объяснял дешевизну русских изделий дешевизной съестных припасов в России: ремесленник не ценил своего труда и требовал только, чтобы работа его кормила, - а для этого достаточно было самой незначительной прибыли. Если добавить к этому, что ремесло часто было подсобным занятием - им как и мелкой торговлей, в большом числе занимались, например, стрельцы, то дешевизна русского ремесленного производства будет вполне понятна. Но стоило каким-нибудь видом этого ремесла заинтересоваться Западной Европе, в дело вторгался крупный капитал, и картина резко менялась.

** Русская история, т. 1.*
*** Там же, т. 2.*
**** Написано в 1911 году.*

Торговый капитализм шел к нам с Запада; мы уже тогда были для Западной Европы той колонией, характер которой во многом мы сохранили доселе. Для истории нашей "колониальности" чрезвычайно интересна попытка голландцев в первой половине XVII века сделать Россию своей "житницей". На эту попытку до недавнего времени обращали очень мало внимания, и крайне любопытные переговоры правительства Нидерландов с царем Михаилом Федоровичем по этому поводу стали известны во всех подробностях лишь в начале текущего столетия*.

** См. исследование В. Кордта, напечатанное как введение к документам о посольстве Бурха и Фелтдриля 1630 - 1631 годов в т. 116 сборника Русского исторического общества.*

Родоначальником русско-нидерландской торговли был преподобный Трифон, основатель Печенгского монастыря, самого северного из монастырей России. Монастырь вел обширное промысловое хозяйство, сбывая продукты - рыбу, тресковый жир и прочее - норвежцам в соседнем Вардэ. Случайно попавший туда голландский купец оказался более выгодным покупателем, а так как ревнивые к своей монополии норвежцы мешали ему торговать в Вардэ, то монахи пригласили нового знакомого к себе, в Печенгскую губу. Уже в следующем году (дело происходило как раз около того времени, когда Грозный создавал свою опричнину) образовалась целая компания нидерландских купцов, выхлопотавших себе привилегию на торговлю с русским Севером от Филиппа II испанского, владевшего еще тогда всеми Нидерландами. Дело оказалось на первых порах сложнее, чем думали обе стороны: на Мурманском побережье были живы традиции "разбойничьей торговли" времен викингов, и первый же нидерландский торговый караван был ограблен русскими, а экипаж его вырезан. Но сношения на этом не прервались. Нидерландские корабли продолжали регулярно, из году в год, посещать Мурман, и обитель преподобного Трифона стала крупным торговым центром. В год первого знакомства монахов с голландцами монастырь считал всего

20 монахов и 30 послушников, а уже всего пять лет спустя первых было 50, а вторых - вместе с рабочими - до 200. На Печенгу приезжали торговцы из Холмогор и Каргополя, а монастырские рыболовные ладьи забирались даже в норвежские воды, так что московское начальство должно было вмешаться и обуздать промысловую предприимчивость печенгских отшельников. Но и того, что удавалось последним добывать в русских водах, было достаточно для очень широкого сбыта: не довольствуясь первоначальными своими контрагентами, упоминавшейся выше антверпенской компанией, печенгская братия заключила еще договор с одним амстердамским торговым домом. Последнее, впрочем, могло быть результатом некоторой передвижки к Северу самой нидерландской торговли: с освобождением Северных Нидерландов от испанского ига эта торговля все более и более становилась голландской в прямом смысле этого слова. Тем временем нидерландские корабли тоже перестали ограничиваться одной Печенгской губой, и, продвигаясь постепенно к югу, добрались сначала до Колы, где в год первого приезда голландцев было всего три дома, а через семнадцать лет это был порядочный городок, с особым воеводой и "острогом", т. е. крепостью, а потом и до Архангельска. Последний самым своим возникновением был обязан, как обнаружили новейшие исследования, именно голландцам. Норвежцы продолжали очень косо смотреть на своих конкурентов, а норвежский государь, он же и король датский, имел еще особые причины не поощрять русско-нидерландской торговли на Белом море: это был "обход" его таможни, которая до тех пор собирала обильную дань со всех кораблей, шедших на Русь и из Руси Балтийским морем, через Зунд. Он объявил тогда, что море между берегами Норвегии и Исландией, тоже "Зунд", тоже пролив, и что корабли, идущие этим "проливом" вокруг Нордкапа, должны платить датчанам таможенную пошлину. А так как голландцы отказывались признать датской собственностью половину Атлантического океана, то они были объявлены контрабандистами, и датские крейсеры стали преследовать "контрабанду" до самых русских берегов, благо у Московского государства флота не было, и оно могло спорить с датчанами только на бумаге. Спасаясь от датчан, один голландский капитан поднялся по Двине до Пур-Наволокского мыса, где стоял тогда только монастырь Михаила Архангела. Нечаянно открытая гавань оказалась гораздо удобнее прежней английской стоянки в бухте св. Николая, куда большие морские суда не могли входить, и скоро вся заграничная торговля Москвы перешла, по следам голландцев, в "Новогородок" Архангельский. Но первое место прочно осталось за теми, кому принадлежала честь открытия нового порта. Уже в 1603 году один английский автор писал: "Мы (англичане) вели в течение 70 лет значительную торговлю с Россией и еще 14 лет тому назад отправляли туда большое количество кораблей; но три года тому назад мы отправили в Россию четыре корабля, а в последнем году только два или три. Нидерландцы же посылают туда уже 30 - 40 кораблей, из которых каждый в два раза больше наших". А какое значение сами голландцы придавали торговле с Россией, видно из одного проекта, представленного генеральным штатам в конце XVI века. "Богатство наших Нидерландов основывается на торговле и мореплавании, - говорит автор этого проекта, - если мы не будем заниматься ими, то нам не только не хватит средств вести войну (с Испанией), но весь наш народ оскудеет, и могут вспыхнуть беспорядки. Однако нет сомнения, что всемогущий Бог не допустит этого и нас не

оставит, так как он указывает нам новую дорогу, которая столь же прибыльна, как и плавание в Испанию, а именно дорогу в Московию". Но торговля с Испанией для нидерландцев была торговлей с Новым Светом - со сказочно богатыми, в глазах тогдашних европейцев, Мексикой и Перу: вот на чье место должна была теперь стать "Московия". Допуская, что, как всякий сочинитель подобных проектов, голландский автор несколько увлекался, нельзя же, однако, думать, чтобы генеральные штаты стали серьезно заниматься сумасбродными мечтаниями досужего фантазера. Очевидно, что, когда он говорил, что "ни Германия, ни наши Нидерланды не могут обойтись без торговли с Россией", и что торговля эта - "дело величайшей важности для нашей страны и ее жителей", он высказывал вещи, которые многим казались разумными. Четверть столетия спустя уже не отдельные прожектеры, а само нидерландское правительство делает столь радикальную попытку повести всю голландскую торговлю в Восточной Европе через "Московию", что "величайшая важность" нового рынка для Нидерландов не могла уже быть предметом спора. Оставался только вопрос: признает ли "величайшую важность" для себя в этих сношениях другая сторона - сама "Московия". Для того чтобы понять происхождение этой первой попытки европейского торгового капитализма "завоевать Россию", надо иметь в виду, как складывались тогда торговые отношения на дальнем - для Москвы - Западе. К XVII веку предметом международного обмена стали не только продукты ремесленного производства и нужное для этого производства сырье (шерсть или кожи, например), но и жизненные припасы: начинал уже складываться международный хлебный рынок. Цена ржи в Данциге определяла стоимость жизни в Мадриде или Лиссабоне. Ежегодно громадные массы зерна передвигались из земледельческих стран Восточной Европы, главным образом, Пруссии и Польши, во Францию, Испанию и Италию. Посредниками в этом обмене были голландцы, участие которых в хлебной торговле мерилось тысячами кораблей, так что для процветания нидерландского флота она имела едва ли меньше значения, чем гораздо более известная торговля с колониями. "Морская хлебная торговля находится почти исключительно в руках нашей нации", - говорили в Москве в 1631 году нидерландские послы. Но заинтересован был здесь не один голландский флот: сами Нидерланды, давно перешедшие от хлебопашества к культуре промышленных растений (что, по словам нидерландских дипломатов, было несравненно выгоднее), не могли уже прокормиться собственным хлебом. "Наша страна так плотно населена, слава Богу, что собственного зерна не хватает, - говорили послы, - и нам приходится ввозить хлеб из-за границы для прокормления населения и торговать им". Но обычный источник, откуда новая республика пополняла свои хлебные запасы, представлял два неудобства. Во-первых, и в Пруссии, и в Польше, и в Прибалтийском крае уже достаточно была развита собственная обрабатывающая промышленность, почему произведения нидерландских мануфактур уже в конце XVI века находят там плохой сбыт. По крайней мере, цитировавшийся нами выше автор голландского проекта весьма решительно утверждает, что "каждый корабль, отправляемый в Россию или оттуда в Нидерланды, приносит больше, чем 7,8 и даже 10 кораблей, приходящих, например, из Данцига, потому что корабли, которые идут в Московию, нагружаются ценным товаром, а не балластом, как те, которые ходят в Данциг, Ригу или Францию". Очевидно, во всяком случае, что количество хлеба,

вывозившегося из Риги или Данцига, было во много раз больше количества ввозившихся туда нидерландских фабрикатов, так что "торговый баланс" получался для нидерландцев невыгодный. Невыгодность эта до чрезвычайности усиливалась вторым условием балтийской торговли, нам уже знакомым, - "зундскими пошлинами", которые взимал в свою пользу с каждого входящего в Балтийское море и выходящего оттуда корабля датский король. Пошлины эти еще можно было терпеть ради дешевизны польского или лифляндского хлеба, но цена на хлеб росла по мере роста его международного значения с чрезвычайной быстротой. "В начале 1606 г. ласт ржи (равен 120 пудам) стоил в Данциге только 16 гульденов; в десятилетие 1610 - 1620 гг. цена колебалась от 45 до 65 гульд.; в сентябре следующего года она поднялась до 80 гульд., а в 1622 г. до 120 гульд. " В 1628 году ласт ржи в Амстердаме дошел до 250 гульденов "и затем цена уже не падала, а достигла небывалой высоты"*. Тут нидерландцы вспомнили, что "русская земля велика и хлебом богата", и что на Руси "на монастырских и других землях постоянно лежат большие запасы зерна и часто даже гниют", как объяснял в Москве представитель Морица Оранского, известный Исаак Масса. Нидерландский штатгальтер, или его представитель, старался найти у московского государя разные чувствительные струны: он обращал внимание московского правительства на то, что "усиленный вывоз зерна увеличит доходы царя от пошлин". "Примером в данном случае может служить Польша, откуда каждый год прибывает в Нидерланды по полуторы и по две тысячи кораблей с хлебом. В одном только Амстердаме из Данцига и Кенигсберга ежегодно получается больше ста тысяч ластов хлеба". А благодаря тому, что доходов будет больше, можно будет и начать опять войну с Польшей: благодаря хлебным пошлинам только польский король и имеет возможность воевать, да и сами Нидерланды, "только благодаря тому, что сумели добывать себе лишние доходы, были в состоянии воевать со своим сильным недругом". А сколько выиграет от этого население Московского государства - и говорить нечего: к полякам, в обмен на их хлеб, приходит из Нидерландов ежегодно по сто тысяч угорских червонцев. Упоминание о монастырских землях, где хлеб понапрасну гниет, тоже было сделано недаром: Масса особенно рассчитывал в Москве на патриарха Филарета Никитича, имея в виду заинтересовать в своих проектах крупнейшего земельного собственника - церковь.

** Кордт. назв. соч., с. CLXXVII - CLXXIX.*

Массе не удалось довести своего дела до конца, так как, по-видимому, он слишком заботился о своих личных коммерческих интересах и тем вызвал против себя сильное неудовольствие со стороны остального нидерландского купечества, торговавшего с Москвой. У него были отняты полномочия; но переговоры с московским правительством насчет торговли хлебом не прекратились, так как они отнюдь не были чьей-нибудь личной затеей. Весь торговый мир Голландии заинтересовался этим делом, появились проекты, сулившие от нового предприятия необыкновенные барыши - до 24 бочек золота в год, сравнительно с польской или прибалтийской торговлей, - и контр-проекты, доказывавшие, что перенесение нидерландской торговли с Балтийского на Белое море погубит голландский флот.

Наконец, в 1630 году явилось в Россию формальное посольство от генеральных штатов для заключения торгового договора. Отчет этого посольства дает нам понятие о грандиозности нидерландских замыслов. Русский хлебный рынок предполагалось эксплуатировать на обычных для той эпохи колониальных началах: голландцы должны были получить монополию на вывоз хлеба из России. Но этого мало: в Московском государстве должны были появиться своего рода хлебные плантации; нидерландские предприниматели должны были получить право приезжать в Россию и распахивать здесь "невинные земли", лежавшие в запустении, которых, по голландскому представлению, в Московском государстве было чрезвычайно много. Кстати, на таких же началах предполагалось использовать и другое ценное сырье, имевшееся в России: например, великолепный мачтовый лес, росший в изобилии по берегам Двины и ее притоков. Выгоды Московского государства, по голландским проектам, должны были выразиться, главным образом, в пошлинах с вывозимого сырья; московских дипломатов снова и снова манили грандиозными цифрами вывоза, указывая, например, что одного хлеба Нидерландам нужно, на первый же случай, не менее 200 000 четвертей. Но в Москве, очевидно, больше понимали условия тогдашней торговли, нежели это думали в Нидерландах: в Москве тоже не прочь были сделать хлебный торг монополией, но монополией царской. Непосредственное участие государей Восточной Европы в торговле хлебом уже имело крупный пример: шведский король был главным конкурентом голландцев на Балтийском море. В Москве не прочь были последовать этому примеру. Но зачем же царь стал бы себя связывать обязательством торговать только с голландцами? "К нашему великому государю и отцу его, великому государю святейшему патриарху, присылают своих послов и посланников великие христианские государи: король английский Карл, король датский Христиан, король шведский Густав-Адольф и другие государи, и пишут в своих грамотах, что в их государствах неурожай хлеба, и что для прокормления их подданных не хватает зерна", - отвечали бояре и дьяки нидерландским послам: так как же разрешить вывоз хлеба одним голландцам при таких условиях? А затем обнаружилось, что в Москве и насчет хлебных цен в Западной Европе кое-что понимают - и за первую же пробную партию в 23 000 четвертей московский торговый агент, гость Надей Светешников, назначил такую цену, что надежды голландцев на дешевый русский хлеб моментально поблекли. Послы заявили, что по такой цене они и у себя дома могут хлеба достать. Светешников сбавил тогда, но очень немного: было совершенно ясно, что из 24 бочек золота, о которых мечтал голландский прожектер, московский государь намерен оставить в своей казне никак не менее половины, если не все. Само собою разумеется, что, рассчитывая держать московский хлебный рынок в своих руках, правительство Михаила Федоровича не могло согласиться ни на какие голландские "хлебные плантации" в России. Голландских торговцев, и других людей, ответили послам, "допускать в Московское государство для земледелия невозможно, потому что, если голландским торговым людям дозволить заниматься земледелием в Московском государстве, русским людям это будет стеснительно, вызовет споры о земле и причинит убыток их хлебной торговле". Яснее нельзя было дать понять, что барыши от торговли хлебом предполагается оставить за "русскими людьми", т.е. Надеем Светешниковым и его товарищами. Навстречу западноевропейскому

торговому капитализму поднялся русский. Как всякий новичок в подобном деле, он оказался слишком жаден и собственно на хлебной торговле прогадал: с отказом от голландских предложений 1650 - 1651 годов она вообще не наладилась, и до второй половины следующего столетия вывоз хлеба из России остался случайным, спорадическим явлением. Но не следует думать, что русский торговый капитал так и замер на подобных бессильных потугах; в целом ряде других случаев ему, действительно, удалось установить в свою пользу монополии, на которые с завистью смотрели в Западной Европе.

Во-первых, хотя правильной торговли хлебом с заграницей не удалось завести, но та случайная, которая была, все же сделалась царской монополией. Один из цитированных нами выше иностранцев дает о последней весьма точные сведения, а другой задним числом подтверждает его рассказ. До 1653 года скупалось ежегодно царскими агентами до 200 000 четвертей; четверть ржи с перевозкой до Архангельска обходилась не дороже рубля, а продавали ее не дешевле 2 1/2 - 2 3/4 талеров; так как из талера, перечеканенного на московском монетном дворе, выходило 64 серебряных копейки, то чистая прибыль царской казны на проданном хлебе составляла от 60 до 75%. Чтобы дождаться высоких цен, хлеб иногда выдерживали в амбарах по нескольку лет, как это вообще мы видели, делалось с московскими товарами. В короткое время монополия дала будто бы более миллиона талеров (640 тысяч рублей тогдашних - от 9 до 10 миллионов на золотые рубли). От нее, однако же, отказались, и к тому времени, когда писал Кильбургер, ее уже не было: "Весь хлеб теперь остается в стране, так как его в большом количестве потребляют винокуренные заводы", - говорит этот автор. Быстрый рост населения во второй половине XVII века* привел к тому, что обычного количества водки не хватало, ее приходилось закупать за границей, на Украине и в Лифляндии, чтобы царские кабаки могли удовлетворить спрос; при таких условиях выгоднее оказывалось перегонять хлеб в водку, нежели торговать им. Любопытно, что питейную монополию уже в то время оправдывали интересами народной трезвости. "Великий князь Михаил Федорович, - говорит Олеарий, повторяя, конечно, то, что ему самому рассказывало московское чиновничество, - который сам был человек очень трезвый и враг пьянства, видя, что невозможно уничтожить совершенно этот порок, сделал в свое время несколько распоряжений, чтобы его обуздать: было предписано закрыть кабаки, и под строгим наказанием запрещено продавать водку, мед и другие крепкие напитки без царского позволения, и в других местах, кроме как в привилегированных трактирах, где продают только шкаликами и штофами, и где нельзя пить". Чиновники уверяли Олеария, что результаты получились очень хорошие, но этому противоречили улицы, усеянные пьяными, в этом отношении монополия XVII века ничем не отличалась от монополии XIX - XX веков. Но они имели сходство и в другом отношении: доход казны от "привилегированных трактиров" - от царева кабака, другими словами, - был огромный; тот же Олеарий сообщает, что таких "привилегированных" заведений было более тысячи, причем это отнюдь не были мелкие лавочники: три новгородских кабака отдавались на откуп за 12 000 талеров - более ста тысяч золотых рублей. А это было еще в середине царствования того самого Михаила Федоровича, который так заботился о народной трезвости, когда Россия только что оправлялась от Смуты. Коллинс, придворный врач царя Алексея, уверяет, что были

отдельные кабаки, сдававшиеся за 10 и даже за 20 тысяч рублей тогдашних (до 500 тысяч золотом). Так что цифра кабацких доходов, которую приводит Котошихин - 10 000 рублей в год, - является очень скромной и объясняется тем, что Котошихин, как он и сам замечает, принял в расчет лишь тот район винной монополии, который ведался в "Новой четверти", а кабацкие деньги собирали и Большой дворец, и Хлебный приказ и, вероятно, всякий другой приказ в тех городах, которыми он специально заведовал**.

** См. выше гл VIII.*

*** В 1680 году таможенных и кабацких денег вместе поступало до 650 тысяч рублей - до 10 миллионов золотом К сожалению, выделить из общей суммы доход от винной монополии невозможно.*

Но водка была далеко не единственным товаром, торговать которым составляло привилегию царской казны. Первые цари дома Романовых монополизировали в Своих руках, в сущности, все наиболее ценные предметы сбыта. "Царь - первый купец в своем государстве", - говорит долго проживший в России Коллинс. Перечень царских монополий дает нам любопытную картину концентрации русского вывоза, создавшей почву, на которой вырастал туземный торговый капитализм, в лице Надея Светешникова, так обескураживший собиравшихся поживиться от московской дикости голландцев. Современных читателей, убежденных, что русская кухня стала проникать на Запад только в наши дни, чуть не одновременно с русской литературой, немало удивят точные сообщения Кильбургера и де Родеса о том выдающемся коммерческом значении, которое имела в их дни торговля икрой. По отношению к ней удалось достигнуть того, к чему неудачно стремились нидерландские купцы относительно хлеба: вывоз икры за границу был очень рано сконцентрирован в руках одной торговой компании, сначала голландско-итальянской, потом чисто голландской, по-видимому, хотя главным потребителем русской икры была Италия и вообще католические страны, нуждавшиеся в постной пище. В 1650-х годах вывоз икры достигал уже 20 000 пудов ежегодно; к 1670-м, когда писал Кильбургер, эта цифра осталась почти без перемены, царские агенты поставляли икру в Архангельск по цене, условленной на довольно продолжительный период времени, с голландцами, например, был заключен контракт на 10 лет. Компания платила в 50-х годах по 1 1/2 рубля, а двадцать лет спустя по 3 рейхсталера (почти два рубля) за пуд: общая стоимость вывоза составляла, таким образом, в первом случае около 30 000 рублей тогдашних, во втором - около 40 000 (450 - 600 тысяч рублей золотом). Вывозилась исключительно прессованная (паюсная) икра, так как зернистую не умели консервировать; впрочем, и паюсную приготовляли не очень хорошо, и она часто портилась: тогда гости, служившие царскими коммерческими агентами, обязаны были брать ее себе, по рублю за 10 пудов. Ее продавали внутри России, и она расходилась в большом числе между "бедными людьми"; "впрочем, недаром", оговаривается один из иностранцев, сообщающий об этой операции: дабы предупредить подозрение, будто царская казна хотя бы порченый продукт могла отдать кому-нибудь даром. Наряду с икрой предмет царской монополии составлял рыбий клей, сбыт которого доходил до 300 пудов, ценою от 7 до 15 рублей за пуд,

и лососина, ежегодный лов которой составлял более 200 ластов (до 25 000 пудов), за ней специально каждый год являлись два голландских корабля. Рыбная ловля на Нижней Волге являлась настолько казенным делом, что Олеарию и его спутникам рыбаки отказывались продавать рыбу, уверяя, что их постигнет за это жестокое наказание; "Впрочем, - прибавляет Олеарий, - они потом очень охотно снабдили нас рыбой - за несколько шкаликов водки".

Наиболее популярной из всех царских монополий являлась меховая: самые ценные виды мехов, например, собольи, можно было найти только в царской казне, так же, как и паюсную икру. Де Родес дает, по архангельским таможенными книгам, довольно подробные сведения о русском меховом экспорте. Общую ценность его он определяет приблизительно в 100 тысяч рублей - в том числе на соболей приходилось 3/5: концентрация и здесь достигла полутора миллиона рублей на теперешние деньги. Но меха, этот старинный русский продукт, на котором вырос торговый капитализм Новгорода, начинали уже терять былое значение: ценного пушного зверя теперь можно было найти только в Сибири; в то же время начинают попадаться сведения о ввозе пушного товара в Россию; так, из Франции привозили в Архангельск лисьи меха. Еще больше утратила значение другая старинная отрасль новгородской торговли - воск и мед. Они почти целиком теперь потреблялись дома: воск - потому что во множестве шел на церковные свечи, мед - потому что его в таком же множестве потребляла царская винная монополия. Оттого попытки монополизировать, захватив даже "рыбий зуб" (моржовые клыки, находившие себе очень хороший сбыт как суррогат слоновой кости) и нефть (не имевшую тогда еще и тысячной доли своего теперешнего торгового значения, которую, однако, можно было добыть в Москве лишь в царской казне), обошли эти традиционные отделы русского экспорта. Зато громадное значение получила монополизация товаров, шедших, как и встарь, через Россию транзитом с Востока - на первом месте монополизация шелка.

"Торговля шелком есть, без сомнения, самая важная из всех, которые ведутся в Европе", - напоминает своему читателю Олеарии, приступая к рассказу о путешествии голштинского посольства в Московию и Персию. Поводом для самого путешествия и послужило желание Фридриха, герцога шлезвиг-голштинского и ольденбургского, который тогда и не подозревал, что он будет одним из предков русского царствующего дома, сделаться для Западной Европы таким же монополистом этого драгоценнейшего в мире товара, каким для Восточной был русский царь. Герцог Фридрих был не первый и не последний на этом пути: никакая царевна в сказке не видала у себе больше женихов, чем видали московские бояре иностранцев, домогавшихся пропуска через Московскую землю в Персию, главнейший тогда экспортный рынок шелка-сырца. В 1614 году приехал в Россию английский агент Джон Мерик - известный посредник в мирных переговорах Москвы со Швецией, приведших к Столбовскому миру. С первых же слов он передал желание английского короля, чтобы английским купцам был открыт свободный путь по Волге. Мерик был человек нужный, и английская помощь необходима, как никогда: англичан старались отговорить ласково, внушали им, что "в Персию и в иные восточные государства английским гостям в нынешнее время ходить страшно", что на Волге "многие воры воруют", и наших многих торговых людей пограбили, и "наши торговые люди теперь в Персию не

ходят". Мерик не унялся, и после заключения Столбовского мира возобновил разговор уже настоятельнее. На этот раз ему ответили откровеннее. "Наши русские торговые люди оскудели, - сказали ему, - теперь они у Архангельска покупают у англичан товары, сукна, возят их на Астрахань и продают там кизиль-башам (персам), меняют на их товары, от чего им прибыль и казне прибыль; а станут англичане прямо ездить в Персию, то они у Архангельска русским людям продавать своих товаров не будут, повезут их прямо в Персию, и кизиль-баши со своими товарами в Астрахань ездить не станут, будут торговать с англичанами у себя". В 1629 году приехал французский посол, де Гэ-Курменен - он тоже, между прочим, просил: "Царское величество позволил бы французанам ездить в Персию через свое государство". Бояре ответили, что французы могут покупать персидские товары у русских купцов. В 1630 году явились знакомые нам голландцы: они также толковали не об одной хлебной торговле: голландская монополия должна была распространиться и на персидские товары. Со своим обычным предрассудком насчет московской дешевизны голландцы предлагали за персидскую монополию 15 000 рублей в год. Бояре ответили, что быть тому невозможно: английскому королю (а уж какой друг!) отказано по челобитью торговых людей Московского государства. Немного спустя приехали датские послы и тоже завели разговор, чтобы дана была дорога датским купцам в Персию. Им ответили уже совсем лаконично, что в шахову землю дороги никому давать не велено. Больше всего повезло, было, голштинцам: они за персидскую монополию, на 10 лет, обещали платить по 600 000 ефимков (до 5 миллионов рублей золотой) ежегодно. Очевидно, мнение Олеария, что нет для Европы торговли важнее шелковой, вполне разделялось и его земляками. Цифра показалась в Москве внушительной, и согласие было единодушным. Но тотчас же оказалось, что в Голштинии теория сильнее практики и что там лучше умеют считать, чем платить. Когда дело дошло до платежа, необходимых капиталов у голштинцев не оказалось, и грандиозное предприятие весьма жалко кончилось дипломатической перебранкой между правительством царя Михаила и герцогом Фридрихом. Благодаря сплошному водному пути от самой Персии почти без перерыва до самого Архангельска - сначала Каспийским морем, потом Волгой, Сухоной и Северной Двиной - транзит шелка через Россию представлял громадные выгоды сравнительно с перевозкой его сухим путем. В то время как каждый тюк, перевезенный из Гиляна в Ормуз* на спине верблюда, обходился не меньше 35 - 40 рублей золотом, перевозка такого же тюка морем до Астрахани обходилась не дороже рубля тогдашнего, т.е. 15 золотых рублей. Нет ничего мудреного, что в среде тогдашних коммерсантов под впечатлением подобных цифр зарождались проекты, ничуть не уступавшие по грандиозности голландскому плану - превратить Россию XVII века в ту "житницу Европы", какой она стала к половине XIX века. Помимо дешевизны фрахта тут можно было спекулировать еще на политической вражде персидского шаха и турецкого султана, между тем как Московское государство старательно поддерживало с Персией самые лучшие отношения. Основываясь на всем этом, де Родес предлагал боярину Милославскому, тестю царя Алексея, организовать компанию из крупнейших европейских коммерсантов, которая, пользуясь русской дорогой, захватила бы в свои руки всю персидскую торговлю, не одним шелком-сырцом, а кстати и добрую долю торговли с Индией и Китаем. За триста лет до

Сибирской и, проектировавшейся, иранской железной дороги, рижский купец покушался аннулировать результаты открытия Васко де Гамы, сделав из Волги и Двины конкурентов Великого океанского пути на Дальний Восток. К его несчастью, у де Родеса были только мечты, а не капиталы, а его собеседник и с ним все московское правительство не принадлежали к числу людей, способных упустить синицу из рук ради журавля, который еще бог весть когда прилетит. В Москве шли по линии наименьшего сопротивления и делали самое простое, что в данном случае можно было сделать: персиян не пускали дальше Астрахани, а европейцам не сдавали шелк ближе Архангельска, причем держались правила запрашивать всегда как можно выше как за русские товары, шедшие в обмен на шелк в Астрахани, так и за самый шелк, шедший в обмен на европейские фабрикаты или, еще лучше, на наличные деньги - в Архангельске, - и с однажды достигнутой цены никогда не спускать. Из товаров в Персию шли: русское полотно, медь и в особенности соболя и другие ценные меха. Медь фактически стоила, с провозом в Персию, 120 талеров за "корабельный пуд" (берковец, т.е. 10 пудов), но в Астрахани царские гости, которые одни имели право торговать ею с персиянами, не уступали ее меньше, чем за 180 талеров берковец. Полотну красная цена была 4 - 5 талеров за кусок: персидским торговцам продавали его за 8 - 10 рублей; даже расплачиваясь чистыми деньгами (дукатами), искали их по искусственно вздутому курсу, который был на 12% выше обычного европейского. Все это можно было делать потому, что в Астрахани с персами строго запрещено было торговать кому бы то ни было, кроме агентов правительственной монополии, гостей. Персам оставалось на выбор: или совсем не брать товаров, которые были им необходимы, или платить то, что назначают московские гости. При таких условиях пуд шелка-сырца обходился в Архангельске с доставкой не дороже 30 рублей, а продавали его за 45 рублей. Прибыль царской монополии составляла таким образом, 50%. Оборот торговли был крайне медленный: шелковый караван приходил в Архангельск раз в три года. Груз его составлял, обычно, до 9 000 пудов на сумму 40 500 руб. тогдашних - более 600 000 рублей золотом, сюда входил только шелк-сырец, так высоко ценившийся в то время на Западе, что во Франции, например, не было места где бы не пробовали разводить шелковицу; сам король занимался этим в Фонтенбло. Торговля шелковыми изделиями, привозившимися из той же Персии, а отчасти и с более далекого Востока, была свободна, и до 1670-х годов в Москве проживало большое количество персидских и даже индийских торговцев. Не победив мирового пути, открытого португальцами, персидская торговля московского царя все же была, несомненно, самым крупным коммерческим предприятием Московской России. Персидский караван, который голштинское посольство догнало между Саратовом и Царицыном, состоял из 16 больших и 6 меньших судов, а самые большие волжские насады XVII века поднимали до 1000 ластов, т.е. до 2000 тонн груза, и имели до 400 человек экипажа (т.е., собственно, бурлаков, которые тащили судно бечевой, когда не было ветра). Современные волжские баржи по части размеров, вероятно, не очень опередили своих предшественниц допетровской эпохи. Нужно заметить, что вообще крупные суда на Волге обслуживали царскую монополию; два других громадных "насада", встреченных Олеарием, принадлежали один царю, другой патриарху, и везли икру.

---

* *Гавань в Персидском заливе.*

Мы еще не исчерпали всех царских монополий, о которых говорят современники: торговля ревенем, например, тоже была сосредоточена в казне. Но сущность дела уже давно ясна читателю: концентрация в одних руках сотен тысяч по тогдашнему, миллионов рублей по теперешнему на золото, впервые повела к образованию в ремесленной России, знавшей до тех пор лишь мелкий торг, как и мелкое только производство, торгового капитала. Но мы очень ошиблись бы, если бы предположили, что капитал этот весь был в руках царя. Фактически им распоряжались гости, от царского имени ведшие торговлю и с Востоком и с Западом. "Гости - царские коммерции советники и факторы, они неограниченно правят торговлей во всем государстве. Эта своекорыстная и вредная коллегия, довольно многолюдная, имеет главу и старшину, и все они занимаются торговлей (sind alle Kaufleute), в числе их есть и несколько немцев... Они рассеяны по всему государству и во всех местах, по своему званию пользуются привилегией покупать первыми, хотя бы они действовали и не за царский счет. Так как они одни, однако же, не в состоянии справиться со столь широко раскинувшейся торговлей, то во всех больших городах у них есть подставные лица, в лице двух или трех из проживающих там виднейших купцов, которые в качестве царских факторов пользуются привилегиями гостей, хотя не носят этого имени, и ради своей частной корысти всюду причиняют различные стеснения торговле. Простые купцы замечают и знают это очень хорошо, говорят о гостях плохо, и можно опасаться, что, в случае восстания, чернь всем гостям свернет шею. Они (гости) производят оценку товаров в царской казне в Москве, распоряжаются ловлей соболей и сбором соболиной десятины в Сибири, точно так же, как и архангельским караваном, и подают царю советы и проекты по части учреждений царских монополий. День и ночь они стараются о том, чтобы совершенно подавить торговлю на Балтийском море и нигде не допускать свободной торговли, чтобы тем прочнее было их господство и тем легче они могли наполнять собственные кошельки". К этой характеристике Кильбургера, которая хорошо передает если не самые факты, то впечатление, которое эти факты производили на очень внимательного и очень осведомленного наблюдателя, превосходную иллюстрацию дает известный псковский эпизод. В Пскове, под тем предлогом, что мелкие торговцы являются орудием в руках заграничных капиталистов, которые, ссужая их деньгами, обращают их фактически в своих комиссионеров, гости монополизировали всю, без исключения, заграничную торговлю в своих руках, обратив все второстепенное псковское купечество в комиссионеров их, гостей. Ни один из местных купцов второго разряда ("маломочные") не имел более права торговать за свой счет, все они были приписаны "по свойству и по знакомству" к крупным псковским капиталистам и, получая ссуды для своих операций из земской избы, должны были доставлять все закупленные товары туда же, к "лучшим людям, у кого они были в записке". А для удобства контроля вся торговля с иностранцами была приурочена хронологически к двум ярмаркам (9 января и 9 мая), а топографически - к трем гостиным дворам, двум для заграничных и одному для русских товаров, обмен товарами мог производиться только в это время и в этих местах. Как мера "покровительства" туземному торговому капиталу в борьбе с иноземными

псковское постановление 1665 года является, для своего времени, чрезвычайно смелым шагом, свидетельствующим о большой сознательности его авторов, недаром оно связано с именем отца русского меркантелизма - Ордина Нащокина. Но оно же указывает и оборотную сторону дела: мы видим, как трудно было русскому капитализму держаться в борьбе с Западом естественным путем, без подпорок.

Торговле ремесленного типа, а такой оставалась, в общем и целом, русская торговля XVII века, самые приемы капиталистического обмена внушали суеверный ужас. "Да немцы же, живя в Москве и городах, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год по пяти, шести и десяти раз с вестями, что делается в Московском государстве, почем какие товары покупают, - плакались московские торговые люди в своей челобитной 1646 года, - и которые товары в Москве дорого покупают, те они станут готовить, и все делают по частым своим вестям и по грамоткам, сговорясь за одно". И тут же обиженные таким дьявольским ухищрением, как почта, русские люди приводят необычайно выразительный пример своей беспомощности перед коварными иноземцами: понадеявшись на высокую цену шелка-сырца в прошлых годах, русские торговцы скупили весь запас шелка из царской казны, в расчете выгодно перепродать его "немцам". Но на европейском рынке тем временем цены на шелк упали, и "немцы" не только не купили ни одного тюка по цене, которая казалась русским "справедливой", но еще посмеялись над ними. "Милостивый государь, - взывали обиженные русские коммерсанты, - помилуй нас, холопей и сирот твоих, всего государства торговых людей: воззри на нас бедных и не дай нам, природным своим государевым холопам и сиротам, от иноверцев быть в вечной нищете и скудости, не вели искони вечных наших промыслишков у нас бедных отнять".

Какую коммерческую роль уже в то время играла почта, видно из рассуждений и проектов де Родеса, писавшего меньше, чем через 10 лет после цитированной нами сейчас челобитной. Успешную конкуренцию голландцев со шведами он приписывает, главным образом, тому обстоятельству, что голландская корреспонденция через Ригу скорее доходила до Москвы, нежели шведская через Нарву. Он советует поэтому совершенно запретить пересылку писем прямым путем из Риги в Москву через Псков и сделать Нарву центральным почтамтом для всего Балтийского побережья - тогда вся корреспонденция, идущая с Запада на Москву Балтийским морем, будет в одинаковых условиях. Но русские правительственные круги и стоявшие близко к ним коммерсанты и в этом пункте были достаточно европейцами и почтовой монополии шведам не уступили. В 1663 году в Московском государстве появляется своя заграничная почта, сданная в эксплуатацию одному частному предпринимателю, Иоганну фон Шведен. Она отправлялась регулярно каждый вторник на Новгород, Псков и Ригу, а возвращалась обратно каждый четверг. Нарвская линия, напротив, была совершенно заброшена; шведы потерпели тут полное поражение. Письмо от Москвы до Риги шло не меньше 9 - 10 дней, и франкировка его обходилась, на наш современный взгляд, невероятно дорого: 1 золотник стоил до Новгорода 6, до Пскова 8 и до Риги 10 копеек (90 коп., 1 руб. 20 и 1 руб. 50 коп. на золото). Другая заграничная линия шла на Вильну и Кенигсберг: письма в Германию выигрывали, если их отправляли этим путем, два дня. До Берлина письмо шло 21 день и стоило

по 25 коп. (3 руб. 75 коп.) за золотник. Приходившие из-за границы письма доставлялись сначала в Посольский приказ, и здесь с совершенной откровенностью вскрывались и прочитывались подьячими, дабы правительство раньше всех знало заграничные новости: понятие "тайны частной корреспонденции" было совершенно чуждо тогда не только московским людям, но и их иноземным учителям, - по крайней мере, Кильбургер сообщает об этой обязательной перлюстрации, как о самом нормальном факте. Для широких масс зато сама почта и долго потом продолжала оставаться фактом, глубоко ненормальным. "Да пожаловали они, прорубили из нашего государства во все свои земли дыру, что все наши государственные и промышленные дела ясно зрят, - жаловался Посошков еще около 1701 года. - Дыра же есть сия: зделали почту, а что в ней великому государю прибыли, про то Бог весть, а колько гибели от той почты во все царство чинитца, того и исчислить невозможно. Что в нашел государстве ни зделается, то во все земли разнесетца; одни иноземцы от нее богатятся, а русские люди нищают. И почты ради иноземцы торгуют издеваючись, а русские люди жилы из себя изрываючи". Понятно, что Посошков советовал "ту дыру загородить накрепко" и почту "буде мочно - оставить вовсе", и даже частным лицам запретить возить с собою письма. При всей отсталости взглядов Посошкова (для данного пункта его интересно сравнить с другим прожектером петровского времени, Федором Салтыковым, который советовал, напротив, вдобавок к иногородней завести еще и городскую почту, с самым дешевым тарифом), одной отсталостью этой черты не объяснишь. Как всякое орудие торговой конкуренции, почта еще больше усиливала сильного и ослабляла слабого; а так как заграничный капитал был всегда гораздо сильнее русского, то выгоды от усовершенствованных сношений доставались именно ему. В 1670-х годах Кильбургер мог сообщить своему читателю удивительный факт, что вся архангельская торговля находится в руках нескольких голландцев, гамбургцев и бременцев, которые держат в Москве постоянных приказчиков и факторов, русские же в Архангельск не ездят. Он перечисляет при этом поименно целый ряд немецких купцов, которые специализировались на торговле между Архангельском и Москвой, и никогда сами не выезжали за границу. Мало того, иностранцы, по его словам, проникли и в коллегию гостей, и притом не только в качестве заграничных царских агентов, как Клинк Бернгард и Фагелер в Амстердаме, но и в самой Москве - как Томас Келлерман.

Для характеристики заграничной торговли остается прибавить, что не только вывоз, но и ввоз приобрел уже в XVII веке массовый характер. Давно прошло то время, когда в Россию ввозились из-за границы только предметы роскоши, как это было при Грозном, и отчасти даже в начале XVII века, когда в списке привозимых товаров мы находим позолоченные алебарды, аптекарские снадобья, органы, клавикорды и другие музыкальные инструменты, кармин, нитки, жемчуг, дорогую посуду, зеркала, люстры и т. п. Списки товаров, привезенных в 1670-х годах, дают такие, например, цифры: селедок привезено через Архангельск в 1671 году 2477 тонн, в 1672-м - 1251 тонну; иголок в первом году 683 000, во втором - 545 000 штук; краски всякого рода 5 тонн, и, кроме того, 809 бочонков индиго; бумаги 28 454 стопы. Особенно характерен для развивавшейся русской индустрии ввоз железа и железных изделий, причем нужно иметь в виду, что в то время, как увидим дальше, были железоделательные заводы и в самом Московском

государстве, уже с очень крупным производством. Тем не менее, не считая железных изделий, в 1671 году через Архангельск было привезено 1 957 полос шведского железа: такой спрос на этот материал существовал в русских мастерских за 20 лет до Петра.

Торговый капитализм XVII века имел громадное влияние и на внешнюю, и на внутреннюю политику московского правительства. До завоевания Украины и отчасти даже до Петра, объектом первой был юг, - колонизация южной окраины, теперь безраздельно доставшаяся в московские руки, дала непосредственный повод и к походам в Крым кн. В.В. Голицына, и к Азовским походам Петра. Перемена в ориентировке этой политики, связанная с Северной войной, была вызвана, главным образом, интересами русской внешней торговли. Уже де Родес указывал, в 1650-х годах, что традиционное направление этой последней на Архангельск, по крайней мере, вдвое понижает барыши капиталистов, так как, по климатическим условиям, торговый капитал на Белом море успевает обернуться только один раз (он совершал этот оборот в пять месяцев), а на Балтийском два или даже три раза (если считать судоходную кампанию Риги или Либавы в 9 месяцев, а оборот при максимальной скорости в 3 месяца). Де Родес формально работал в пользу Швеции, но, по существу, едва ли не в пользу своего родного города Риги, торговля которой росла во второй половине XVII века чрезвычайно заметно. Вывоз льна с 1669 по 1686 год увеличился вдвое (с 67 570 до 137 550 пудов), конопли с лишком втрое (с 187 260 до 654 510 пудов, в 1699 году - 816 440 пудов), все прочее в такой же пропорции. Территорией, питавшей рижскую торговлю, были, во-первых, Литва, во-вторых, соседние области Московского государства. Экономически город, очевидно, теснее был связан с ними, нежели со своим юридическим "отечеством", Швецией, которой он тогда принадлежал. В таком же положении был и второй, после Риги, остзейский порт - Ревель. Шведское правительство, вообще одно из лучших бюрократических правительств тогдашней Европы, отлично сознавало это, как свидетельствует один любопытный указ королевы Христины (от 3 июня 1648 года). Им русская торговля в Ревеле ставилась в исключительно благоприятные условия, а, с другой стороны, делались все усилия привлечь сюда в возможно большем количестве заграничных купцов, чрезвычайно облегчив им доступ в среду ревельского гражданства, а, стало быть, и ко всем торговым привилегиям, какими обильно пользовалось местное население по сравнению с иноземными*. Вскоре после Кардисского мира (1661) шведское правительство добилось "свободной торговли" между русскими и шведскими подданными. Несколько ранее, когда русские, под влиянием голландцев, всячески, между прочим и литературным путем, посредством карикатур и памфлетов, конкурировавших с англичанами, отняли у последних их привилегию, и английская фактория в Архангельске закрылась, Швеция пыталась перевести английский торг к себе в Нарву. Но все эти хлопоты, как можно видеть уже из приведенных примеров, больше шли на пользу Швеции, как политического целого, нежели ее остзейских подданных. Щедро даря бюргерские привилегии в остзейских городах иностранцам, шведские короли были очень скупы на те привилегии, которыми пользовались шведские купцы. Мы видели, какую роль в тогдашней торговле играли зундские пошлины, которые собирала в свою пользу Дания со всех входящих в Балтийское море и выходящих из него кораблей. Шведы добились их

отмены, но только для себя: рижане и ре-вельцы продолжали их платить. Во вторую половину XVII века стал быстро расти лифляндский хлебный вывоз (с 2 380 "лофов" в 1669 году, до 6991 в 1686-м и 14 939 в 1695-м). Но Карл XI поспешил обложить его высокими вывозными пошлинами, чтобы создать преимущество для Швеции, которая тоже нуждалась в привозном хлебе. В то же самое время, когда это было им выгодно, шведы очень хлопотали о "свободной торговле". В половине столетия крупные рижские торговцы вздумали образовать компанию, которая должна была монополизировать в своих руках все коммерческие сношения с заграницей (упоминавшиеся выше псковские мероприятия 1665 года едва ли не были подражанием этому рижскому проекту). Но шведское правительство, в лице местного губернатора Бенгта Оксенширны, решительно воспротивилось этому, опираясь на "маломочных" рижских купцов, которым затея капиталистов, естественно, не могла нравиться. С полным нарушением прав городского совета, где командовал крупный капитал, Оксенширна наложил запретительные вывозные пошлины до тех пор, пока не будет восстановлена "свободная торговля". В результате всякая торговля остановилась вовсе. Война с Данией и опасение, что датчане используют этот конфликт, вынудили стокгольмское правительство отступиться от решительных шагов своего рижского представителя; но к тому времени компания была уже разорена и должна была ликвидироваться как раз в тот момент, когда ее представители одержали победу в Стокгольме**.

** "Здесь обычай, - записал кн. Ф.А. Куракин о Гамбурге в 1708 году, - когда торговой приедет в город, в котором он не записан гражданином, он не может торговать ни грунтовым торгом, ни мелким".*

*** Для всех вышеприведенных фактов см.: Richter. Geschichte der deutschen Ostseeprovmzen. - Riga, 1858. B. II, 2 Teil, passim.*

Естественному тяготению остзейских портов на Восток соответствовало такое же естественное отталкивание их со стороны их скандинавского сюзерена. Когда Петр начал великую Северную войну походом на Нарву, воскрешая этим операционную линию Грозного, когда он, идя по следам царя Алексея, осаждал Ригу, он являлся, в сущности, освободителем плененного шведским засильем остзейского торгового капитала. Рига должна была стать русским портом, так как русская торговля уже выросла из Архангельска; с другой стороны, Риге нужно было освободиться от шведских пут, так как иначе ее убил бы Кенигсберг, который год от году отбивал у Риги ее клиентов, пользуясь тем, что кенигсбергские пошлины были в несколько раз ниже шведских. Собственно, на Петербург Петр был отброшен после того, как ему не удалось завладеть Нарвой, а его союзники, саксонцы, потерпели поражение под Ригой. А раз выяснившиеся стратегические удобства передового поста на Неве должны были обеспечить ему первенство и позже, когда дела пошли удачнее. С коммерческой же точки зрения, Петербург и долго после не мог конкурировать естественным путем не только с Ригой, но даже с Архангельском. Пришлось и для того и для другого порта создать целый ряд ограничений: запретить ввозить в Ригу и в Архангельск товары, торговлю которыми должен был монополизировать Петербург. Зато русское правительство всячески старалось облегчить Риге конкуренцию с Кенигсбергом, причем из одного относящегося сюда документа мы

узнаем, что так заботившиеся о "свободной торговле" шведы отдали в 1690 году всю мануфактурную торговлю Риги на откуп четырем человекам, тогда как остальное купечество могло торговать мануфактурой только во время ярмарки (с 20 июня по 10 августа)*. Как видим, то, что обыкновенно выставляется, как ближайшая причина перехода остзейских провинций - главного объекта Северной войны - на русскую сторону, знаменитая "редукция", отобрание у лифляндского дворянства захваченных им в прошлые годы коронных имений, занимает в числе причин, обусловивших войну, далеко не первое место. Поскольку речь идет о завоевании Россией восточного побережья Балтики, "редукция" не играла даже никакой роли. Остзейское дворянство смотрело не на восток, а на юг, желало присоединения не к Московскому государству, а к Польше. Лидер дворянской оппозиции Паткуль был очень испуган, когда увидал, что фронт русского наступления поворачивает на запад, к Нарве: он бы предпочел видеть Петра в Финляндии. С другой стороны, рижское бюргерство не чувствовало, по-видимому, ни малейшего желания переходить из шведского подданства в польское, и в 1700 году от войск короля Августа город защищал не столько малолюдный шведский гарнизон, сколько вооруженные граждане, за что лифляндское дворянство, в договоре с тем же польским королем, проектировало лишить рижских бюргеров их исконных привилегий и передать управление городом окрестным помещикам. Союз остзейских баронов с русским правительством относиться к гораздо более позднему времени, когда взяла верх дворянская реакция, временно уступившая при Петре союзу торгового капитала с новой феодальной знатью.

** См. доклад рижского обер-инспектора Данненштерна в сборнике Русского исторического общества, т. 11, с. 459.*

Торговыми интересами на Балтийском море определяется и та комбинация держав, при которой началась Северная война и которая держалась, с перерывами, до ее конца. Союз России с Польшей именно на этой почве был столь же естественным, как тяготение Риги к Московскому государству: обеим державам для их экспорта нужно было "свободное" Балтийское море, т.е. уничтожение шведской монополии. Дания была в этом с ними солидарна, хотя бы, прежде всего, во имя зундских пошлин, которых она не могла заставить платить шведов, не говоря уже о старинной конкуренции двух скандинавских народов на Балтике. Наоборот, голландцы, именно от этих зундских пошлин убежавшие на Белое море, должны были отнестись к русско-польскому предприятию весьма несочувственно. Взаимные отношения Петра и Нидерландской республики во время Северной войны и по ее поводу могут служить наилучшей иллюстрацией того, как всяческие "культурные" влияния пасуют перед экономическими в случае столкновения. Казалось бы, что могло быть сильнее голландского влияния на "саардамского плотника", даже в своей подписи рабски копировавшего ту страну, которая в его глазах была олицетворением европейской цивилизации? А между тем, начиная войну, он знал, что его друзья смотрят на это более, чем холодно. Даже обещание вдвое понизить таможенные пошлины, сравнительно с Архангельском, не заставило лед растаять. "Нынешняя война ваша со шведами Штатам очень неприятна, - писал из Гааги Петру его тамошний представитель, Матвеев, - и всей

Голландии весьма непотребна, потому что намерение ваше - взять у шведа на Балтийском море пристань". А когда в Гаагу пришло известие о поражении русских под Нарвой, оно произвело там "несказанную радость". Друзья Петра, вместе с англичанами, не останавливались даже перед тем, чтобы разорвать союз Петра с Польшей, наладив отдельный мир короля Августа с Карлом XII. На Данию тоже оказывалось давление в том же направлении. Причем все заманчивые обещания Петра насчет тех коммерческих выгод, которые сулит балтийская торговля, сравнительно с беломорской, благодаря более быстрому обороту капитала (старый аргумент де Родеса) на англичан совершенно не действовали. Голландцы же формально заявили русскому представителю, что они "по старым договорам обязаны во всем помогать Швеции". Нужны были, с одной стороны, Полтавская победа, с другой - видимое упрочение русских на берегах Финского залива для того, чтобы в Лондоне и в Гааге решили несколько изменить свое отношение к внешней политике Петра.

Меркантилизм

Старый и новый тип меркантилизма - Старый тип в России: Новоторговый устав - Посошков - "Медные рубли" - Бунт по их поводу и расправа с бунтовщиками - Переход к новому типу: Посошков - Люберас - Салтыков - Реальные основы русского кольбертизма: допетровские фабрики - Дворцовые мануфактуры - Заграничные предприниматели - Характер производства и сбыта - Зачатки пролетариата

В основе этой политики лежал, таким образом, меркантилизм. О Петре, как одном из представителей этого именно течения экономической политики его времени, принято говорить уже давно*. Меркантилизмом, как известно, называется такое направление этой политики, которое, исходя из отождествления богатства с деньгами или вообще с драгоценными металлами, видит в торговле, приносящей в страну драгоценные металлы, источник народного богатства. Первые зачатки меркантилизма в Западной Европе относятся к концу средних веков (XIII - XV), а его расцвет - к эпохе Людовика XIV. Но его теория не стояла все время на одном месте, и в то время как ранний меркантилизм опирался исключительно на торговлю ценным сырьем, особенно колониальным, в XVII веке стали сознавать всю выгодность сбыта фабрикатов, особенно когда в фабрикаты перерабатывалось местное сырье, которого не было или которого мало было у других. Эта вторая стадия меркантилизма, связанная с именем Кольбера, - почему иногда это направление и называют специально колъбертизмом - и характеризующаяся покровительством туземной обрабатывающей промышленности, дожила, как всем известно, до нашего времени и составляет интегральную часть государственной мудрости, проповедуемой всеми консервативными партиями. Петровской России были уже знакомы обе стадии. Первая нашла себе юридическое выражение уже в 1667 году, в знаменитом Новоторговом уставе, изданном по почину Ордина-Нащокина, вероятного вдохновителя известной нам псковской реформы. Устав начинается с характерно меркантилистского заявления. "Во всех окрестных

государствах свободные и прибыльные торги считаются между первыми государственными делами; остерегают торги с великим бережением и в вольности держат для сбора пошлин и всенародных пожитков мирских". Фразы о "свободе" и "вольности" нас не должны смущать - речь тут идет не о "свободе торговли" в том смысле, какой придал этому термину XVIII век, а об отмене всякого рода феодальных стеснений и поборов узко фискального характера, стеснявших обмен ради непосредственной грошовой выгоды царского, а раньше княжеского казначейства. Множество мелких поборов, оставшихся от удельного времени (мыты, сотое, тридцатое, свальное, складки, повороты, статейное, мостовое, гостиное и т.д.), были уничтожены Новоторговым уставом и заменены однообразной таможенной пошлиной, которая имела в виду не столько непосредственную прибыль казны, сколько создание выгодного для Московского государства торгового баланса: была повышена пошлина с иностранных вин, зато совсем беспошлинно можно было привозить драгоценные металлы. А предметы роскоши, "узорочные вещи", были вовсе запрещены к привозу без особого разрешения. "В порубежных городах головам (таможенным) и целовальникам у иноземцев расспрашивать и пересматривать в сундуках, Ларцах и ящиках жемчугу и каменья неотложно, чтобы узорочные вещи в утайке не были; от покупки таких вещей надобно беречься, как и в других государствах берегут серебро, а излишние такие вещи покупать запрещают, не позволяют носить их простым нечиновным людям, чтобы оттого не беднели; также низких чинов люди, чтоб не носили шелку и сукна. Надобно удерживать таких людей от покупки таких вещей накладною пошлиною большою и заповедью без пощады: берегут того во всех государствах и от напрасного убожества своих людей охраняют". Нет надобности говорить, что заботы о том, чтобы "нечиновные люди не беднели", представляют собой такое же чиновничье лицемерие, как и оправдание казенных кабаков интересами народной трезвости. По существу же, тенденции Новоторгового устава не представляют собою ничего нового: во Франции еще в конце XIII века, в заботах о том, чтобы "нечиновные люди не беднели", запрещено было лицам, имевшим менее 6000 ливров годового дохода, приобретать золотую и серебряную посуду, заказывать более, нежели 4 платья в год и т.п. В Германии бархат могли носить только рыцари, золотые украшения на шляпе тоже составляли дворянскую привилегию, и еще в 1699 году служанка, осмелившаяся надеть платье со шлейфом или отделанное кружевами, рисковала попасть с бала в участок. В литературе у нас выразителем взглядов этого раннего меркантилизма является Посошков, писавший при Петре, отчасти даже в конце царствования, но характерный, в сущности, для второй половины XVII века. По мнению Посошкова, "не худо бы расположить, чтобы всякий чин свое бы определение имел: посадские люди все купечество собственное платье носили, чтобы оно ничем ни военному, ни приказному согласно не было. А то ныне никоими делами по платью не можно познать, кто какого чина есть, посадский или приказный, или дворянин, или холоп чей, и не токмо с военными людьми, но и с царедворцем распознать не можно". Дальше идет проект обмундирования всех разрядов посадского населения, где предусматривается не только материал, из которого сделана одежда, но и ее фасон и окраска. У первой статьи купеческого чина кафтаны должны были быть "ниже подвязки, чтобы оно было служивого платья длиннее, а церковного чина покороче,

а штаны бы имели суконные и триповые, а камчатных и парчовых отнюдь бы не было у них, а на ногах имели бы сапоги, а башмаков тот чин отнюдь не носил же бы". Тогда как "нижняя статья... те бы носили сукна русские крашеные лазоревые и иными цветами, хотя валеные, хотя не валеные, только бы были крашеные, а некрашеные носили бы работные люди и крестьяне"**. Параллельно с этим идут советы запретить ввоз шелковых носовых платков и иностранных вин: "Буде кто хочет прохладиться, то может и русскими питьи забавиться". Подобно русским купцам, державшим у себя шелк по пяти лет в наивной уверенности, что иностранцам все равно достать его негде, и они только из упрямства не хотят платить москвичам "справедливой" цены, Посошков тоже был твердо убежден, что русские без иностранных товаров могут прожить, "а они без наших товаров и десяти лет прожить не могут". И то, что однажды случилось в Архангельске, он готов обратить в систему, которую он, с обычной конкретностью своей фантазии, разрабатывает во всех деталях. "Пока иноземцы по наложенной цене товаров наших приймать не будут, до того времени отнюдь нималого числа таких товаров на иноземческие торги не возили бы"; и товаров, привезенных из-за границы, не позволять складывать в русских портах - не захотел покупать русский товар, вези и свой обратно. А на будущий год накинуть "на рубль по гривне или по четыре алтына" - "как бы купечеству в том слично было и деньги бы в том товаре даром не прогуляли". "И так колико годов ни проволочат они упрямством своим, то на каждый год по толико и те накладки на всякий рубль налагать, не уступая ни малым чем, чтоб в купечестве деньги в тех залежалых товарах не даром лежали, но проценты бы на всякий год умножились. И аще в тех процентах товарам нашим (цена) возвысится, что коему прежняя цена была рубль, а в упорстве иноземском возвысится в два рубля, то токову цену впредь за упрямство их держать, не уступая ни малым чем".

** См. статью Штиды (Stieda) в "Russische Revue" (1874, N 4) "Peter der Grosse, ais Mercantilist" - весьма сухой, но очень добросовестный свод или, вернее, каталог фактов, характеризующих эту сторону петровской реформы.*

*** Брикнер А. Посошков как экономист, с. 124 - 125.*

Рядом с этим глубоким убеждением автора "Скудости и богатства", что барыш в торговле определяется тем, кто кого переупрямит, можно поставить только его теорию денег - столь же вполне средневековую, как и его теория обмена. Посошкова очень возмущало, что иноземцы осмеливаются устанавливать курс на русские деньги: "Деньги нашего великого государя ценят, до чего было им ни малого дела не надлежало". "А наш великий император сам собою владеет, и в своем государстве аще и копейку повелит за гривну имать, то так и может правиться". На этот раз наш автор отстал не только от европейских взглядов на дело, но и от русской действительности: опыт назвать копейку гривенником был уже сделан в России приблизительно за три четверти столетия до того, как была написана книга "о скудости и богатстве". Так как этот опыт весьма характерен для раннего меркантилизма, то место упомянуть о нем именно здесь. Одновременная война с Польшей и Швецией поставила небогатую золотом и серебром казну царя Алексея в очень затруднительное положение. Надо иметь в виду, что в Московском

государстве не было ни золотых россыпей, ни серебряных рудников, так что заграничная торговля- была единственным источником драгоценных металлов. Сначала прибегли к обычной не только у нас, но и в Западной Европе, и не только в то время, но и гораздо позже, до Петра включительно, порче приходившей с Запада полноценной монеты: из "ефимка", принимавшегося у иностранных купцов по искусственно пониженному курсу (40 - 42 копейки вместо полтинника) чеканили 65 - 64 серебряные копейки. Затем перестали себя затруднять даже перечеканкой и просто клали на "ефимки" особые штемпеля, повышавшие их номинальную цену на 25%. Относительный успех этих мер, не затрагивавших широкой массы, для которой копейка (равнявшаяся 15 - 17 копейкам XIX веке) была наиболее обычной монетой, навел довольно естественно на соблазн: выпустить деньги совершенно искусственной ценности, определенной исключительно царской печатью. Так появились в обращении медные полтинники и рубли с принудительным курсом. Их совершенно напрасно сравнивали иногда новейшие историки с ассигнациями: последние всегда могли быть раз-менены на золото или серебро, хотя бы и не рубль за рубль, а "медные рубли" царя Алексея менять или выкупать вовсе не предполагалось. Это были "искусственные деньги" в полном смысле этого слова - металлическое выражение той идеи, что царь может и копейку велеть за гривенник считать. Но пределы царской власти неожиданно оказались ограниченными, и на московском рынке разразился самый неприятный и затрагивавший самые широкие круги кризис: крестьяне перестали возить в город сено, дрова и съестные припасы, за которые им платили медью вместо привычного серебра (нужно иметь в виду, что и копейка была тогда серебряная). Цены на все предметы первой необходимости сразу поднялись вдвое. Так как недовольство охватило и служилых людей, то правительству пришлось пойти на уступку: были снова выпущены серебряные копейки, другими словами, казна поступилась своей монополией на серебро, которую она хотела было ввести, и они стали обмениваться на медные, копейка за копейку. Это успокоило массу, и она понемногу привыкла к новой, медной копейке, раз было очевидно, что та ничем не отличается от серебряной по своей покупной силе. Медные копейки стали теперь действительно чем-то вроде ассигнаций, но для правительства это была лишь временная мера, которой оно рассчитывало приучить народные массы к нововведению. Едва медная копейка вошла в обычай, как ее стали чеканить в огромном количестве, совершенно не соображаясь с возможностью размена. По отзывам современников (наиболее полный рассказ о монетной авантюре тех дней оставил нам Котоши-хин), сюда примешались и злоупотребления: московские гости, пользуясь своей близостью к государственным финансам, стали чеканить на царском монетном дворе деньги за свой частный счет, наживая при этом всю разницу, какая была в цене между серебром и медью. Как бы то ни было, количество медных денег в обращении настолько увеличилось, что курс их постепенно упал до 17 рублей медных за 1 серебряный. Кризис повторился, но уже в удесятеренных размерах, причем теперь правительство не могло так легко из него выпутаться, так как не имело никакой возможности выпустить серебряных денег хотя бы приблизительно в таком количестве, чтобы можно было менять на них медные. Тогда-то произошел тот знаменитый бунт, когда толпа пришедших в Коломенское гилевщиков держала царя Алексея "за пуговицы". Очевидно, кто-то уже и в те времена пытался

объяснить волнение "иноземным подкупом", потому что Котошихин находит необходимым подчеркнуть, что среди бунтовщиков не было ни одного из многочисленных в Москве иностранцев. Зато он дает определенную социальную физиономию бунта: "Были в смятении люди торговые и их дети, и рейтары*, и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские, и гулящие, и боярские люди", - бунтовали мелкие торговцы, ремесленники и рабочие (как увидим ниже, категория наемных рабочих не была так незнакома Московской Руси, как часто думают). А направлено было восстание, наряду с администрацией, против крупного капитала: одним из наиболее заметных эпизодов является разгром двора одного из гостей, Шорина - крупнейшего из царских факторов того времени. Расправа "тишайшего" царя с бунтовщиками стоит того, чтобы ее отметить: началось с того, что безоружную толпу, пришедшую в Коломенское в простоте души "поговорить" с Алексеем Михайловичем, "начали бить и сечь и ловить, а им было противиться не уметь, потому что в руках у них не было ничего ни у кого, начали бегать и топиться в Москву-реку, и потопилося их в реке больше 100 человек, а пересечено и переловлено больше 7000 человек, а иные разбежались. И того же дня около того села повесили до 150 человек, а достальным всем был указ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук пальцы, а иных били кнутьем, и клали на лице на правой стороне признаки, разжегши железо накрас-но, а поставлено на том железе "буки", то есть бунтовщик, чтобы был до веку признатен; и чиня им наказание разослали всех в дальние города, в Казань, и в Астрахань, и на Терки, и в Сибирь, на вечное житье и после по сказкам их, где кто жил, и чей кто ни был, и жен их и детей потому ж за ними разослали; а иным пущим ворам того же дня, в ночи, учинен указ, завязав руки назад, посадя в большие суда, потопили в Москве-реке". Всего за восстание было казнено, по словам Котошихина, более 7000 человек, а сослано более 15 000. "А те все, которые казнены и потоплены и разосланы, не все были воры, - прибавляет он, - прямых воров больше не было, что с 200 человек; и те невинные люди пошли за теми ворами смотреть, что они будут у царя в своем деле учинять, а ворам на такое множество людей надежно было говорить и чинить что хотели, и оттого все погинули, виноватый и правый". Прибавьте к этому выразительному повествованию не менее выразительный рассказ Коллинса о том "капитане", которого тишайший царь собственноручно уложил на месте железным посохом - не хуже Грозного! - за то, что несчастный не вовремя сунулся к нему е челобитной и напугал царя: и вам сразу станут понятны и стрелецкий розыск Петра, так же мало говорящий о его личной, исключительной жестокости, как казни Ивана Васильевича - о патологическом состоянии последнего, и та атмосфера, которой окружен был московский двор XVII века, где одним из тягчайших преступлений было появиться во дворце, или хотя бы перед дворцом с оружием в руках. Впечатления Смуты, с ее убитыми и низвергнутыми царями, забывались не так легко, а XVIII веку суждено было многое освежить в памяти.

---

* *Т.е. мелкие служилые, подобно стрельцам занимавшиеся мелкой торговлей и ремеслом.*

"Медные рубли" были самым эффектным эпизодом ранней поры русского меркантилизма, когда он не метил дальше того, чтобы все золото и серебро, какое возможно, собрать в казенные сундуки. Европа была слишком близко, и европейские влияния слишком сильны. Уже столь типичные московские люди, как Посошков, начинали понимать, что одной "твердостью" в обращении с иностранцами (твердости по отношению к своим не приходилось учить, как мы сейчас видели) страны не обогатишь, а что богатая казна возможна только в богатой стране, это опять-таки понимал и Посошков. "Все, что есть в народе богатства - богатство царственное, подобно и оскудение народное, оскудение царственное", - записал он в одном месте, правда, по совершенно случайному поводу, вспомнив, как сгноили в царской казне чью-то конфискованную соболью шубу. А что народное богатство извлекается не из одних торговых барышей, это представлялось ему тоже довольно ясно, и у Посошкова мы находим уже вполне определенный переход к промышленному меркантилизму кольберского типа. По обыкновению, наивное национальное самодовольство первого русского экономиста" (Крижанича не приходится считать "русским" экономистом, и вообще историческое значение его писаний весьма проблематично: что Петр делал часто "именно то самое", на что указывал ученый серб, ровно ничего не доказывает, раз этот серб говорил то же самое, что и все иностранцы его времени) придает его кольбертизму смешноватый оттенок. Он все рад бы делать дома - до "ребячьих игрушек" и очков включительно, не покупая ничего подобного у иноземцев "ни на полцены" и, по обыкновению же налегая на волевой момент, уверен, что коли хорошенько приняться за дело, так стеклянной посудой, например, "все их государства наполнить можем". Меры, которые он предлагает для поднятия русской промышленности - мелочной контроль над доброкачественностью каждой отдельной вещи, штрафовка "неисправных" мастеров и т.п., - чисто средневековые. Но когда он мотивирует устройство суконных заводов в России тем, что тогда "те деньги у нас в России будут", он идет в ногу с современными ему европейскими меркантилистами, быть может, и прямо кое-что у них заимствуя, со слуху, из рассказов бывавших за границей русских. В подлиннике русские официальные круги познакомились с более современными экономическими течениями из проектов голштинца Любераса, бывшего при Петре вице-президентом берг- и мануфактур-коллегий. В одной из своих записок, представленных Петру, этот образованный немецкий чиновник начинает, в сущности, с жестокой критики московских порядков, не называя только Московского государства по имени. "Известно, - говорит он, - что в некоторых странах, несмотря на то, что ведется большая торговля, подданные мало получают от нее пользы. Бывает это тогда, когда жители продают свои продукты в сыром виде; в этом случае подданные других стран обрабатывают сырье и получают большую прибыль, тогда как первые обладатели имеют скудное пропитание... Или же тогда, когда государь либо за свой собственный счет возьмет известную торговлю, либо дозволит другим людям монопольную торговлю за ежегодное вознаграждение; от этого, по видимости, и вначале, казна может несколько выиграть, но в действительности наибольшую выгоду извлекает руководитель предприятия, общая же торговля, которая тогда только и процветает, когда ведется свободно частными предпринимателями, с помощью их кредита и их индивидуальных усилий, испытывает великий вред для

своего правильного течения..."*. "Знакомство с прошлым и настоящим временем делает бесспорным и ясным, как день, что после благословения Божия существует два главных пути, пренебрежение или внимание к которым обусловливает как погибель и порабощение стран, так и их процветание и рост: именно - мореплавание и промышленность..." Как, например, Люберас указывает русскому царю на его собственную страну, "превосходные и необходимые продукты которой до сих пор зависят от чужеземного вывоза и уравновешиваются обменом на иностранные товары, частью вовсе ненужные, так как ваше величество имеете возможность завести собственные подобные мануфактуры".

** Милюков. Государственное хозяйство России и реформа Петра Великого, с. 528; мы пропустили 2-й пункт, трактующий о торговом балансе вообще.*

Люберас не мог указать, какие именно мануфактуры нужно завести в России, так как, по его словам, природные особенности (specialia) Русского государства не были ему известны. За это взялся другой прожектер, уже природный русский, которого Петр посылал строить корабли в Англию, где его при жизни едва не арестовали по требованию английских кредиторов русского правительства, а после смерти искали, чтобы арестовать по царскому приказу: этого многострадального человека звали Федором Салтыковым, он был правнук знаменитого в истории Смуты Михаила Глебовича Салтыкова и родственник царской семьи через царицу Прасковью Федоровну, жену брата Петра, слабоумного Ивана Алексеевича. В своих "изъявлениях прибыточных государству", написанных в 1714 году, Салтыков, рядом с вереницей самых разнообразных проектов - о присоединении к России Лифляндии, о написании истории Петра Великого, о воспи-тадши сирот обоего пола, о городской почте и т. д. - набрасывает целый план создания в России "заводов": шелковых тканей, суконных, бумажных, стеклянных, игольных, булавочных и белого железа и смоляных. Впервые издавший проекты Салтыкова исследователь обращает по этому поводу внимание своих читателей на то, что к 1714 году правительство могло извлечь из "пропозиций и изъявлений" очень немного фактически нового. "О производстве шелковых тканей, стекла, писчей бумаги Петр начал заботиться с 1709 - 1710 гг., - пишет он. - В 1709 г. Петр отдал англичанину Вильяму Лейду существовавшие в Москве стеклянные заводы с обязательством расширить производство и выучить русских мастеров усовершенствованному способу производства стекла. В 1712 г. по приказанию правительства вывезены были из-за границы "припасы к стеклянному делу". Один молодой человек, некто Короткий, отправлен был Петром в Голландию для изучения писчебумажного мастерства, и по возвращении в Россию в 1710 году получил приказание построить около Москвы бумажную мельницу и фабрику на "голландский манир"; несколько молодых людей было отдано ему в ученики, вслед за тем граф Апраксин, по приказанию Петра (1712), устроил бумажную мельницу в Красном Селе. Первая шелковая фабрика устроена, до проектов Салтыкова, в 1714 г.*. К этому можно только прибавить, что все эти "начинания" Петра сами по себе не представляли собою ровно ничего нового. Стеклянные заводы существовали в Московском государстве уже в третьей четверти XVII века. Первую бумажные мельницу построили едва ли еще не при Иване Грозном; другую начали строить по

приказанию патриарха Никона, но не достроили, а к 70-м годам того же столетия были в ходу уже две бумажные мельницы: одна царская, другая частная, принадлежавшая вдове знакомого нам откупщика заграничной почты фон Шведена. Последняя работала на "голландский манир", и сохранились ее изделия, с водяными знаками, имитировавшими знаменитую тогда иностранную марку - голову шута (Narrenkapp papier)**. Первая суконная фабрика была основана тем же Иоганном фон Шведеном в 1650 году; первые железоделательные заводы появились раньше, и если первая игольная мануфактура возникла в России только через три года после представления Салтыковым своих проектов, то это, конечно, вовсе не значит, что она, без советов этого прожектера, не появилась бы вовсе. Теория кольбертизма и у нас, как всюду, возникла на почве практики и, стало быть, после нее; но теория была попыткой систематизировать практику. Мы видели, что московская вывозная торговля представляла собой в конце XVII века систему довольно правильно и прочно организованных монополий. Теперь такую же систему стремится принять и крупная промышленность.

---

* *Павлов-Сильванский Н. Проекты реформ в записках современников Петра Великого, с. 39 - 40.*

** *Лихачев. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве.*

В начале века промышленное производство в Московском государстве носило, как и торговля, ремесленный характер. Впервые характер крупного коммерческого предприятия приняла царская торговля. Царские же, дворцовые промышленные заведения были в числе первых образчиков крупной индустрии в России. За царем, в деле создания торгового капитализма в Москонском государстве, шли иностранцы, они же являются и первыми у нас, кроме царя, заводчиками и фабрикантами. Причем, как и иностранные купцы, иноземные промышленные предприниматели действовали постоянно под покровительством царской власти и в тесном союзе с нею. На двух образчиках мы можем очень хорошо видеть, как развивались царские мануфактуры из отраслей дворцового хозяйства. В подмосковном дворцовом селе Измайлове с давних пор существовало стеклянное производство для домашних дворцовых нужд. По мере разрастания царского дворца и стеклянной посуды нужно было больше - в 1668 году в Измайлове мы находим уже стеклянный завод, с русскими мастерами. Но и придворные вкусы делались тоньше, грубое литье своих мастеров уже не удовлетворяло: всего два года спустя на завод были выписаны венецианцы, один из которых, некто Mignot (в русских документах Миот, или Мает) оказался особенно заслуживающим своей репутации, и работа Измайловского завода даже иностранцами признавалась "довольно изящной". По-прежнему завод обслуживал и дворцовые надобности: в расходных книгах Измайловского дворца за 1677 год значится, например, что царице Наталье Кирилловне 14 июня было подано 25 стаканов высоких да 25 плоских и разная другая стеклянная посуда. Но в то же самое время мы находим в Москве, на Большом Гостином дворе "шалаш", "а в нем государских продажных сосудов" столько-то. Иностранцы же рассказывают об Измайловском стеклянном заводе просто как о мануфактуре, принадлежащей царю, рядом с другой такой же

мануфактурой, принадлежавшей некоему Коэту, или Коже (Kojet), получившему в 1 634 году от царя привилегию на 15 лет. Разница была лишь в том, что завод Коэта производил только грубое стекло, оконное и бутылочное. Любопытно, что конкурентами его являлись не иностранцы - через Архангельск привозилось очень мало бутылок, - а украинские заводчики, наводнявшие Москву по зимнему пути своим стеклом. Тем не менее, и сбыт коэтовского завода был довольно крупный - бутылок продавалось ежегодно от 80 до 90 тысяч штук. Что царская мануфактура тоже шла успешно, доказывается появлением филиальнего отделения Измайловского завода, в селе Воскресенском, Черноголовской волости.
Совершенно аналогичную картину даст нам развитие железоделательного, в частности, оружейного производства. Царские оружейники, при Оружейной палате в Москве, существовали издавна. Они продолжали работать и при царе Алексее - в 1673 году ими был изготовлен целый ряд образчиков так называемого "роскошного" оружия (Prunkwaffen), от пушек до луков и колчанов включительно. По словам Кильбургера, московские оружейники того времени только этим и славились, и образчики их мастерства в этом роде попадали даже за границу. Настоящее же, деловое, так сказать, оружие, наоборот, выписывалось из-за границы, так как наши мастера больше заботились о тонкостях внешней отделки, об изяществе золотой насечки и т. д., нежели о том, чтобы из их ружей и пистолетов можно было стрелять. Возможно, что так это было и на самом деле, хотя нельзя не отметить любопытную подробность: в числе изготовленных для царя в 1673 году образчиков было довольно много оружия нарезного, т. е. того типа, которому в XIX веке суждено было сделаться универсальным, и который всегда предпочитался по меткости и силе боя и не входил в общее употребление только из-за трудности заряжения. Как бы то ни было, оружия и вообще железного товара не хватало уже давно - и так как спрос на него рос быстро, то, параллельно с расширением размеров дворцового производства, были выдвинуты привилегированные частные предприниматели, из иностранцев. В 1632 году голландец Виниус получил царскую привилегию на устройство железоделательного завода, с обеспечением ему казенных заказов на пушки, ядра и другие железные изделия и с правом вывозить остаток за границу; это было, таким образом, форменное соглашение заграничного предпринимателя с русским правительством. Виниус разорился, но это не было крушением самого предприятия: оно перешло только в другие руки. Новый хозяин, датчанин Марселис, еще владел заводом "как полной наследственной собственностью" (erblich und eigen), когда писал Кильбургер; он только что стал тогда единоличным собственником, выкупив 3/4 предприятия у своего зятя, Томаса Келлермана; за эти 3/4 Марселис заплатил 20 000 рублей (300 000 золотом), значит, все предприятие ценилось в 400 000 наших рублей. Движущей силой была водяная (Виниус и хлопотал о разрешении построить "мельничные заводы"), и вокруг завода, помещавшегося между Серпуховом и Тулой, были, как и ныне около уральских заводов, огромные пруды. Руда была очень хорошая и добывалась настолько легко, что не давали себе труда выкачивать воду из шахт, а просто когда много набиралось воды, начинали копать в другом месте. С нашим обычным представлением о первых русских заводах, как обслуживавших исключительно "государственные" потребности, нам кажется, что там должны были делать

исключительно пушки, ружья, ядра, сабли, панцири и т.д. Но современник, специально интересовавшийся русской промышленностью, уверяет, что марселисовские пушки были очень плохи, хотя их пытались вывозить даже за границу, в Голландию (мы помним, что это было предусмотрено контрактом); на опытах они все полопались. Это сообщение подтверждается и жалобами московского правительства на своего контрагента: по словам московских дипломатов, обличавших иностранных предпринимателей перед голландскими штатами в разных недочетах, Тульский завод ставил в казну пушки "многим немецкого дела хуже". Что касается ручного оружия, то и у Марселиса, как в царской оружейной палате, делали только "роскошное", а деловое по-прежнему выписывалось из Голландии, где московское правительство заказывало по 20 - 30 тысяч мушкетных стволов. Еще петровская пехота была вооружена в 1700 году льежскими и мастрихтскими ружьями. Сабельных клинков "делали (в 1673 году) немного и они совсем плохи". А относительно панцирей мы узнаем пикантную подробность из тяжбы между заводчиками, Виниусом, с одной стороны, Марселисом и Акемой - с другой: первый обвинял, между прочим, последних, что у них на заводах лат вовсе не делают (вопреки контракту о поставке оружия), а те на это отвечали, что они держали латного мастера несколько лет, "но так как от царского величества ему работы никакой не было, то его и отпустили назад за границу". Надо прибавить, что на заводе второго из ответчиков, Акемы, оружия и вовсе не делали - это был совсем "штатский" завод.

Чем же занимались эти заводы, основанные, как нас уверяли, исключительно для удовлетворения "государственных" потребностей? А тем же, чем и современные нам фабрики: обслуживали внутренний рынок. Завод Марселиса изготовлял полосовое и кровельное железо, железные двери и ставни, литые чугунные плиты для порогов и тому подобные вещи, находившие себе все больший и больший сбыт благодаря все большему и большему распространению каменной стройки. Завод Акемы изготовлял, кроме того, судовые якоря - косвенное указание на то, как широко распространено было речное судоходство, особенно же славился своим полосовым железом, "прекрасным, гибким и упругим, так что каждую полосу легко было согнуть в круг". Царский железный завод, стоявший около Клина, изготовлял совершенно такого же рода товары. В 1677 году царского железа записано на приход, с остатком от предыдущего года, 1664 пуда связного (т.е. железных связей для каменных построек), 633 пуда полосового, 3 бочки "белого" железа, 2480 гвоздей прибойных, 400 100 гвоздей двоетесных и т.д. Восемь лет спустя связного железа в запасе было 1901 пуд, полосового - 1447 пудов 35 фунтов. У нас нет данных, по которым можно было бы определить, предназначались ли эти "запасы", как стеклянные, и на продажу, или исключительно для дворцовых надобностей. Можно только заметить, что если царский завод производил, между прочим, и гвозди, то это явно указывает на не вполне коммерческий характер предприятия, так как фабричные гвозди в то время не могли конкурировать с кустарными, которые хотя и были очень плохи, но зато дешевы вне всякого сравнения. О том же плохом коммерческом расчете свидетельствует и местоположение царского завода, поблизости которого имелась только плохая болотная руда. Но плохой предприниматель, дворцовое ведомство не преследовало в этой области иных целей, чем другие, - мотивы, руководившие им, были чисто экономические и

отнюдь не политические. Отчасти его предприятия развивались, как мы видели, на почве огромного вотчинного хозяйства: его отдельные отрасли были так громадны, что не трудно было придать им характер крупной индустрии. Но бывали случаи, где царь выступал предпринимателем в чистом виде - без всякого отношения к дворцовому хозяйству. Коллинс рассказывает об огромной канатной мануфактуре, устроенной царем Алексеем для того, чтобы дать заработок нищим, которые были туда собраны, будто бы, "со всей империи", - причем, работая в царском предприятии, нищие окупали все свое содержание, так что царю оно ничего не стоило. Ободренный этим опытом, который так живо напоминает заботы Михаила Федоровича о народной трезвости, царь Алексей стал "каждый день устраивать все новые и новые мануфактуры" с работниками такого же типа, которым их скудная плата выдавалась натурой - тогда как деньги, "которые доставляют ему (царю) кабаки, таким путем сберегались". К числу обычных предрассудков относительно допетровской и петровской промышленности принадлежит и мнение, что такой способ обеспечивать предприятия рабочими руками был господствующим. На этом основании историк русской фабрики отказал этой промышленности в названии капиталистической: для капиталистического производства "не хватало в России самого главного - класса свободных рабочих". Были ли у нас свободные рабочие в XVII - XVIII веках вообще и на тогдашних фабриках в частности? На винокуренном заводе Посошкова, недалеко от Боровичей, Новгородской губернии, работали наемники, без которых, по словам племянника Посошкова, управляющего заводом, никак нельзя было управить заводской работы. Из письма того же племянника видно, кроме того, что и крестьяне самого Посошкова ходили на работу в отход: двое из них "денег рублев с полдесятка принесли". На железных заводах не только мастера-немцы, но и подмастерья, и носильщики, уже без всякого сомнения, русские получали денежную плату. В контракте с Марселисом прямо было оговорено: нанимать всяких людей по доброте, а не в неволю. Крепостные крестьяне, приписанные к заводам, исполняли больше подсобную работу, но и то не даром, не совсем, как барщину: крестьяне, доставлявшие золу на стеклянные заводы, получали по 12 копеек с тонны.

Промышленная политика Петра

Приемы дворянского государства и экономическое развитие: принуждение как основа экономической политики - Регламентация производства - Протекционизм - Искусственное создание новых отраслей производства: шелковые мануфактуры - Недостаток свободных рабочих рук и способы искусственной замены: применение арестантского труда - Крепостная фабрика - Банкротство петровского капитализма: мнение комиссии о коммерции 1727 года.

Таким образом, в России конца XVII века были налицо необходимые условия для развития крупного производства, были капиталы - хотя, отчасти, и иностранные, - был внутренний рынок, были свободные рабочие руки. Всего этого слишком достаточно, чтобы не сравнивать петровских фабрик с искусственно выгнанными тепличными растениями. И, однако же, крах петровской крупной промышленности

- такой же несомненный факт, как и все вышеприведенное. Основанные при Петре мануфактуры лопнули одна за другой, и едва десятая часть их довлачила свое существование до второй половины XVIII века. Присматриваясь ближе к этому первому в русской истории промышленному кризису, мы, однако, видим, что и он был как нельзя более естественным - и объясняется именно тем, чем объясняли часто в прежнее время возникновение крупной промышленности при Петре. Совершенно ошибочно мнение, будто политические условия форсировали развитие русского капитализма XVII - XVIII веков; но что политическая оболочка дворянского государства помешала этому капитализму развиться, это вполне верно. Самодержавие Петра и здесь, как в других областях, создать ничего не сумело, но разрушило многое: история петровских мануфактур в этом отношении дает полную параллель к картине того административного разгрома, которую так хорошо изобразил в своей книге г. Милюков.

"Купечества у вашего величества весьма мало и можно сказать, что уже нет", - писал Петру в 1713 году один неизвестный русский, "обретавшийся в Голландии". Он объяснял дело конкуренцией "высоких персон": мы сейчас увидим, в какой связи это стоит с общими политическими условиями. Но, помимо конкуренции, самый способ воздействия Петра на промышленность был таков, что должен был распугивать, а не привлекать капиталы. Уже в московскую эпоху промышленность была достаточно стеснена монополиями и привилегиями: но и те, и другие стесняли приложение капитала, так сказать, указывая ему, чего он не может делать. Петр попытался учить капитал, что он должен делать, и куда ему следует идти, и выполнял свою работу с энергией и натиском, которые всегда были ему свойственны, и с наивностью, которая может поспорить даже с методами Посошкова, ставившего размер торговой прибыли в зависимость от твердости характера торгующего. Распоряжения в духе Посошкова - ив духе средневекового меркантилизма вообще - о том, например, чтобы люди боярские (т.е. крепостные) носили только русские сукна, а заморских не смели носить, в случае же, если сукон не хватит, шили бы платье из "каразеи", или о том, чтобы никто не смел носить платье с позументами, "ибо англичане богатее нас, а позументов не носят", были еще самой мягкой и наиболее косвенной формой петровского воздействия на развитие индустрии. Он мог действовать гораздо прямее и проще. Указ сенату (январь 1712 года) предписывал: "Заводы размножать не в одном месте, так чтобы в пять лет не покупать мундира заморского, и заведение дать торговым людям, собрав компанию, буде волею не похотят, хотя в неволю, а за завод деньги брать по-годно, с легкостью, дабы ласковей им в том деле промышлять было". Мы много слышали о крепостных рабочих при Петре; но о крепостных предпринимателях приходится слышать гораздо реже, а этот тип несравненно любопытнее. В 1715 году до Петра дошло, что русскую юфть не хвалят за границей, так как она скоро портится от сырости благодаря русскому способу выделки. Немедленно было предписано делать юфть по-новому, для чего разосланы по всей империи мастера: "Сему обучению дается срок два года, после чего если кто будет делать юфти по-прежнему, тот будет сослан в каторгу и лишен всего имения". К каким результатам приводило такое отеческое попечение, показывает известная судьба северорусского холстоткачества. Как мы знаем, русский холст и русское полотно в большом количестве шли за границу. Иностранные купцы как-то попеняли царю,

что русские посылают к ним очень узкое полотно, которое невыгодно в употреблении, и потому ценится гораздо дешевле широкого. Петр немедленно строжайше запретил ткать узкие полотна и холсты; но в избах русских кустарей негде было поставить широкие бёрда, и кустарное холстоткачество совсем завяло, причем разорилось и много купцов, промышлявших сбытом этого товара. Такие же результаты имело запрещение псковичам торговать льном и продуктами из льна с Ригой, имевшее целью поощрить торговлю Петербургского порта. Что весь этот поход на кустарное ткачество имел в виду поддержать крупные полотняные мануфактуры, заводившиеся в то же время (одна из них принадлежала императрице), это едва ли может подлежать сомнению. Но у Петра не было терпения дождаться, пока капиталы сами начнут притекать к этому делу, и он пробовал вогнать капитал в полотняные мануфактуры дубиной. В результате, на место десятков тысяч разоренных ткачей получилась одна полотняная мануфактура Тамеса, где, правда, изготовляли товар, по отзыву иностранцев, не хуже заграничного, но которая могла сводить концы с концами только благодаря тому, что в виде подкрепления к ней было приписано целое большое село (Кохма) с 641 крестьянским двором. Фабрика, которую приходилось содержать трудом крепостных крестьян, во всяком случае, не была уже капиталистическим предприятием. Перед иностранными путешественниками ею щеголяли как рассадником русских мастеров, но не видно, чтобы они потом находили приложение своему искусству. Петр, однако, этим мало смущался и был убежден, что путем административных распоряжений можно не только собрать капиталы "хотя бы неволею", но и восполнить недостаток отсутствующего в России сырья. Он запретил употреблять в канцеляриях бумагу иначе как русского производства, но оказалось, что развитие этого последнего тормозилось отсутствием на русском рынке тряпья. Тогда издан был следующий указ: "Понеже бумажная мельница, которая строится по указу Его Ц. В. за Галерным двором, приходит уже в строении к окончанию, а на делание бумаги материалов никаких нет: для того Е. Ц. В. указал в Санкт-Петербурге публиковать указом, дабы всяких чинов люди, кто имеет у себя изношенные тонкие полотна, тако ж хотя и не гораздо тонкие, что называются ивановские полотна и прочие тому подобные, и такие бестряпицы приносили и объявляли в канцелярии полицеймейстерских дел, за которые по определению заплочены им будут деньги из кабинета Е. Ц. В.". В серьезности подобных мер Петр был глубоко убежден и объяснял неудачу их тем, что "не крепко смотрят и исполняют указы". Подобно Посошкову, и он был убежден, кроме того, в злокозненности иностранцев, которые "фабрикам нашим сильно завидуют и всеми способами стараются их уничтожить подкупами". В дубину же, как орудие экономического развития, он веровал твердо. "Не все ль ж волею сделано?" - спрашивал он своего воображаемого оппонента в указе 1723 года, по обыкновению из тона законодателя переходя в тон публициста: "И уж за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел. Так и в мануфактурных делах не предложением одним делать, но и принуждать, и вспомогать наставлением, машинами и всякими способами; и яко добрым экономам быть, принуждением отчасти; например, предлагается: где валяют полсти тонкие, там принудить шляпы делать (дать мастеров), так чтоб невольно было ему полстей продавать, ежели положенной части шляп притом не будет; где делают юфть, там кожи на лосиное

дело и прочее, что из кож; а когда уже заведется, тогда можно и без надсмотрителей быть". Но "быть без надсмотрителей" - это значило все же остаться под надзором, только не центральной власти, а "бурмистров того города", где заведена мануфактура. Наиболее европейской мерой в этом каталоге принуждений был таможенный протекционизм: "Которые фабрики и мануфактуры у нас уже заведены, то надлежит на привозные такие вещи накладывать пошлину на все, кроме сукон". Во исполнение этого пожелания указа 1723 года, тарифом, изданным в следующем году, большая часть привозимых из-за границы фабрикатов была обложена пошлиной в 50 - 75% своей цены. Как должен был отразиться этот тариф на внутреннем рынке, видно из того, что в число высокопошлинных товаров попало железо, уже за пятьдесят лет ставшее предметом массового потребления. А насколько рационально вырабатывались тарифы, об этом свидетельствует любопытное прошение шелковых фабрикантов, в интересах которых шелковые ткани тоже были обложены запретительными пошлинами. Они просили вновь разрешить ввоз шелковой парчи, на том основании, что их собственная мануфактура "не может вскоре в такое состояние прийти, чтоб могла удовлетворить парчами все государство"; они считали более выгодным для себя получить в руки контроль над торговлей заграничными шелковыми товарами, "чтоб мы, по своему усмотрению, могли ввоз одних парчей позволять, а других запрещать". Капитал, загнанный дубиной в промышленность, опять просился в торговлю...

Под этим прошением стоят подписи трех из числа крупнейших персон Петрова двора - адмирала Апраксина, вице-канцлера Шафирова и Петра Толстого. Их предприятие, по размерам затраченного капитала, было едва ли не самым большим в петровское время: в него было вложено до миллиона рублей, в том числе третью часть дала казна, не считая того, что она снабдила "компанию" постройками, материалами (мы помним, что торговля шелком-сырцом составляла царскую монополию) и т.д. И все это покровительство излилось на такую отрасль производства, которая для внутреннего рынка имела минимальное значение, а в связи со средневеков ымимеркантилистскими мерами Петра против распространения роскоши в массах не должно бы иметь его вовсе. А между тем шелковые фабрики при Петре росли, как грибы: в одной Москве их было пять, и кто только не бросался на это выгодное дело! Тут мы встречаем и министров, как упоминавшиеся нами выше, и придворных истопников (Милютин), и ямщиков (Суханов), и заезжих армян. В связи с уже знакомым нам положением России во всемирной торговле шелком в те времена, увлечение идеей сбывать на Запад вместо сырого шелка шелковые изделия было вполне понятно. Недаром Федор Салтыков шелковым мануфактурам посвятил особую главу своих "Изъявлений прибыточных": "Которые заводы будут приносить в государстве немалые прибыли, - писал он, - российский народ такие же чувства имеет, как прочие народы и рассуждение, только их довлеет к таким делам управить". Но попытка конкурировать с Лионом или Утрехтом была детской затеей для государства, где промышленность только еще зарождалась. Староста московского суровского ряда официально заявлял, что шелковые ткани отечественного изделия "против заморских работою не придут, а ценою продаются из фабрик выше заморских"; и от лица всех суровских торговцев староста просил о свободном ввозе заграничных

шелковых материй. Все предприятие было типичной авантюрой и скоро лопнуло, а между тем на него тратились крупные казенные деньги и отвлекались капиталы от других мануфактур. Иначе, но так же нездорово, проявлял себя меркантилизм Петра в железоделательной промышленности: на железо были наложены почти запретительные пошлины, а в то же время казенные тульские заводы были всецело поглощены (с 1715 года) изготовлением оружия, которого так много требовала реформированная Петром армия. Обслуживание же народного потребления всецело было в руках привилегированных предпринимателей-монополистов, вроде знаменитого Демидова или царского родственника Александра Львовича Нарышкина. Казне было выгоднее и в политическом, и в финансовом отношениях иметь свои ружья и свои пушки, нежели зависеть в этом отношении от Голландии. Но для развития крупной железоделательной индустрии в России едва ли не благоприятнее были те времена, когда Марселис лил плохие пушки и хорошие сковороды.

Интенсивное и принудительное развитие русских мануфактур при Петре имело, наконец, и третье последствие, давно отмеченное в литературе: от Петра ведет свое начало крепостная фабрика. Выгоды вольного труда на мануфактуре сознавали тогда столь же хорошо, как и в предшествующую эпоху: Тамес по контракту был обязан, как в свое время Виниус и Марселис, "в мастеровые ученики и работники нанимать свободных, а не крепостных, с платежом за труды их достойной платы". Но когда приходилось пустить в ход сразу сотню предприятий, между которыми были и очень крупные (у Тамеса был 841 рабочий, на московской суконной мануфактуре Щеголина 730, на другой, казанской суконной же, Микляева, 742, на Сестрорецком оружейном заводе 682 человека, на московской казенной парусной фабрике 1162 и т.д.), имевшегося небольшого количества вольных рабочих не могло хватить. А с другой стороны, монополист-предприниматель и не очень был заинтересован в качестве своих произведений: все равно, кроме него, купить было не у кого. Отсюда естественно было стремление заменить вольный труд суррогатами, и правительство охотно шло этому стремлению навстречу. "Указом от 10 февраля 1719 года предписано было отослать на полотняные фабрики Андрея Турчанинова с товарищами "для пряжи льну баб и девок, которые, будучи на Москве из приказов, так же и из других губерний, по делам за вины свои наказаны". Указом от 1721 года эта мера сделана общей: женщины, виновные в разных проступках, отсылались, по усмотрению Мануфактур- и Берг-коллегии, для работы на компанейских фабриках на некоторый срок или даже пожизненно"*. Указ от 18 января 1721 года, позволивший купцам покупать к фабрикам и заводам населенные деревни, окончательно узаконил это положение вещей. Но если фабрикант мог вести теперь дело руками своих крепостных людей, кто же мешал владельцу крепостных завести фабрику? Мера Петра мало принесла пользы русскому промышленному капитализму, но она была одним из предвестников, довольно далеких еще, капитализма крепостнического, помещичьего. При одинаковой форме, одинаковом, стало быть, качестве труда помещичья фабрика имела все шансы победить купеческую: так и случилось в течение XVIII века. Слишком натянув струну, петровский меркантилизм оборвал ее вовсе. Но мы очень ошиблись бы, приписав этот исход индивидуальной ошибке "Преобразователя". Даже способ проведения им промышленного меркантилизма в русскую жизнь не

был его личной особенностью: мы видели, что Посошков, типичный представитель средней русской буржуазии этого времени, также много придавал значения "волевому импульсу" и также мало считался с объективными условиями, как и сам Петр, ^ыросший на царских монополиях, окруженный условиями ремесленного производства, русский торговый капитализм очень плохо приспосабливался к тому широкому полю действия, на котором он очутился в начале XVIII столетия, не столько выйдя туда по доброй воле, сколько вытолкнутый напором западноевропейского капитала. Этому последнему и досталась львиная доля всех барышей: в то время как в XVII столетии максимальное число кораблей в единственном тогда русском порте, Архангельске не превышало сотни, в год смерти Петра в Петербурге было 242 иностранных судна, да, кроме того, в Нарве 170, в Риге, которая тоже стала теперь русским портом, 386, в Ревеле 44, в Выборге 72, - запустел только сам Архангельск, куда пришло всего 12 судов из-за границы: с 1718 года торговля через этот порт была обставлена, в интересах Петербурга, такими затруднениями, что иностранцы стали его избегать. В общем же, по числу кораблей русская отпускная торговля выросла за полстолетия, со времен Кильбургера, раз в 8 - 10. А русского купечества в это время было "весьма мало, и можно сказать, что уже вовсе не было - ибо все торги отняты от купцов и торгуют оными товары высокие персоны и их люди и крестьяне". Этот отзыв неизвестного прожектера, "обретавшегося в Голландии", вполне подтвердили, косвенно, и сами "высокие персоны" очень скоро после смерти Петра. В 1727 году в комиссии о коммерции при Верховном тайном совете Меншиков, Макаров и Остерман подали "мнение", где соглашались, что "купечество в российском государстве едва ли не вовсе разорено", и что нужно "немедленно учредить комиссию из добрых и совестных людей, чтобы оное купечество рассмотреть и искать сию государственную так потребную жилу из корени и с фундамента излечить". В качестве лекарства предлагалось отчасти взять назад некоторые насильственные меры Петра, ибо "купечество воли требует", отчасти возвратиться к московской практике, отворив снова Архангельск. Но, главное, рекомендовалось пересмотреть промышленные предприятия петровской эпохи, рассудив о фабриках и мануфактурах, "которые из оных к пользе государственной, а которые к тягости", и предупредить на будущее время излишнее размножение таких "тягостных" предприятий; запретив купечеству "впредь деревни покупать". "А помещикам самим торговать", дипломатично прибавляло "мнение": но паче повелеть им крестьянам своим в промыслах и в размножении всяких деревенских заводов сильное вспоможение учинить". Дав некоторые подачки буржуазии, торг знатными персонами через своих людей предлагалось, таким образом, увековечить. Так, рядом с иностранными капиталистами, перед нами появляется другая социальная группа, пожавшая плоды "преобразований": то была новая феодальная знать, под именем "верховных господ" начавшая править Россией на другой же день по смерти Петра I?

** Туган-Барановский, цит. соч., с. 22.*

Новый административный механизм

Буржуазная администрация петровской России - Союз буржуазии и феодальной знати; два проекта 1681 года - Ратуша и ее связь с предыдущими мерами - Происхождение губерний; военные округа XVII века, их социальное значение - Характер петровской губернии - Губернии и ратуша: "растаскивание" России - Остатки - централизации: Сенат как центр царского хозяйства - Остатки буржуазной администрации: фискалы, их значение и судьба - Происхождение коллегий; рассказ Фокеродта - Коллегии и торговый капитализм - Коллегии и дворянская реакция - Коллегии и верховные "господа" - Новые успехи дворянской реакции; Табель о рангах - Последняя вспышка буржуазных тенденций: реформа 1722 года и генерал-прокуратура

Непосредственное управление дворянской Россией было в тех же руках, в чьих была и политическая власть: вассалы московского государя, военные землевладельцы собирали налоги, судили, устанавливали полицейский порядок в XVII веке, как и столетием раньше, как и двумя столетиями позже, в сущности, если брать социальный смысл явления, а не его юридическую оболочку. На этом однообразном фоне дворянского режима конец XVII и начало XVIII века дают, однако, очень резкое пятно. Перемещение экономического центра тяжести не могло пройти бесследно и для распределения власти между общественными группами: весна торгового капитализма принесла с собою нечто совершенно необычное для Московской России - буржуазную администрацию.

Тот факт, что на самом рубеже двух столетий, в 1699 году, дворянский воевода, за службу и раны посаженный на место, чтобы "покормиться досыта", должен был уступить это место посадскому бурмистру, не то "ответственному финансовому агенту правительства", не то - на последнее он был больше похож - приказчику на отчете, - этот факт описан нашими историками давно. Но, с их обычной верой в чудодейственную силу государства, они за него не запнулись: почему же бы государственной власти и не отдать местного управления в руки купцов, если это было для нее удобнее? Ведь еще Иван Васильевич Грозный хвастался, что он из камней может создать чад Авраама, а сделать из торгового человека судью и администратора во много раз легче. Но если мы вспомним, какой гигантской ломкой сопровождался переход управления из рук бояр, т.е. представителей крупного землевладения, в руки дворян - представителей землевладения среднего, нам будет понятно, каким прыжком было перемещение власти, хотя бы только на местах, в руки людей, вовсе не принадлежавших к землевладельческому классу. Революционный, катастрофический характер петровских преобразований ничем, быть может, не иллюстрируется более ярко, чем этой заменой, которую вошло в обычай объяснять скромными соображениями государственного удобства. Лишить власти один класс и передать ее другому для того только, чтобы "надежнее урегулировать финансовую ответственность" (как объясняет реформу 1699 года г. Милюков) - этого ни одно государство в мире не делало, потому что ни одно и не могло бы сделать. Правда, и петровской России удалось это ненадолго: меньше чем через тридцать лет дворянское государство взяло свое. Но для того чтобы хотя бы попытаться это сделать, нужно было совсем особое сочетание сил: нужен был тот

союз буржуазии с верхушками землевладельческого класса, о котором мы говорили выше. Когда новая феодальная знать использовала до конца своего буржуазного союзника, последний должен был снова вернуться в прежнее политическое ничтожество. Но сейчас же обнаружилось, что без этой скромной поддержки сами "верховные господа" устоять совершенно не в состоянии: очутившись лицом к лицу с отодвинутым было на задний план дворянством, они быстро должны были сдать позицию этому последнему, и дворяне снова укрепились в седле, на этот раз уже почти на два столетия.

Союз буржуазии и "верховников" (так рано приходится уже употреблять этот термин, обычно связываемый с событиями 1730 года) гораздо старше даже и Петра. К одному и тому же 1681 году относятся два проекта, порознь довольно странные: один из них известен очень давно, другой впервые изложен подробно, если не ошибаемся, проф. Ключевским, но с уже знакомой нам "государственной" точки зрения; и тот, и другой оставались на положении "интересных случаев", неизвестно откуда взявшихся и что означавших. Один из них имел в виду централизовать сбор косвенных налогов по всему Московскому государству в руках капиталистов города Москвы. Московские гости и торговые люди гостиной и суконной сотен должны были поставить таможенных и кабацких голов на всю Россию. Нет надобности говорить, что наши историки-юристы сейчас же принялись жалеть бедных гостей, на которых взваливали такое трудное дело, и самый проект объяснили "недостатком правительственных распоряжений". Но гости, отказываясь от предлагаемой чести, мотивировали свой отказ не трудностью дела, а тем, что они не знают в провинции людей, на которых они могли бы положиться: мы поймем смысл этого ответа, если припомним, как, по описанию Кильбургера, провинциальное купечество относилось к привилегированным царским факторам. Что гостям собираются "свернуть шею", об этом знали, разумеется, не одни заезжие иноземцы: лучше всего это знали, конечно, сами гости. Говоря, что они не знают, кому верить на местах, они, собственно, признавались, что на местах им не верят. Возможная вещь, что их смущала и неопределенность отношений к местной дворянской администрации. В связи или не в связи с этим, но в то же самое время был выдвинут проект преобразования последней. "Предполагалось разделить государство на несколько наместничеств и рассажать по ним наличных представителей московской знати со значением действительных и притом несменяемых наместников"*. Проектированные наместничества должны были совпасть с отдельными "царствами", входившими в общий состав Московской державы - Сибирским, Казанским и так далее, так что это были бы "не мелкие уезды, на какие делилось Московское государство, а целые исторические области". Проект провалился на этот раз не вследствие несогласия тех, на кого собирались возложить такие трудные функции, а по совсем другой причине: против него восстала хранительница традиции церковь в лице патриарха Иоакима. Уже одно это должно нам показать, что речь шла не о восстановлении боярского правления, а о чем-то совершенно новом и для Москвы необычном. Двадцать лет спустя, когда голос патриарха ничего более не значил, это новое и необычное вылилось в два учреждения, самыми названиями своими отрицавшие московскую традицию: то были ратуша и губернии.

** Ключевский. Боярская Дума, изд. 2-е , с. 495.*

Проект 1681 года потерпел неудачу, поскольку он был смелой попыткой концентрировать сбор налогов в руках представителей крупного торгового капитала. Вообще же мертвой буквой он не остался: начиная с 80-х годов, воеводы и приказные люди систематически устраняются от финансового управления; не только косвенные налоги отнимаются у них, но к ним не попадают больше и вновь вводимые прямые: такова была участь новой стрелецкой подати, оклад которой был установлен гостями. Первый из дошедших до нас указов о ратуше (1 марта 1698 года) ставит реформу в непосредственную связь с ранее заведенными порядками. "Указали мы, - говорится здесь, - по прежним отца нашего и брата нашего (т.е. царей Алексея и Федора) и по нашим указам, каковы состоялись в прошлых годах, тех городов с посадов и уездов стрелецкие и оброчные деньги и иные всякие денежные доходы сбирать самим тех городов земским старостам и волостным судейкам и целовальникам в земских избах мимо воевод и приказных людей... потому что и в прошлых годах того сбору им воеводам ведать не велено ж, для того, что по их воеводским прихотям были многие с посадских людей и с уездных крестьян ненадобные сборы..." Последние цитированные слова не оставляют никакого сомнения, что дело шло отнюдь не о "финансовых удобствах" только, а об отнятии власти у одной социальной группы и передаче ее другой. Так это и поняли обе стороны - и дворянская администрация, и посадские. В Вятке, например, посадские не только перестали что бы то ни было платить воеводе и давать ему корм, но не хотели и продавать ему съестных припасов по обычной цене, весьма неделикатно давая понять своему вчерашнему начальству, что ему пора убираться из города. С другой стороны, и воеводы ответили на это коллективной отставкой и попытками обструкции: вновь назначенные отказывались ехать к своим местам, а старые уклонялись от всяких дел и заводили длинную переписку с московскими приказами насчет того, что же теперь им делать и "у чего быть"? Как и можно было ожидать, посадская беднота в очень многих случаях оказывалась на одной стороне с воеводами. Перейти под власть столь мало популярных гостей ей отнюдь не улыбалось, и целый ряд провинциальных городов попробовал уклониться от нововведения (по подсчету г. Милюкова, 33 из 70). Правительству пришлось пойти на уступки: в пользу посадских уступили тем, что понизили первоначально намеченную сумму налогов. Воеводы и приказные люди сохранили в своем заведовании те местности, где преобладало крепостное право: должны были "ведать во всяких делах всяких служилых людей и уездных помещиков, вотчинниковых и монастырских крестьян". Иными словами, дворянская Россия осталась при дворянской администрации, буржуазная удержалась только в городах, а деревня попала в ее ведение лишь там, где не было помещиков: за "бурмистрами" остался весь Север Московского государства. Это голландское название было, кажется, единственным, что во всей реформе принадлежало лично Петру: он тогда только что вернулся из своего путешествия в Голландию.

Самая главная черта проекта 1681 года была воспроизведена в указах 1699 - 1700 годов полностью: управление буржуазной Россией было сосредоточено в руках московского купечества, которое на этот раз, по-видимому, не нашло возражений

против налагавшейся на него "тяжести". Московские "бурмистры" должны были ведать бурмистров всех других городов, и московская "ратуша" служить средоточием всех сборов, основанных на новой системе. В руках уполномоченных московской буржуазии оказалась почти пятая часть всего тогдашнего бюджета, а если присчитать к этому все промышленные предприятия царской казны, фактически управлявшиеся той же буржуазией, то и гораздо больше. Система монополий никогда еще не достигала такого развития, как в первые годы XVIII столетия. Продажа водки и не переставала быть исключительной привилегией казны: кабацкие доходы составляли главную часть бюджета ратуши. С 1705 года царской монополией стала также и соль, дававшая ежегодно от 300 до 400 тысяч рублей (тогдашних: на золото 3 - 3'/2 миллиона). Несколько позже казенными товарами стали деготь, мел, рыбий жир, сало и щетина. "Здешний двор, - писал в 1706 году английский посланник своему двору, - совсем превратился в купеческий: не довольствуясь монополией на лучшие товары собственной страны, например, смолу, поташ, ревень, клей и т.п. (которые покупаются по низкой цене и перепродаются с большим барышом англичанам и голландцам, так как никому торговать ими, кроме казны, не позволяется), они захватывают теперь иностранную торговлю; все, что нужно, покупают за границей через частных купцов, которым платят только за комиссию, а барыш принадлежит казне, которая принимает на себя и риск". Русские товары точно так же продавались непосредственно за границей, для чего царские "гости" отправлялись даже в Амстердам, облеченные новым званием "обер-комиссаров". Нет надобности говорить, что и они, как гости старого времени, торговали не только за царя но и за себя лично, не стараясь особенно тщательно отделить одно от другого. Каким влиянием пользовалось тогда купечество в финансовом управлении, можно судить по предоставленному в 1703 году ратуше праву: контролировать распределение тех сумм, которые прошли через ратушу. Благодаря этому весь финансовый аппарат петровской армии оказался под надзором бурмистров: они раздавали жалованье на местах и проверяли употребление выданного военным начальством. Дворянин "с эполетою" должен был послушно представлять отчет "купчишке": так далека была Петровская эпоха от нравов, изображавшихся впоследствии Гоголем!

Однако же и для Петровской эпохи такое положение вещей было слишком оригинальным, чтобы оно могло длиться долго. Как ни влиятельна была буржуазия - больше иноземная, чем туземная - экономически, политическая власть была не в ее руках. У ратуши с ее буржуазной централизацией давно был готов соперник, от имени которого и в пользу которого, работала, в сущности, и буржуазия. Проект "наместничеств" 1681 года так же мало упал с неба, как и проект всероссийской "бурмистерской палаты". Уже в 50-х годах XVII века на окраинах Московского государства мы встречаем начальников с чрезвычайными полномочиями, и всегда из крупной знати, близкой к царскому двору. Таков был князь Репнин, правивший сначала в Смоленске, потом в Новгороде; когда он уезжал на время в Москву, команду принимал его сын, точно дело шло о настоящем удельном княжестве. Таков был в Белгороде князь Ромодановский и в Казани знаменитый Борис Александрович Голицын, который, по словам современника, "правил весь низ (все Поволжье) так абсолютно, как бы был государем". Как и полагается феодалам, то были, прежде всего, военные начальники - командующие войсками того или иного

округа, по теперешней терминологии, но, по феодальному же обычаю, военное начальство было начальством вообще. Белгородский воевода ведал приписанными к Белгороду городами не только в военном, но и в финансовом, и в судебном отношениях: "службою и судом и денежными и хлебными всякими доходы". В 1670 году несколько городов Смоленского округа были переданы в новгородский "разряд" (как именовались тогда эти округа) "со всею службою и со всякими тех городов доходы, и судом и расправою, и поместными и вотчинными делами". Иностранцу, смотревшему на московские порядки, так сказать, с птичьего полета, и от которого поэтому подробности московской административной техники не могли закрыть сущности дела, установившиеся к концу XVII века, порядки казались формальным "разделением Руси". "Во всех областях, на которые разделена была империя, - пишет английский моряк Перри, приехавший в Россию в 1698 году, - они (важные, знатные господа, которые были любимцами царя и принадлежали обыкновенно к именитейшим родам России) действовали, как подчиненные царю владетельные князья, имеющие право пользоваться царским именем, чтобы придавать большую силу издаваемым ими приказаниям; можно сказать, что в их руках находилась жизнь людей и их имущество. Для рассмотрения дел и приведения в исполнение их приказаний каждый из этих господ или князей имел присутственное место, или палату, в Москве, где эти знатные господа большей частью имели местожительства; туда подавали просьбы из всех меньших городов, находящихся в каждой из этих областей. В этом присутствии вместо судей заседали дьяки или канцлер; обязанность их заключалась в том, чтобы выслушивать и решать дела, подписывать приказы, относящиеся до казначейства, военных или гражданских дел, и от времени до времени отдавать отчет в своих действиях тому из господ, под начальством которого они действовали; вышеозначенные господа редко сами приходили в палаты, чтобы выслушивать дело. Дьяки представляли им вопрос в той форме и в том свете, как желали и в случае неудовольствия в это время не существовало возможности подать прошение ни в какое высшее место. Каждому из этих господ предоставлено было право назначать и посылать правителей во все большие и малые города, посредством которых каждая область подразделялась на меньшие округа... Собранные (воеводами) суммы высылались в главный приказ или в собственную канцелярию каждого из этих бояр, живущих в Москве, где производился расчет сборов, сделанных в каждой области, смотря по тому, как для них было выгоднее - с приложением отчета о том, что было истрачено на разные вымышленные случаи, относящиеся до служебных необходимостей и пользы каждой области; остаток денег высылали в канцелярию главного казначейства".

"Устройство ратуши было со стороны Петра серьезной попыткой противодействовать" этому растаскиванию государства "важными знатными господами": если символическую фигуру Петра мы заменим торговым капиталом, как раз к началу Северной войны ставшим в центре всех дел, эта оценка г. Милюкова будет вполне правильной. В момент своего наивысшего подъема торговая буржуазия оттеснила на задний план петровских сатрапов, и они не решились даже серьезно ей сопротивляться (о кое-каком противодействии бояр учреждению ратуши говорит тот же Перри). Но уже очень скоро "важные знатные господа, которые были любимцами царя", взяли свое. В 1707 или 1708 году все

города, кроме тех, которые ближе 100 верст к Москве, были "расписаны" между пограничными центрами: Киевом, Смоленском, Азовом, Казанью, Архангельском и С.-Петербургом*. Каким принципом руководствовались при "расписывании" городов, на этот счет хорошо осведомленный современник, Татищев, говорит ьполне определенно. "Губернаторы" старались захватить возможно больше доходных городов: так, например, Меншиков "приписал" к Петербургу Ярославль "для богатого купечества"; как наиболее близкое к Петру лицо, он два города своей губернии, Ямбург и Копорье, получил прямо в личную собственность. В том же качестве первого человека по царе Меншиков стал получать города еще раньше официального "расписывания" их по губерниям: уже в 1706 г. Петр сделал распоряжение; "Новгород, Великие Луки и прочие принадлежащие к ним города по росписи г. Меншикова отослать совсем к его губернации"". Но и прочие "губернаторы" были из ближайших к царю людей: Азовская и Казанская губернии были в руках братьев Апраксиных, один из которых, "адмиралтеец" Федор Матвеевич, после Меншикова был к Петру ближе чем кто бы то ни было; Киевская была отдана ставшему впоследствии столь знаменитым вождю "верховников" 1730 года, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, которого Петр особенно уважал; в Смоленске сидел царский родственник Салтыков. Мы очень ошиблись бы, если бы это сосредоточение власти на местах в руках доверенных людей царя объяснили соображениями целесообразности: желанием лучше знать местные дела, непосредственнее на них воздействовать и т.п. Этого уже потому не могло быть, что стоять близко к царю и находиться близко ко своей губернии невозможно было одновременно. Губернаторы, по большей части, находились там же, где был центр власти, и во время Северной войны "прилучались быть в армии". Более других оседлым в своей губернии был князь Д.М. Голицын; а вместо Меншикова в Ингерманландии управлял "ландрихтер" Корсаков, вместо Ф. Апраксина в Азовской губернии - Кикин, вместо Петра Апраксина в Казани - вице-губернатор Кудрявцев; сибирский губернатор князь Гагарин, которого Петр впоследствии должен был повесить за невообразимый грабеж, большей частью пребывал в Москве. То управление через "дьяков и канцлеров", о котором говорил Перри, продолжалось, таким образом, и после нового раздела страны между "знатными господами". Все, чего от них требовал Петр, - это, чтобы они делились с центральной властью своими доходами: восстанавливая денежные подати средневекового вассала средневековому сюзерену, губернаторы подносили царю "подарки". Они бывали большие - до 70 000 рублей сразу, и маленькие, исчислявшиеся десятками рублей; регулярные, из года в год, и чрезвычайные - по какому-нибудь особенному случаю: так, по случаю свадьбы Петра с Екатериной губернаторы должны были прислать по 50 рублей с каждого города. Больше всех утешал Петра своими "подарками" казанский губернатор Петр Апраксин, за три года переславший царю 120 000 рублей от своего усердия (на современные золотые деньги несколько более миллиона); зато при нем "учинилось впусте" в Казанской губернии 33 215 дворов инородцев, плативших ясак, и оттого вскоре оказалось "не только запросных (чрезвычайных), но и табельных (обыкновенных) сборов сбирать невозможно - за умножением в дворовом числе многой пустоты". Д. М. Голицын собрал за свое управление Киевской губернией "излишних денежных сборов 500 000 рублей (четыре с половиной миллиона) - и от тех тягостей и от излишних

сборов в Киевской губернии учинилась пустота". А еще Голицын считался лучшим губернатором!

** В точности год учреждения губерний неизвестен - образчик того, как еще мало изучена даже внешняя история "эпохи преобразований". См. г. Милюкова, с. 366, прим. 1.*

"Знатные господа" в свое время сопротивлялись устройству ратуши. Как отнеслась сконцентрированная в ратуше буржуазия к учреждению губерний? Попытки сопротивления были и здесь. Обер-инспектор ратуши, знаменитый Курбатов, горячо протестовал против "расталкивания" и старался найти наиболее чувствительный пункт у царя, указывая на возможное, при новых порядках, уменьшение доходов. "Ежели не растащена будет собранная тобою, государем единым, ратуша, - писал он Петру, - и мне бедному препятия, как уже и есть мне, не будет, учиню при помощи Божией для святыя войны, ее же ради я призван, многое собрание". Не будет ратуши, и воевать не на что будет, грозился Курбатов: "Ей-ей во единособранном правлении всегда лучше бывает", тогда как "немногая бывает и будет польза в разном правлении". Петру трудно было на это ответить. Будущий (и как скоро!) создатель бюрократического режима в России то цеплялся за бюрократизм ратуши, иронически напоминая о десятках расписок, которые приходилось брать каждому плательщику, то приводил избитый мотив о том, как трудно управлять заочно. Мотив, не годный уже потому, что именно губернаторы, как мы видели, по большей части правили заочно, хотя правда, что расписками и вообще отчетностью они себя не утруждали. Возражения Курбатова только несколько затянули дело. И единственной уступкой буржуазии было то, что представитель и защитник ее интересов Курбатов сделался начальником Архангельской губернии, наиболее буржуазной из всех. Торговый капитал и феодальная знать размежевались, таким образом, территориально, причем в руки второй досталось девять десятых, а в руках первого осталась одна десятая всей территории и всей власти*.

** Для большей части приводимых выше фактов см.: Милюков. Государственное хозяйство, гл. II, V - VII.*

Но раздел не мог быть совершенно чистым. Во-первых, Петр, говоря словами г. Милюкова, "мало-помалу создал себе... особую сферу непосредственной государственно-хозяйственной деятельности, взяв в свое личное распоряжение эксплуатацию (большей частью с помощью "прибыльщиков") целого ряда регалий". То есть, как и в XVII веке, выше крупнейших хозяйств частных вотчинников оставалось хозяйство царское. А затем оставались город и область вокруг него, не поддававшиеся территориальному размежеванию, потому что они одновременно являлись средоточием и новой феодальной знати, и крупнейшей буржуазии. То была Москва с ближайшими к ней уездами. Так как географически она совпадала и с центром царского хозяйства, то не было ничего естественнее сосредоточения в одних руках власти над "Московской губернией" и заведования царскими предприятиями. И не путай нас ассоциации, навеянные положением

вещей гораздо более поздним, чем 1711 год, не будь мы, кроме того, под гипнозом имен, мы давно бы нашли правильное место в истории русских учреждений петровскому сенату. Это "невиданное и неслыханное", по мнению старых историков-юристов, создание Петра прежде всего было собранием ответственных царских приказчиков. Достаточно внимательно перечитать известные "пункты" 2 марта 1711 года, которыми уезжавший в прутский поход царь определял деятельность только что созданного им "правительствующего" центра, чтобы эта именно картина встала перед нами со всею определенностью. Всех "пунктов" 9, вот пять последних: "Векселя исправить и держать в одном месте; товары, которые на откупах или по канцеляриям и губерниям, осмотреть и освидетельствовать; о соли - стараться отдать на откуп и попещися прибыли у оной; торг китайской, сделав компанию добрую, отдать; персидский торг умножить и армян как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезду". Кильбургеровская "коллегия гостей" ничего иного в свое время и не делала. Что в этой коллегии теперь рядом с "прибыльщиком" и бывшим холопом Васильем Ершовым, который стал "управителем" Московской губернии, мы видим большое число недавних бояр, - правда, не из первого сорта, это только лишний раз показывает, как перемешались все понятия с перестановкой экономического центра тяжести. Функции же тех бояр, которые попали в сенаторы, как нельзя лучше соответствовали их новой роли. Из членов сената первоначального состава Самарин был генерал-кригс-цалмейстером, т.е. главным казначеем армии, Опухтин заведовал серебряным рядом, Купецкой палатой и денежными дворами, князь Гр. Волконский - тульскими оружейными заводами, и т.д. Ни один из "верховных господ", вроде Меншикова и Апраксина, в сенат не пошел, и они писали ему "указом", а право сената давать им указы было очень сомнительно. Нужно прибавить, и в этом второй характеристический признак нового учреждения, что вообще его права за пределами Московской губернии рисовались ему самому и его агентам в некотором тумане. Уже то, что Московская губерния, одна из всех, была упомянута в том самом указе, которым учреждался сенат (22 февраля 1711 года), указывает на какую-то их специальную связь. Любопытная переписка сената с его первым "обер-фискалом (мы сейчас увидим значение этой должности) окончательно убеждает в том, что связь эту нельзя считать случайной. Обер-фискал прямо спрашивал: для одной ли он Московской губернии назначен или для всех? Со склонностью всех учреждений в мире расширять свою компетенцию, сенат ответил, что обер-фискал должен "смотреть во всех губерниях". Но сам спрашивавший, по-видимому, был твердо убежден в противоположном ответе, ибо в одном из пунктов своего доклада он просит, чтобы из приказов и городов Московской губернии дела прислать к нему немедленно... и чтобы о его назначении сделать известным "на Москве в приказах, в слободах, и в городах, и в уездах Московской губернии". Сенат положил резолюцию "послать великого государя указы в Московскую и в другие губернии", опять подчеркивая этим свое повсеместное значение. Но на губернаторов это очень мало действовало, и из целого ряда указов Петра мы узнаем, что на приказания сената губернаторы не обращали никакого внимания, несмотря на грозное заявление указа от 5 марта: "Определили управительный сенат, которому всяк и их указам да будет послушен так, как нам самому, под жестоким наказанием или и смертью, по вине смотря".

Эти слова создателя сената произвели впечатление больше, по-видимому, на позднейших историков, нежели на тех, кого они ближайшим образом имели в виду. Губернаторы и после неоднократно доводили Петра до угроз поступить с ними "как ворам достоит" и, что называется, ухом не вели, прекрасно понимая, что "от слова не сделается". Историки же, обратив больше всего внимания на название и на первый пункт петровской инструкции ("суд иметь нелицемерный" и т.д.), заговорили о неслыханном и невиданном учреждении, заимствованном будто бы из Швеции. Между тем как раз со шведским, аристократическим, и не на словах, а на деле, "правительствующим" сенатом сенат Петра Великого ничего общего не имел, кроме имени. Снабжение царских приказчиков широкими судебными и административными полномочиями само по себе никого, конечно, не удивило бы в начале XVIII века, когда и в конце его царскому камердинеру ничего не стоило превратиться в первого министра. Против сената могла бы явиться оппозиция лишь в том случае, если бы он, подобно ратуше, получил социальное значение - стал орудием буржуазии в борьбе за власть с дворянством. Но буржуазный центр, каким была ратуша, ко времени появления сената был уже окончательно разбит - "верховные господа" "растащили" по своим губерниям все, что удалось собрать купеческой администрации.

Реформа самого сената понадобилась лишь тогда, когда и в это учреждение попали "верховные господа", первоначально в нем не представленные и мало им интересовавшиеся. Но еще раньше этого заключительного аккорда петровских преобразований, поскольку они касались администрации, лютую ненависть среднего и мелкого служилого люда снискало одно орудие сенатского управления, имевшее два основных признака: во-первых, оно было, действительно, заимствовано у Запада не по одному названию, а во-вторых, хотя и косвенно, оно оставляло в руках недворян крупную долю влияния на дела. То были фискалы. С этим именем у всякого связывается столь определенная ассоциация, выдвигающая на первый план идею тайного сыска и шпионажа, что рассмотреть действительный смысл этого учреждения не так легко. Беря его, однако же, так, как оно изображено в современных документах, особенно в современных документах, особенно в инструкции от 17 марта 1714 года, дающей фискальству окончательную отделку, нетрудно видеть, что в воображении Петра носилось, в довольно туманном образе, нечто вроде современной прокуратуры. Фискал - представитель публичного интереса, охраняющий "дела народные" от покушений со стороны частных лиц. Оттого в сферу его ведения входят не только "взятки или кражи казны", но и все дела, "иже не имеют челобитчиков о себе", в которые никакое частное лицо не имеет поводов вступаться. Убьют ли проезжего, останется ли выморочное имущество - о расследовании в первом случае, об охране беспризорного имения во втором должен заботиться фискал. Публичный интерес, как таковой, в Московской Руси не имел своей охраны, наиболее близко подходящие по типу к фискалам губные головы охраняли интересы не общества в его целом, а только местного населения, органами которого они и являлись. Hd эти функции фискалов, навеянные знакомством с европейскими порядками, уже при Петре отпали от них или отступили на второй план, как скоро появилась прокуратура со своим собственным именем. В воображении современников и в памяти потомства гораздо ярче запечатлелась другая задача фискалов, сближавшая их со знаменитыми

"прибыльщиками", из среды которых и вышли некоторые из них - отыскивание прибытка царской казне, притом очень оригинальным способом: не путем изобретения новых источников дохода, а путем устранения расходов, происходящих от злоупотреблений и казнокрадства. Причем, впрочем, и старый, прибылыцицкий, способ увеличения казенных доходов не совершенно исчез из фискальской практики: знаменитый Нестеров в своем "доношении" перечисляет в ряду своих заслуг не одно раскрытие злоупотреблений, а и свой проект - основать купеческую компанию, которая бы защищала интересы туземного купечества от конкуренции иностранцев. Но это лишь один из пунктов "доношения", притом последний, в остальных речь идет об изобличении или предупреждении краж то из царских предприятий, например, бархата, который поручили продавать одному агенту, то из государственной казны, с монетного двора, например, причем не видно, чтобы слуге Петра Великого было доступно то невесомое различие государева и государственного при режиме абсолютной монархии, которое с такой тонкостью проводили впоследствии наши историки-юристы. И покража царского бархата, и взятки, которые брал дворцовый судья Савелов, - за всем этим одинаково гнался, с неутомимостью ищейки, царский фискал, стремясь обратить эту охоту за расхитителями казны в наследственную профессию. "Их общая дворянская компания, - жалуется Нестеров на своих товарищей, - а я, раб твой, меж ими замешался один с сыном моим, которого обучаю фискальству и за подьячего имею..." И из этого же места "доношения" мы узнаем, кстати, что только один этот не дворгнский фискал и относился к своему делу серьезно, прочие же, "дворянская компания", "отбывая службы и посылок, живут сами, яко сущие тунеядцы, при своих деревнях, и имеют тщание о своих, а не фискальстве". Пусть бывший барский холоп (до своего "прибылыцичества", которое послужило ему ступенью к фискальству, Нестеров был крепостным, как и Курбатов) и поклеветал немного при этом случае на своих бывших господ, но сами петровские указы свидетельствуют, что на дворян, как на сберегателей царских доходов, царь не рассчитывал. Фискальство сразу же было сделано доступным и для буржуазии. "Выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, из какого чина ни есть", - читаем мы в первом же распоряжении Петра, детально касающееся новой должности (указ от 5 марта 1711 года; в указе от 2 марта фискалы только упомянуты). Согласно этим требованием, брать, не стесняясь чинами, первого обер-фискала взяли из дьяков Преображенского приказа, петровского департамента полиции. Чиновные люди, впрочем, сейчас же повели против своего нечиновного надзирателя весьма успешную обструкцию, и назначенный в апреле 1711 года новый обер-фискал еще в августе не имел ни подчиненных, ни канцелярии, ни даже помещения. Но Петр или, вернее, не потерявшие еще на него влияния буржуазные круги вели свою линию, и даже указ от 17 марта 1714 года требует, чтобы, по крайней мере, двое из состоявших при сенате фискалов были из купечества, "которые бы могли купеческое состояние тайно ведать", дипломатически прибавляет указ; точно так же и в губерниях часть фискальских мест обязательно предоставлялась буржуазии. И действительно, в одном из позднейших сенатских указов мы читаем, что городовые фискалы должны быть "за выбором провинциал-фискалов и всех того города купецких людей". А сам о себе один из таких фискалов с товарищами пишет: "Выбраны мы на Устюге мирскими людьми в фискалы..."

Фактически Нестеров был последним обер-фискалом не из дворян: его место занял уже дворянин, гвардейский полковник Мякинин. Но когда буржуазия впервые явилась в виде охранителя публичного интереса и контролера дворянской администрации, это должно было вызвать у чиновных людей взрыв ярости, которую трудно описать, и некоторое понятие о которой могут дать лишь подлинные слова оратора, впитавшего в себя всю дворянскую злобу против нового учреждения. В знаменитой великопостной проповеди Стефана Яворского (1712) звучат прямо революционные ноты. "Закон Господень непорочен, а законы человеческие бывают порочны. А какой же то закон, например: поставити надзирателя над судом и дати ему волю, кого хочет обличити, да обличит, кого хочет обесчестить, да обесчестит; поклеп сложить на ближнего судью, вольно то ему. Не тако подобает сему быти: искал он моей головы, поклеп на меня сложил, а не довел - пусть положит свою голову; сеть мне скрыл, пусть сам ввязнет в узкую; ров мне ископал, пусть сам впадет в онь, сын погибельный, чужою бо мерою мерите. А то какова слова ему не говорите, запинает за бесчестье!" И эта своеобразная теория уголовной ответственности прокурора в случае оправдания подсудимого не осталась пустым звуком, тот же, цитированный уже нами указ от 17 марта устанавливает для фискалов "штраф легкой" за ошибки без намерения и уголовное взыскание, равное тому, какому подлежало обличаемое фискалом лицо, в случае доказанного злого умысла со стороны фискала. Но это значило превратить фискальский сыск в своего рода дуэль между изыскателями злоупотреблений и "зло-употребителями": либо ты меня, либо я тебя. А герои, фанатики своего фискальского долга, вроде Нестерова, и здесь были такою же редкостью, как и везде. Этот пункт указа от 17марта 1714 года был крупной победой дворянства над буржуазией - началом конца буржуазной администрации вообще.

Погибая, она, однако, если верить некоторым очень авторитетным показаниям, помогла нанести старой дворянской администрации еще один удар. Фокеродт, писавший всего через 12 лет по смерти Петра, следовательно, почти современник, многое, во всяком случае, слышавший от современников, считает фискальские доносы Нестерова исходной точкой крупнейшей административной реформы Петра - введения коллегий. Он изображает дело так: первые 30 лет своей жизни Петр "мало или вовсе не заботился" о внутреннем управлении государством, всецело поглощенный заботами о преобразовании армии и создании флота. В этом направлении толкала царя не одна внешняя политика, как привыкли мы думать: Петр сознавал, говорит Фокеродт, "какое значение имеет постоянная армия для самодержавной власти". Мы увидим скоро, что в этом, мимоходом брошенном замечании, прусский дипломат "коротко, ясно и по обыкновению умно" (характеристика, которую дает Фокеродту г. Милюков) наметил одну из кардинальных линий петровской политики. Не будем пока отвлекаться от нашей очередной темы - административной реформы. Итак, не занимаясь первые тридцать лет своего царствования вопросами внутренней администрации, Петр впервые обратил на нее внимание, когда хаос в этой области достиг крайних пределов, причем ближайшим образом открыла глаза царю, по уверению Фокеродта, записка, составленная и поданная в 1714 году Нестеровым, который за нее именно и был сделан обер-фискалом. Тем временем Петр мог убедиться, что преобразование армии и флота по европейским образцам дало прекрасные результаты: ему,

военному инструктору и корабельному инженеру, прежде всего другого, естественно, могла прийти в голову мысль, что, применив те же приемы в области гражданского управления, легко и это последнее сделать столь же образцовым, как Балтийский флот или Преображенские гренадеры. А так как ближайшим образцом для подражания в военно-морском деле была Швеция, то опять естественно было и за образчиками администрации обратиться туда же. И вот он посылает в Швецию, с которой тогда еще шла война, доверенного человека, "сыплет деньгами" ("Geld aaf Geld gab"), чтобы достать, выкрасть, так сказать, уставы и регламенты шведских административных учреждений, как выкрадывают план крепости или модель корабля. А когда этот своеобразный шпион вернулся со своей добычей в Россию, добытые документы поспешно переводятся на русский язык, и в России создается ряд административных органов, представляющих собою точную копию шведских. Причем, так как в военном и морском деле видную роль сыграли приглашенные из-за границы инструкторы, их поспешили найти и теперь, на службу во вновь учрежденные коллегии было приглашено большое количество иностранцев, в особенности немцев. Скоро, однако же, обнаружилось, что собственно шведскую технику приглашенные знают плохо, а главное, что для хорошего управления одной техники мало. Притом же новые центральные учреждения оказались островом в море старой приказной Руси, ибо провинциальная администрация осталась в прежнем виде. Все это и заставило Петра повременить с дальнейшим развитием новых учреждений и даже многое прямо взять назад. Коллегии сохранили прежние имена, но их порядки во многом вернулись к прежнему, московскому типу, а в то же время Петр энергично принялся за переделку местного управления.

В эту очень упрощенную и даже наивную схему новейшие исследования внесли массу новых штрихов, лишивших набросанную Фокеродтом картину ее классической ясности. Мы знаем теперь, что введение коллегий не было такой детски простой операцией, как изображено у него; что в распоряжении Петра были не одни донесения его лазутчика, а целый ряд обстоятельных проектов, шедших с разных сторон; что коллегии не были введены внезапно, как бы приказом по армии, что от первой мысли о коллегиях до реализации этой мысли прошло несколько лет; что, наконец, приглашенные из-за границы гражданские инструкторы были не хуже военных, и между ними мы встречаем таких людей, как Люберас и Фик, административными идеями которых тогдашние политические круги питались и долго после коллежской реформы. Но, усложнив картину, исправив ее грубые контуры, новейшие исследования не так полно упразднили Фокеродта, как может показаться. Исходной точкой реформы и теперь приходится считать административный хаос, достигший, действительно, своего апогея к 1714 году, и в раскрытии которого Петру, действительно, очень должна была помочь его буржуазная администрация в лице фискалов. А единственным прочным результатом ее, как особенно подчеркивает Фокеродт, было введение в русское казенное управление тех приемов строгой отчетности, "которые существуют в коммерческих заведениях". Торговый капитализм, в качестве обличителя, стоит в начале реформы в качестве наставника, замыкает ее; и для того, чтобы причислить коллегии, несмотря на их наемно-бюрократический состав, к той же "буржуазной администрации", не нужно даже указывать на то, какое место в их системе

отведено интересам капитализма и капиталистов. Коллегии были высшими органами центрального управления, соответствовавшими теперешним министерствам; но в то время, как теперь, и торговля и промышленность довольствуются одним министерством (а недавно довольствовались одним департаментом одного министерства*), при Петре не только существовали особые колегии для торговли и промышленности, но была сделана попытка создать особое "министерство фабрик" - мануфактур-коллегию - отдельно от министерства горных заводов - Берг-коллегии. Если прибавить к этому, что финансам и отчетности было отведено целых три центральных учреждения - камер-, штате- и ревизион-коллегии (столько же, сколько всей внешней политике вместе взятой - иностранная, военная и адмиралтейств-коллегий), при полном отсутствии центральных органов не только для народного просвещения, но даже и для полиции - в числе коллегий не было соответствующей министерству внутренних дел - сравнение с "торговым домом" совсем не покажется нам натянутый. И, может быть, нет ничего характернее для коллежской реформы, что научалась она, именно, с забот о торговле. Впервые коллегия является под пером Петра в указе от 16 января 1712 года, где говорится: "Учинить коллегиум для торгового дела и оправления, оную чтоб в лучшее состояние привести, к чему надобно один или два человека иноземцев (которых надобно удовольствовать, дабы правду и ревность в том показали) с присягою, дабы лучший порядок устроить, ибо без прекословия есть, что их торги несравненно лучше есть наших". Для этой первой русской коллегии представитель Петра в Гааге должен был специально отыскивать обанкротившихся голландских купцов, так как предполагалось, что те, "кому в их отечестве какая несправедливость учинена", во-первых, охотнее пойдут на иноземную службу, а во-вторых, ревностнее будут служить своему новому государю, не имея интереса таить от него секреты их отечественной коммерции. На деле, впрочем, этой оригинальнейшей в мире коллегии банкротов не удалось осуществиться, и коммерц-коллегия была организована по шведскому образцу, при участии все тех же Фика и Любераса.

** Напечатано в 1911 году.*

Что Петр шел к коллегиям от флота и армии, в этом опять-таки не приходится, по-видимому, поправлять Фокеродта: для доказательства ему достаточно было бы сослаться на знаменитый указ, предписывавший регламенты всех коллегий составить по образцу адмиралтейской. Что хорошо на корабле, то не может быть нигде дурно... Но эта субъективная сторона коллежской реформы не мешает ей объективно быть орудием того же торгового капитала, которому служила и вся петровская реформа вообще. Для интересов этого капитала коллегии пришли, однако же, в последний час - слишком поздно, чтобы буржуазия могло ими воспользоваться. Мы сейчас увидим, что, в противоположность ратуше, которая была в купеческих руках целый ряд лет, коллегии не были в них ни минуты и что "верховым господам" именно потому и не пришлось "растаскивать" новые учреждения, что они сразу стали в них хозяевами. Но это была уже практика: чрезвычайно важно, что и в теории коллежская реформа заключала в себе крупную уступку общественному мнению того самого дворянства, с которым так

бесцеремонно было поступлено в 1699 году. Вводя новые учреждения, Петр сознательно, как мы видели, руководился техническими соображениями, а бессознательно служил интересам той экономической силы, которая гнала Россию в Европу, не справляясь ни с чьими субъективными планами и намерениями. Но когда он начинает мотивировать реформу перед своими подданными, мы слышим ноты, совершенно неожиданные, дающие резкий диссонанс со всем, что мы привыкли представлять себе, когда мы думаем о Петре-реформаторе. Фанатический поклонник дубинки, уверенный, что все дело в том, чтобы хорошо приказать и наблюсти за тем, чтобы приказание было выполнено, вдруг начинает заботиться: что скажут о нем его подданные? Для чего вводятся коллегии? "Дабы не клеветали непокоривыи человецы, что се или оное силою паче и по прихотям своим, нежели судом и истиною заповедует монарх", - отвечает Петр устами Феофана Прокоповича. Тридцать лет человек был убежден, что силой все можно сделать, и теперь он хлопочет, как бы его не попрекнули, что он действует при помощи насилия. И, увлекшись своей аргументацией, секретарь Петра - таким, конечно, и был Прокопович, когда он писал это предисловие к Духовному Регламенту - доходит ни более ни менее как до критики личной власти вообще и до восхваления политической свободы. "Известнее взыскуется истина соборным сословием, нежели единым лицом". А главное: "Коллегиям свободнейший дух в себе имеет к правосудию не тако бо, яко же единоличный правитель, гнева сильных боится". Но что стало бы с девятью десятыми петровских указов без страха перед "гневом сильного"? Интереснее же всего, что это были не одни слова. Организуя юстиц-коллегию, Петр вспомнил, что она "касается до всего государства", и что могут быть "нарекания, что выбрали кого по какой страсти", поэтому предписано было членов ее выбрать, во-первых, "всеми офицеры, которые здесь", а во-вторых, "из дворян отобрать лучших человек сто и им также" выбрать трех членов юстиц-коллегии. Когда потом, в 1730 году, шляхетство заговорило о "баллотировании" всеми дворянами членов сената, у него, собственно, был превосходный готовый прецедент: не меньше же сенат "касался до всего государства", чем юстиц-коллегия?

На это были пока только уступки в пользу дворянства - и не со стороны буржуазии, нужно сказать: кому принадлежала власть в новых учреждениях, достаточно показывает список коллежских президентов. Во главе военной коллегии стал Меншиков, адмиралтейской - Апраксин, иностранной - Головкин, камер-коллегии - князь Д.М. Голицын, коммерц-коллегии - Петр Толстой; если сюда присоединить наиболее влиятельных сенаторов Мусина-Пушкина, ставшего президентом штате-коллегии, и князя Якова Долгорукова, занявшего то же место в ревизион-коллегии, то список "верховных господ", каких можно было найти около 1718 года, и список новых министров совпадут почти вполне. Исключение составит только президент берг- и мануфактур-коллегии, знаменитый Брюс, и это исключение не менее характерно, нежели в свое время была оставшаяся в руках Курбатова Архангельская губерния. Еще оставался уголок, тогда территориальный, теперь организационный, где "верховные господа" не решались распоряжаться непосредственно. Но Брюс был человек более покладистый, нежели Курбатов, и с ним было еще легче ладить. От назначения его членом Тайного совета он прямо отказался, мотивируя отказ тем, что он иностранец. И один указ Петра курьезно

проговаривается, почему, собственно, министерство фабрик и заводов досталось этому скромному человеку: отбирая в 1722 году коллегии у старых президентов, император замечает, что надлежало бы перемену распространить и на Берг-коллегию - "да заобычного не знаю". Брюс был не политический человек, а просто хороший техник, найти ему заместителя было нелегко, а в то же время он никому не мешал. И его присутствие в числе коллежских президентов нисколько не портило общей картины владычества над Россией "верховных господ" через коллегии, как раньше распоряжались они же в качестве губернаторов.

"Растаскивание" народного достояния должно было продолжаться беспрепятственно и теперь, только в иной форме. Известное дело Шафирова вскрывает перед нами уголок коллежского хозяйства в первые же годы после реформы. Введение отчетности было, как мы знаем, одной из самых сильных сторон этой последней. Но достаточно было стоять во главе коллегии "светлейшему князю", чтобы она была наглухо забронирована от всякого контроля. Меншиков неукоснительно требовал своему ведомству все, что причиталось по окладу на всю армию, а на требования "дать подлинному приходу и расходу ведение" отвечал презрительным молчанием. Между тем армия никогда не достигала комплекта, и в распоряжении ее главного командира каждый год оставались крупные излишки. Но за попытку проникнуть в секрет их употребления Шафиров едва не поплатился головой. С его ссылкой из состава "верховных господ" выбыл последний человек, и по своему происхождению - Шафиров был из еврейской купеческой семьи - и по связям всего ближе стоявший к буржуазии. Феодальный характер верховного управления стал чище, чем когда бы то ни было, а различие между "старой" знатью, в лице Голицыных и Долгоруких, и "новой", в лице Меншиковых и Толстых, никогда не было настолько велико, чтобы создать почву для политической перегруппировки. Но при таких условиях новые учреждения должны были очень скоро прийти к банкротству, не вследствие технических причин, как казалось Фокеродту, - неумелости наскоро набранных немецких чиновников и неприспособленности центрального управления к местному, - а по причинам чисто социальным. Сознание этого банкротства и привело к последней - хронологически - реформе Петра: преобразованию сената и коллегий в 1722 году. Официально перемена была, разумеется, мотивирована соображениями государственной пользы: указ от 12 января 1722 года начинает с изображения того, как трудна задача сената и сенаторов, - "понеже правление сего государства, яко нераспоряженного перед сим, непрестанных трудов в сенате требует", - и как невозможно быть президентом коллегии и сенатором в одно и то же время. Прямой вывод отсюда, казалось бы, был тот, что президентов надо уволить от "трудов" в сенате: так и было поступлено с Меншиковым, Головкиным и Брюсом. Они были уволены от обязанности ходить в сенат в обычное время и остались полными хозяевами у себя дома, каждый в своей коллегии. Но по отношению к Голицыну, Толстому, Пушкину и Матвееву (президенту юстиц-коллегии) довольно неожиданно было сделано прямо противоположное: их "уволили" от начальства в коллегиях и оставили им места в сенате. Другими словами, у них отняли реальную единоличную власть, принадлежавшую каждому из них (едва ли нужно объяснять читателю, что "коллегиальность" петровских учреждений была такой же пустой формой, как и коллегиальность позднейших

бюрократических "присутствий"), и оставили за ними по одному голосу в учреждении, где сообща обсуждались важнейшие государственные вопросы. Смысл этой меры был, конечно, тот же, что, например, в позднейшее время смысл назначения членом государственного совета какого-нибудь министра: это была почетная отставка. Современники, близко наблюдавшие за ходом событий, - вроде иностранных дипломатов, никогда и не были настолько наивны, чтобы, подобно новейшим историкам, принимать за чистую монету мотивировку указа. "Царь отставил от должности почти всех президентов коллегий или советов, - сообщает об этом факте своему правительству французский посланник Кампредон. - Все эти господа - сенаторы, и отныне они будут просто заседать в сенате, перед которым прежде поддерживали свои мнения".

Была ли эта временная опала почти всех "верховных господ" результатом случайных злоупотреблений, случайно открытых императором и вызвавших его гнев, или же в перевороте 1722 года мы должны искать известную принципиальную подкладку, как и в реформе 1718-го? Некоторые хронологические совпадения показывают нам, где, по-видимому, всего ближе можно найти ключ к загадке. 1721 - 1722 годы отмечены, во-первых, рядом мер, касавшихся положения дворянства. Крупнейшими из них были учреждение должности герольдмейстера, "кто б дворян ведал", и издание Табели о рангах. Эту последнюю принято рассматривать в нашей историографии как меру демократическую, как своего рода завершение реформы 1682 года, уничтожившей местничество: "порода" была окончательно поставлена ниже "заслуги". Но не надо забывать, что в промежутке русское служилое сословие пережило эпоху полного смешения чинов, когда вчерашние боярские холопы сегодня становились губернаторами и министрами, если и без этих титулов, то с соответствующей властью. В инструкции же герольдмейстеру определенно проводится та мысль, что впредь не только военное офицерство, но и гражданское чиновничество должно рекрутироваться из дворянских детей, которые в этих видах и должны обучаться "экономии и гражданству". В Табели же хотя и подчеркивается неважность "породы" для карьеры служилого человека (потомки служителей русского происхождения или иностранцев, первых 8 рангов, причисляются к лучшему старшему дворянству, "хотя бы и низкой породы были"), делается еще одна уступка военным, которые всегда были из дворян, сравнительно со штатскими, среди которых буржуазные элементы были гораздо сильнее представлены. Именно вновь произведенные в гражданские чины не сразу сравниваются с соответствующими, по Табели, военными чинами, а лишь по выслуге известного количества лет. "Понеже сие в рангах будет оскорбительно воинским людям, которые во многие лета и какою жестокою службою оное получили, а увидят без заслуги себе равного или выше". Это внимание к чисто дворянской точке зрения на "заслугу" еще подчеркивается припиской к Табели, припиской, на первый взгляд, довольно странной, но понятной, если мы взглянем на нее, как на один из зародышей будущей "Жалованной грамоты дворянству". Приписка снимает бесчестье с тех дворян, которые были под следствием и подвергались пытке, но по суду были потом оправданы. Присоединив ко всему этому заботу о дворянских гербах, проявленную сенатом именно в момент обсуждения Табели, мы получим общую картину, весьма далекую от всяких "демократических реформ"; и ее нисколько не портит

поношение "породы", потому что породой-то, со старомосковской точки зрения, дворянство XVII века и не могло похвастаться. Ему нужно было не признание его аристократизма, в этом смысле все было покончено еще в дни Смуты, а признание его права на власть, а на первый случай даже просто отобрание в его пользу у буржуазии доходных должностей. Этому последнему и отвечала одна маленькая, весьма мало заметная реформа, относящаяся к тому же 1722 году. В 1718 году одновременно с введением коллегий было восстановлено централизованное городское управление, разрушившееся с падением ратуши: были устроены городовые магистраты, подчиненные Главному магистрату в Петербурге. Очень характерно, что восстановление было неполное: в ведение магистратов попало не все буржуазное, неслужилое и некрепостное население, которое ведалось после 1699 года бурмистрами, а только горожане, купцы и промышленники в тесном смысле этого слова. Но еще более характерно, что и у магистратов в 1722 году была отобрана одна из главных функций прежней бурмистерской палаты - сбор косвенных налогов: указами от 11 и 13 апреля этого года велено было пошлинные, кабацкие, соляные и другие всякие сборы передать отставным военным, по назначению военной коллегии, а "раскольники и бородачи" при этих военных людях должны были играть исполнительную роль "целовальников". Косвенно петровский указ этим, конечно, устанавливает, что на сбор косвенных налогов в начале XVIII века смотрели не как на повинность, а как на привилегию, теперь эта привилегия была отнята у буржуазии и передана служилым людям, которые, нужно сказать, на практике мало ею воспользовались, найдя это буржуазное занятие, очевидно, не по своим вкусам и привычкам. Через три года только четвертая часть пошлинных сборщиков была из отставных военных, остальные места были по-прежнему за купцами, потому что их некем было заменить.

1722 год обозначает, таким образом, новый сдвиг в сторону служилой массы, новый успех дворянской реакции. Нет надобности оговаривать, что такова была объективная сторона событий; субъективно Петр оставался более чем когда бы то ни было на старой колее, в этом самом году начав кампанию, нисколько не менее "буржуазную" по своим задачам, нежели борьба за Балтийское море, и, конечно, более сознательно буржуазную. То был персидский поход. Позже мы несколько детальнее коснемся этого достойного финала эры торгового капитализма - "начала конца" и для личной биографии Петра. Но не приходится отрицать, что ко времени персидского похода Петр был сознательнее не только в области внешней политики. Не отдавая себе отчета в социальной подкладке творившегося вокруг него, он ясно видел одно: что на ту группу людей, с которой он привык делать дело, положиться нельзя; что ее интересы каким-то роковым образом расходятся с интересами этого дела; что они - не помощники, а тормозы, если не сознательные враги его начинаний; что с ним борется возрожденный реставрацией XVII века феодализм с привитыми извне новыми экономическими формами; что, конечно, туземное приспособит к себе занесенное с Запада, а не наоборот; что вся его попытка в целом заранее осуждена на неудачу: так он, конечно, сам никогда не формулировал бы положения подозрительных и ненадежных людей, которых судьба сделала его ближайшими слугами и советниками. А между тем потребности все того же дела заставляли его уехать за две тысячи верст. И вот чрезвычайно характерное различие: уезжая в 1711 году, он создает орган управления - сенат; уезжая в 1722

году, он оставляет за собою орган надзора - генерал-прокуратуру. История сделала впоследствии из генерал-прокурора своего рода визиря, министра для всех дел или, если угодно, царского главного бурмистра. Но Петр имел для него в виду совсем не это. Его генерал-прокурор, как его рисует инструкция от 27 апреля 1722 года, ничем не управляет, он только следит, следит неукоснительно за лукавыми и ленивыми рабами, носящими звание сенаторов и тайных советников. И чтобы они не проводили времени праздно, работали "истинно, ревностно и порядочно", и чтобы они не забывали правил, сочиненных для них Петром, действовали "по регламентам и указам", и притом не для видимости только, - "не на столе только дела вершились, но самым действом по указам исполнялись", - и, особенно, чтобы не воровали и не взяточничали, "дабы сенат в своем звании праведно и нелицемерно поступал". В лице генерал-прокурора Петр надеялся иметь телескоп, при помощи которого он из Астрахани и Дербента мог бы уследить каждый грош, попавший из казенного сундука в карман "господ сената". Он так и определяет новую должность: "око наше", и грозит этому живому телескопу самой жестокой участью, если он будет функционировать плохо. Недаром эта должность и была поручена человеку сравнительно молодому и не выделявшемуся особенно из рядов государственных деятелей, но зато лично необычайно тесно связанному с царем: то был П.И. Ягужинский, за несколько лет перед этим занявший при Петре, по-видимому, то же положение, которое ранее занимал, по общему убеждению, Меншиков. За границей, во Франции, Петр не расставался с ним ни на минуту и все время не спускал с него глаз, как Грозный с Басманова... Но для роли всеобщего ревизора молодой царский любимец, кажется, был слишком слаб. Вернувшись из Персии, Петр решил взять дело надзора непосредственно в свои руки. В одной из ближайших к царской спальне комнат дворца, рассказывает Фокеродт, был поселен новый обер-фискал, полковник Мякинин, и начальник всего сыска сделался главным и постоянным советником императора. В долгих беседах с ним Петр настаивал на одном: истребить до корня все злоупотребления. Жизнь всех висела на волоске - до Меншикова и Екатерины включительно. Но от этого плана всеобщего истребления слишком пахло безумием, чтобы он мог дать какие-нибудь практические результаты. Он показывает только, что к этому времени не одно физическое здоровье Петра было окончательно надорвано, и что катастрофа 28 января 1725 года пришла совершенно вовремя.

Новое общество

Торговый капитализм и быт русского общества; резкость перемены; ее социальные размеры - Эпоха Петра и западноевропейское Возрождение; характеристика Тзна - Петровские празднества - Характер шуток Петра - "Всепьянейший собор" - Более серьезные формы вольнодумства; отношение Петра к посту и раскольникам; дело Тверитинова - Литературный индивидуализм Петровской эпохи: его подготовка к литературе. Смуты - Котошихин. "Гисториякнязя Куракина" - Индивидуализм в праве: указы о майорате и престолонаследии - Научные интересы эпохи; Петр - дантист; Петр - фельдшер - Безграмотность петровского двора - Простота нравов; петровская дубинка -

Характерные черты петровской грубости: солдатчина - Отношение Петра к гвардии - Военный характер забав Петра; солдатские замашки - Связь солдатчины с режимом; мнение Фокеродта - Происхождение гвардии - Ее значение при Петре: гвардейцы в Сенате; гвардейская тирания в провинции - Гвардия как центр дворянской реакции

Завоевание феодальной России торговым капиталом, каким бы временным и непрочным оно ни было, должно было сопровождаться крупными изменениями в быте русского общества. На всем протяжении своей тысячелетней истории с этой стороны последнее не переживало, вероятно, более резкой, по внешности, перемены. Она особенно поразит нас, если мы взглянем на это общество сверху. На самом верху пирамиды, там, где еще так недавно высилось нечто вроде живой иконы, в строгом византийском стиле, медленно и важно выступавшей перед глазами благоговевшей толпы, - выступавшей лишь на минуту, чтобы тотчас же вновь скрыться в темной глубине теремов, - теперь виднелась нервная, подвижная до суетливости фигура в рабочей куртке, вечно на людях, вечно на улице, причем нельзя было разобрать, где же кончалась улица и начинался царский дворец. Ибо и там и тут было одинаково бесчинно, шумно и пьяно, и там и тут была одинаково пестрая и бесцеремонная толпа, где царского министра в золоченом кафтане и андреевской ленте толкал локтем голландский матрос, явившийся сюда прямо с корабля, или немецкий лавочник, пришедший прямо из-за прилавка. Чем дальше от дворца, правда, тем перемена чувствовалась меньше. Уже служилый человек, довольно охотно надев на себя немецкий костюм и несколько менее охотно сбрив бороду, сидя в учрежденной по заморскому образцу коллегии, не прочь был по старине поместничаться со своим соседом, дома же держал у себя все по старому чину, и если пускал к себе иной день улицу, то лишь с великою неохотой и по строгому царскому указу. Ниже служилых шла плотная масса "раскольников и бородачей", которых перемена не коснулась даже и внешним образом, и которые еще на полтора столетия, до романов Печерского и комедий Островского, сохранили свой "быт" во всей его неприкосновенности. И уж совсем никакой перемены нельзя было заметить в многомиллионной мужицкой массе, прежнее крепостное ярмо ее ничуть не облегчилось от новых порядков, а новая, капиталистическая, барщина с ее утонченными способами эксплуатации была еще далеко впереди. Употребляя старофранцузские термины, "двор" изменился сильнее, чем "город", а деревня совсем не изменилась. Но "двор" был центром совершившегося экономического переворота - мы видели значение царского хозяйства в деле образования торгового капитала; "город" был театром этого переворота, и если теперь, конечно, мы не станем говорить о "петровской культуре" как о какой-то новой эре для всего русского народа - черед его "европеизации" наступил лишь во второй половине XIX века, то все же задача проследить влияние перемены в народном хозяйстве вплоть до "быта" и "нравов", остается не лишенной интереса. Тем более, что мы имеем здесь последовательность явлений, не составляющую национальной особенности русского народа. Сходство того, что происходило в России начала XVIII века, с тем, что знакомо западноевропейской истории XVI - иногда фотографическое.

И это фотографическое сходство не менее поучительно, нежели тот всем привычный факт, что город, возникающий в начале XX века, где-нибудь в глуши Южной Африки, как две капли воды будет похож на город, который одновременно строят в Канаде или даже на европейских "концессиях" Китая. Утомительное однообразие буржуазной культуры нашего времени, как правло, объясняется громадной ролью, какую играет в современной жизни техника, одинаковая под всеми широтами и долготами. Общество начала XVIII века было еще почти столь же примитивно в этом отношении, как и его предшественники на два столетия раньше. Стоит почитать переписку французских чиновников придворного и дипломатического ведомств, решавших в 1717 году трудную задачу: как им переправить из Кале в Париж русского царя с его свитой - десятка четыре народу, не больше чем на пару вагонов теперешнего экспресса. А тогда люди не знали ни днем, ни ночью покоя от мысли, где достать столько экипажей, чтобы поместить в них такую толпу? И смогли выйти из затруднения, только сделав перевозку знатных путешественников натуральной повинностью местного крестьянства. Общество, так еще мало умевшее бороться с природой, должно было гораздо более нашего зависеть от времени и пространства. Тем удивительнее смотреть, как русские современники Петра до мелочей воспроизводят отдаленный от них на два столетия и большинству из них совершенно незнакомый итальянский и фландрский "ренессанс".

Возьмем классическую характеристику этого последнего, сделанную в свое время Тэном. "Живописные праздники, которые давались во всех городах, торжественные въезды, маскарады, кавалькады составляли главное удовольствие народа и государей... Когда читаешь хроники и мемуары, видишь, что итальянцы хотели сделать жизнь роскошным празднеством. Все другие заботы им казались глупостью". Мы не должны смущаться этим общим определением "итальянцы": в приведенных автором примерах мелькают имена Галеаццо Сфорцы, герцога миланского, кардинала Пьетро Риарио, Лаврентия Медичи, Папы Александра VI или Льва X. Итальянцы, стремившиеся превратить свою жизнь в роскошный праздник, это - опять-таки "двор" и отчасти "город", итальянское крестьянство жило и тогда так же, как двести лет раньше и как двести лет спустя. Приглядитесь к подробностям этого "роскошного праздника". У Папы Льва X был шут, монах Мариано, "страшный обжора, который мог проглотить сразу вареного или жареного голубя и мог съесть за один присест сорок яиц и двадцать цыплят". Папу очень забавляла картина, где Мариано был изображен, окруженный всячески издевавшимися над ним чертями. В присутствии Папы представляют комедию, один сюжет которой, любезно объясненный предварительно публике папским нунцием, заставил покраснеть присутствовавших французских дипломатов. А можно себе представить, насколько целомудренны были эти современники Франсуа I, "тешащегося короля" (le roi qui s'amuse)! Когда публика расходилась после этого спектакля, была такая давка и толкотня, что счастлив был тот, кому только "чуть-чуть" не сломали ногу. А накануне Папа смотрел турнир между двумя кавалькадами: одна была одета в костюмы мавров, другая - в испанские. Дрались "только" палками, "что было очень красиво видеть и безопасно". Но на другой день был бой быков, уж не столь безопасный, во время него было убито три человека и две лошади. Потом опять была комедия, на этот раз не понравившаяся Папе: автора

ее, в наказание, завернули в одеяло и подбросили кверху с таким расчетом, чтобы он ударился животом о подмостки сцены*.

** Philosophie de Part, т. 1, с 175.*

Возьмем теперь записки какого-нибудь современника петровской реформы, имевшего случай наблюдать Россию "сверху", хотя бы известный дневник Берхгольца. Вам покажется, что русские, подобно итальянцам XVI века, решили всю свою жизнь превратить в сплошной праздник и считают все остальное глупостью. С раута в Летнем саду мы попадаем на бал во дворце, с бала - на спуск нового корабля, что стоит десяти балов, со спуска корабля - на маскарад по случаю Ништадтского мира. Неправильно сказать "на маскарад", ибо их было несколько, и каждый длился по нескольку дней. Густая пелена винного угара висит над всей этой чрезвычайно обстоятельной и многоречивой одиссеей голштинского двора в Петербуге, рассказанной Берхгольцем, и не без вздоха облегчения сообщает он иногда (так редко!), что "сегодня разрешено было пить столько, сколько хочешь". Ибо обыкновенно пить было обязательно, сколько хочет царь... Лаврентий Великолепный, тщетно пытавшийся достать слона для одной из своих процессий, мог бы позавидовать Петру, к услугам которого был целый зверинец. И уж, наверное, никакому итальянскому князю не удалось бы устроить такого маскарада, который подарила Петру русская зима, когда целый флот двигался по улицам Москвы на санях. Экипаж самого царя представлял точную копию в миниатюре только что спущенного недавно величайшего корабля русского флота "Миротворца" (он, конечно, назывался по-голландски - Fridemaker). На нем было несколько мальчиков-юнг, проделывавших все морские эволюции, "как самые лучшие и опытнейшие боцмана". По команде Петра они ставили паруса, как требовало направление ветра, "что оказывало хорошую помощь 15 лошадям, которые тащили корабль". Он был вооружен 8 или 10 настоящими пушками, из которых Петр салютовал время от времени, а ему отвечал с другого такого же "корабля" валахский господарь, ехавший в конце поезда. Всего было около 60 саней - 25 дамских и 35 мужских, причем самые маленькие везли 6 лошадей. А перед этим "серьезным", или "настоящим", маскарадом шла еще шутовская процессия "князя-папы" с его кардиналами и божеством морской стихии Нептуном. "Император, по всему судя, забавлялся истинно по-царски". Сколько стоило это удовольствие государю, который любил говорить, что "копейка рубль бережет", не нужно спрашивать. То была не первая забава такого рода на протяжении очень короткого времени: всего за несколько месяцев перед тем, все по случаю того же Ништадтского мира, был роскошный маскарад в Петербурге, длившийся тоже несколько дней и происходивший попеременно то на суше, то на Неве. В этом маскараде участвовало до тысячи масок. Дамы были одеты пастушками, нимфами, арапками, монахинями, арлекинами, скарамушами, а впереди них шла императрица со всеми фрейлинами и статс-дамами в костюмах голландских крестьянок. Мужчины шли в костюмах французских виноделов, гамбургских бургомистров, римских воинов, турок, индейцев, испанцев, персиан, китайцев, епископов, прелатов, каноников, аббатов, капуцинов, доминиканцев, иезуитов, министров в шелковых мантиях и огромных париках, венецианских нобилей, корабельных

плотников, рудокопов и, наконец, русских бояр, в высоких собольих шапках и длинных парчовых одеяниях, "также и с длинными бородами, и ехали на живых ручных медведях". А за ними, замыкая шествие, вертелся в огромном беличьем колесе царский шут, "очень натурально изображавший медведя", шел индийский брамин, увешанный раковинами, в шляпе с широчайшими полями, и краснокожие, покрытые разноцветными перьями. Два часа двигалось это шествие перед глазами от мала до велика собравшихся на Сенатскую площадь петербуржцев, а впереди него неутомимо колотил в барабан сам царь, одетый то голландским боцманом, то французским крестьянином, но не расстававшийся со своим шумным инструментом ни при каком костюме.

Берхгольц много раз повторяет, что все в процессии было очень "натурально". Те способы, какими Петр подготовлял "эту натуральность", весьма живо напоминают нам шутки Льва X с его братом Мариано. В числе других масок шел, например, Бахус "в тигровой шкуре, обвешанный гроздьями винограда". "Он очень натурально представлял Бахуса: это был необыкновенно толстый, низенький человек, с очень полным лицом, его целых три дня перед тем непрерывно поили, не давая ему ни минуты спать". Тут здоровье бедного "Бахуса" было принесено в жертву как-никак "искусству". Но Петр любил шутить на чужой коже и просто ради самой шутки, без всяких дальних расчетов. Во время речной части маскарада его знаменитого "князя-папу" везли через Неву на особого рода машине, состоявшей из плота, на котором поставлен был котел, наполненный пивом, посреди котла, в огромной деревянной чашке, плавал несчастный "всешутейший патриарх", а сзади, на бочках, плыли, ни живы, ни мертвы, его не менее несчастные кардиналы. Когда "машина" подошла к берегу, и ее пассажиров нужно было высаживать, те, кому царь поручил эту операцию, по специальному приказу, опрокинули чашку с князем-папой, и тот принял пивную ванну. Мы уже очень недалеко от того автора комедии, которого, по папскому приказу, подбрасывали на сцене, как мячик. Сейчас мы будем к нему еще ближе. На обеде у канцлера Головкина "царь забавлялся над кухмистером царицы, подававшим на стол: когда он поставил перед царем блюдо с кушаньем, тот схватил его за голову и сделал ему рожки над головой". Это был деликатный намек на то, что жена кухмистера была когда-то ему неверна, каковое обстоятельство Петр в свое время ознаменовал тем, что велел повесить над дверями кухмистерова жилища пару оленьих рогов. Объект царских шуток относился к ним не очень терпеливо, и царские денщики должны были во все время крепко держать его сзади, чтобы он не вырвался. Он отбивался, и уж совсем не на шутку: один раз схватил царя за пальцы так, что чуть не сломал. Подобные сцены происходили постоянно у Петра с этим человеком, как объяснили Берхгольцу, но тем не менее Петр, всякий раз, как его видел, принимался его дразнить. За двадцать лет раньше Корб был свидетелем сцены в том же роде, но еще более выразительной. Дело было на "роскошно устроенном пире", притом в гостях у цесарского посла. В числе приглашенной вместе с царем знати был боярин Головин, который "питал врожденное отвращение к салату и употреблению уксуса; царь велел полковнику Чамберсу возможно крепче сжать боярина, и сам стал насильно запихивать ему в рот и нос салат и наливать уксус до тех пор, пока Головин сильно закашлялся и из носа у него хлынула кровь".

Глава Христианской Церкви в XVI веке находил удовольствие смотреть на "шутки чертей" с фра Мариано и на представление комедии, один сюжет которой заставлял краснеть соотечественников Рабле. Главе всемирного православного царства в начале XVIII века доставляло особенное наслаждение издеваться над церковными обрядами. Мимоходом мы уже упоминали "князя-папу", конечно, знакомого читателю хотя бы по имени. Выступление его с его коллегией кардиналов представляло собою самый диковинный (sonderbarste) номер маскарада, описанного Берхгольцем. Коллегия состояла из "величайших и распутнейших пьяниц всей России, но притом все людей хорошего происхождения". Мы не будем повторять наивных объяснений этого "обряда", которые повторяет Берхгольц со слов петровских придворных, что это была будто бы не то сатира на пьянство (воплощением этой сатиры с удобством мог служить сам царский двор того времени), не то издевательство над Католической Церковью, до которой Петру не было никакого дела. Свидетельство человека, который был очевидцем основания "всешутейшей коллегии", не оставляет никаких сомнений, что католицизм тут ни при чем. "Теперь не надобно сего забыть и описать коим образом потешной был патриарх учинен", - начинает свое описание петровой потехи князь Куракин в своей "Гистории о царе Петре Алексеевиче". И хотя он старается ослабить впечатление своих читателей кое-какими оговорками, что "одеяние было поделано некоторым образом шуточное, а не так власное, как на приклад патриарху", но и он не мог умолчать, что "вместо Евангелия была сделана книга, в которой несколько стклянок с водкою", и что окарикатурение торжественного шествия патриарха на ослике в Вербное воскресенье было одною из главных потех; в этот день "патриарха" возили на верблюде "в сад набережной к погребу фряжскому". А другой очевидец, Корб, оставил нам еще более наглядное описание одной из церемоний. 21 февраля 1699 года "патриарх" освящал лефортовский дворец; при этом были воспроизведены все подробности церковного обряда - курение ладаном (вместо ладана курили табаком) и т.п., а вместо креста при освящении служили две трубки, положенные поперек одна на другую. Это последнее обстоятельство чрезвычайно сильно поразило воображение набожного католика: "Кто поверит, - заканчивает свой рассказ Корб, - что составленный таким образом крест, драгоценнейший символ нашего искупления, являлся предметом посмешища?" Но те, кто ближе был знаком с делом, поверили бы и не этому. Надругательства над Евангелием и крестом были самой невинной еще частью "шутошного" ритуала. Как в свое время очевидец не решился передать содержание представлявшейся на папском театре комедии, а только дал понять, какое впечатление произвела она на зрителей, так князь Куракин не решается подробно описывать, в чем состояла церемония поставления "патриарха". "В терминах таких, - кратко говорит он, - о которых запотребно находим не распространять, но кратко скажем - к пьянству, и к блуду, и к всяким дебошам". А в описании царских потех наш автор является большим реалистом и также приводит образчики таких "шуток" Петра, которые в наше время удобнее не цитировать. Можно себе представить, о чем даже и он находил нужным молчать!*

** См.: Архив кн. Ф.А. Куракина, т. 1, с. 74. О церемонии избрания князя-папы кое-что сообщает Фокеродт, к которому мы и отсылаем читателя. См. также: Семевский М. Петр Великий как юморист.*

Были ли это просто цинизм и грубость, как объяснил петровскую "юмористику" здравомыслящий немец Фокеродт? У настоящего Ренессанса шутки над монахами переходили в серьезное отрицание церковной традиции. Над священными вещами смеялись потому, что они, в глубине души, уже перестали считаться священными. Когда папы почувствовали это, они перестали шутить с огнем, и монахов-шутов при папском дворе сменили иезуиты. Но гуманизм не ограничивался папским двором, и вне этого последнего оставалось достаточно места, где торжествовало "светское настроение", дававшее себя знать уже не одними шутками. Была ли доступна эта серьезная сторона религиозного вольнодумства самому Петру? Современники рисуют его в этой области человеком старых привычек, не пропускавшим церковных служб, любившим подпевать певчим на клиросе и никогда не входившим в церковь в немецком парике. Это был единственный случай, когда царь сам отступал от заведенной им западной моды. Но когда дело заходило не о безобидных уступках обычаю, когда этот обычай сталкивался с тем, что было практически нужно, Петр оказывался более свободным мыслителем, чем можно было ожидать от человека таких консервативных привычек. Во время кампании 1714 года петровское интендантство нашло весьма благочестивым делом кормить солдат в Петровский пост постной пищей. Присмотревшись к результатам этого благочестия, Петр написал его виновнику, Кикину: "Святое ваше распоряжение - на пять недель снятков ржавых и воду - солдаты две недели употребляли, отчего без невелика 1000 человек заболело и службы лишилось, отчего принужден я закон ваш отставить и давать масло и мясо... Правда, когда бы шведов так кормить, дело б изрядно было, а нашим я не вотчим". К раскольникам, изображавшим антихриста и его воинство в мундирах петровской гвардии, Петр не имел оснований относиться особенно благосклонно. Но раскол был силен среди купечества, и с этим не мог не считаться царь, который даже из-за границы готов выписывать обанкротившихся купцов. Узнав, что купцы-староверы "честны и прилежны", Петр высказал сентенцию, может быть, и приукрашенную его позднейшим историком, но едва ли сочиненную этим последним: "Если они подлинно таковы, то по мне пусть веруют, чему хотят, и когда уже нельзя их обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучениками за глупость быть - ни они той чести не достойны, ни государство пользы иметь не будет". Выгорецким раскольникам формально было позволено служить по старым книгам, под условием работы на Повенецких заводах: это был едва ли не первый случай в России религиозной терпимости по отношению не к "инославному" исповеданию, а возникшей внутри православия "секте". Заявление известного указа от 1702 года о нежелании царя "совести человеческой приневоливать" не было, таким образом, голой фразой, и мы имеем образчик терпимого, по тогдашним нравам, по крайней мере, отношения Петра и его правительства уже к форменным "вольнодумцам". Московский лекарь Тверитинов говорил громко - и не только говорил, но и писал, и писания свои читать давал - такие, например, вещи: "Икона только вапь и доска без силы чудотворения; если

бросить ее в огонь, она сгорит и не сохранит себя"; "Неподобно поклоняться кресту, как бездушному дереву, не имеющему никакой силы"; "монашеское девство не по разуму святых писаний держится". Духовные власти, с местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским во главе, конечно, привлекли за это смелого лекаря к ответу. Но в результате следствия он не только не был сожжен, как, несомненно, случилось бы с ним пятьюдесятью годами раньше, но получил даже свидетельство о своем православии, после формального покаяния, правда. А его духовным обвинителям пришлось наслушаться в сенате, где разбиралось дело Тверитинова, весьма неприятных для них вещей. "Черничишка - плут! - кричали сенаторы монаху, обличавшему лекаря, - ты за скляницу вина душу свою продал". А самого митрополита Стефана из одного сенатского заседания прямо выгнали на том основании, что он не сенатор и ему на суде (над еретиком, заметим это) не место*. Насчет монашества и сам император, под конец жизни, высказывал мнения, которые Яворскому, если бы он был жив, вероятно, очень бы не понравились. Если не происхождение, то распространение монашества он склонен был объяснять "ханжеством" греческих императоров, "а наипаче их жен", и тем, что, пользуясь этим ханжеством, к ним "некоторые плуты подошли". "Сия гангрена и у нас было зело распространяться начала под защищенном единовластников церковных, но еще Господь Бог прежних владетелей так благодати своей не лишил, как греческих"**.

** Тихонравов. Московские вольнодумцы начала XVIII века и Стефан Яворский. - Соч. т. 2.*

*** Соловьев, кн. 4, с. 810 и др. Изд. "Общественной пользы".*

Разрыв с традицией в книжке, в литературе должен был, конечно, сказаться еще сильнее, чем в жизненной практике. Реализм и светское настроение русской повести XVII века давно отметили специалисты - на наблюдениях этого рода основана упоминавшаяся уже характеристика Тихонравова. Средневековый писатель, как и средневековый художник, знал только схемы, а не живых людей, для него важны были примеры добродетельного жития, а не человеческой личности. Интерес к личности, индивидуализм, составляет одну из характернейших черт и искусства, и литературы Возрождения. Наша художественная литература XVII - XVIII веков была сплошь переводной и подражательной, более подлинное настроение русского общества можно найти в исторических работах той поры. Уже историки Смуты, писавшие в первой половине XVII столетия, псевдо-Палицын, Катырев-Ростовский, особенно автор соответствующих глав в так называемом хронографе 2-й редакции, интересуются своими героями не как отвлеченными моральными образцами, а во всей их исторической конкретности. Князь Катырев-Ростовский первый захотел собрать данные о наружности русских государей, начиная с Грозного, и попытался дать характеристики каждого из них в отдельности. Гораздо выше его стоит в этом отношении хронограф 1617 года. Его Годунов, Лжедмитрий, Гермоген - почти живые люди. У Дмитрия вы можете уловить его порывистость и нетерпеливый тон в спорах ("а что то соборы, соборы? мощно быти и осмому и девятому собору"), его говорливость и живые умственные интересы ("речением же многословесен и ко

книжному писанию борзострителен"). И чтобы выдержать классический тип "еретика и расстриги", автору - в глубине души, весьма, вероятно, смущенному, что у него выходит не то и не так, как надо, - приходится не жалеть ругательств, совершенно не вяжущихся с теми фактами, которые он же сам приводит. На патриархе Гермогене он не выдержал и вместо стереотипного образа "страдальца за правду" дал портрет, превосходно объясняющий судьбу Гермогена, но который мог бы скандализировать и не XVII век. "Не сладкогласие", "нравом груб", "ко злым же и благим не быстрораспрозрителен, но к льстивым паче и лукавым прилежа", "слуховерствователен" - такие реальные черты в физиономии почти угодника Божия настолько смутили одного из позднейших редакторов хронографа, что он нашел нужным сопроводить характеристику пространным опровержением, где доказывал, что "неправо се списатель вся глаголаше о святем сем муже о Ермогене". Но, к счастью, не уничтожил самой характеристики.

Реализм Котошихина слишком хорошо известен, чтобы о нем нужно было распространяться. С интересующей нас точки зрения, он любопытен, между прочим, тем, что первый пытается объяснить исторические перемены как результатлмчном деятельности. Возникновение Московского государства для него - дело личной завоевательной политики Ивана Грозного; если с царя Алексея не взяли записи, ограничивающей его власть, это результат его личного характера - "разумели его гораздо тихим". У крупнейшего историка Петровской эпохи князя Б.И. Куракина, мы встречаем тот же прием, в размерах, несравненно более грандиозных. В "Гистории царя Петра Алексеевича" мы уже среди полного возрождения, как и на маскарадах Петра. К писаниям князя Куракина необыкновенно идет такая случайная мелочь, как любовь автора к итальянским цитатам. Когда вы читаете его, образ великого итальянского историка неотразимо встает перед вами, и, может быть, ничем нельзя лучше измерить сравнительную глубину подлинного Ренессанса и его отдаленной и бессознательной русской копии, как сравнив "Историю Флоренции" Маккиавелли с куракинской "Гисторией". Там, с захватывающим драматизмом, при всей кажущейся сухости и сдержанности, описывается, как флорентийский народ добыл себе свободу и потерял ее. Здесь так же трезво, сжато и метко рисуются перед нами разные "случайные люди", интригами захватывавшие власть и, благодаря интригам других, терявшие ее. Там огромный амфитеатр, который был бы, пожалуй, впору и Древнему Риму; здесь - крошечная домашняя сцена. И благодаря ее узким размерам, благодаря ничтожному числу действующих лиц, индивидуалистическая точка зрения подходила ко всей обстановке еще лучше. У Маккиавелли за лицами слишком хорошо видны партии и, еще глубже, классы, недаром он стал одним из предшественников современного "экономического материализма". Нет историка, который был бы дальше от идеализации действительности, более "материалистом" в своем миропонимании, чем князь Куракин, но "экономизму" у него нечем поживиться. Он не знает других мотивов, кроме эгоистических, других источников общественных перемен, кроме личной воли. Нужно ли ему объяснить стрелецкий бунт - это, конечно, интриги царевны Софьи. А потом она же, "учиня по своему желанию все через тот бунт, начала трудиться, дабы оный угасить и покои восставить, и на кого ни есть сие взвалить": и вот вам простое объяснение "Хованщины". Но так как Софья Алексеевна была "принцесса ума великого", то

"никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было". И экономическое, и культурное развитие Московского государства в конце XVII века объясняется именно этим и ничем другим. "Все государство пришло во время ее правления, через семь лет, в цвет великого богатства. Так же умножилась коммерция и всякие ремесла; и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку". Петр любил иностранцев, это опять личное влияние князя Бориса Алексеевича Голицына. "Оной есть первым, который начал с офицерами и купцами-иностранцами обходиться. И по той своей склонности к иноземцам оных привел в откровенность ко двору и царское величество привел к ним в милость". Стали носить немецкое платье - Куракин опять умеет закрепить эту перемену собственным именем. "Был один англичанин торговой Андрей Кревет, который всякие вещи его величеству закупил, из-за моря выписывал и допущен был ко двору. И от оного первое перенято носить шляпочки аглинские, как сары (sir) носят, и камзол, и кортики с портупеями". Казалось бы, что может быть менее индивидуально, чем пьянство и разврат? Но Куракин и тут не затрудняется найти виноватого. "В то время названный Франц Яковлевич Лефорт пришел в крайнюю милость и конфиденцию интриг амурных. Помянутой Лефорт был человек забавной и роскошной или назвать дебошан французской. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы. И тут в его доме первое начало учинилось, что его царское величество начал с дамами иноземскими обходиться и амур начал первой быть к одной дочери купеческой, названной Анна Ивановна Монсова. Правда, девица была изрядная и умная. Тут же в доме (Лефорта) началось дебошество, пьянство так великое, что невозможно описать, что по три дня запершись в том доме бывали пьяны, и что многим случалось оттого умирать. И от того времени и по сие число и доныне пьянство продолжается, и между великими домами в моду пришло". И не приходит в голову Куракину, что не от Лефорта же выучились старый "князь-кесарь" Федор Юрьевич Ромодановский, который был "пьян по вся дни", или "невоздержной к питию" царский дядя Лев Кириллович Нарышкин.

Но индивидуализм эпохи преобразований нашел себе выражение не только в литературе, а и в праве: в двух законах, которые оба, правда, относятся, пожалуй, более тоже к литературе, ибо оба остались мертвой буквой. Это закон от 1714 года о майорате и указ о престолонаследии от 1722 года. Обе поры, несомненно, стояли во внутренней связи, так как петровский "майорат", как известно, вовсе не обозначал наследования всего имущества старшим сыном, а наследование его одним из сыновей, по выбору отца, с устранением остальных. В этом праве отца распорядиться имуществом по своему усмотрению и заключалась, по мнению Петра и его советников, вся суть института. Одна дошедшая до нас записка, информировавшая Петра насчет английских порядков, утверждает, что "по общему закону аглинской земли, отцы могут отлучить и отнять от своих детей все земли, которые им не суть определены чрез духовную или инако, и могут они отдать все токмо одному сыну, а другим ничего, еже содерживает "детей в должности и послушании"". Манифест 1722 года только воспроизводит это, нет надобности говорить, совершенно ошибочное мнение об "общем законе аглинской земли", когда он говорит: "Дабы всегда сие было в воле правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, аки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как

выше писано, имея сию узду на себе". Совпадение настолько буквальное, что не нужно даже тут же имеющейся ссылки на закон от 1714 года, чтобы видеть связь: и там и тут для Петра важно было расширить предел отцовской власти, стеснявшейся и в том, и в другом случае действовавшими в России обычаями. Как вотчиной, так и царским престолом в Московском государстве нельзя было распоряжаться поличному усмотрению. Выбирая на престол Михаила Федоровича, выбрали, в сущности, семью Романовых, и старший член семьи, так сказать автоматически становился государем по смерти отца. Эта автоматичность казалась Петру "недобрым, старым обычаем", хотя именно она и лежала в основе английского майората, который он ценил за то, чего в нем не было, и он семейное достояние, каким была в России земля, стремился превратить в личное, каким было движимое имущество, товар и деньги. В этом проникновении буржуазных взглядов в сферу наследования земель и престолонаследия, в самую гущу феодального права, так сказать, огромный культурный интерес обоих неудавшихся законов. И заимствование было не совсем бессознательное, подготавливая указ 1714 года, требовали от русских агентов за границей сведений о "наследствах и разделе оных" не только "знатнейших, графских, шляхетских", но и "купецких фамилий"*.

** Павлов-Сильванский Н. Проекты, etc., с. 51.*

"Индивидуализм" Петровской эпохи так же мало должен нас, однако ж, обманывать, как и индивидуализм итальянского Возрождения. Литература - ей все дозволено идеализировать - может, конечно, представлять героев последнего не только смелыми и красивыми, но и утонченными и изящными, глубокомысленными и образованными, даже на взгляд читателя XX столетия. Историк такого права не имеет, и ему приходится констатировать, что удовольствия этого времени были крайне грубы, как мы это уже видели, что философия гуманистов была смесью самых наивных предрассудков, завещанных средними веками, с наскоро подхваченными и непереваренными обрывками античной мудрости, и что самые блестящие синьоры, покровительницы гуманизма, иногда не умели писать. Насчет интеллектуальной высоты петровской культуры, к счастью, даже и предрассудков не существует, и к Академии наук тех дней принято относиться даже с большим, может быть, скептицизмом, чем она того заслуживает. Научные интересы самого Петра, если о них можно говорить, не шли дальше собирания "монстров" и "опытов", вроде попытки создать породу высоких людей, поженив добытую откуда-то царем "чрезмерно высокую" финку с показывавшимся в балаганах за деньги французским великаном. И ремесло цирюльника, в те простые времена заменявшего и дантиста, и фельдшера, вовсе не казалось преобразователю России ниже его достоинства: после катанья на яхте и работы с топором или за токарным станком, ничто, кажется, не доставляло Петру такого удовольствия, как рвать зубы. Так как его пациентам это доставляло, по-видимому, удовольствие не столь сильное, то на царских денщиков ложилась деликатная обязанность отыскивать царю случаи для упражнения в зубоврачебном искусстве. Берхгольц рассказывает, с каким трудом ему удалось спасти его собственные зубы, когда он имел неосторожность пожаловаться в присутствии одного из этих своеобразных соглядатаев на зубную боль. Насчет звания пациентов царь совсем не

был разборчив, и его медицинских визитов, в качестве дантиста, удостоивались не только придворные или иноземные купцы, но даже прислуга этих последних. Не менее, чем рвать зубы, любил он выпускать воду у страдавших водянкой. Окружавшая Петра среда была еще примитивнее в этом отношении. Петр хотя до конца жизни писал, даже со старорусской точки зрения, ужасающе безграмотно, все же любил читать и читал не только по-русски. Он внимательно следил за голландскими газетами того времени, отмечая в них то, что его интересовало, выписывал из-за границы и книги. Два первых после него лица в государстве, Екатерина и Меншиков, едва ли не были вовсе безграмотными: современники, по крайней мере, весьма твердо стоят на том, что последний в искусстве письма не пошел дальше уменья вывести свою фамилию; а о первой сохранилась легенда, что впоследствии, когда она стала самодержавной императрицей, указы подписывала за нее ее дочь, цесаревна Елизавета. Повторяем, образованность петровского общества вряд ли кто и станет преувеличивать; но мы с трудом представляем себе простоту нравов эпохи. Звания министров, фельдмаршалов и "кавалеров" невольно гипнотизируют нас, и мы склонны видеть в петровском дворе что-то все-таки "европейское", хотя бы и на тогдашний лад. Европейцы, даже сами еще не очень далеко ушедшие по части внешней культурности, как немцы, должны были легко освободиться от этой иллюзии. Вот, например, сценка, которую мы передадим словами все того же словоохотливого голштинского камер-юнкера, который так любил описывать петровские маскарады. Был пир у князя Ромодановского, где собралась "вся русская знать". Царь уже уехал, когда у "князя-кесаря" и одного из его гостей, не менее знаменитого князя Долгорукого, затеялась ссора: один припомнил другому какую-то старую обиду, и Долгорукий отказался выпить, что подносил ему Ромодановский. "Тогда оба эти старика, обменявшись многочисленными отвратительнейшими ругательствами, вцепились друг другу в волосы и добрых полчаса колотили друг друга кулаками, причем никто из присутствовавших в это не вмешивался и не пытался их разнять. Князь Ромодановский, который был очень пьян, оказался побежденным: тогда он призвал караульных солдат и, хозяин в своем собственном доме, приказал арестовать Долгорукого. Когда последнего освободили, он отказался идти из-под ареста и требовал будто бы у императора сатисфакции. Но дело, конечно, так и замрет, потому что подобные кулачные расправы в пьяном виде здесь случаются слишком часто и о них даже и не говорят". Действительно, картину вцепившихся друг другу в волосы царских министров мы и еще раз встречаем на страницах дневника Берхгольца; на этот раз дело происходило в присутствии голштинского герцога, который, понимая обычай страны, отвернулся и сделал вид, что он ничего не замечает. А у Корба мы находим почти такую же сцену между Ромодановским и Апраксиным, будущим петровским генерал-адмиралом, только последний, под свежим впечатлением своих заграничных знакомств, должно быть, поступил более "по-европейски" - обнажил шпагу, чем страшно напугал Ромодановского, привыкшего к тому, что дело кулаками и оканчивается.

Когда мы присутствуем потом при столь патриархальных сценах, как прием царевной Прасковьей иностранных посетителей в одной рубашке, причем, пока "принцесса" протягивала для целования свою руку, другой рукой она прикрывала свою наготу наскоро взятой у одной из придворных дам мантильей, или при

домашнем спектакле у той же царевны и ее сестры, мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны, где вдруг обнаружилось, что исполнитель главной роли какого-то короля только что получил 200 ударов батогами, а затем сряду, как ни в чем не бывало, удостоился чести играть не перед, а вместе с их высочествами, - все это на нас уже мало действует. Знаменитая "дубина Петра Великого" начинает рисоваться нам в ее реальной обстановке. С людьми настолько "простыми" и Петр не стал бы церемониться. И современники отмечали только те случаи, когда дубина касалась уже очень заметных людей, или когда последствия ее применения неожиданно оказывались трагическими. Когда царь нечаянно отправил на тот свет солдата, укравшего кусок меди с пожара, об этом заговорили в городе, и случай поразил иностранцев, саксонского резидента Лефорта, например, который нам его и передаст. Но едва ли правильно он из этого делает заключение, что Петр "не отличался гуманным характером". Это правда, конечно, но данный случай еще отнюдь не выходил из ряду. Или приближенный царский холоп токарь Нартов не может отказать себе в удовольствии вспомнить, как при нем дубинка гуляла по спине Меншикова либо других именитых персон. "Я часто видал, - будет он рассказывать потом, - как государь за вины знатных чинов людей здесь (в токарной) дубиною потчевал, как они после сего с веселым видом в другие комнаты выходили и со стороны государевой, чтобы посторонние сего не приметили, в тот же день к столу удостоиваемы были". Да еще, пожалуй, какой-нибудь наивный провинциал, вроде новгородского бургомистра Сыренского, познакомившись с придворным бытом, мог обмолвиться сентенцией: "Кто с Христом водился, те без головы стали, а кто с царем поводится, те без головы и без спины будут". Но сами члены петровского двора и сам Петр считали, что дубина - самый мягкий вид наказания, даже не наказание, а, так сказать, напоминание о возможности быть наказанным. "Теперь в последний раз дубина, - говорил царь Меншикову после одной "тайной" сцены из описанных Нартовым, - ее впредь, Александра, берегись!"

У этой грубости, если к ней присмотреться, были свои характеристические черты. Вот одна из сцен, какие можно было видеть на праздниках в Летнем саду. "Вскоре после пришло несколько злых апостолов, внушавших почти всем страх и трепет; я имею в виду шесть или около того гвардейских гренадеров, которые, по двое, несли на носилках большую лохань с самым простым хлебным вином, издававшим столь сильный запах, что многие его чувствовали, когда гренадеры находились еще в другой аллее, более чем за сто шагов от них. Когда я увидел, что сразу много народу убежало, как будто увидели черта, я спросил стоявшего рядом со мной приятеля: что с этими людьми случилось, почему они исчезли так поспешно? А тот уж схватил меня за руку, показал мне на вошедших молодцов, которых я было сначала не заметил, и мы пустились бежать со всех ног, что было очень благоразумно, так как я вскоре затем встретил нескольких, которые горько жаловались на свою беду, не будучи в состоянии прогнать из своего горла вкуса водки. И так как меня уже предупреждали, что множество шпионов должны были наблюдать за тем, все ли получили горькую чашу, то я не доверял ни одному человеку, но притворялся еще более потерпевшим, чем те. Но одна бессовестная шельма легко сумела проверить, пил я или нет, попросив меня дохнуть. Я ответил, что это бесполезно, так как я уже выполоскал рот водою, на что он возразил, чтобы

я ему такого не рассказывал: он знает, что тут ничто не может помочь, хоть возьми в рот корицы или гвоздики, все равно не меньше 24 часов будет вонять водкой изо рта, а от вкуса не отделаешься и еще более долгое время; и что я это должен бы тоже испробовать на себе, чтобы иметь возможность как следует рассказывать о здешних праздниках. Я с благодарностью отказался, указывая на то, что я совершенно не могу пить водки; но все это было бы тщетно, если бы то не был мой добрый друг, прикинувшийся фискалом, чтобы меня подразнить. Но если кто попадет в когти к настоящему, ему не помогут ни просьбы, ни слезы: нужно будет подчиниться, хотя на голову становись. Так как от этой обязанности не освобождаются даже самые нежные дамы, потому что и сама царица иногда пьет вместе с другими. За лоханью с водкой всюду следовали майоры гвардии, чтобы принудить пить тех, кто не слушался простых гренадеров. Нужно было пить из чашки, которую подает один из рядовых - в нее входит добрый пивной стакан, но не для всех ее наливают одинаково полно - здоровье царя: они это называют "за здоровье нашего полковника", но это одно и то же. Когда я потом расспрашивал, почему именно (для этого) раздают такой скверный продукт, как эта водка, мне отвечали, что делается это отчасти потому, что русские больше любят простое хлебное вино, чем все данцигские и французские водки в мире. Другая же причина - любовь к гвардии, которой царь не знает уж как польстить (nicht gnugsam zu schmeicheln wisse), - ибо он часто говорит, что среди его гвардейцев нет ни одного, которому он свободно и без опасности не мог доверить свою жизнь"*.

** Бергхольц, в Buschings Magazin XIX, S. 44 fl. Это единственное издание "Дневника", которое нам было доступно, русского перевода под руками мы не имели.*

Гвардия составляла неизменный фон всех празднеств. Рядом с Летним садом, где веселился двор, на Царицыном лугу постоянно можно было видеть ее темно-зеленые каре, пестревшие красными воротниками преображенцев и синими семеновцев. И среди них нередко виднелась высокая фигура самого царя, потчующего водкой своих солдат раньше, чем они пойдут потчевать своим напитком министров и камергеров. К этим гостям Царицына луга Петр был куда внимательнее, нежели к гостям Летнего сада. Те должны были смирно подчиняться царской прихоти - пить, когда царь прикажет, танцевать, когда он этого хочет. Сколько раз бывали случаи, что Петр отлучался с раута отдохнуть (он всегда спал среди дна), либо по какому-нибудь делу, но он хотел, вернувшись, найти веселье в полном разгаре, и ко всем выходам Летнего сада ставились гвардейские часовые, никого не выпускавшие ни под каким предлогом. Раз во время такого бала под арестом полил дождь, как из ведра. Крытых галлерей было слишком мало, чтобы вместить всех гостей, и большая часть из них вымокли до нитки. Но в то время как в Летнем саду все должны были дожидаться царя и без его повеления бал не смел кончиться, на Царицыном лугу царь должен был терпеливо ждать, пока кончится вся военная церемония. В свои именины, 29 июня 1721 года, Петр был чем-то очень расстроен, он тряс головой и дергал плечами, что было у него всегда признаком сильного волнения; на придворных, собравшихся его поздравить, еле взглянул и прямо прошел к гвардейскому каре. Однако и тут он не мог оставаться

долго, прослушав первый салют, он хотел уйти. Но гвардия должна была повторить салют три раза; Меншиков догнал уходившего царя и напомнил ему об этом. Петр вернулся и достоял до конца салюта. Естественно, что после этого голштинский придворный не без самодовольства рассказывает, как эта гордая гвардия отдавала честь его государю, заботливо прибавляя, что большей чести от нее не удостоивается и сам русский царь: гренадерские офицеры и ему только делали "под козырек", но не обнажали шпаги, как было в обычае перед высочайшими особами. И тут для преображенцев "их полковник" шел впереди императора Всероссийского.

В нашей исторической литературе прочно укоренилась характеристика Петра Великого, как "царя-мастерового". Действительно, царь на корабельной верфи, с топором или рубанком в руках, - картина более редкая и потому более эффектная, нежели царь на плац-параде. Но если не гнаться за эффектами, придется признать, что солдатом Петр стал гораздо ранее, нежели "мастеровым", и что барабанную науку он изучал в свое время не с меньшим рвением, нежели впоследствии ремесло корабельного плотника. Причем последнее вовсе не вытеснило из его головы первого. Тотчас по своем возвращении из первого заграничного путешествия, под свежим впечатлением саардамской верфи, Петр раньше, чем повидал царицу и царевича, успев заехать только в немецкую слободу, отправляется смотреть свои войска. "Как только он убедился, насколько далеки эти полчища от настоящих воинов, он показывал им различные жесты и движения на самом себе, уча наклонением собственного тела, какую телесную выправку должны стараться иметь эти беспорядочные массы" (Корб).

А барабан оставался его любимым инструментом до конца жизни, как мы знаем. Все его удовольствия носили резко выраженный военный характер - от всех них "пахло порохом". Доказывая (в 1710 году), что у царя достаточно средств для продолжения шведской войны, австрийский президент Плейер приводит такое соображение: "Уж два года не работает ни одна пороховая мельница, потому что имеется еще в полной готовности большой запас пороха, несмотря на то, что при обучении рекрутов, как только они научатся обращаться с ружьями, происходит непрерывная сильная стрельба; а когда царь, или наследник, или кн. Меншиков в Москве или в деревне, за всяким почти обедом, при каждом тосте за чье-нибудь здоровье, во время бала и танцев, в дни именин или рождения, или по случаю самой хотя бы ничтожной победы беспрерывно стреляют из ружей". Описания роскошных петровских фейерверков встречаются на каждом шагу в современных мемуарах; ими восхищались люди, хорошо знавшие Европу, как князь Куракин. Пирует ли царь у Лефорта, спускает ли корабль, идет ли маскарад по улице Москвы - мы слышим непрерывную пушечную пальбу. На новогоднем празднестве 1699 года "залп из двадцати пяти пушек отмечал всякий торжественный заздравный тост". Один из иностранных дипломатов видел в этой трате пороха на воздух серьезную статью расхода, порядком обременявшую государственный бюджет. А когда Петр развеселится, в нем гораздо сильнее сказывался буйный солдат (пьяный ландскнехт, если угодно: мы ведь так недалеко еще от Тридцатилетней войны), нежели подгулявший мастеровой. В трезвом виде орудуя дубинкой, во хмелю Петр легко брался за шпагу. На одном пиру у Лефорта, под конец обеда, разгневавшись на воеводу Шеина, "царь распалился так, что, нанося обнаженным мечом без разбору удары, привел в ужас всех собеседников: князь

Ромодановский получил легкую рану в палец, другую - в голову; у Никиты Моисеевича (Зотова, "всешутейшего патриарха"), при движении меча наотмашь, была повреждена рука; гораздо более гибельный удар готовился воеводе, который, несомненно, упал бы от царской десницы, обливаясь собственной кровью, но генерал Лефорт (которому почти одному это позволялось), обняв царя, отвел его руку от удара. Царь, однако, пришел в сильное негодование от того, что нашлось лицо, дерзнувшее помешать последствиям его вполне справедливого гнева, тотчас обернулся и поразил неуместно вмешавшегося тяжелым ударом в спину; поправить дело могло одно только лицо, занимающее первое место среди москвитян по привязанности к нему царя. Говорят, что этот человек вознесен до верха всем завидного могущества из низшей среди людей участи. Он успел так смягчить царское сердце, что тот удержался от убийства, ограничившись одними угрозами. Эту жестокую бурю сменила приятная и ясная погода". Этот благодетельный чародей, которого Корб не называет, был Меншиков: цитированное нами место - одно из тех, на которых основано известное уже нам представление о характере отношений между Петром и его "Алексашкой".

Была ли эта любовь к военщине и солдатские замашки только делом личной склонности, или Петр сознательно шел в этом направлении? Не надо забывать, что в те времена еще не было на свете "великого Фридриха", который "сделал всех королей капралами"; солдатская наука тогда еще не была королевской наукой по преимуществу. Из предшествующих русских царей ни один, кроме Лжедмитрия, не был любителем военного дела. Известную роль тут должно было сыграть детство Петра, прошедшее под впечатлением только что закончившихся долголетних войн царя Алексея: у прежних царевичей едва ли было столько военных игрушек. Борьба за Малороссию и война со шведами должны были сильно расшевелить задремавшие после Смуты милитарные инстинкты московского высшего общества. Но помимо инстинктов современники или очень близкие потомки усматривали в милитаризме Петра серьезную политическую сторону - не ту, какая выдвигается обыкновенно. Мы уже упоминали мимоходом о замечании Фокеродта, как Петр "достаточно убедился из опыта, какую сильную опору монархической власти представляет регулярная армия", и как, именно благодаря этому, он "в особенности и со всем усердием предался улучшению своих войск". Влиянию военных потребностей в тесном смысле Фокеродт отводит лишь второе место. Как известно, старый предрассудок, будто Петр был создателем регулярной армии в России, давно пора бросить: первые полки "иноземного строя" появляются у нас еще при Михаиле, а в малолетство Петра они, вместе со стрельцами, которые тоже были ближе к постоянному войску, нежели к феодальному ополчению, составляли уже подавляющее большинство русской армии*. Правда, это было плохое регулярное войско: вероятно, вроде турецких или персидских солдат первой половины XIX столетия. Тем не менее солдатскую науку Петр нашел в России уже готовой, и петровская гвардия, с военно-технической точки зрения, была еще меньше "открытием", чем "дедушка русского флота" - с точки зрения морской техники. Но ее задача и не была военно-технической. Присмотритесь к ходу ее постепенного развития, как он отчетливо выступает в "Гистории" Куракина. Сначала было 300 "потешных"; эти завелись случайно, действительно для потехи, едва ли тут был серьезный расчет. Но в столкновении с Софьей потешные оказываются

нешуточной силой, на которую можно опереться - ведь и противники считают своих приверженцев среди стрельцов тоже только сотнями. И вот, "по возвращении из Троицкого походу 7197 (1689) году", т.е. после своего бегства из Преображенского к Троице и расправы с Софьей, Голицыным и Шакловитым Петр "начал набирать свои два полка, Преображенской и Семеновской, формально". Для семнадцатилетнего царя это были, по-прежнему, игрушки, но для партии Нарышкиных и для Бориса Алексеевича Голицына, фактического автора coup d'etat 1689 года, это была серьезная военно-полицейская сила, которую можно было противопоставить, в случае надобности, ненадежным стрельцам. Десять лет спустя гвардии и пришлось сыграть именно эту роль. Преображенцы и семеновцы с самого начала были нужны против внутреннего врага: против внешнего их двинули уже позднее.

** Цифры см. у г. Милюкова, с. 52. В походе 1681 года на 16 приблизительно тысяч дворян и детей боярских московских и городовых приходилось 30 тысяч конницы и 60 тысяч пехоты иноземного строя, кроме 22 тысяч стрельцов.*

Это происхождение гвардии объясняет нам и ее значение при Петре. Гвардейские офицеры играли роль, очень близкую к жандармским офицерам времен Николая Павловича. Все более или менее интимные расследования о казнокрадстве и иных злоупотреблениях ближайших к Петру лиц производились при их участии. Так, фискальские доносы на князя Я.Ф. Долгорукого разбирала комиссия, состоявшая из майора Дмитриева-Мамонова, капитана Лихарева, капитан-поручика Пашкова и поручика Бахметева. Перед учреждением генерал-прокуратуры Петр думал из гвардейских штаб-офицеров создать орган для надзора над всем сенатом. Гвардейские майоры должны были присутствовать в заседаниях сената и следить за тем, чтобы сенаторы вели дела как следует, увидя же что-нибудь "противное сему", могли виновного арестовать и отвести в крепость (Петропавловская крепость уже тогда, по словам Фокеродта, играла роль не столько военную, - она никого и ничего не обороняла, - сколько полицейскую: была "своего рода Бастилией"). Немудрено, что члены сената "вставали со своих мест перед поручиком и относились к нему с подобострастием", как с удивлением сообщал французский агент Лави, не без основания находивший, что "достоинство империи" от того "унижено". Но подобострастие сенаторов перед поручиком было ничем сравнительно с положением, в какое была поставлена относительно последних провинциальная администрация. Гвардейские офицеры, посылавшиеся в губернию, в случае неисполнения их требований имели право "как губернаторов, так и вице-губернаторов и прочих подчиненных сковать за ноги и на шею положить цепи и по то время их не освобождать, пока они изготовят" требуемые гвардейцами отчеты. Позже такое же право было предоставлено не только офицерам, но и унтер-офицерам. Какую картину представляла под унтер-офицерским игом Москва (не какой-нибудь медвежий угол!), весьма живо рисует одно письмо известного петровского дипломата гр. Матвеева. "Присланный из камер-коллегии унтер-офицер, именем Пустошкин, - рассказывает он, - жестокую передрягу учинил и всю канцелярию опустошил, и всем здешним правителям, кроме военной коллегии и юстиции, не только ноги, но и шею смирил цепями.

Между которыми здешний вице-губернатор господин Воейков токмо ответствовал тому нарочно присланному, что он послушен на цепь идтить, однакож, чтобы прежде сказана была ему вина, чего тот, Пустошкин, учинить не дерзнул без указу военной коллегии. Однакож, он, вице-губернатор, от него, Пустошкина, равно в той губернской канцелярии при такой же тесноте содержится, как и прочие... Я, тех узников по должности христианской посещая, воистину с плачем видел в губернской канцелярии здешней, что множество детей и женщин, и честных особ, сидящих в них, и токи слез, превосходящие галерных (каторжных) прямых дворов". Это было в Москве, и главным обиженным являлся вице-губернатор и бригадир, нашедший себе заступника в лице близкого к царю человека, недавнего посланника при дворе одной из великих держав, какой тогда была Голландия, почти что одного из "верховных господ".

Что терпели в глухой провинции, можно судить по жалобе вятского камерира на тамошнего "солдата" Нетесева. Этот Нетесев, рассказывает камерир, "приходит в канцелярию пьяный не в указанные часы... ночью во втором и в третьем часах и караульных капралов и часовых солдат бьет палкою, а нам, не объявляя вины и без всякой причины, держит нас под арестом по часту, а другим временем и скованных и, забрав вятских обывателей, как посадских, так и уездных лучших людей, которые бывали в прошлых годех у таможенных и питейных сборов бурмистрами, головами и ларешными, держит под земскою конторою за караулом и скованных, где преж сего держаны были тоже и разбойники, и берет взятки". "Этот солдат, - прибавляет исследователь, у которого мы заимствуем эти рассказы, - доходил до какого-то опьянения властью, которое, кажется, совпадало у него с опьянением водкой. Многократно говорил похвальные речи, что де он, "пришед в канцелярию, камерира и его секретаря, сковав, замучит в железах до смерти; а если де они в железа сами не скуются, и теми железами будет их бить и головы испроломает". Жену секретаря он грозился шпагою изрубить на мелкие части и исполнить это свое намерение поклялся, приложившись к образу Спасителя при свидетелях"*.

** Богословский М. Областная реформа Петра Великого, М, 1902, с. 311 - 321.*

Буржуазное сверху, петровское общество продолжало оставаться военным в своей сердцевине. Упоминание о "солдатах" может внушить читателю иллюзию, будто речь идет о чем-то новом, о какой-то военной демократии. Ничуть не бывало: "князья и простые дворяне" составляли ядро петровской гвардии. Этот факт сразу бросался в глаза иностранным наблюдателям, и они старались по-своему его объяснить. "Он ласков со всеми, - говорит французский дипломат Кампредон, - а преимущественно с солдатами, большую часть которых составляют дети князей и бояр, служащие ему как бы залогом верности своих отцов". Дворянство уже при Петре, таким образом, начало вырабатывать себе тот центральный орган, который помог ему захватить снова власть в свои руки в течение следующих царствований. Тонкая буржуазная оболочка так же мало изменила дворянскую природу Московского государства, как немецкий кафтан природу московского человека. Когда Петр умер, между дворянством и властью стояла только лишенная социальной опоры в массах группа "верховных господ" - штаб без армии, потому что новой буржуазной армии она не смогла себе создать, а

старое служилое сословие в Преображенском мундире только и ждало удобной минуты, чтобы "головы разбить боярам"...

Агония буржуазной политики

Итоги петровской политики: разорение крестьянства - Состояние войска и флота - Персидский поход: его экономическое значение, его неудача - Настроение накануне смерти Петра - Обстоятельства его смерти - Русский престол становится избирательным - Как в действительности происходили выборы: Екатерина I и гвардия - Характер царствования Екатерины: нарастание оппозиции - Верховный тайный совет: его происхождение - Его политическое значение - Оппозиция генералитета: Верховный совет и Сенат - Буржуазная политика Верховного тайного совета - "Вольность коммерции", отмена торговых привилегий Петербурга - Влияние Меншикова и дворянства: меры относительно подушной подати - Облегчение дворянской службы - Значение падения Меншикова; "верховники" и Петр II - Экономическая политика Д.М. Голицына - Отношение к ней дворянства: немецкий погром 1729 года - Смерть Петра II и кризис 1730 года; императорские кандидатуры - "Пункты" и их действительное значение - Отношение к ним гвардии - Конституционные проекты "верховников" и генералитета - Пассивное поведение шляхетской массы - Анна и гвардия - Победа генералитета и "восстановление самодержавия"

Служебной силе удалось сделаться силой политической очень скоро. Петр не успел моргнуть, как гвардия была уже хозяйкой положения, и не только в императорском дворце. Без ее согласия нельзя было занять русского престола. Гвардейцы пропускали на место "своего полковника" только того, кого они хотели.

Набег торгового капитализма на Россию обошелся ей очень дорого, и не только в смысле затрат людьми и деньгами. Без таких затрат не обходится никогда "активная политика", и в этом специальном отношении Россия в 1725 году ничем существенно не отличалась от Франции - в момент смерти Людовика XIV, от Пруссии - по окончании Семилетней войны, или даже от Англии - при конце ее борьбы с Наполеоном. Население было разорено и разбегалось, притом с довольно давнего уже времени. Уже к 1710 году убыль населения, сравнительно с последней допетровской переписью составляла, по наблюдениям г. Милюкова, местами 40%. Как бы ни мало были надежны цифры тогдашней статистики (переписи 1710 года не доверяли уже современники), общее впечатление они дают достаточно определенное, особенно там, где их сопровождают словесные комментарии. Об Архангело-городской губернии официальный документ замечает, что "убылые дворы и в них люди явились для того: взяты в рекруты, в солдаты, в плотники, в С.-Петербург в работники, в переведенцы, в кузнецы". Из 5356 дворов, "убывших" в Пошехонье, от рекрутчины и казенных работ запустел 1551, а от побегов 1366*. Иностранцам казалось, что центральные области государства совершенно обезлюдели благодаря Северной войне, и хотя это мнение нуждается в такой же оговорке, как и утверждение тех же иностранцев, будто подмосковный суглинок принадлежит к "лучшим землям в Европе", в этом суммарном впечатлении не все

было фантазией. Один документ 1726 года, под которым стоят подписи "верховных господ", почти в полном составе без спора принимает к сведению такие "резоны" неплательщиков подушной подати: "Что де после переписи многие крестьяне, которые могли работою своею доставать деньги, померли и в рекруты взяты и разбежались... а которые ныне работою могут получать деньги на государственную подать, таких осталось малое число". Не спорили "верховные господа" и против ссылок на упадок крестьянского хозяйства. "К тому же де уже несколько лет хлебные недороды, и во многих местах крестьяне зело мало сеют хлеба, а которые и сеют, и те на государственные подати принуждены бывают и в земле хлеб продавать, и от того ищут случая бежать в дальние места, где бы их сыскать было невозможно". Но уже в этой второй цитате мы имеем объяснение крестьянского разорения не от политических причин, и по понятным соображениям казенная бумага молчит о причинах социальных, которые, однако, хорошо были видны иностранцам, отводившим в деле опустошения Центральной России "жестокому обращению господ" одинаковое место с Северной войной. Банкротство петровской системы заключалось не в том, что "ценою разорения страны Россия была возведена в ранг европейской державы", а в том, что, несмотря на разорение страны, и эта цель не была достигнута. Иностранцы, состоявшие на русской службе, оценивали могущество петровской империи далеко не так высоко, как иностранцы, смотревшие издали, и как позднейшие историки. Миних в интимном разговоре с прусским посланником Мардефельдом не скрывал от него, что русские войска находятся в весьма плачевном состоянии: офицеры никуда не годятся, между солдатами много необученных рекрут, кавалерийских лошадей вовсе нет - словом, появись вторично противник вроде Карла XII, он с 25 000 человек мог бы справиться со всей "московитской" армией. А это говорилось всего через два года после так блестяще отпразднованного Ништадтского мира! Не лучше был флот, в котором куда-нибудь годились только галеры - очень практичные для мелкой войны в финских шхерах, но не для открытого моря. Корабли строились, для скорости, из сырого леса и чрезвычайно быстро гнили в пресных водах Кронштадтской гавани. Это была одна из главных причин попытки Петра перенести стоянку своего флота в Рогервик (позже Балтийский порт, около Ревеля), расположенный вблизи открытого моря, где вода была соленая. Но петровские инженеры не умели справиться с крупной волной, и каждая сильная буря, разметав все построенное ими, возвращала дело к исходной точке, так что постройка Рогервика стала синонимом египетской работы. Личный состав флота был не лучше его материальной части. В своих гардемаринах, учившихся за границей, Петр скоро разочаровался, и в конце царствования за границу более уже не посылали. А о положении матросов хорошее представление дает донесение одного иностранного дипломата своему правительству, относящееся как раз ко времени великолепных маскарадов, которыми праздновалась победа над шведами. "В видах предупреждения беспорядков и охранения спокойствия количество стражи в здешней резиденции удвоено. Мне говорили, что причина множества предосторожностей, принимаемых по этому случаю, заключается в том, что весьма значительное число матросов, которым не заплачено жалованье, несмотря на отданное царем перед отъездом приказание расплатиться с ними, не имея куска

хлеба, составили заговор: собраться толпою и грабить дома жителей здешней резиденции".

---

* *Милюков. Государственное хозяйство, с. 247 - 249.*

А в то же время Россия была накануне новой войны. Тот же торговый капитализм, который заставил Петра биться двадцать лет за Балтийское море, теперь гнал его на Каспийское. Ништадтский мир еще не был заключен, а у Петра была уже готова новая подробная карта этого моря, за которую Французская академия избрала царя своим членом. Составившие карту офицеры привезли, по словам иностранных дипломатов, важное известие, что те места, где главным образом сосредоточено производство шелка, находятся около самой границы царских владений. "Здесь все льстят себя надеждой, что, так как у персиян нет ни одного морского судна, можно будет большую часть шелковой торговли привлечь сюда и извлекать из этого большой доход", - писал прусскому королю его посланник. Открыл эту "Америку" только прусский дипломат: при русском дворе не могли, конечно, забыть "величайшей торговли в Европе", на которую в XVII веке было столько охотников. Персидский поход Петра был необходимым дополнением к насаждавшимся им шелковым мануфактурам. Год спустя об этом говорили уже вполне определенно. "Царь хочет иметь для безопасности своей торговли порт и крепость по ту сторону Каспийского моря и желает, чтобы шелки, которые посылались обыкновенно в Европу через Смирну, шли отныне на Астрахань и Петербург", - писал весной 1722 года другой дипломат, который скоро потом услыхал подобное же объяснение из уст самого Петра, только царь говорил, разумеется, не о захвате шелковой торговли русскими, а о "свободе" этой торговли. Едва кончились военные действия против шведов, как участвовавшие в них войска начали стягиваться к Москве, а оттуда далее - к берегам Дона и Волги. На этой последней быстро вырос военный и транспортный флот, для которого 5000 матросов было перевезено из Кронштадта через Москву в Нижний. В предлоге для войны, как водится, не оказалось недостатка. В Шемахе ограбили царских гостей не то на пятьдесят тысяч, не то на пятьсот, позже говорили уже о трех миллионах. Притом царский гость был так близок к правительственному чиновнику, что нельзя было не усмотреть здесь прямого неуважения к достоинству русского государя. Правда, ограбившие были мятежниками и против своего государя, персидского шаха, но тем меньше должен был сердиться последний на подавление русских войск в его владениях. Для него же, в конце концов, восстановляли порядок - он должен был это оценить, и при русском дворе надеялись даже, что шах, может быть, даром, из одной благодарности, предоставит шелковую монополию России. Все эти радужные надежды, однако, скоро должны были поблекнуть. Если не само персидское правительство (в это время было и нелегко его найти, так как за шахский престол боролось несколько претендентов), то его вассалы на берегах Каспийского моря в союзе с горцами Дагестана оказали русским отчаянное сопротивление. Каспийский флот вышел не лучше Балтийского и по большей части погиб от бурь. Бороться с климатом оказалось еще труднее, чем с бурями и неприятелем, болезни и конский падеж свирепствовали в русском лагере, и, отправившись в поход весною 1722 года, в январе следующего Петр уже

возвращался в Москву, оставив на месте своих, весьма скромных, завоеваний "15 000 лошадей, более 4000 человек регулярного войска, не считая гораздо большего числа казаков, и миллиона рублей"*. Но непосредственные потери были еще ничто сравнительно с тем, что грозило в будущем. Конкурентка России в области шелковой торговли Турция поняла каспийскую экспедицию Петра как прямую угрозу себе: одна война тянула за собой другую, и притом несравненно более опасную. Прутского похода не могли забыть ни царь, ни его министры; ожидание турецкой войны отравило последние месяцы жизни Петра, а когда он умер, начавшие править от его имени "верховные господа" не могли говорить о ней без тоски и скорби. Персидские завоевания представляли собою одну из самых неприятных частей Петрова наследства, от которой не знали, как избавиться, и не чаяли, чтобы это когда-нибудь удалось. "Войско, которое наряжено регулярное, надлежит в Персию послать, - меланхолически писал год спустя после смерти "преобразователя" его канцлер граф Головкин, - для того, что авось либо они могут что будущим летом какие прогрессы учинить, и увидя то и силу нашу турки и персиане инаково с нами поступать станут". Но другой из "верховных господ", Толстой, находил, что "регулярных врйск прибавить туда сверх определенного числа не токмо трудно, но кажется и невозможно", и всю надежду возлагал на какого-то "грузинского принца", о котором "просят тамошние армяне"... "Когда принц грузинский в те страны прибудет, то может быть тамошних христиан к нему не малое число соберутся, понеже его там любят", - мечтал Толстой, выдавая этим "может быть" всю глубину отчаяния русской дипломатии. Персидский поход не был такой позорной неудачей, как прутский, но это было, во всяком случае, лопнувшее предприятие, и его жалкие результаты не в меньшей степени объясняют нам настроение Петра в последний год его жизни, чем та пустота, в которой почувствовал себя император после бесплодной борьбы с "растаскивавшими" Россию верховниками. Быть может, даже, что и эта пустота стала ему заметной благодаря внешней неудаче, когда уже и триумфальными шествиями нельзя было закрасить дела и уверить себя, что все идет, как следует. "Могу, как мне кажется, уверить В.В., - писал Кампредон Людовику XV в апреле 1723 года, - что как бы русские ни храбрились и с какой бы твердостью ни пускали пыль в глаза, они не в силах выдержать войну против турок ни со стороны Персии, ни со стороны Азова. Русские финансы плохи, и голод дает себя чувствовать весьма сильно. Кавалерия без лошадей, ибо они погибли все в последнюю кампанию, а войскам за 17 месяцев не плачено жалованье, чего в прошлую войну не случалось ни разу". Невероятный, на первый взгляд, факт неплатежа жалованья войску вполне подтверждается и русскими документами: 13 февраля 1724 года сенат доносил государю, что "многие офицеры, а паче иноземцы, а также и русские беспоместные и малопоместные от невыдачи им на прошлый год жалованья пришли в такую скудость, что и экипаж свой проели". К концу царствования даже те, из-за кого голодала вся страна, были сами голодны... На склонных к пессимизму людей, каким был, например, саксонский посланник Лефорт, Петр производил в это время впечатление человека, который на все махнул рукою и запил с горя. "Я не могу понять положения этого государства, - писал Лефорт за шесть месяцев до смерти императора, - царь шестой день не выходит из комнаты и очень нездоров от кутежа, происходившего по случаю закладки церкви, которую окрестили 3000 бутылок вина... Уж близко

маскарады, и здесь ни о чем другом не говорят, как об удовольствиях, тогда как народ плачет... Не платят ни войскам, ни флоту, ни коллегиям, ни кому бы то ни было; все ужасно ропщут"**.

** Кампредон. Сборник Русского исторического общества, т. 49, с. 281.*
*** Кампредон. Сборник Русского исторического общества, т. 49, с. 382.*

Смерть преобразователя была достойным финалом этого пира во время чумы. Петр умер, как известно, от последствий сифилиса, полученного им, по всей вероятности, в Голландии и плохо вылеченного тогдашними врачами. При гомерическом пьянстве петровского двора и лучшие врачи, впрочем, едва ли сумели бы помочь. Смерть пришла совершенно неожиданно для царя, хотя посторонние наблюдатели давно уже готовились к катастрофе, и настроение, которое он при этом обнаружил, весьма способно поколебать легенду о "железных людях". "В течение болезни он сильно упал духом, страшно боялся смерти (le tout crainte de la mort), но в то же время выказывал искреннее раскаяние, - пишет в своей подробной реляции о последних днях Петра французский посланник. - По его нарочитому повелению освободили всех заключенных за долги, большую часть коих он приказал выплатить из своих личных средств. Прочих заключенных и всех каторжников, кроме убийц и государственных преступников (!), он также приказал освободить; повелел молиться о себе во всех церквах различных религий и причащался три раза в течение одной недели". Он хворал достаточно долго, чтобы успеть составить завещание, которое логически вытекало из им же изданного закона о престолонаследии. Но боязнь смерти была так велика, что у него не хватало духу за это взяться, а у окружающих - напомнить ему об этом. Спохватились, когда Петр был уже почти в агонии, но в каракулях, выведенных дрожащей рукой, смогли разобрать только два слова: "Отдайте все...". Кому - осталось неизвестным. Согласно комментировавшей закон о престолонаследии "Правде воли монаршей" Феофана Прокоповича, "народ" должен был теперь "угадывать" волю умершего государя. Проще говоря, на другой же день после смерти первого императора российский престол стал избирательным. Ни в теории, ни на практике тут не было так много нового, как может показаться нам. Первые цари дома Романовых обыкновенно "обирались" на царство Земским собором - по крайней мере, формальность избрания была соблюдена и при восшествии на престол Петра. Когда "св. синод и высокоправительствующий сенат и генералитет согласно приказали" русскому народу повиноваться вдове умершего, императрице Екатерине Алексеевне, это была не столько новая форма, сколько просто новые слова для обозначения собрания, в сущности, такого же состава, как и выбиравшее в 1682 году самого Петра, которое состояло из "освященного собора", "боярской думы" да "московских чинов". Новизна заключалась в том, что раньше, начиная с Алексея, избрание было, действительно, только формой, потому что наследник всем был известен и находился налицо; теперь же, хотя в наследнике тоже не было недостатка, в обход его избрали лицо, никаких прав на престол не имевшее.

И выбрали притом не те, кто мог это сделать по традиции, и от чьего лица был написан цитированный нами манифест, а опять-таки люди, формальным правом выбора не располагавшие. "Сенат, синод и генералитет", писали под диктовку

гвардии, которая в этот момент всеобщего недовольства являлась самой недовольной и наиболее опасной силой.

Иностранные дипломаты весьма согласно в главных чертах передают события, происходившие во дворце в ночь с 27 на 28 января 1725 года*. Когда гвардейские офицеры простились со своим полковником, уже терявшим сознание, старшие из них - согласно одним известиям, по собственному почину; согласно другой версии, предводимые рейхс-маршалом князем Меншиковым, - направились к Екатерине и "принесли" ей "присягу в верности". Что это не была верноподданническая присяга, ясно из того, что Петр был еще жив в ту минуту: "присяга", очевидно, заключалась в обещании гвардейцев не выдавать свою полковницу. Заручившись таким обещанием, последняя, как сейчас же обнаружилось, поступила вполне целесообразно, ибо даже после немедленно, конечно, огласившегося в придворной среде визита преображенцев к Екатерине находились смелые люди, утверждавшие, что законным наследником является сын казненного царевича Алексея** и внук первого императора, будущий Петр II, и между этими людьми было большинство "верховных господ". Только Меншиков, Толстой и генерал-адмирал Апраксин были решительно против этой кандидатуры, и если позицию Толстого легко объяснить его мрачной ролью в деле Алексея Петровича, то поведение главы сухопутной армии и главного начальника русского флота едва ли можно свести только к личным мотивам. Их толкало в определенном направлении общественное мнение тех групп, во главе которых они стояли. Чего ждала от Екатерины армия, совершенно ясно становится, как скоро мы узнаем обещания, данные ею в обмен на "присягу в верности" гвардейцев. "Императрица объявила с самого начала, что жалованье им заплатит из собственной казны". Мало того, она "имела предусмотрительность заранее послать в крепость деньги для уплаты жалованья гарнизону, который не получал его уже шестнадцать месяцев, подобно прочим войскам... Чтобы еще более расположить их к себе, царица распорядилась раздачею всем полкам денег не в счет жалованья, солдатам же, занятым на различных работах, приказано было прекратить работы и отправиться к местам своей стоянки, будто бы молиться Богу за государя"***.

** Сходство донесений прусского посланника Мардефельда и французского Кампредона так велико, что в их основе лежит, очевидно, один рассказ.*

*** Что Алексей был казнен тайно в каземате - это теперь, после опубликования рассказа Румянцева, бывшего одним из палачей, можно считать установленным вне спора. См.: Русская старина, 1905.*

**** Кампредон. Сборник Русского исторического общества, т. 52, с. 441 и др.*

Ловкость, с которой повела себя Екатерина на этом своеобразном аукционе, в первую минуту привела в необыкновенный восторг иностранных наблюдателей и внушила им чрезвычайно преувеличенное представление о способностях новой государыни. Ее "по всей справедливости можно назвать северной Семирамидой и изумительным примером дивного счастья, - писал по поводу события 28 января Кампредон. - Без знатного происхождения, без всякой поддержки, кроме личных своих достоинств, не умея даже ни читать, ни писать, она в течение долгих лет пользовалась любовью и доверием величайшего монарха, человека, наименее из

всех смертных поддававшегося чьему-либо прочному влиянию, а после его смерти сумела сделаться самодержавной государыней, к общему восторгу всех и без малейшей тени, по крайней мере, до сих пор - чьего-либо противодействия ее счастью". Противодействовать было бы очень рискованно, когда князь Меншиков прямо угрожал убить всякого, кто осмелится противиться провозглашению Екатерины царствующей императрицей, и "то же самое говорили и гвардейские офицеры, с намерением помещенные в углу дворцовой залы", где совещались синод, сенат и генералитет. Личная же роль государыни и самим восторгавшимся стала казаться менее значительной, когда они присмотрелись к ее управлению поближе. Из всех функций Петра его вдове всего больше подошли, как это ни странно, полковничьи. Тут она старалась заменить покойного императора с чрезвычайной энергией и не без успеха. Когда ее дочь Анна Петровна венчалась с герцогом голштинским (помолвлены они были еще при жизни Петра), Екатерина не была на свадьбе по случаю траура, но и траур не помешал ей явиться на военную часть торжества. Она пешком обошла ряды гвардейцев, выстроенных, по обыкновению, на Царицыном лугу, пила, конечно, водку за их здоровье и раздавала им жареную говядину. Солдаты "приветствовали ее восторженными кликами, бросая шапки вверх". И подобных военных сцен мы встретим не одну у современников. Но мало-помалу последние начали находить, что этой стороной своей задачи императрица увлекается чересчур. Уже спустя полгода после воцарения Екатерины так восторгавшийся ею Кампредон начал находить, что "и уважение, и преимущества, заслуженные ее великими дарованиями", императрица может утратить благодаря своим "развлечениям". Развлечения эти заключаются в почти ежедневных, продолжающихся всю ночь и добрую часть дня попойках в саду с лицами, которые, по обязанностям службы, должны всегда находиться при дворе. Екатерина редко ложилась ранее 4 часов утра, и состояние хронического винного угара, в котором она находилась, исключало всякую возможность с ее стороны занятия "государственными делами". Деловые иностранцы, которым приходилось наблюдать близко Петра во время его заграничных поездок, и насчет работоспособности самого преобразователя в этой области были невысокого мнения. Приставленный к Петру во время его путешествия в Париж французский чиновник никак не мог понять, когда же русский царь занимается политикой, и пришел, наконец, к заключению, что политические вопросы разрешаются у русских, вероятно, во время обеда, за бутылкой вина. В сущности, эти дела решались "верховными господами" совершенно самостоятельно. Петр, если дело не касалось армии и флота, вмешивался в них лишь спорадически, плавным образом, в те минуты, когда машина уже очень начинала скрипеть и, видимо, грозила вовсе остановиться. От Екатерины ждать даже такого спорадического вмешательства было бы бессмыслицей. Необходимость фактического государя рядом с номинальным сознавалась знающими императрицу людьми, по-видимому, уже в сам момент ее воцарения: уже тогда шли какие-то глухие разговоры о каком-то "особенном совете, облеченном некоторою властью", который помешал бы Екатерине быть "вполне самодержавной". В ту минуту, однако, за нею стояли армия и флот, Меншиков и Апраксин - разговоры о "совете" не были никем энергично поддержаны. Но самодержавие Петра дало слишком отрицательные результаты, чтобы с простым продолжением его легко мирились, особенно, когда

официальный его носитель явно неспособен был поддерживать даже внешний декорум. Оппозиции, и вовсе не во имя возврата к старине, как обыкновенно себе представляют, а напротив, во имя "европеизации" и политических форм, она слабо тлевшая при Петре, в царствование Екатерины I вспыхнула довольно ярким пламенем. Если при жизни преобразователя дело не шло дальше дерзких речей, вроде заявления одного флотского капитана, что царь, собственно, не имеет права распоряжаться, не спросясь Земского собора, его преемнице пришлось иметь дело гораздо больше чем с простыми разговорами. Во время военных салютов, на которые в присутствии императрицы были так же щедры, как и при покойном императоре, начали свистеть пули, "нечаянно" вложенные в ружья, падали раненые и убитые, притом, как на грех, в двух шагах от Екатерины. В застенках постоянно кого-нибудь пытали - то гвардейских солдат, то каких-то "двух знатных дам, привезенных из Москвы в кандалах", то брата гувернера великого князя. Ромодановский, сын князя-кесаря, унаследовавший от отца должность начальника тайной политической полиции, рассказывал своим приятелям, что он более не в состоянии выносить ужасов, которые ему приходится видеть. Нельзя было безусловно положиться даже на свою главную опору - войско. Помимо отдельных офицеров и солдат, под подозрение подпали целые армии вроде малороссийской, командир которой, очень популярный среди своих подчиненных князь Михаил Михайлович Голицын, считался одним из самых ненадежных. В феврале 1726 года пришлось переменить гарнизон в Петропавловской крепости. Надо было примирить с собой хотя бы часть недовольных и постараться ослабить недовольство другой части. В такой обстановке возникает учреждение, значение которого до сих пор мало понятно русским историкам, хотя современники поняли его отлично и сразу - Верховный тайный совет.

Судьба Верховного тайного совета в нашей историографии лишний раз показывает, как рискованно перенесение новейших правовых норм на отношения, весьма далекие от буржуазного государства XIX - XX веков. Споря о "юридической природе" этого странного учреждения, созданного номинально для того, чтобы развязать руки носительнице верховной власти, а фактически связавшего эту носительницу по рукам и по ногам, наши исследователи чрезвычайно мало интересовались его политическим и социальным смыслом. В результате, принято говорить о "попытке ограничить самодержавие в 1730 году", тогда как оно было уже ограничено в феврале 1726-го, о "верховниках", как о некотором новом явлении, свойственном царствованиям Екатерины I и Петра II, тогда как в действительности членами Верховного совета стали именно те, кто управлял государством при Петре I. Смотревшие со стороны иностранцы, по обыкновению, видели лучше, чем позднейшие туземные историки. Неоднократно цитированный нами Кампредон очень определенно намечает и те мотивы, которые сознательно клались в основу возникавшего учреждения его организаторами, и то объективное значение, которое это учреждение должно было получить независимо от чьих бы то ни было мотивов. Самодержавие гвардии, олицетворяемой Меншиковым, начало, наконец, надоедать наверху так же сильно, как вызывало оно брожение внизу. Сама гвардия должна была остаться весьма мало удовлетворенной меншиковским режимом. Из одного документа, относящегося к марту 1726 года, мы узнаем, что еще тогда, год с лишним спустя после вступления

на престол Екатерины, гвардия не получила "хлебной дачи" даже за последнюю треть 1724 года, "отчего те полки (Преображенский и Семеновский) претерпевают нужду". Для того чтобы достигнуть такого результата, не стоило "головы разбивать боярам", как с готовностью предлагали гвардейские офицеры в ночь с 27 на 28 января 1725 года. Но и та, в чье удовольствие делалось это предложение насчет боярских голов, должна была чувствовать себя удовлетворенной не более гвардейцев. Рассматривая политику с семейной точки зрения, Екатерина очень близко принимала к сердцу голштинские интересы своего зятя. Она находила вполне естественным если не начать войну, то, по крайней мере, угрожать войной Дании за некорректность этой последней к ее маленькому голштинскому соседу. А герцог-зять, конечно, как нельзя более был бы рад получить в свое полное распоряжение, в придачу к очень умеренному количеству голштинских штыков, совершенно неумеренное количество русских. Но со стороны Меншикова, к его на этот раз чести, не видно было никакого сочувствия к подобным проектам. Наконец, прочие "верховные господа", как мы видели, с самого начала были не только против Меншикова с Толстым и Апраксиным, но и против самой Екатерины. Мало-помалу они должны были, однако же, убедиться в относительной безобидности последней. Помимо того, что ей "некогда" было вмешиваться в государственные дела, все более и более очевидно становилось, что ее царствование не может быть продолжительно. По распространенному в тогдашних придворных и дипломатических кругах мнению, болезнь Петра была передана и императрице. При отсутствии всякого подобия профилактики в то время это вполне правдоподобно: от Петра случалось заражаться и его денщикам. "Получаемые со всех сторон известия утверждают положительно, что царица жить не может, ибо кровь у нее совершенно заражена", - писал французский министр иностранных дел своему агенту в Петербурге слишком за полгода до смерти Екатерины. При дворе этой последней дело, конечно, должны были знать еще лучше, чем в Версале, - то, что не удалось 28 января, оказывалось только отложенным, а отнюдь не потерянным. Нужно было готовиться к новому бою на том же поле и заранее укрепить свои позиции. Когда герцог голштинский выдвинул в своих личных расчетах проект ограничения власти, фактически, Меншикова, Головкин и Голицын пошли на это с полной готовностью, справедливо рассуждая, что пустивший глубокие корни в русскую почву Алексашка бесконечно опаснее маленького и недалекого немецкого принца, которого ничего не стоило и прогнать, когда он будет использован. Так именно и изображает дело упоминавшийся нами иностранный дипломат: хлопоты "герцога голштинского и его министра" он ставит как исходную точку описываемого им "важного события", а "усиление власти русских вельмож" ему кажется неизбежным дальнейшим его последствием. Он заканчивает свою реляцию о новом учреждении такими словами: "Легко, впрочем, видеть, что он (совет) представляет собою первый шаг к перемене формы правления; что московиты хотят его сделать менее деспотическим, нежели оно было, и что многих удержало только малолетство великого князя, - что заставляло их, за отсутствием главы, способного их поддержать, взять всю ответственность за события на себя. Теперь, когда наступит благоприятный случай, они этому риску не подвергнутся более, так как постараются, без сомнения, утвердить свое влияние и незаметно ограничить

самодержавную власть, заставляя ее жаловать такие привилегии, которые создадут возможность учредить и поддержать правление, подобное английскому".

Ссылка на "наиболее разумных людей", которые держатся того же мнения, показывает, что Кампредон не столько сам до него додумался, сколько был на него наведен разговорами самих русских "вельмож". "Пункты", предъявленные императрице Анне в 1730 году, уже определенно предчувствовались в феврале 1726-го. Известное "мнение не в указ", дающее конституцию Верховного тайного совета, ставит дело, в сущности, более обще и просто, нежели эти знаменитые "пункты". Вместо того чтобы перечислить казусы, в которых императрица не может действовать самостоятельно, "мнение" дает положение, обобщающее все возможные случаи: "Никаким указам прежде не выходить, пока оные в Тайном совете совершенно не состоялись". Екатерине, т.е. герцогу голштинскому, это, однако же, показалось слишком сильно. Зависеть от русского большинства совета он не пожелал, и обязательное согласие всего совета на распоряжения государыни было заменено обязательным контрасигнованием императорских указов одним или, в важных случаях, двумя его членами. Найти себе компаньона герцог, очевидно, считал более легким делом, нежели переубедить всех "верховников". Но им удалось одержать все же принципиальную победу и в этом пункте. Указы должны были выходить с формулой: "Дан в Нашем Верховном тайном совете", равно как и всякого рода "рапорты, доношения или представления" должны были надписываться: "к поданию в Верховном тайном совете". В глазах подданных власть, таким образом, была уже заключена в весьма прочный футляр, и общество должно было мало-помалу привыкнуть к тому, что государь не управляет непосредственно, и что его распоряжение имеет силу только тогда, когда оно облечено в известную конституционную форму.

С самого начала, однако же, было совершенно ясно, что эта форма сама по себе никого удовлетворить не может, и что те, кого Ромодановскому приходилось пытать в застенках, всего меньше могли помириться на формальном равенстве между "верховными господами". Меншиков потому, кажется, и согласился без большого спора на образование совета, что гораздо больше ценил сущность власти, нежели ее парадные атрибуты. В качестве отступного он потребовал себе полной автономии у себя дома - в военной коллегии, где раньше ему докучал сенат своими попытками ревизии и контроля. Но именно потому, что дело не очень менялось сравнительно с предшествующей эпохой, такой перемены обществу было мало. Чтобы приучить его к аристократической конституции на английский лад, нужно было доказать ее практическую пользу. Иначе ее "английская" форма могла только ее скомпрометировать. Что совету придется отстаивать свое существование, это "верховники"* должны были почувствовать с первого же, можно сказать, дня. 9 февраля совет официально возник, и об этом был послан указ в сенат. Сенат указа не принял и через своего экзекутора в самой обидной форме "подбросил" его, что называется, в канцелярию нового учреждения. Это был один из тех моментов, когда даже в сухой канцелярской переписке чувствуется трепет драмы, если угодно, впрочем, скорее комедии, ибо момент, когда секретарь совета, действительный статский советник Степанов, всовывал указ за пазуху сенатскому экзекутору, несомненно принадлежит к этому последнему жанру. Ближайшая к верховникам по своему официальному положению общественная группа,

петровский "генералитет", явно не желал признавать "английской" конституции, делавшей несколько человек, еще вчера сидевших в ее среде, ее господами. К сенату были применены крутые меры: он был лишен титула "правительствующего" и остался только "высоким", что гораздо важнее и характернее, сенат был лишен самостоятельной военной силы под предлогом экономии (это был тогда универсальный предлог), была упразднена "сенатская рота", а при сенате оставлено 10 человек курьеров. Наконец, совершенно "по-английски", назначили ряд новых сенаторов, как в Англии назначают новых пэров для укрощения непослушной верхней палаты, притом совершенно не стесняясь чинами, "ранга генерал-майора и ниже действительных тайных советников двема рангами", так что посланный на ревизию сенатор, действительный тайный советник Матвеев, не знал, как ему, не унижая себя, рапортовать столь демократизованному учреждению. В официальной переписке сенат мало-помалу был сравнен с "прочими коллегиями", и за какую-нибудь неисправность у сенаторов удерживали жалованье, точно у мелкой канцелярской сошки. Словом, совет отвел душу в полное свое удовольствие. Но столкновение с сенатом было только симптомом общего положения. Ни "верховники", ни "генералитет" не представляли непосредственно никакого общественного класса: значение Верховного тайного совета и его судьба станут нам ясны, только когда мы вскроем классовую подкладку его политики. Тогда мы увидим, что режим "верховников" был финалом петровской реформы. В управление Россией Дмитрия Голицына - ибо фактически он был главой Тайного совета в двухлетний промежуток между ссылкой Меншикова и смертью Петра II - волна буржуазной политики дала свой последний всплеск. С момента падения верховников начинается ничем уже непрерываемый отлив, и своими конституционными проектами Голицын сам засвидетельствовал падение той системы, которой ему суждено было стать последним представителем.

** Членами совета были назначены Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Дмитрий Голицын; к ним немного позже присоединился Остерман Герцог голштинский заменял Екатерину. Ягужинский, присутствовавший на первых заседаниях, скоро выбыл и сделался заклятым врагом верховников.*

О буржуазной политике Верховного тайного совета можно говорить, начиная еще с меншиковского периода его существования. Уже 20 декабря 1726 года по представлению Меншикова, Остермана и Макарова решено было организовать комиссию, "которой рассмотреть генерально все купечество Государства российского, каким образом оное к пользе государственной лучше и порядочнее исправлено быть может". А в виде задатка к великим и богатым милостям, которые имели место излиться на купечество от этой комиссии, императрица, по докладу тех же лиц, "указать соизволила: для распространения купечества к городу Архангельскому с будущего 1727 году торговать всем позволить невозбранно". Мера была подробно мотивирована в "мнении", поданном в сенат камер- и коммерц-коллегиями и главным магистратом. Это "мнение"* - один из самых толковых документов русского меркантилизма начала XVIII века. В нем весьма обстоятельно доказывается, что петровская дубина в области экономики ни к чему, кроме лишних непроизводительных расходов, не приводила и, стало быть, ничем,

кроме задержки в накоплении капиталов, не служила. "Коммерции надлежит быть во всякой вольности; которые купцы к которому порту и за рубеж торговать имеют способность, в том им запрещать не надлежит": кому выгодно возить в Петербург, тот и впредь свои товары туда повезет, и если уж можно создать в пользу столицы какое-нибудь искусственное преимущество, то разве понизив тамошние вывозные пошлины сравнительно с "городом" (как весьма характерно именуется в документе Архангельск - для допетровской буржуазии город по преимуществу). Запрещать же возить товары в "город", как это делал Петр, есть сущая нелепость. Официальный документ, само собою разумеется, не выражается так определенно, но мысль его именно эта. Стоит отметить одну его деталь: в числе товаров, которые войдут в Архангельск, "мнение" имеет в виду и хлеб. "За такой отпускной хлеб из чужих краев входил великой капитал в Российское государство от самой крестьянской работы", с запрещением хлебного вывоза Петром, этого "капитала" лишились "крестьяне, которые в поморских некоторых городах и на Вятке большею частью продавая хлеб подати оплачивали". Так рано появляется предчувствие аграрного капитализма, и притом - что всего характернее - в тех местах, где не было крепостного права. Превращаясь в фабрику для производства хлеба на вывоз, помещичьи имения второй половины XVIII века только шли по следам "черносошного", государственного крестьянства.

** Оно напечатано в сборнике русского исторического общества, т. 56, с. 545 - 549.*

Отмена привилегий Петербурга в деле заграничного отпуска была, едва ли это нужно прибавлять, с экономической точки зрения прогрессивной, а не реакционной мерой, тем более, что, как мы знаем, Петербург выдвинулся из-за военных, а отнюдь не коммерческих соображений. Для меншиковского режима характерно, что и в деле "увольнения коммерции" сыграли роль мотивы внешней политики: герцог голштинский был очень рад лишить своего датского противника зундских пошлин, а возможная война с Данией вообще ставила под вопрос балтийскую торговлю. Без этих привходящих условий мы едва ли бы имели повод говорить о буржуазных тенденциях верховников уже в этот период. Центр внимания меншиковской политики был совершенно в другом месте, и настоящую ее оценку мы получаем, лишь познакомившись с рядом мер Верховного совета, касавшихся подушной подати. Это финансовое нововведение Петра, как известно, отмечало собою не столько переворот в финансовой технике, сколько чрезвычайную интенсификацию податного гнета. То, что теперь подать раскладывали на души мужского пола, вместо дворов, как это было раньше, было бы очень характерно для петровского индивидуализма, если бы деньги и собирали с "души", если бы налог, другими словами, стал личным. Но этого вовсе не было: подать по-прежнему налагалась гуртом на целую деревню, а в ней разверстывалась по числу наличных хозяйств, и лишь размеры ее определялись количеством находившихся в этой деревне "ртов" мужского пола, не исключая дряхлых стариков и грудных младенцев. Такая манера счета упрощала дела до крайности: никаких споров, вроде происходивших раньше при подворной переписи - что считать двором, что нет - быть не могло; не могло быть спора и о числе работников, относительной силе

"тягол" и тому подобном, ибо платил всякий мужчина, был он работником или нет, безразлично. Психологического объяснения реформы приходится искать, таким образом, не в области буржуазного хозяйства, а среди того круга отношений, который к Петру был гораздо ближе, - в армии. Все мужское население страны было разделено на солдат служащих и солдат платящих, причем, по мысли Петра, вторые должны были непосредственно содержать первых. Для этого сбор подушных в каждой губернии был сосредоточен в руках военного начальства, от каждого полка в определенной местности действовала "команда" с офицером во главе, взыскивавшая подать с чисто военной быстротой и прямолинейностью. Эти военные особенности новой финансовой системы население почувствовало всего больнее. Когда Верховный тайный совет, под влиянием тех соображений, с образчиками которых читатель уже познакомился в начале этой главы, решил провести "облегчение крестьянства в платеже подушных денег", он начал с выведения из деревни военных сборщиков. "Которые штаб- и обер-офицеры и рядовые на вечных квартирах у сбору подушных денег и на экзекуциях у разных сборов, тем... ехать к своим командам немедленно", - говорит журнал Верховного совета от 1 февраля 1727 года. Официально сбор перешел из рук военного в руки штатского начальства: от "штаб- и обер-офицеров" к воеводам, которые при Петре утратили последние следы своего былого значения, сохранив лишь чисто этимологическую связь с военным делом. Но воевода не мог заменить военного сборщика, который ездил по провинции и непосредственно "правил" подушные с крестьян: в этом-то и заключались тягости прежней системы. В руках штатского начальства могло остаться лишь общее заведование делом: в чьи руки фактически перешли функции "штаб- и обер-офицеров", совершенно определенно говорит указ от 22 февраля того же года, резюмирующий все намеченные Верховным советом "милости". Пообещав, что особая комиссия, рассмотрев вопрос о подушной подати, уменьшит ее размеры, указ продолжает: "Как оная комиссия рассмотрит, почему с крестьян подати брать положено будет, тогда ту положенную на них подать сами помещики, а в небытность их прикащики и старосты и выборные платить принуждены будут". Одно из важнейших прав землевладельца, то право, которое так помогло ему закрепить за собой крестьян, став благодаря финансовой реформе Петра фикцией, вновь становилось реальностью. Помещик, на которого двадцать лет смотрели как на пушечное мясо, вновь становился "финансовым агентом правительства", как деликатно и изысканно выражается новейшая историография; правильнее было бы сказать: вновь становился государем в миниатюре, ибо за тем, как этот "агент" собирает подать со своих крестьян, никакого контроля и быть не могло, пока существовало крепостное право. Петру, разумеется, и в голову никогда не приходило обрезывать полномочия дворянства в этом отношении: теоретически власть дворянства на местах в его царствование даже увеличилась, как это мы увидим ниже. Но как мог бы осуществить эти теоретические права помещик, из-за "активной политики" служивший "без съезду" до полной дряхлости, многие годы не видя своих родных мест? Отставка при Петре допускалась только в случае полной неспособности продолжать службу. "Без съезду" служили все - от самого высшего до низшего. 70-летний старик фельдмаршал Б.П. Шереметев несколько раз просил государя отпустить его в Москву для устройства дел и не удостоивался даже ответа. Тогда он пишет жалобное письмо секретарю Петра Макарову:

"Просил я его царского величества о милосердии, чтоб меня пожаловал, отпустил в Москву в деревни мои для управления... крайняя моя нужда: сколько лет не знаю, что в домишке моем как поводится, и в деревнях; чтобы я мог осмотреть и управить: ежели еще Бог продлит веку моего, где жить до смерти моей и по мне жене моей и детям... А ежели бы мне ныне прямо итить в Питербурх, я не имею себе пристанища: хоромишки мои, которые были мазанки, и о тех пишут мне, что сели, жить в них никоими мерами нельзя... Покорно вас, моего государя, прошу: подай мне руку помощи, чтобы пожеланию моему его царское величество меня пожаловал". После долгих просьб Шереметеву разрешили, наконец, отпуск, но не в Москву, а в Петербург, где именно было "жить никоими мерами нельзя". Если так строго Петр держал генерал-фельдмаршала, легко себе представить, какова была служба простых нечиновных людей. Мало того, что служба была тяжела, - для тогдашнего дворянина, с его привычками, она казалась еще и унизительной. В московскую эпоху он являлся на службу с отрядом своих вооруженных холопов, которыми и командовал; если он подчинялся старшему командиру, то это всегда был свой брат-дворянин. Петровский устав запрещал производить в офицеры и давать команду тому, кто раньше не служил рядовым и "солдатского дела с фундаменту не знает". Вновь поверстанный в службу дворянин должен был тянуть лямку наравне со своими же крепостными, а иной раз попадал и под начальство к своему крепостному, за отличие произведенному в унтер-офицеры. Для того чтобы подняться выше, мало было одной службы - нужно было еще учиться. А неисполнение или плохое исполнение своих служебных обязанностей наказывалось самым строгим образом: петровские фразы о "жестоком истязании за неисправление" нужно понимать вполне буквально. В этом отношении особенно характерны записки одного служилого человека того времени Желябужского, настоящий мартиролог служилого сословия. Там мы на каждом шагу встречаем такие записи: в 1696 году полковник Мокшеев бит кнутом за то, что отпустил раскольника; в 1699-м Дивов и Колычев биты плетьми за то, что Колычев взял с Дивова 20 р. денег да бочку вина, чтоб Дивову не быть в Воронеже у корабельного дела. В 1704 году в Преображенском бит плетьми князь Алексей Барятинский за то, что приводил людей к смотру и утаил, а Родион Зерново-Вельяминов бит батогами за то, что не записался в срок. Неявка в службу наказывалась по закону 1714 года, конфискацией всего имущества, по закону 1722 года - "политической смертью". На лица не смотрели и взыскивали неукоснительно и за малое, и за крупное нарушение уставов. В том же 1704 году, по дневнику Желябужского, воевода Наумов "бит батогами нещадно за то, что у него борода и ус не выбриты".

Вот почему в тесной связи с "милостью" крестьянам, которой, может быть, крестьяне и не были более всех обрадованы, стоит обещание милости дворянам, без всякого сомнения оцененной ими по достоинству: "Когда конъюнктуры допустят, то две части офицеров и урядников и рядовых, которые из шляхетства, в домы отпускать, чтобы они деревни свои осмотреть и в надлежащий порядок привесть могли". Их должность в это время должны были исполнять иноземцы и беспоместные. Эту мысль (перевести военнослужилое дворянство на льготу) иностранные дипломаты совершенно определенно приписывают Мен-шикову. Главный начальник военной силы и тут, может быть, помимо своего сознания, являлся представителем интересов военного сословия.

Падение Меншикова было, таким образом, не совсем только придворным переворотом, мало интересным для историка. Закулисная история этого падения и до сих пор не очень ясна. Трудно понять перемену в отношениях к "рейхс-маршалу" гвардии, а в этой перемене вся суть дела: будь преображенцы на его стороне, он в полчаса покончил бы со своими новыми противниками, как покончил раньше с заговором Девьера. Тут приходится позавидовать историкам-индивидуалистам: для них то, что Меншиков "раздразнил" маленького Петра II несколькими бестактностями да "возбудил зависть вельмож" своим проектом породниться с царской династией, служит совершенно достаточным объяснением. Хорошо видно одно: что "Алексашка" был совершенно не в уровень с той задачей, какая выпала ему на долю, и не ему было тягаться на политической арене с Дмитрием Михайловичем Голицыным. Чрезвычайно типичный представитель "первоначального накопления", Меншиков соединял в своем лице властного феодала с крупным предпринимателем, и, кажется, второй часто брал верх. В документах того времени мы то и дело встречаем "светлейшего князя" то продающим смольчуг, то перечеканивающим в монету свое старое серебро, с огромной для себя выгодой; у него было несколько фабрик, он был откупщиком рыбной ловли на Белом море, в то же время он был окружен своего рода двором (бумаги, касающиеся его ссылки, упоминают о "неподлых", т.е. не крепостных, людях Меншикова) и имел своих собственных солдат, видимо, внушавших некоторые опасения тем, кто сослал князя. Но не видно, чтобы эти солдаты, или какие-нибудь солдаты и офицеры вообще, шевельнулись в пользу сосланного. Армия, кажется, слишком хорошо сознавала, что ее генералиссимус больше всего заботился о наполнении своего кармана. А так как среди его противников не было недостатка в популярных генералах, вроде М.М. Голицына или В.В. Долгорукого, то было довольно естественно, что военно-служилое шляхетство решило занять выжидательную позицию и посмотреть, что начнут делать "верховники", избавившись окончательно от фактического самодержца. Ибо с исчезновением Меншикова в России должна была установиться формальная олигархия: русский престол к этому времени был занят лишь номинально. Давно предсказывавшаяся смерть Екатерины I не очень заставила себя ждать; сменивший ее в мае 1727 года Петр Алексеевич, давниший, еще с 1725 года, кандидат большинства верховников, имел, по словам английского дипломата Рондо, одну господствующую страсть - охоту ("о некоторых других его страстях упоминать неудобно", прибавляет осторожный дипломат). Что этот тринадцатилетний мальчик, которому с виду можно было дать все восемнадцать, физически очень рано созрел, давало лишний способ управлять им - через женщин. На этом пути у верховников или их дочерей был только один конкурент - цесаревна Елизавета Петровна, из всех окружавших нравившаяся молоденькому императору (ее родному племяннику) всех больше. Но они скоро могли успокоиться: Елизавета того времени (ей самой было только что восемнадцать), не говоря о других страстях, преобладающую имела одну - страсть к нарядам. Политика была ей совершенно чужда, и в самый критический момент она не нашла ничего лучше, как отправиться к своей политической сопернице жаловаться на то, что придворный кухмистер не отпускает ее поварам перца и соли. Меншиков первый попытался приставить к Петру Алексеевичу жену, которая бы блюла интересы своей фамилии, но он взялся за это так грубо, а княжна

Меншикова была так мало интересна, что попытка совершенно не удалась и, кажется, даже ускорила катастрофу, от которой надеялись себя застраховать этим способом. Долгоруким почти удалось то, на чем оборвался Меншиков, и поперек дороги их планам стала уже чистая случайность: Петр умер от оспы накануне того дня, на который была назначена его свадьба с княжной Екатериной Долгорукой. На этом попытки верховников обеспечить себя "семейным" способом должны были прекратиться - пришлось перейти к более общественным способам действия. Тут успех всецело зависел от того, как отнесется к режиму Верховного тайного совета дворянское общество. А это отношение, в свой черед, определялось двухлетней практикой верховников за время номинального царствования Петра II.

Фактическим главою совета в это время был, как мы уже упоминали, князь Дмитрий Голицын, бывший киевский губернатор, позже президент камер-коллегии, один из виднейших "верховных господ" петровского времени. Современники считали его главою "старорусской партии"; новейшие исследователи, поправляя эту ошибку, стали подчеркивать образованность Дмитрия Михайловича на новый западный лад и его европейские знакомства. Что Голицын не был главою "старорусской партии", это, конечно, верно: такой партии вовсе не существовало. Но характерно, что он, один из ближайших помощников Петра, не любил иностранных языков, хотя и мог на них объясняться, и его знаменитая библиотека в селе Архангельском под Москвою была переполнена рукописными переводами европейских юристов и публицистов, сделанными специально для него. Характерно также и то, что в ту пору, когда он пользовался наибольшим влиянием, была сделана явная попытка перенести столицу обратно в Москву. Петр II тут прожил большую часть царствования и здесь умер. За это время сюда переехали все центральные учреждения и, между прочим, Монетный двор, что казалось иностранцам признаком особой прочности совершившейся перемены; под страхом строжайшего наказания запрещено было даже говорить об обратном переезде двора на берега Невы. Нельзя не видеть здесь дальнейшего поступательного шага той политики, которая вновь "отворила" для торговли Архангельск. То буржуазное течение, которое в Верховном совете представлял князь Голицын, теснее примыкало к меркантилизму допетровскому, чем петровскому, что, однако, вовсе не делало его реакционным: ибо после краха петровских предприятий, было слишком очевидно, что естественное развитие тех зачатков капитализма, какие существовали в XVII веке, дало бы больше, нежели все попытки вогнать русскую буржуазию дубиной в капиталистический рай. "Увольнение коммерции" сделалось лозунгом экономической политики Верховного совета в царствование Петра П. Ряд "фритредерских" мер начался указом от 26 мая 1727 года, отменившим крупнейшую из казенных монополий - соляную; изданный в том же году тариф понизил вдвое таможенную пошлину на целый ряд иностранных товаров. Но настоящий поток "буржуазного" законодательства начинается со ссылки Меншикова. С сентября 1727 года протоколы и журналы Верховного тайного совета приобретают чрезвычайно своеобразную окраску: можно подумать, что мы находимся в государстве, где торговля - душа всего, и где всем правят купцы и заводчики. 16 сентября (ровно через неделю после ссылки Меншикова) разрешено свободное устройство горных заводов в Сибири, без разрешения берг-коллегии. В тот же день "восстановлена"

торговля с Хивой и Бухарой, прервавшаяся после неудачных экспедиций Петра. В тот же день издан указ о вольной продаже табака - исчезла другая из крупных казенных монополий. 27 сентября, вслед за монополиями, начинается упразднение казенных фабрик: Екатерингофская полотняная мануфактура отдается в вольное содержание. В тот же день объявлено вольным добывание слюды. 20 октября отменены пошлины с "купеческих людей и их работников", едущих в Сибирь и возвращающихся оттуда, и велено даром выдавать им паспорта. 30 декабря издан соляной устав, практически осуществивший отмену соляной монополии, принципиально состоявшуюся еще в мае. 18 марта следующего года отменена поташная монополия. 19 августа отменены последние стеснения, прикреплявшие вывоз к Петербургскому порту: разрешено вывозить товары из Псковской и Великолуцкой провинций к Нарвскому и Ревельскому портам. В тот же день отменена введенная Петром регламентация в постройке торговых судов и отсрочено взыскание с купцов таможенных пошлин, должных ими за прошлый год, а также и просроченного акциза за иностранные вина. 16 мая 1729 года издан вексельный устав и в тот же день указ о беспошлинной постройке кораблей из русского материала и русскими предпринимателями, хотя бы и для продажи иностранцам. Мы перечислили только меры более общего характера - те же журналы и протоколы пестрят частными льготами и подачками русским фабрикантам: в тот же знаменательный день, 16 сентября 1727 года, был предоставлен ряд льгот бумажному фабриканту Соленикову. 9 августа 1728 года отсрочено взыскание ссуды, выданной "полотняной фабрики директору" Ивану Тамесу, и постановлено выдать на четыре года без процентов 5000 рублей Затрапезным; купцам, пострадавшим от пожара в Петербургском порту, выдавалась казенная ссуда на поправку, и даже купцы, утаившие от пошлины иностранные товары, удостаивались милости: им обещано было прощение, если они в определенный срок объявят утаенные товары. За все царствование Петра I на всероссийское купечество не излилось больше благодати, чем за коротенькое царствование его внука!

Новейший исследователь защищает политические проекты Голицына от упрека в "своекорыстно-личном" характере их: они не имели, по мнению этого исследователя, даже характера "своекорыстно-сословного". Мы в свое время увидим, насколько приложима эта похвала к плодам политического творчества князя Дмитрия Михайловича, которое не было безусловно личным: известные нам проекты, несомненно, представляют результат компромисса между различными течениями, существовавшими в среде верховников, - которые ближе нам, к сожалению, неизвестны. Но комплимент вполне приложим к вдохновлявшей им экономической политике Верховного тайного совета 1727 - 1729 годов. Она не была "своекорыстно-сословной": верховники служили не интересам своей маленькой группы, а интересам все того же торгового - и лишь отчасти промышленного - капитализма, который раньше сделал своим орудием "преобразователя России", и служили ему лучше и толковее, чем последний. Когда-нибудь более близкое знакомство с экономическими документами эпохи позволит ответить на вопрос, чем была вызвана эта "вторая молодость" петровской реформы. Пока нам приходится установить только наличность самого факта. Но политические последствия его можно учесть уже и теперь. Буржуазия и в это

время, как раньше, не представляла собою господствующей внутри России политической силы. Хозяйкой положения при дворе была гвардия, т.е. дворянство, вооруженное и организованное. Насколько отвечала политика Голицына его интересам? Кое-что, конечно, и дворянство извлекало из "фритредерства" верховников: оттого, что подешевела соль, всем стало лучше, в том числе и дворянству. От понижения цен на табак и иностранные товары "шляхетство" тоже могло только выиграть. Особенно популярным в дворянских кругах должно было оказаться возвращение двора в Москву. Служившие в гвардии помещики все нужное продолжали получать из своих деревень, расположенных преимущественно в центральных губерниях: одно дело было везти оттуда холст или живность за 50 - 100 верст, другое дело - за 600. Даже для тех, кто большую часть покупал, разница была чувствительна: иностранные дипломаты поражались тем, насколько в Москве все было дешевле сравнительно с Петербургом, особенно в первое время, пока пребывание двора не вздуло цен. Но все эти выгоды голицынской политики упразднялись одним минусом, который логически вытекал из ее "буржуазного" и фритредерского характера. Упраздненные Верховным советом пошлины и монополии составляли видную часть казенного дохода: пополнить образовавшуюся брешь нельзя было иначе, как обратившись к прямым налогам. Проведенные в меншиковский период льготы относительно подушной подати уже с первых месяцев нового царствования начинают чувствоваться новым правительством как стеснение. Меншиков еще номинально сидел в совете, когда 31 августа 1727 года был издан указ, повелевавший, "чтобы в содержании армии и гарнизонов не было в деньгах недостатка, того ради недоплатные на прошедшую январскую треть, такоже и на будущую сентябрьскую подушные деньги по прежнему положению сбирать немедленно". Всего любопытнее было, что этот указ вновь восстанавливал военные команды для сбора недоимок, рассматривавшиеся в предыдущий период как главное зло: в помощь губернаторам и воеводам предписывалось "от каждого полка по одному обер-офицеру и с ними солдат... которым в сборе подушных денег земским коммиссарам вспомогать, и в отправлении рапортов их понуждать". От только что вновь обретенного помещиками права самостоятельно собирать в своих деревнях подати осталось скоро только весьма неприятное наследство: личная ответственность барина за недоимку своих крестьян. Указ от 21 марта 1729 года требовал, чтобы воеводы "по силе своей инструкции" посылали в недоимочные деревни нарочных "и взяли в город править малопоместных, у кого нет прикащиков и старост, на самих помещиках"... Исключение допускалось лишь для "знатных людей": за тех отвечали их управители.

К моменту смерти Петра II участь верховников могла считаться решенной: оттого развязка и могла последовать с такою быстротой. Все условия, которые в 1725 году помешали им завладеть властью, были налицо в январе 1730-го, чтобы отнять у них эту власть. Тогда дворянство было озлоблено тем, что его интересы отодвигались на второй план ради буржуазии: теперь было то же самое. И так как элементарному уму тогдашнего дворянина западная буржуазия представлялась в образе "немцев", как иному южнорусскому мещанину или крестьянину она рисуется в образе еврея, то для настроения шляхетских кругов нельзя себе представить ничего выразительнее немецкого погрома, устроенного гвардией еще в мае 1729 года -

чуть не за год до падения голицынс-кого режима. Вспыхнул пожар в Немецкой слободе, и, доносил французский резидент, "как только огонь был замечен, туда сбежались все солдаты царской гвардии с топорами в руках; этим орудием обыкновенно пользуются, чтобы сносить в подобных случаях соседние дома и прекращать таким образом распространение пожара. Но эти солдаты, ничуть не стараясь тушить огонь, как бешеные бросились на угрожаемые пожаром дома слободы, ударами топоров разрушили стены, потом разбили сундуки, шкафы и погреба и разграбили все, что там было; хозяевам же, которые хотели воспротивиться их буйству, они безнаказанно грозили размозжить головы топорами. И самое гнусное при этом случае было то, что все происходило на глазах всех офицеров этих самых войск, не смевших или, вернее, не желавших остановить бесчинства, потому что слышно было, как иные вели такого рода речи: "Пусть побьют этих немцев". Одним словом, это был грабеж не менее ужасный, чем если бы целый легион варваров ворвался в неприятельскую страну. Можно было видеть, как они отрезывали даже веревки у колодцев, чтобы помешать таскать воду. Что может быть сказано сильнее, чтобы обрисовать дикий характер этого народа? И могут еще разговаривать о том, что они готовы изменить свои нравы и убеждения!"

Действительно, посмотрев на эту сцену (не позабудем, что большинство гвардейских солдат того времени были дворяне), трудно вообразить ее героев обсуждающими проекты российской конституции Попытки перенести в 1730 год идеологию "левых земцев" конца XIX столетия психологически, как нельзя более, понятны, конечно, но каким бы солидным "научным аппаратом" они ни обставлялись, от исторической истины они должны были остаться весьма далеко. К ней гораздо ближе был тот трезвый и спокойный англичанин, который доносил своему правительству: "Я видел несколько проектов, представленных в Верховный совет, но все они кажутся плохо переваренными... Привыкнув слепо повиноваться воле самодержавного монарха, все эти дворяне не имеют ясного представления об ограниченном правлении". Как ни прискорбно присоединяться к "реакционному" мнению против "либерального", но приходится признать, что проф. Загоскин, утверждавший, что шляхетство нисколько не интересовалось содержанием подписывавшихся ими проектов, был ближе к истине, чем его противники, старавшиеся дать фактам "иное объяснение". Когда сами авторы проектов, записные литераторы, вроде историка Татищева, видимо, не умели отличить конституционную монархию от абсолютной*, чего же тут требовать от бравых капитанов и поручиков, "подмахивавших" то ту, то другую бумажку, в зависимости от того, кто ее подсовывал? Мы не будем поэтому обременять читателя детальным анализом "плохо переваренных" проектов: этому анализу место в специальной работе по истории русской публицистики XVIII века, а не в общем историческом курсе. Для нас и тут интересны лишь классовые тенденции, которые должны были сказаться в проектах, даже помимо воли их авторов, и как бы смутно ни было политическое миросозерцание этих последних.

** См на этот счет любопытное признание самого г Милюкова (Верховники и шляхетство //История русской интеллигенции, с 28)*

Наиболее близким к реальной русской действительности был тот проект, который первым возник в головах верховников, ошеломленных неожиданным исчезновением символической фигуры, игравшей столь незаменимую роль во всех их комбинациях. Верховный совет был советом при императоре, а он умер; от чьего же имени теперь говорить и действовать? Если судить по намекам некоторых из иностранных дипломатов на какую-то "республику без главы" (republique sans chef), было кем-то высказано мнение, что совет может править от своего собственного имени. Насколько мысль была неудачна, можно судить по тому, что именно так старались изобразить потом намерение верховников их самые лютые враги, вроде Феофана Прокоповича. Члены совета и сами, конечно, прекрасно понимали это, и о "республиканском" проекте говорить поэтому вовсе не приходится. Первая реальная мысль была гораздо проще. Раз императора нет, надо его выдумать, надо немедленно найти новое лицо, которое могло бы стать таким же живым символом, каким был Петр II, и притом столь же удобным. Малолетство или, во всяком случае, крайняя молодость номинального носителя власти являлась тут весьма капитальным качеством, а еще надежнее, если несовершеннолетний государь будет взят из "своей семьи". Мальчик-император умер, отчего не посадить императрицу-девочку? Обрученной невесте Петра II было 17 лет, по возрасту она очень подходила. Права ее были, так сказать, одною только ступенью ниже прав Екатерины I: та была обвенчана, эта только обручена, но зато та была Бог весть какого происхождения, а эта - русская княжна Рюриковой крови. Для большего подкрепления ее прав ее родственники не постеснялись даже распустить слух, что она беременна от покойного императора: факт, по тогдашним временам, не столь уже скандальный, если вспомнить, что обе дочери Екатерины I считались большинством рожденными вне брака, что не мешало им быть принцессами и цесаревнами не хуже других. Но Екатерине I доставили престол не ее права, а гвардейские штыки: могла ли рассчитывать на их содействие княжна Долгорукая? Ее родственники, как практические люди, с этого и начали, рассуждая, кто из них в каком гвардейском полку подполковник, а кто майор. Особенно близкими к кандидатке оказывались, по-видимому, преображенцы, с заряженными ружьями окружавшие обрученных в день помолвки: такое распоряжение отдал их начальник, брат государыни-невесты и фаворит императора Иван Долгорукий. Будь этот последний человеком закала Григория Орлова, мы, несомненно, имели бы в истории хотя попытку интронизации княжны Екатерины и, быть может, не неудачную. Но добродушный кутила-мученик, князь Иван не пошел дальше сочинения подложного завещания Петра II, да и то оставил в своем кармане. А дееспособный в данном смысле член семьи, фельдмаршал князь Василий Владимирович, и на помолвку-то своей племянницы с государем смотрел весьма косо, содействовать же ее возведению на престол отказался самым решительным образом. Еще меньше можно было ожидать содействия основанию династии Долгоруких со стороны верховников других фамилий, особенно Голицыных, которые к влиянию Долгоруких всегда относились весьма ревниво, а из них Дмитрий Михайлович был фактическим президентом совета, с военным же влиянием его младшего брата, фельдмаршала, считались уже в дни Меншикова. С первого же шага, таким образом, "замыслы верховников" тормозились в их собственной среде; это не сулило "замыслам" ничего доброго. С провалом попытки

обладить дело "семейным" путем - наиболее примитивно-феодальным способом - приходилось искать путей более сложных. По-видимому, руководствуясь какими-то личными расчетами, князя Василий Лукич Долгорукий выдвинул кандидатуру племянницы Петра I, герцогини курляндской Анны Ивановны, имевшей на российский престол разве чуть-чуть больше прав, чем княжна Екатерина Долгорукая*. Кандидатура прошла легко - Анна была всем чужая. Но это была уже не девочка, от нее можно было ожидать самостоятельных выступлений (позже она оправдала такие ожидания в максимальном размере), а главное - у нее в Митаве был свой двор, готовое гнездо конкурентов для тех, кто теперь управлял Россией. Кажется, опасения со стороны этого курляндского двора и послужили исходной точкой знаменитых "кондиций", которые мы не станем излагать здесь подробно, потому что они достаточно хорошо известны. Недаром из всех пунктов "кондиций" наибольшее внимание вызвал тот, который запрещал Анне держать при своем дворе придворных чинов из иноземцев. Он обсуждался два раза, и слишком обнаженную редакцию первоначального проекта заменили потом более запутанной и "приличной": "В придворные чины как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не производить". Сразу восстанавливать против себя курляндских друзей Анны Ивановны, очевидно, не хотели: в разговорах в обществе уже определенно называли по имени Бирона. Во всем остальном кондиции, представляющие собою, как доказал шведский историк Иерне, простую выборку из соответствующих шведских документов**, вполне оправдывали отзыв Феофана Прокоповича, что верховники "не думали вводить народного владетельства, но всю владения крайнюю силу осьмичисленному своему совету учреждали". Кондиции везде говорят о правах совета, систематически опуская сословия, всюду фигурирующие рядом с советом в их шведском образце. Дело шло вовсе не о каком-нибудь новом ограничении самодержавия, а просто о закреплении за наличным составом Верховного тайного совета того положения, которое он фактически занимал при покойном императоре.

** Официально первым заговорил об Анне Дм. Голицын. Но роль В.Л. Долгорукова ясна из всей совокупности фактов, не считая того, что о ней вполне определенно упоминает князь Щербатов, слышавший рассказы современников.*

*** Сличение текстов см. у г. Милюкова, назв. статья, с. 8 - 11.*

Но юридическое закрепление существующего имело не просто формальное значение. О том, как управляется Россия, до тех пор знали очень немногие; для массы имя государя покрывало все: теперь эта масса должна была узнать, что управляют, в сущности, Голицыны и Долгорукие с братией. При всеобщем довольстве режимом Верховного совета, быть может, такое неосторожное снятие покрова с тайны и прошло бы даром. Но когда люди недовольны, подобные открытия дают их недовольству чрезвычайно удобное оправдание. "Ни гражданские, ни военные чины не получают жалованья, - писал саксонский посланник Лефорт за два месяца до смерти Петра II. - Мало полков, которым были бы должны меньше чем за год, что же касается генералитета и гражданских чиновников, то они не получали жалованья по десяти и по восьми лет. Что сталось с деньгами? я не знаю". Шляхетство хорошо это знало: деньги разворовали

верховники. Еще совет не пал как учреждение, а уже двух Долгоруких судили за лихоимство и грабеж казны. Но если остальные надеялись откупиться их головами, они жестоко ошибались. "Когда, - пишет тот же дипломат, - фельдмаршал Долгорукий предложил Преображенскому полку присягнуть царице и Верховному тайному совету, они отвечали, что переломают ему ноги, если он еще раз явится к ним с подобным предложением. Это заставило изменить форму присяги". Быть может, люди, не знавшие других средств, как "переломать ноги" или "разбить голову", сами по себе, непосредственно, и не так были еще опасны столь опытным политикам, как князь Дмитрий Голицын или Василий Лукич Долгорукий. Но к их услугам сейчас же нашлись люди, политически не менее искусившиеся, нежели сами верховники. То были отчасти даже члены Верховного совета, но составлявшие в нем незаметное меньшинство, как Головкин, бывший канцлер Петра I. Отчасти люди, считавшие за собой все права стать такими членами, но, к их удивлению и ярости, оставшиеся за бортом. Их типом был бывший петровский генерал, прокурор Ягужинский. Еще за год до смерти Петра II эти люди составляли "очень страшную" (tres formidable) партию, готовившуюся вступить в бой с Голицыным и Долгорукими. Могла ли эта "очень страшная" партия пропустить такой момент, как теперь, когда верховники вынуждены были балансировать над пропастью? Ягужинский в самый момент составления кондиций сделал попытку столковаться с ними. Он был грубо отстранен и ответил на это, послав Анне письмо, раскрывшее ей глаза на действительное положение дел. После этого его сколько угодно можно было арестовывать и сажать "за караул": удар был нанесен и пришелся метко. А за Ягужинским стояла плотная шеренга петровских "генералов", каждый из которых что-нибудь имел против верховников. Умнейший из последних, Дмитрий Голицын, очень скоро должен был увидеть, что ему и его товарищам ничего не остается, кроме почетной капитуляции; да вопрос был - примут ли еще и ее?

Капитуляция, которую придумал князь Дмитрий Михайлович, нашла чрезвычайно своеобразную форму: она показывает, насколько выше был он среднего уровня "верховных господ" того времени. Голицын решил спасти Верховный тайный совет, откупившись от дворянства конституцией. Принимая во внимание средний политический уровень тогдашних дворян, здесь было не без демагогии, конечно. Возможно, что Голицын даже сознательно рассчитывал иметь в шляхетских низах послушную "голосующую скотину", которую в критическую минуту можно направить против настоящего конкурента верховников, "генералитета". Как бы то ни было, сама мысль о таком "европейском" способе борьбы со своими политическими противниками в стране, где долго дворцовый заговор, опиравшийся на гвардейские штыки, был единственным и универсальным средством, не могла прийти в рядовую голову*. Наиболее ранний очерк гоницынской конституции дают опять-таки английские донесения, уже от 2 февраля, всего через две недели после смерти Петра II, когда Анна не только еще не успела приехать в Москву, но и о ее согласии на кондиции было известно всего два-три дня. Очевидно, что верховники не находили возможным терять ни минуты: лишний признак, как остро сознавалось или их критическое положение. Английский резидент очень отчетливо передает сущность проекта. Нетрудно уловить две основные его мысли: во-первых, расширить круг лиц, непосредственно

участвующих в управлении, доведя состав Верховного совета до 12 человек (их было 8), этим должны были быть удовлетворены вожди оппозиции, и поставив рядом с ним, в качестве своеобразной "нижней палаты", сенат из 36 членов, "рассматривающий дела до внесения их в Тайный совет". Здесь должны были найти приложение своему честолюбию все мало-мальски выдающиеся "генералы". Но Голицын вовсе не предполагал утопить верховников в этом генеральском море: у них оставалось два якоря спасения в лице очень многолюдных собраний, одного в 200 человек "мелкого дворянства", другого - буржуазного, где должны были участвовать и купцы. Ни то, ни другое не должны были непосредственно участвовать в управлении, но они могли вмешаться в случае "нарушения права" и "притеснения народа". Иными словами, меньшинство верховников имело в этих собраниях - для Голицына, не нужно подчеркивать, особенно важно было буржуазное готовую точку опоры для борьбы с большинством, которое неизбежно должно было составиться из их противников.

** Вот какую характеристику дает вождю верховников англичанин Рондо, как мы уже упоминали, один из самых трезвых и толковых иностранных наблюдателей событий февраля - марта 1730 года "Кн. Д.М. Голицын, старший брат Михаила Михайловича (о котором перед тем говорилось), тайный советник, губернатор киевский - человек необыкновенных природных дарований, развитых работой и опытом. Это - человек духа деятельного, глубоко предусмотрительный, проницательный, разума основательного, превосходящий всех знанием русских законов и мужественным красноречием; он обладает характером живым, предприимчивым; исполнен честолюбия и хитрости, замечательно умерен в привычках, но высокомерен, жесток и неумолим. Духовенство и простой народ глубоко почитают князя, а низшее дворянство скорее его боится, чем любит. Короче, нет в России человека более способного, да и более склонного поднять опасный мятеж и руководить им" (Сборник Русского исторического общества, т. 66, с. 158 и др.).*

Противники были не так просты, чтобы не заметить ловушки. Ту часть голицынской конституции, которая давала им участие во власти, они адаптировали очень быстро и без спора. В проекте Татищева, который "генералитет" противопоставил голицынскому, имеются обе палаты чиновного состава под именем "вышнего" и "нижнего" правительства; они еще многолюднее голицынских - 21 и 100 человек, - так что личное влияние верховников должно было сказываться в них еще слабее. Но о палатах низшего шляхетства и купечества "генеральский" проект молчал; он надеялся купить шляхетство иным способом, менее убыточным: вместо того, чтоб навязывать ему политические права, к которым у него не было еще большого стремления, "генералитет" обещал удовлетворить насущные нужды мелких помещиков, о которых шляхетство давно и бесплодно вопияло, - сокращение срока военной службы (не более 20 лет) и освобождение от службы в нижних чинах. Когда шляхетство получило возможность высказаться, оно не нашло присоединить сюда ничего, кроме требования, чтобы жалованье выдавали аккуратно. Дворянская и купеческая палаты так и остались особенностью проекта самих верховников. Дворянство не принимало политического подарка Голицына,

но оно выразило ему совершенно определенно социальное недоверие, потребовав, чтобы вновь назначенные члены Верховного совета баллотировались всем шляхетством. Средние и мелкие помещики устали от режима новой феодальной знати и желали иметь свое правительство, с тем, конечно, чтобы, раз оно выбрано, предоставить ему делать что угодно. Никаких форм постоянного воздействия шляхетства на государственные дела дворянские проекты не предусматривали. Даже под челобитной, проводившей личную татищевскую мысль, чтобы "новая форма правления" была обсуждена своего рода дворянским учредительным собранием, подписалось очень немного народу: эти скромные люди готовы были всю политику целиком предоставить своему начальству.

Такова была обстановка, когда приехала в Москву Анна и произошло "восстановление самодержавия". Фактически дело должно было свестись к замене верховников вождями "генералитета": кондиции отпали сами собой, так как это были искусственные подпорки, нужные "зяблому дереву верховных господ, но не настоящим хозяевам положения. Нельзя отрицать, что Анна лично обнаружила большой талант приспособления, очень облегчивший игру ее союзников. Ее первая же встреча с преображенцами кончилась тем, что весь батальон бросился к ее ногам "с криками и слезами радости", причем, в прямое нарушение кондиций, она тут же объявила себя шефом полка. "Затем она призвала в свои покои отряд кавалергардов, объявила себя начальником и этого эскадрона и каждому собственноручно поднесла стакан вина" (Лефорт). Добрые гвардейские солдаты, за время царствования малолетнего императора совсем было отвыкшие от петровских нравов, думали видеть перед собой воскресшую матушку Екатерину. Все это, конечно, делает психологически понятной сцену, разыгравшуюся в стенах Кремлевского дворца 25 февраля 1730 года, когда гвардейские офицеры бросались к ногам Анны, обещаясь истребить всех ее злодеев, но не меняет политического результата дела. Он вылился в замену упраздненного Верховного совета опять "правительствующим" сенатом, как было при Петре, а в состав этого воскресшего учреждения вошли все те, кого верховники ревниво не пускали в свою среду: и фельдмаршал Трубецкой, и князь Черкасский, и гвардейские генералы Мамонов и Юсупов, а во главе других, разумеется, Павел Иванович Ягужинский. Получило свою часть и изменившее собратиям меньшинство верховников: канцлер Головкин, предусмотрительно захвативший с собою 25 февраля во дворец кондиции, которые Анна тут же разорвала, был на первом месте среди вновь назначенных сенаторов. Но, по крайней мере, номинально и на первое время не решились исключить из их числа и крамольников: Дмитрий Голицын и Василий Лукич Долгорукий тоже были назначены сенаторами. Месть последовала для Долгоруких через несколько месяцев, а для Голицына даже несколько лет спустя. Потеряв политическую власть, "верховные господа" не сразу перестали быть социальной силой. А станут ли таковой их преемники - это зависело от политического курса, какой возьмет новое учреждение. И тут шляхетство скоро должно было убедиться, что до полного удовлетворения его интересов ему осталось ждать еще довольно долго.

Глава XI

Монархия XVIII века

Бироновщина

Анна и шляхетство: предполагаемые "уступки"; к чему, в сущности, они сводились? Торжество петровской традиции - Кабинет как преемник Верховного тайного совета - Придворные нравы; Бирон; Остерман - "Русские" и "немцы"; в чем был объективный смысл националистической реакции? - Бироновщина и английский капитализм - Националистическая реакция и дворянский заговор; осадное положение правительства Анны; дело Долгоруких - Англо-французское соперничество и его отражение на русских делах; дворянский заговор и французская интрига; кандидатура Елизаветы Петровны; Lettres Moskovites и дело Волынского - Шведский проект: договор царевны Елизаветы со Швецией - Крушение бироновщины

Верховный тайный совет был низвергнут шляхетством. Казалось бы, с его падением давно подготовлявшаяся дворянская реакция должна была найти свое политическое завершение: власть должна была перейти в руки того класса, который при Петре должен был поступиться ею в пользу коалиции крупных землевладельцев с владельцами торгового капитала. Это было бы до такой степени естественно, что многим историкам кажется, будто именно так и случилось. Собрав воедино кое-какие меры императрицы Анны, шедшие навстречу пожеланиям шляхетских проектов 1730 года, выводят заключение, что Анна, не согласившись поделиться с дворянами властью, вознаградила их за то уступками в социальной области. Облегчена была будто бы воинская повинность, как тем, что было сформировано два новых гвардейских полка, Измайловский и Конный, так - что для дворянской молодежи очистилось больше места в гвардии, где служить было приятнее, нежели в армейских полках, так и тем, что был учрежден Кадетский корпус, откуда молодых дворян выпускали на службу прямо офицерами. Сама служба стала легче и притом ограничена известным сроком, впрочем, как признают все историки, ограничена, пока что, на бумаге. Отменен указ о майорате, будто бы чрезвычайно стеснявший дворянство. Ссылаются и на новый порядок взимания подушной подати, платившейся, как мы знаем, за крестьян их помещиками и потому интересовавшей последних не менее, чем первых. Эта ссылка есть уже чистое недоразумение. Анна закрепила тот способ сбора подушных, какого с колебаниями держались верховники. Констатируя неуспех меншиковской меры 1727 года - передачи сбора подушных из рук военного в руки штатского начальства, благодаря которой "многая на крестьянах доимка запущена", что будто бы и самим крестьянам "к большему разорению, а не к пользе произошло", именной указ от 31 октября 1730 года категорически восстановляет петровские порядки, предписывая "тот с крестьян подушный сбор положить на полковников с офицеры, по-прежнему дяди нашего и государя определению..." До 1735 года по всей России действовала "экзекуция для сбора подушных денег", правившая их с такой свирепостью, что правеж этот в памяти масс остался едва ли не самым ярким признаком "бироновщины". На самом деле инициативе, кажется, Бирона принадлежит состоявшаяся в январе названного года отмена "экзекуции"*.

Но мотивы одного, современного этой мере, проекта указа свидетельствуют, что и тут нельзя видеть победы дворянской политики. Нам известно, говорит императрица в этом замечательном проекте, что доимка учинилась "как от слабости и попущения будучих на штабных дворах офицеров, так и от некоторых бессовестных помещиков", которые "происком своим с начала 1724 года никогда сполна, а иные и ничего не платили, и все оные не столько старание имели ту государственную подать исправно платить, сколько нерассудно крестьян своих многими излишними работами и подложенными оброками отягощать, не чиня им в нужный случай никакого вспоможения, отчего крестьяне их пришли в худшее состояние..." Опубликовавший этот проект исследователь справедливо догадывается, что кабинет министров "задержал указ, боясь раздражить свое сословие". Тем более, что у этого сословия было уже достаточно поводов к раздражению. Донесения иностранных дипломатов и бумаги кабинета министров весьма согласно и основательно разрушают предрассудок насчет того, будто бы воинская повинность шляхетства стала при Анне легче. По поводу образования Измайловского полка - якобы "популярной" шляхетской меры - вот что писал английский резидент Рондо: "Ее величество формирует новый гвардейский пехотный полк, который имеет состоять из двух тысяч дворян; полковником же его назначается генерал-майор граф Левенвольд; все офицеры набираются из ливонцев или иноземцев - это будет так называемая лейб-гвардия ее величества. То будет третий гвардейский полк после Преображенского и Семеновского; но так как предполагают, что этот полк станет любимым полком государыни, гвардейцы двух прежних полков очень недовольны. Каковы будут последствия этого шага, покажет время: полки Преображенский и Семеновский - сильные полки; в составе их семь тысяч человек, из которых некоторые принадлежат к знатнейшим русским фамилиям..." В другом донесении Рондо прибавляет маленький штрих, дополняющий физиономию новой "лейб-гвардии ее величества": "Около 800 человек этого полка уже прибыли из Украины", - пишет он. Таким образом, не только офицерский корпус измайловцев, но и состав солдат должен был представлять известное этнографическое своеобразие. Как и два его старших товарища, новый полк возник в ответ на потребности внутренней, а не внешней политики: то была попытка создать своих преторианцев, так как петровские не внушали более доверия! Но гвардия, провозгласившая Анну самодержавной императрицей, состояла именно из преоб-раженцев и семеновцев, они должны были теперь убедиться, как странно намерены с ними расплачиваться за их услугу. То, что на первый взгляд кажется отражением "шляхетской" политики, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, оказывается шагом, направленным чуть не прямо против шляхетства 1730 года, которое это хорошо поняло, о недовольстве преображенцев и семеновцев Рондо говорит не один раз. Едва ли не такой же иллюзией, в смысле удовлетворения шляхетских требований, был и Кадетский корпус. В его стенах могло найти себе место лишь ничтожное меньшинство дворянских "недорослей", подавляющее большинство должно было начать службу, по петровскому обычаю, рядовыми, и при том не столько в гвардии, сколько в армии. В бумагах кабинета министров аннинских времен сохранилось несколько списков "недорослей", призываемых на службу. В одном из них на одного счастливца, попавшего в кадеты, приходится пять менее удачливых товарищей,

отосланных в военную коллегию "для определения в полки в солдаты". В другом на четырех гвардейцев приходится 38 человек, которым пришлось начинать солдатскую науку в армии. Не один раз встречаются требования о пересмотре списков отставных чинов, с целью призыва обратно на службу тех, кто еще к ней годится: имелись в виду едва ли не те, кому слишком легко были выданы указы об отставке в меншиковский период Тайного совета. Можно думать, что воскрешение таких "петровских традиций" не слишком обрадовало старых петровских служак, и что не один из них по этому поводу вздохнул о Верховном тайном совете, при всем пренебрежении к интересам мелкого дворянства, до таких мер не доходившем. Но был пункт, где посаженной шляхетством императрице удалось побить рекорд не только Тайного совета, но, что было труднее, начальника Тайной канцелярии, преемницы знакомого нам Преображенского приказа. В 1736 году в военном суде разбирался один из так хорошо знакомых всем временам и всем поколениям русского общества интендантских процессов: для целого ряда офицеров тогда, как и теперь, оказывалось гибельным прикосновение к промышленному миру - они не могли увидеть подрядчика или мануфактуриста без того, чтобы не взять с него взятки. "Фергер и кригс-рехт", действуя по всей строгости петровского артикула, приговорил злосчастных офицеров к наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке "в вечную работу на галеры". Но начальник Тайной канцелярии, страшный Андрей Иванович Ушаков, одно имя которого доводило тогдашних дворян до озноба, а дам - до обморока, в числе других сенаторов, пересматривая приговор, сжалился над своей братией и предложил заменить кнут и каторгу разжалованием в солдаты. Императрицу страшно возмутило такое слабодушие ее заплечных дел мастера, и она положила резолюцию, одинаково грозную и для подсудимых и для потакавшего им сената. "Учинить во всем по сентенции военного суда, - написала Анна на приговоре (т.е. бить кнутом и рвать ноздри). - А представленный от военной коллегии и от сената резон для облегчения приговоренного им штрафа, а именно, будто оные впервые сию продерзость учинили, не токмо неприличный, но и удивительный. Оные впервые в воровстве пойманы, а не впервые и не один раз, но сие свое воровство через многие годы, не престаючи, продолжали. А что по конфирмации сената, сверх от оного апробованного облегчения, и полученных взятков с них не взыскивать (сенат предлагал взыскать только убытки казны), и то еще удивительнее того, - разве нагло нашу казну разворовать не в воровство вменяется?"**.

** Строев В. Бироновщина и кабинет министров. - М, 1909, с. 108 и др.*

*** Сборник Русского исторического общества, т. 117, с. 51 - 52. (Напечатанный текст не передает орфографии императрицы Анны, которая и здесь была верна петровской традиции: "апробуется" она писала "опробуэца".)*

Этот случай - один из массы, без сомнения объясняет нам, почему "бироновщина" на несколько поколений осталась пугалом для русского дворянства в самых медвежьих углах. Били жестоко, не менее жестоко, чем при Петре, и били всюду и всех, если не кнут, то правеж за неуплату подушных почти всякий дворянин если не испытал на себе, то видел своими глазами на себе подобных. Что тот, кто дал имя этому режиму, не был характерным его представителем, - так

утверждают новейшие исследователи, готовые приписать фавориту Анны Ивановны чуть не ангельскую кротость, хотя современники сохранили нам достаточно образчиков, по крайней мере, грубости Бирона, от этого жертвам "бироновщины", было, разумеется, не легче. И отмена существовавшего больше на бумаге указа о майорате всего меньше могла, конечно, уравновесить в глазах дворянства тот гнет, который обрушился на его плечи после 1730 года. Оно должно было увидеть, что, сбросив верховников, оно не избавилось даже от Верховного совета как учреждения. Всего через несколько месяцев после переворота Верховный тайный совет вновь воскрес под названием Кабинета ее величества, официально учрежденного указом от 6 ноября 1731 года, фактически же существовавшего уже в первый год царствования Анны. Неоднократно цитированный нами английский дипломат совершенно определенно указывает цель этого учреждения еще в мае 1730 года: изъять из ведения сената, формально только что восстановленного во всех своих правах и прерогативах, наиболее важные дела. Русские современники, писавшие о Кабинете по свежим следам, вполне подтверждают эту оценку. "По учреждении сперва Верховного совета, а потом Кабинета - ибо хотя имена разные, а действо почти одно в обоих было - сенат остался уже не в такой силе, как прежде было...", - говорит одна докладная записка, представленная императрице Елизавете Петровне. Как и Верховный совет, Кабинет фактически заменял императрицу, указ, подписанный двумя кабинет-министрами (всех было три), имел такую же силу, что и высочайший указ. Для довершения сходства двое первых кабинет-министров и взяты были из числа верховников: Головкин и Остерман. Третий был князь Черкасский - лидер шляхетства 1730 года, но лидер лишь номинальный, декоративная фигура во главе дворянских петиционеров, он остался такой же декоративной фигурой и в новом учреждении. От Верховного тайного совета это последнее на практике, конечно, очень отличалось не к своей выгоде. Когда вы от протоколов и журналов Верховного совета переходите к кабинетским бумагам - и те и другие изданы в одном и том же сборнике Русского исторического общества, - вас поражает картина политического измельчания и опошления. Там была яркая, определенная, сознательная политика; здесь - жизнь со дня на день, куча бюрократических мелочей, среди которых невозможно уловить никакой определенной политической линии. Рядом с такой финансово-экономической катастрофой, как восстановление соляной монополии, стоят розыски мужика, который "умеет унимать пожар", и заботы о родившейся в Москве мартышке: императрица непременно требовала доставить ей в целости и мать, и новорожденного. Немудрено, что найти юридическую формулу для этого учреждения было еще труднее, нежели для Верховного тайного совета; но ежели взять для сравнения крепостную "контору" большой барской вотчины, смысл кабинета императрицы Анны будет нам очень понятен.

Эта реакция феодальной простоты после буржуазных замашек правительства Петра давала себя чувствовать в домашнем быту еще сильнее, нежели в официальной жизни. После царя-плотника и царя-солдата Анна была первой представительницей того типа коронованного помещика, который так надолго удержался в России. Между подданным и холопом для нее было так же мало разницы, как между камердинером или управителем и министром. Андрей Иванович Ушаков был начальником тайной политической полиции, но он же был и

чем-то вроде главного швейцара императорского дворца. Приводили сказочницу во дворец - Анна любила на сон грядущий слушать рассказы о разбойниках, - ее прежде всего направляли в "дежурную, к Андрею Ивановичу"; нужно было наказать дерзкого придворного (осмелился побрезговать ее величеством) - гневный голос императрицы звал того же "Андрея Ивановича". Коренное дворянское развлечение, охота вошла в честь при русском дворе еще с Петра II; Анна, несмотря на свой пол, явилась и здесь ревностной продолжательницей традиции если не своего дяди, то своего племянника; следом за нею московские дамы и девицы стали учиться стрелять, и императрица живо интересовалась их успехами. Но предметом барской потехи были не только звери, а и люди. О шутах, переполнявших двор Анны Ивановны, слишком хорошо известно, чтобы стоило распространяться на эту тему. Наличность в их среде отпрысков старинной знати уже современников наводила на мысль, будто здесь было не без политической аллегории: Анна хотела, видите ли, унизить в их лице те "боярские фамилии", которые собирались ограничить ее власть в 1730 году. Едва ли такие мысли приходили в голову самой императрице: она просто тешилась тем, что ей попадало под руку, когда она приходила в шутливое настроение. То это была старуха-сказочница, которую не женски сильная рука Анны трясла так, что ей "ажио больно было", то доставалось какой-нибудь не в добрый для себя час попадавшей на глаза императрице челобитчице, иногда вовсе не простого звания. "Приехала одна знатная полковница в Петербург бить челом о заслуженном мужа ее жалованьи, которого было с 400 рублев, и видя, что нигде определения сыскать не может, намерялась просить самое государыню в надежде той, что ее давно знает, и, долго ища случая, улучила видеть, и как ее государыня спросила, давно ли она приехала, то она доносила свою нужду и просила с челобитною о решении; то де государыня сказала ей: "Ведаешь, что мне бить челом вам запрещено", тотчас велела ее вывести на площадь и, высекши плетьми, деньги выдать, и как ее высекли, то, посадя в карету, хотели везти к рентерее, чтобы деньги выдать, но она, боясь, чтобы еще там не высекли, оставя деньги, уехала домой"*.

** См. у г. Строева, назв. соч., с. 40 - 41. Из одного тогдашнего следственного дела. Прелестную жанровую картину из придворной жизни времени Анны Ивановны сохранили записки кн. Дашковой. "Императрица изъявила желание видеть русский танец и приказала четырем из первых петербургских красавиц исполнить его в своем присутствии. Мать кн. Дашковой, замечательно грациозная плясунья, была в числе этой партии; как, однако ж, они ни желали угодить царской воле, но, испуганные строгим взглядом государыни, смешались и позабыли фигуру танца; среди общей суматохи императрица встала с кресел и, приблизившись к ним с полным достоинством, отвесила каждой по громкой пощечине и велела снова начинать, что они и исполнили, чуть живые от страха".*

У сердитой барыни, как водится, был немец-управитель. И современники, и история долго ошибались насчет его имени: считали им Бирона, а на самом деле душой аннинского режима был Остерман. Бирон состоял лично при особе императрицы, и состоял настолько неотлучно, что уже одно это мешало ему фактически быть министром, чем он не был к тому же и номинально: в состав

Кабинета он никогда не входил. Несколько преувеличивая свое порабощение, курляндский герцог впоследствии даже нехождение в церковь по праздникам объяснял тем, что, как "всякому известно, ему от ее императорского величества блаженные памяти никуды отлучиться было невозможно". Скорее Анна не считала возможным отлучиться от своего фаворита. "6 июля (1731 года) государыня должна была обедать у Михаила Гавриловича Головкина, - писал своему министру английский резидент, - но обер-камергер имел несчастие, сопровождая ее, упасть с лошади и вывихнуть себе ногу, и она вернулась с ним во дворец. Этот случай вызовет, конечно, у вашего превосходительства то же размышление, которое он вызывает здесь у каждого: странно, что ее величество не доехала к графу Головкину и не обедала у него только потому, что граф Бирон не мог обедать с нею". Как бы то ни было, что Бирон мало интересовался русскими внутренними делами, и если вмешивался энергично в политику, то только внешнюю (гораздо более доходную, как скоро увидим), это едва ли подлежит сомнению. Функции управителя и фаворита при Анне отнюдь не смешивались. Но это не значит, чтобы условное имя "бироновщины" было просто недоразумением: не Бирон делал то, что окрещено этим именем, но для него это делалось, ибо в нем был весь смысл существования хозяйки и госпожи всего и всех. Когда мы читаем у того же английского дипломата, что "двор на зиму (1731/32 года) переберется в Петербург, так как фавориты надеются там избежать ежедневно раздающихся жалоб, находят и жизнь там менее опасною, чем здесь, так как всегда есть возможность помешать приезду недовольных в Петербург", то это бироновщина, ибо вся система этой политики диктуется соображениями личной безопасности Бирона. "Ваше превосходительство не может вообразить себе, до какого великолепия русский двор дошел в настоящее царствование, несмотря на то, что в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят, что тоже много содействует общим жалобам, - продолжает свой доклад тот же беспристрастный свидетель аннинского царствования. - Невзирая на недостаток в деньгах, огромные суммы тратятся придворными на великолепные костюмы для маскарада, предположенного здесь в непродолжительном времени; кроме того, из Варшавы со дня на день ожидается прекрасная труппа актеров, присылаемая королем польским для развлечения ее величества, все мысли которой отданы удовольствиям и заботе о том, какими бы богатствами и почестями осыпать графа Бирона и как обогатить его брата"*. У Анны была одна забота - дать; как достать то, что дается, об этом заботилась не она и не тот, разумеется, кому давали, а люди менее видные и более деловые. Как мы уже упоминали, Остерман был первым из них. Сравнение этого фактического правителя России 1730-х годов с его предшественниками из Верховного тайного совета даст точь-в-точь такое же впечатление, как сравнение бумаг этого учреждения с бумагами Кабинета, непременным членом которого во все царствование Анны был Остерман. Любопытно, что он был уже и в совете, и многие шаги буржуазной политики верховников номинально связаны с его именем: он был, например, председателем "комиссии о коммерции". Но в кабинетских делах мы не найдем никаких следов того, что предлагала эта самая комиссия в дни Верховного совета: лучшее указание на то, что душою экономической политики этого последнего был, во всяком случае, не Остерман. Этот неудавшийся школьный учитель справедливо пользовался репутацией самого хитрого и ловкого

интригана, какого только можно было найти при тогдашних европейских дворах. Он превосходно знал бюрократическую рутину, но в нем не было ни крупицы настоящего политического деятеля, и он сам себе выдал свидетельство о бедности по этой части, оставив известный проект "о приведении в благосостояние России"**. Когда ему пришлось формулировать свои политические взгляды, он не нашел у себя ничего, кроме полузабытых обрывков школьной морали: "страх Божий; милосердие и снисходительство; любовь к правосудию"... Дальше идет перечисление мелких бюрократических приемов, как завести порядок в делах, и мелких уловок, как привлечь на свою, сторону тех или других влиятельных чиновников. Забота о распространении школ является единственным живым словом в этой части канцелярской программы, а наивные мечтания о торге с иностранными государствами ружьями, которые изготовляет Тульский завод, исчерпывают всю "экономическую политику". Перечислить все мелочи оказался, однако, бессильным даже этот, живший исключительно мелочами, ум, и каталог благополучия Российского государства остался недоконченным. Любопытно, что в беловом тексте эти мелочи, хоть несколько осмысливающие голые фразы о страхе Божьем и любви к правосудию, вовсе отсутствуют: обобщить их автор не сумел, а перечислить их все постеснялся, щадя свою высокую читательницу (правительницу Анну Леопольдовну). В результате получился документ, своею высокопарной бессодержательностью выщеляющийся даже в литературе русских официальных проектов.

** Сборник Русского исторического общества, т. 66, с. 272 - 273.*

*** Этот проект и дополняющая его черновая "записка для памяти" напечатаны в архиве кн. Воронцова, кн. 24.*

Но если деятели бироновщины сами не умели возвыситься до политических обобщений - и тем дали и потомству случай оценить всю разницу между ними и людьми такого калибра, как Дм. Голицын* или хотя бы даже Меншиков - это не значит, чтобы в их поведении не было никакой общей политической линии. Ее давала обстановка, независимо от того, сознавалась она или нет. Ища этого общего в политике своих врагов-правителей, русские дворяне времен Анны, совершенно так же, как впоследствии крепостные мужички их внуков, видели все зло в немецком происхождении Остермана, Бирона и их компании: "немец-управитель", известно, всегда "отчаянный грабитель". Ввиду тенденции новейшей историографии просто-напросто устранять из поля своего зрения национальные конфликты, вместо того, чтобы объяснять их, сводя к социальным, приходится очень подчеркнуть, что борьба с бироновщиной, как с "немецким игом", вовсе не выдумана позднейшей литературой, как нередко бывает в подобных случаях. Субъективно, идеология русского шляхетства около 1740 года носила, несомненно, резко выраженный националистический характер - это факт не менее осязательный, нежели, например, шовинизм английской буржуазии в дни войны с бурами. "Немецкую партию" сочинил не XIX век, как кажется некоторым новейшим историкам, о ней весьма дружно говорят, со слов русской публики, современные иностранные дипломаты. "Надменность и наглость, с которою ведут себя теперь при здешнем дворе курляндцы и лифляндцы, увеличивают почти до

невероятной степени ненависть к ним московитов; и самые благоразумные поэтому начинают опасаться, как бы их (mm. les courlandais) не постигла когда-нибудь та же катастрофа, которая случилась некогда с поляками, которые властвовали над Россией, как теперь эти", - такие слова были написаны немного больше, чем через год после воцарения Анны, и не квасным русским патриотом, а французским резидентом при русском дворе, делавшим своему двору чисто деловое сообщение. И такой отзыв не один - разговоры о "господстве иностранцев" составляют нечто вроде припева ко всем доносениям Маньяна, а на этих донесениях строилась вся политика французского кабинета относительно России; спекуляция на оскорбленное национальное чувство русского "народа", т.е. русского дворянства - широкой полосой входила в эту политику, о которой нам еще придется говорить, и ее удача, успех французской кандидатуры цесаревны Елизаветы, сама по себе достаточно доказывает, что правительство Маньяна строило не на песке. Просто отмахнуться от этого факта, заявив, что русско-немецкий антагонизм не играл никакой роли при Анне, конечно, очень облегчает задачу историка, но это равносильно, в то же время, отказу понять то, что творилось в России в 1730-х годах. Приходится искать объективные основания для русско-немецкой вражды, и мы без большого труда находим их в донесениях коллег Маньяна, английских представителей Рондо и Финча. Их еще более деловые сообщения освещают нам экономическую базу "бироновщины". "Иноземное иго", о котором толковали русские патриоты того времени, в переводе на экономический язык означало господство западноевропейского капитала над русской внутренней и внешней политикой при Анне Ивановне, господство настолько прямое и бесцеремонное, что ничего подобного этому мы не найдем в предшествующую эпоху. Но история как бы нарочно постаралась демонстрировать, что "национальное чувство в качестве "голоса крови", так сказать, здесь ни при чем, иностранцы, в жертву которым немецкое правительство приносило русские интересы, были как раз не немцы, а англичане. Бирон служил не тем, кто говорил на одном с ним языке**, а тем, кто ему больше и лучше платил.

---

* *Без которого они все же не могли обойтись до своей окончательной опалы в 1737 году. Д.М. Голицын нередко появляется на заседаниях Кабинета в качестве консультанта по иностранной политике.*

** *Немецкий язык был тогда чем-то вроде официального языка высших петербургских сфер, вновь назначенный английский посланник первым делом начал в Петербурге учиться по-немецки, "хотя это и трудно в моем возрасте", прибавляет он.*

Экономические основания для того, чтобы "иноземное засилье" приняло в России того времени форму "английского засилья", были вполне достаточные. "До очевидности ясно, - говорит одна современная записка (английская, - этим объясняется ее тон), - что торговля с Великобританией в течение многих лет была и поныне продолжает быть для России более выгодною, чем торговля со всякой другой европейской нацией; по нашим расчетам, одна торговля с нами доставляет ей более дохода, чем торговля со всеми прочими европейскими нациями, вместе взятыми: великобританские подданные вывозят две трети всей пеньки, более

половины всех вывозимых кож, столько же льна, более трех четвертей всех полотен и, по крайней мере, столько же железа, весь поташ, большую часть ревеня, рыбьего клея, щетины, воска и проч., и за три четверти этих товаров в течение последних лет платили и поныне платят русскими деньгами. И вся эта масса русских продуктов, исключая кожевенного товара, ввозится в Великобританию". Но англичане, естественно, считали для себя не очень выгодным такое положение вещей: им было бы больше расчета ввозить в Россию, в обмен на сырье, свои товары. Если бы при этом цены на эти последние и на русские продукты установились достаточно для англичан выгодные, Россия экономически попадала бы в разряд английских колоний. В правление Верховного тайного совета, покровительствовавшего туземной буржуазии, дело шло, однако же, как раз наоборот: "Хотя, - продолжает цитируемая записка, - в Англию русских товаров ввозится и теперь почти столько же или даже сполна столько же, как и в предыдущие годы, вывоз из Англии в Россию за последние десять лет уменьшился, по крайней мере, на половину". Англичане видели этому две причины: во-первых, конкуренцию прусских и голландских мануфактур, во-вторых - перенесение торговли из Архангельска на Балтийское море. С 1724 года пруссаки сделались постоянными поставщиками сукна для русской армии: косвенное, но очень яркое доказательство краха, постигшего петровские суконные мануфактуры. Из Голландии главным образом шли те фабрикаты, что служили для меновой торговли с Персией, - их ввозили туда в обмен на вывезенный шелк-сырец. Замена же Архангельска в деле английского вывоза не Петербургом, как бы мы ожидали, а Ригой - невыгодна была в том отношении, что на рижском рынке приходилось расплачиваться наличными деньгами, тогда как в Архангельске торговля была меновая. Это положение вещей намечало, таким образом, три основные линии английской торговой политики: устранение прусской конкуренции, воскрешение на Балтийском море добрых старых обычаев Архангельска и, в качестве венца всех успехов, захват в свои руки вывоза шелка из Персии. При Бироне Англии суждено было иметь триумф на всех этих трех полях битвы, не исключая и последнего.

Уже в апреле 1732 года, когда новое правительство только что уселось прочно в седле и начало пользоваться своим успехом, Рондо мог писать своему начальству в Лондоне: "Касательно затруднений, с которыми связана была торговля великобританских купцов в течение многих лет, ее величеству (императрице Анне) угодно было приказать, дабы министры ее рассмотрели статьи переданной мною записки и выполнили мои желания, насколько окажется возможным без ущерба интересам России и подданных ее величества". Какого рода директивы даны были коммерц-колле-гии, видно из того, что она легко и скоро согласилась на все английские требования. "Могу, кажется утверждать, что вряд ли найдется в России другой пример такого быстрого успеха подобных переговоров, - восклицает с чувством законной гордости английский резидент. - Это убеждает меня, что здесь у нас много друзей, помогавших исходу дела, столь выгодного для торгующих в этой стране подданных его величества" (короля английского). Счастливый дипломат не мог выразиться осторожнее; французский агент, сообщая об одной из прежних английских неудач в другом подобном деле, был откровеннее и грубее: "Эта милость, - говорит он о сохранении поставки сукон за пруссаками, - стоила весьма дорого, так как ее можно было приобрести лишь при помощи значительных

денежных сумм, розданных как обер-камергеру Бирону, так и графу Левенвольду и прочим фаворитам". Приобретение "милости" и англичанам впоследствии обходилось недешево; об одном из них сам английский консул высказывал опасение, как бы смелый купец не разорился: "...такие, как уверяют, огромные суммы пришлось ему выдать, чтобы провести контракт". Но англичане знали, что делали, ведя борьбу до конца на этом аукционе. Им удавалось добиваться "милостей" же совсем необыкновенных. В мае того же 1732 года фельдмаршал Миних (кто бы подумал, что знаменитый генерал так заботился о мирной коммерции?) велел внезапно произвести обыск в домах иностранных купцов, проживавших в Петербурге, с целью открытия контрабанды. При этой внезапной ревизии английские коммерсанты оказались чисты, как голуби: у них ни кусочка не нашлось, не снабженного надлежащим таможенным клеймом; английский консул сообщал об этом не без умиления и с искренней жалостью добавлял, что, вот, у пруссаков и голландцев, кажется, не так хорошо - "найдено много неоплаченных товаров". Разумеется, что английский представитель не отказался принять официальное участие в протесте всех иностранных дипломатов против набега фельдмаршала на торговые склады. Но фельдмаршал не только не рассердился за это на англичан (честные торговцы, но и добрые товарищи при этом - военный человек должен был особенно это оценить), а и счел долгом специально наградить английскую добродетель, проведя с чисто военной быстротой контракт на поставку одной английской компании поташа, золы, пеньки и сибирского железа (казенных товаров) по баснословно дешевой цене. На несчастье Миниха, он не поделился с Левенвольдом, и тот намекнул Анне Ивановне, что она теряет на этой сделке не меньше 180 тысяч рублей (около полутора миллиона золотом). Миних был очень сконфужен, а сделка немедленно кассирована; но так как англичане, не жеманясь, тотчас же накинули от 8 до 20% на условленную ранее цену, то казенные товары остались все же за ними.

Мы видели еще раз, как условно название "бироновщины": во всей этой истории имя курляндского герцога никем и не упоминалось, а между тем какая она характерно "бироновская". Быть может, однако же, просто размеры этого дела, крупного, но еще не вполне "государственного" по своему масштабу, ставили его ниже внимания фаворита Анны Ивановны. Для нас не ясна его личная роль в истории с сукном, которое, в результате всех перипетий, попало-таки в английские руки, хотя и не прямо: в качестве посредника к делу успел примазаться голландский купец, чуть ли не специально для этого принявший, впрочем, английское подданство. Это очень огорчило патриотическое сердце сэра Клавдия Рондо, и в припадке досады на неуклюжесть своих земляков, давших выхватить у себя добычу из-под носа, он обмолвился несколькими откровенностями, от которых, без сомнения, воздержался бы в спокойную минуту. Благодаря этому мы узнаем, что хотя вообще английские сукна были и лучше прусских, но специально в Россию англичане норовили сбыть всякую дрянь, подмоченную и залежавшуюся. Надежды Рондо, что, наученные опытом, англичане теперь поостерегутся, по-видимому, не оправдались, и русское правительство от английского не раз вынуждено было снова обращаться к прусскому сукну, которое хотя по существу тоже никуда не годилось, как свидетельствовал сам Кабинет министров, но зато было так подкрашено и подклеено, что хоть на приемке имело приличный вид. Но

главной целью английских домогательств было все же не сукно и не поташ с пенькой, а - читатель, помнящий историю торгового капитализма в России, уже догадался об этом - торговля с Персией. Сменивший Рондо Финч едва ли и приехал в Россию не с двумя главными целями: открыть персидский транзит через Россию английским купцам и получить некоторое количество русских штыков на английскую службу. Последнее, конечно, носило форму союзного договора между двумя великими державами; первое было облечено в более скромную форму привилегии, данной императрицей частной компании, но, следя шаг за шагом за хлопотами Финча, с трудом представляешь себе, что было важнее. Речь ведь шла не о том только, чтобы вывозить шелк-сырец из Персии: это было лишь начало; через Персию англичане надеялись, с одной стороны, наводнить своими товарами всю Среднюю Азию, с другой - проложить себе путь в Индию, которая тогда стояла на распутье и могла так же легко сделаться французской, как и английской. Переговоры об этих важных делах Финч вел с Бироном лично (для того и понадобился ему немецкий язык), и герцог курляндский оказался куда податливее, нежели упрямые московские бояре XVII века, так неумолимо отстаивавшие от всей Европы русскую монополию на персидский шелк. За ничтожную пошлину образованная в Англии "персидская компания" получила возможность расположиться на Волге и Каспийском море, как у себя дома. Не нашли нужным выговорить даже пользование русскими судами и русскими матросами: в Казани было выстроено, средствами тамошнего русского адмиралтейства, но по английским планам, особое судно, годное как для Волги, так и для Каспийского моря, ставшее собственностью английской компании и снабженное английским экипажем. Таможенный контроль по отношению к этому судну в Астрахани был сведен к такому минимуму, что оно весьма свободно могло возить контрабанду, уклоняясь от платежа даже той ничтожной пошлины, которая была выговорена трактатом. Немудрено, что английский посланник был преисполнен живейшей благодарности к русскому правительству (трудно было быть щедрее и великодушнее!) и расплатился с ним за это чрезвычайно оригинально. Через него бироновское правительство, уже лишенное, к огорчению Финча, своего номинального главы, но, под управлением Остермана не менее еще "бироновское", получило первые и чрезвычайно обстоятельные сведения о заговоре, угрожающем его существованию. То, что даже и после этого заговор удался, принадлежит к числу самых любопытных эпизодов не одной русской истории.

Заговор носился в воздухе все время царствования Анны. Правительство, вышедшее из государственного переворота, могло быть сильным, только верно соблюдая молчаливый договор с теми, кто этот переворот устроил в его пользу. Но мы знаем, как оно было далеко от этого. Шляхетство медленно приходило к сознанию, что его обманули, что его использовали "курляндцы и лифляндцы". Но было настолько ясно, что рано или поздно это будет понятно, что нетерпеливые люди спешили использовать оппозиционное настроение шляхетства раньше, нежели оно успело сложиться. Одно донесение голландского посланника из Москвы от 6 января 1731 года*, показывает нам неудачный финал заговора, сложившегося в Москве меньше, чем через год после патетических сцен "восстановления самодержавия". Во время одной из почти ежедневных поездок Анны в Измайлово, под одной из придворных карет, ехавшей непосредственно

перед каретой императрицы, внезапно осела земля; в провале увидали "бревна, отрывающиеся и падающие друг на друга вместе с огромными глыбами камней, нагроможденных по бокам". К счастью для Анны Ивановны, технические средства, которыми располагали эти отдаленные предшественники народовольцев, были далеко ниже поставленной ими себе задачи: мина без пороха действовала так медленно, что пассажиры кареты успели из нее выскочить без всякого вреда для себя. Тем не менее императрица немедленно вернулась во дворец. Последовали, разумеется, аресты, но открыть, видимо, ничего не удалось; придворные сплетни приписывали дело первой жене Петра, монахине Евдокии Лопухиной. Но последующее донесение уже самого Маньяна ясно показывает, что не было надобности искать заговорщиков так далеко. Вот целиком это донесение, как нельзя более выразительное в том, что оно говорит о настроении верхних слоев русского общества на другой год после воцарения Анны. "Судя по тому, как продолжают говорить о недовольстве, выказываемом повсюду русскими вследствие злоупотреблений милостями царицы со стороны Биронов и братьев Левенвольде, весьма вероятно, что это и заставляет здешнюю государыню более всего оставаться в своей столице, для предупреждения, быть может, беспорядков, которые могли бы быть вызваны ее отсутствием... Здесь уже не скрывают, что нынешние фавориты являются для русского народа еще гораздо более ненавистными, чем были Долгоруковы в последнее царствование, и что, кроме нововведений и новых обычаев, вводимых фаворитами как при дворе, так и в войске, путешествие, задуманное царицею, удобно только для них одних; что касается других русских вельмож, обязанных следовать за царицей, то, так как они по большей части уже вполне почти разорены роскошью, к которой их обязывают, эта поездка была бы для них разорительнее четырехлетней войны с турками... Так, можно сказать, думают русские в настоящее время, и это дает место среди них ропоту, который, может быть, был бы опаснее, чем он есть в действительности, если бы недовольные не были лишены, как оно есть на самом деле, руководителя, способного вызвать тревогу при дворе, и если бы, кроме того, царица не полагалась до такой степени на свою гвардию"**.

** Оно в качестве любопытного документа было переслано Маньяном своему правительству и потому напечатано среди французских бумаг. (Сборник Русского исторического общества, т. 81, с. 156 и др.)*

*** Ibid., с. 159 - 160.*

Итак, бироновщина уже на второй год своего существования "сидела на штыках"... Необычайно яркую картину настроения, переживавшегося теми, кто, казалось, так твердо занял престол, дает рассказ того же автора о способе, каким Анна обеспечила престолонаследие за своей, т.е. старшей, линией дома Романовых, потомками царя Ивана Алексеевича. Самая пылкая фантазия может себе представить при этом обстоятельстве дворцовые интриги, бурные заседания высших государственных учреждений, может быть, подтасованные их решения, но не то, что происходило в действительности. "В ночь с прошлого четверга на пятницу (дело было в декабре 1731 года) царица повелела своему обер-камергеру (Бирону) призвать майора гвардии Волкова и предписать ему собрать к четырем

часам утра все три гвардейских полка перед входом во дворец. Майор, встревоженный тем, какое обстоятельство могло вызвать подобное распоряжение среди ночи, стал просить обер-камергера открыть ему причину, но последний ответил ему, что и сам ее не знает и не советует ему, вдобавок, идти за объяснениями к царице. Волков повиновался. В четыре часа войска стояли под ружьем, а на рассвете царица призвала в свои аппартаменты членов своего совета и главных офицеров своей гвардии и обратилась к ним с речью, содержавшею вкратце следующее: для предупреждения беспорядков, подобных наступившим по смерти ее предшественника царя Петра II и столь противных древним заветам русского правительства, что следствием их чуть не явилась окончательная гибель государства, она, царица, полагает, что в этом случае нет более верного средства, как назначить себе преемника при жизни". Вслед затем сначала приглашенные высшие чины, а следом за ними и вся гвардия присягнули новому наследнику - не столько назначенному, сколько, употребляя военное выражение, "обозначенному", ибо он еще не родился... Им должен был стать несчастный Иван Антонович, политическое существование которого началось, таким образом, под штыками, покончившими с его физическим существованием впоследствии. На редкость "военный" царь, хотя он ни разу в жизни не был на плац-параде! И для дополнения военного характера всего события оно закончилось арестом генерал-фельдмаршала, последнего уцелевшего представителя фамилии Долгоруких, князя Василия Владимировича. Определенные признаки брожения не только при дворе, а и в более широких кругах, можно было заметить уже к осени 1732 года. "На сих днях в разных местах появились пасквили, - доносил 23 сентября этого года саксонский резидент, - в крепость заключены различные государственные преступники, между которыми немало священников; третьего дня привезли еще из Москвы трех бояр и одиннадцать священников; все это держится под секретом. Главная причина народного неудовольствия то, что возобновили взимание недоимок, от которых должны были отказаться царица Екатерина и Петр II". Другие донесения прибавляют еще кое-какие мотивы "народного недовольства", в особенности натуральные повинности, при помощи которых строились не только крепости, а и дворцы Анны Ивановны. Отнимая рабочие руки у помещиков, правительство сильно озлобляло последних; читатель не забыл, конечно, что "народ" иностранных дипломатов это и есть "шляхетство". С формальным заговором, однако же, курляндское правительство встретилось не раньше 1738 года. Он связан с именем Долгоруких и известен исключительно со слов иностранцев, русские документы о нем молчат, и русские историки, начиная с Соловьева, не видят во всем деле ничего, кроме сплетни, пущенной в ход бироновцами для того, чтобы оправдать перед европейским общественным мнением "всенародное" истребление несчастной семьи; на самом деле, новая опала Долгоруких объясняется исключительно мстительностью Анны и Бирона. Психологически не совсем понятна месть, отложенная на семь лет, придумать сплетню было ведь так же легко в 1732-м, как и в 1738 году. Гораздо труднее было обставить дело так, чтобы сплетня подходила к событиям не только 1738-го, а и 1741 года, оправдавшим именно то, что в рассказе иностранцев кажется всего невероятнее. Вот этот рассказ в существенных чертах: возмущенные разорением страны и господством немцев, "некоторые из значительнейших русских фамилий"

стали "искать наиболее подходящих средств, чтобы освободиться от ига чужеземцев и ввести в России, при помощи революции, новую форму правления. Князья Долгоруковы, Нарышкины и Голицыны составили с этой целью неудавшийся заговор, пытаясь возбудить всеобщее волнение и заставить взяться за оружие подданных, принадлежавших к их партии; рассчитывая на поддержку со стороны Швеции, они хотели, таким образом, устранить царицу, принцессу Анну (мать будущего императора Ивана) и супруга ее, принца вольфенбютельского, равно как и всю семью герцога курляндского, истребить, кроме того, немцев или прогнать их из страны. Еврей Либерман, придворный банкир и фаворит герцога курляндского, должен был быть предан в руки разъяренной черни. Согласно этому невыполненному замыслу принцесса Елизавета должна была быть провозглашена императрицей". Какая дичь, скажет всякий, дойдя до места, где говорится о "поддержке Швеции". Но в 1741 году Елизавета стала русской императрицей именно при содействии Швеции, которого она сознательно и настойчиво добивалась, восшествие ее на престол сопровождалось националистической реакцией, и, в частности, ее правление ознаменовано резкими проявлениями антисемитизма, до тех пор настолько чуждого русским официальным кругам, что крещеный еврей мог быть царским министром и одним из "верховных господ". Чтобы сочинить сказку, которая два года спустя сделалась правдой, нужно было или чтобы "сказочники" были гениальными людьми - но именно это качество всего труднее было бы найти у бироновцев, или чтобы история подарила нас случайностью, которая бывает раз в две тысячи лет, но наличность такой случайности нужно, конечно, сначала доказать. По обязанности историка в случае нескольких возможных объяснений выбирать наиболее простое и правдоподобное, приходится остановиться на том, что в процессе Долгоруких мы имеем первую вспышку того, можно сказать, международного заговора, который тянулся около пяти, может быть, лет и закончился событием 25 ноября 1741 года - появлением ночью во дворце цесаревны Елизаветы в качестве "капитана гренадерской роты". Самым же невероятным во всей истории являются не те отмеченные нами подробности, которые внушили недоверие к рассказу русским историкам, а то, что в последний год заговор был "открытой тайной", известной всем и каждому, но у бироновцев было так мало гениальности, что даже при такой обстановке они не сумели с ним бороться.

Зависимость курляндского правительства от Англии не могла ограничиться одной экономической областью. Как ни велики были интересы английских купцов в России, они были ничтожны сравнительно с интересами всемирной английской торговли, сравнительно с задачей создания колониальной британской империи, задачей, падавшей именно на те годы, середину XVIII столетия. В наши дни трудно себе представить, чтобы серьезной соперницей Англии на этом пути могла быть Франция: так кажутся несоизмеримы силы этих двух держав на море. Но этой несоизмеримости не было еще даже в первые годы XIX века, до Трафальгарской битвы, а за семьдесят лет перед Трафальгаром колониальное расширение Англии на всех пунктах земного шара наталкивалось на энергичное и иногда успешное противодействие французов. Белый флаг с лилиями попадался везде на дороге красному английскому: в Северной Америке, в Ост-Индии, в Африке, на Средиземном море, и даже в России. Но Россия после Петра была не только

рынком - это была крупная военная держава, имевшая и свой флот, в нем, правда, англичане не нуждались, и сухопутную армию, в которой бедная солдатами Англия нуждалась всегда. Наем на английскую службу русских штыков стал хроническим явлением в начале XIX века, в дни наполеоновских войн. В половине предыдущего столетия предпочитали нанимать прусские штыки: Фридрих II всю Семилетнюю войну провел при помощи английских субсидий. Но и русскими уже не брезговали, и первый случай найма мы имеем как раз в дни бироновщины: пребывание Финча в Петербурге кончилось (уже после смерти Анны) заключением союзного договора России с Англией, предоставлявшего в распоряжение английского короля корпус русского войска, причем не нашли нужным даже определить, против кого. Указать противника, ненавистью к которому должны были проникнуться сердца русских солдат, любезно предоставлялось Георгу II. Не нужно, впрочем, думать, что этим делалось какое-нибудь исключение для англичан: за несколько лет раньше правительство Анны Ивановны на таких же любезных условиях предоставило 30 тысяч русского войска австрийскому, в те времена еще "германскому" императору. Чтобы достигнуть этой цели, императорский посланник раздал Бирону и его коллегам, во-первых, все те подарки, которые предназначались для Долгоруких, но прибыли уже после смерти Петра II и восшествия на престол Анны (их оценивали в 100 тысяч тогдашних рублей), а к этому еще не одну сотню тысяч флоринов наличными деньгами. Подписание русско-английского трактата дало повод к сцене, не менее выразительной. "8 ноября, отправляясь к графу (Остерману) для обмена ратификаций, - рассказывает Финч, - я захватил с собой и вексель Лаутера на 1500 фунтов на имя его сиятельства, написав на обороте перевод на его банкира, Вольфа, живущего с ним дверь о дверь, дабы графу, для получения денег, оставалось только подписать свою фамилию. "Ваше сиятельство, - сказал я ему, - не раз говаривали мне о своем желании посетить меня в Англии и провести там остаток дней философом (в часы грустного настроения граф действительно высказывал мне эту мысль). Как ни маловероятно осуществление такой мечты, в случае ее осуществления, однако вам пришлось бы, прежде всего, подумать о фунтах стерлингов; поэтому, повинуясь приказаниям короля, позволяю себе просить вас, не разрешите ли мне, вместе с благодарностью его величества вручить вам от его имени вексель в 1500 фунтов, которые сосед ваш, Вольф, выплатит вашему сиятельству немедленно, как только вы подпишете передаточную надпись?" Остерман тогда, после падения Миниха, чувствовавший себя некоронованным императором России, не стал марать руки о такую ничтожную сумму (1500 фунтов - 6 тысяч рублей по тогдашнему курсу: англичане, действительно, пожадничали, но ведь договор был уже заключен...) и отказался.

В ту минуту, когда происходил этот любопытный разговор, деньги оказались бы выброшенными в форточку всего через три недели, некоронованным императором чувствовал себя французский посланник, маркиз Шетарди. Что Франция не могла потерпеть русско-английского договора, это разумелось само собой. Помешать заключению такого договора было главной задачей предшественника Шетарди Маньяна. Сначала, по-видимому, французы имели в виду бороться на равном оружии и действовать подкупом. В этой плоскости шли разговоры французского резидента с Минихом. Всего легче, по-видимому, было удовлетворить самое императрицу Анну: для этого казалось достаточным признать за ней

императорский титул (для французского правительства она была по старому только "царица"). Услыхав такое предложение от Мяньяна, Миних пришел в чрезвычайное оживление, четыре раза повторив, что императрицу ничто не может сильнее побудить к заключению союза с Францией, нежели этот акт вежливости; при этом фельдмаршал "двигался на своем стуле с необыкновенно сильными проявлениями радости". Если бы к этому еще послать несколько кусков хороших вышитых обоев (роскошь, тогда только что начавшая входить в моду в русских барских домах), то дело относительно Анны было бы совсем в шляпе - по мнению Маньяна. Но окружавшие императрицу "курляндцы и лифляндцы" были людьми более практическими: им нужны были "экю", о которых так часто и с такой тоской говорит в своих донесениях французский резидент, а по этой части не только англичане, но даже имперцы были куда сильнее бедного представителя Людовика XV. Французское министерство иностранных дел дрожало над каждым грошем и неумолимо держалось при этом бюрократической отчетности, совершенно немыслимой, когда речь шла о "секретных фондах". Вместо того, чтобы тратить сотни тысяч на подкуп русских министров, Французский кабинет предпочел дать сотни экю на... литературную борьбу с ними. В 1736 году в Париже появилась книжка под напоминавшим известное юношеское произведение Монтескье заглавием: "Lettres moscovites". В основу ее легли воспоминания некоего Локателли (в книжке не названного): по всему судя, то был один из мелких французских шпионов, появление которых в России того времени было более чем естественно. Сам военный, он особенно близко интересовался положением русской армии, и большая часть "писем" посвящена рассуждениям на ту тему, что "московиты" на войне никуда не годятся и бояться их нечего. Быть может, это было и так, но нельзя не заметить, что при данной обстановке невольно вспоминается басня о лисице и винограде. Приключения Локателли кончились для него плачевно: он был арестован в Казани и после продолжительного пребывания в русских тюрьмах выслан за границу. Описанию московитских жестокостей, которое, нужно сказать, мало трогает под пером такого автора, посвящена другая половина книжки. Но всего замечательнее в ней ее послесловие: "издатель" воспоминаний французского шпиона, человек, по-видимому, превосходно осведомленный в русских делах, по поводу описанных Локателли порядков делает ряд жестоких выпадов против "министров иноземцев", управляющих Россией, обещаясь заняться систематическим разоблачением их подвигов в специально издаваемой для того газете. Неожиданный предшественник Герцена в 1736 году! Рядом с этим - и здесь мы имеем самую интересную страницу всего памфлета - "издатель" является горячим сторонником кандидатуры на престол цесаревны Елизаветы Петровны, единственной, по его мнению, законной наследницы, угнетаемой и преследуемой будто бы правительством императрицы Анны.

Все перечисленные черты автора послесловия: ненависть к "немцам", преданность Елизавете, осведомленность в русских делах, давали бы, казалось, возможность назвать определенное имя - автором мог бы быть Волынский или кто-нибудь из его "конфидентов". Памфлетов они, вообще, не были чужды, очень известна тенденциозная переделка кем-то из кружка Волынского полоцкой летописи, переносившая борьбу с немцами в XIII век, причем курляндцы были заменены "поморянами". Соседство с французским шпионом не должно удивлять:

"патриотизм" тех дней был совсем особенный - не видела же Елизавета ничего зазорного в том, что на русский престол ее посадят шведы. Гипотезе о родстве "московских писем" с кружком Волынского противоречит хронология: в 1736 году Артемий Петрович был еще в прекрасных отношениях с "немцами" и делал карьеру при Бироне. Как раз в это время он был назначен обер-егермейстером - не пустой титул, если мы припомним, какой страстной охотницей была Анна. Волынского откинула в оппозицию неудачная конкуренция с Остерманом. Возможно, что тогда он в самом деле втянулся в заговор, не им начатый, но где, конечно, с распростертыми объятиями приняли такого влиятельного союзника. Вполне возможно, однако, что Волынского лично притянули к заговору и сделали его вождем просто для того, чтобы убрать с дороги Остермана, единственную крупную фигуру: насколько дело Долгоруких труднообъяснимо на одной личной почве, настолько гибель Волынского легко поддастся такому объяснению. Внешние подробности трагедии слишком хорошо известны из учебников, чтобы стоило их передавать вкратце, и недостаточно интересны, чтобы стоило ими заниматься детально. Но, оставив в стороне личность Волынского, само дело 1740 года, захватившее массу крупных лиц, таких, как президент коммерц-коллегии Пушкин, например, не могло быть отражением только личных дрязг между членами кабинета. По словам английского резидента, и тут дающего самые толковые сведения, не было почти знатной семьи, которая не была бы затронута следствием; Петропавловская крепость была переполнена арестованными, которых свозили со всей России. Это был новый "провал" заговора, притом гораздо более опасный, чем дело Долгоруких: чтобы воскреснуть, заговор должен был питаться из очень широких общественных слоев. Но питательная среда была настолько хорошо ему обеспечена, что падение Волынского даже не затормозило дела сколько-нибудь серьезно*.

** О деле Волынского см. очерк проф. Корсакова "А.П. Волынский и его конфиденты", опубликованный в "Русской старине" в октябре 1885 года; перепечатан в сборнике "Из жизни русских деятелей XVIII века". Проекты Волынского, которым придает такое значение проф. Корсаков, теперь, когда мы знаем, какую обширную литературу проектов оставили современники Петра, ничего исключительного собой не представляют. О Волынском, как представителе "шляхетских" взглядов, см. ниже, отдел "Теория сословной монархии".*

Быть может, лучшим доказательством того, что Волынский не был чужд подготовлявшемуся перевороту, служит тон, каким отзывается о несчастном кабинет-министре человек, который ради этого переворота, главным образом, и был послан своим правительством в Россию. Послушать маркиза Шетарди, так не было человека менее его интересующегося делом Волынского и менее его понимающего. С неподражаемой наивностью маркиз передает официальную версию, какую давало русское правительство, и ни звука о какой-либо подкладке, о том, что французский дипломат о чем-нибудь догадывается. Негодование по поводу того, что есть такие дурные люди, как Волынский, и только... Скорее всего, так можно было держать себя (что донесения иностранных дипломатов читаются,

это знали хорошо они все) именно относительно попавшегося и потому страшно опасного теперь сообщника. Бог знает, что он может наговорить под пыткой... Но Волынский не выдал на пытке даже имени Елизаветы, которое с долгоруковского процесса было у всех на устах, не говоря уже о более интимных подробностях. Впервые в Петербурге узнали эти интимные подробности лишь после смерти Анны, как мы знаем, из английского источника. 14 апреля 1741 года Финч передал Остерману следующую депешу английского министра иностранных дел, лорда Гарингтона: "В секретной комиссии шведского сейма решено немедленно стянуть войска, расположенные в Финляндии, усилить их из Швеции еще 12 тысячами человек, снарядить со всевозможною поспешностью пятнадцать военных кораблей и все галеры. Франция для поддержки этих замыслов обязалась выплатить два миллиона крон. На предприятия эти комиссия ободрена и подвинута известием, полученным от шведского посланника в С.-Петербурге Нолъкена, будто в России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой, княжны Елизаветы Петровны и соединиться с этой целью со шведами, едва они перейдут границу. Нолькен пишет также, что весь этот план задуман и окончательно улажен между ним и агентами великой княжны с одобрения и при помощи французского посла, маркиза де ла Шетарди, что все переговоры между ними и великой княжной велись через француза-хирурга, состоящего при ней с самого ее детства. Вы легко поймете, насколько для общего дела и в видах охранения свободы Европы (!) важно, по возможности, предупредить успех подобных замыслов, долженствующих отдать весь Север во власть Швеции, а, следовательно, поставить его в полную зависимость от Франции, так как великая княжна может удержаться на престоле единственно при ее помощи"...

Английская депеша совершенно точно устанавливала "соотношение сил" в заговоре: его инициатива шла, действительно, не от Франции, как следовало, по логике вещей, а от Швеции. С французским проектом в данном случае было то же, что со многими другими французскими проектами; практический смысл он получил в руках нефранцузов. Депеши самого Шетарди вполне подтверждают английскую версию: и у него на первом плане Нолькен со ста тысячами экю*, тогда как сам французский посланник ссудил Елизавету всего двумя тысячами рублей, да и то заняв их у одного из чиновников своего посольства, который выиграл их в карты. Все позднейшие россказни о шестистах тысячах дукатов, которых будто бы стоило Франции воцарение дочери Петра Великого, не находят себе никакой опоры в документах. Восстановление на престоле "истинной наследницы" взяла на себя та самая держава, с которой Петр воевал всю жизнь, у которой он отнял восточный берег Балтийского моря, и Швеция затеяла все предприятие с исключительной целью - получить отнятое обратно. Это составляло самую пикантную сторону готовившегося переворота. Нолькен настойчиво требовал у Елизаветы Петровны письменного обязательства дать Швеции территориальное вознаграждение в случае удачи. То, как вела себя цесаревна в этом деле, показывает, что с 1730 года она многому научилась. Искуситель не мог от нее добиться не только подписи на бумаге, но даже сколько-нибудь определенного словесного заявления. В беседах с Нолькеном и Шетарди Елизавета выражала свои чувства вздохами, взглядами, улыбками, покачиваньем головы, но говорила чрезвычайно мало и в самых общих выражениях. При этом поддержку Швеции она ценила необычайно высоко и не

решалась сделать сколько-нибудь серьезного шага, пока Стокгольмский кабинет определенно и официально не заявит себя ее союзником. Только обещанием шведского манифеста в соответствующем духе Нолькену удалось выманить у нее нечто более уловимое, чем взгляды и улыбки. 9 сентября 1741 года в руках у шведского посланника был, наконец, документ, где было черным по белому написано, что Елизавета обязывается в случае своего воцарения: 1) вознаградить Швецию за все издержки (по ведению войны с Россией); 2) платить Швеции субсидии в течение всей своей жизни; 3) предоставить шведам все преимущества, данные (правительством Анны) англичанам; 4) отказаться от всех договоров и конвенций, заключенных Россией с Англией и австрийским домом, и никогда не вступать в союз ни с кем, кроме Франции и Швеции; 5) отстаивать, наконец, при всяком случае интересы Швеции и выдавать для этой цели шведам секретно, без ведома нации, всякие суммы, в которых у этой державы может встретиться надобность. Едва ли нужно обращать внимание читателей на то, что русская история знает мало более скандальных договоров: особенно "хорош" последний пункт, которым Елизавета обязывалась обманывать свою "нацию", русский народ, в пользу его исконного неприятеля. Но формально цесаревна и здесь сумела удержаться на границе приличия, правда, уже на самой границе, так что дальше идти было некуда. Во-первых, обещания территориальных уступок (для шведов, повторяем, в них было все дело) нет и здесь. А главное, и на этой бумаге, написанной, конечно, не ее рукой, не стояло ее подписи; по ней "присягнули" за Елизавету камер-юнкер Воронцов и (упоминавшийся в английской депеше) ее врач, Лесток; но такая "клятва" едва ли имела какое-нибудь значение, с точки зрения Международного права. Словом, франко-шведская союзница заранее принимала все меры, чтобы обмануть своих "друзей", как только представится к этому физическая возможность. А возможность представилась скорее и легче, чем, конечно она сама могла ожидать.

** Французская монета, по тогдашнему курсу 6 ливров - немного менее современного рубля.*

Английский донос, по-видимому, отдавал заговорщиков с руками и ногами правительству Анны Леопольдовны - номинальной регентши при номинальном императоре одного года от роду. Фактически Елизавета и ее союзники были в руках Остермана. Когда Остерман попал в руки дочери Петра, та знала, что с ним делать, и неудавшийся правитель России умер в Березове. Но когда эту счастливую позицию занимал сам "величайший русский дипломат", он совершенно не знал, как ему поступить. Из чрезвычайно сбивчивых объяснений его на допросе* можно понять только одно: по поводу "извета" Финча - тотчас же нашедшего себе подтверждение с разных других сторон - при дворе много толковали и, в конце концов, пришли к весьма неопределенному решению - "наблюдать". Но наблюдали за Елизаветой давно; уже в январе этого года за ней была организована форменная слежка, доставлявшая аккуратно сведения, кто приходил к цесаревне, и куда она ездила. Ни малейшей попытки пойти дальше этого не было сделано. Заговор рос, как снежный ком, в него скоро было посвящено около трети всех гвардейский офицеров (54 из 160, по донесению Шетарди от 27 июня - за полгода до

переворота!), а Остерман все "наблюдал"... Можно думать, что у великого человека петербургских канцелярий просто не хватало духу тронуть гвардию, силу которой он знал и перед которой чувствовал себя совершенно беспомощным. Муж правительницы по его совету делал чрезвычайно жалкие попытки "перекупить" кое-кого из заговорщиков. Те деньги брали, но тотчас же с хохотом несли их показывать матушке-цесаревне, куме чуть не всего гвардейского Петербурга. Фельдмаршал Миних, придя раз в Новый год поздравить Елизавету Петровну, "был чрезвычайно встревожен", увидав, что весь дом великой княжны наполнен гвардейскими солдатами, он с четверть часа не мог прийти в себя, а это просто кумовья пришли поздравить свою куму. А когда те же гвардейцы пришли поздравлять "правительницу" Анну Леопольдовну, та спряталась от них за часовых и боязливо выглядывала оттуда на эти совершенно чужие ей лица. В этих двух анекдотах - все "соотношение сил" низвергавших и низвергаемых. Остерман имел основание быть осторожным...

** Напечатаны в исторических бумагах, собранных К.И. Арсеньевым (Сборник отдела русского языка и словарей Академии наук, т. 9).*

Но мы были бы несправедливы, если бы отнесли столбняк остатков бироновщины в эту трагическую для них минуту только к их личной трусости. Бироновщина давно и неудержимо разлагалась. Хронологическая последовательность фактов была такова: 17 октября 1740 года умерла от каменной болезни императрица Анна. "Не бойся", - были последние сознательные слова, которые слышал от нее ее фаворит. Совет был кстати - Бирон был в жестокой панике, и паника была основательна. В противоположность Меншикову, который стал хозяином положения именно в ту минуту, когда его покровитель умер, курляндский герцог после смерти своей покровительницы чувствовал себя в положении рыбы, вытащенной на песок. Настаивая на том, чтобы его назначили регентом, он руководился не жаждой власти, а просто инстинктом самосохранения. Не только под ним почва тряслась - заговоры Долгоруких и Волынского были уже совершившимся фактом, - но и на своих он не мог положиться. В предсмертных судорогах он цеплялся за расположение тех, кто все царствование Анны был для него просто предметом эксплуатации. Сбор подушной подати снова (уже в который раз) был передан в руки помещиков, причем сама подать уменьшена на треть, не считая прощения недоимок. Была обещана уплата полностью жалованья петербургским чиновникам и офицерам (оно при Анне платилось не очень исправно) и по крайней мере в половинном размере провинциальным. Масса галерников (часто сосланных за долг казне) были выпущены из тюрем. Но он сам не верил в эффект всех этих мер. Сообщив об этих милостях, французский посланник прибавляет: "Питейные дома, которые были закрыты в течение нескольких дней, теперь снова открылись. Шпионы, которых там держат, ежедневно хватают и ведут в тюрьму всех тех, кого раздражение или водка побуждает отважиться на малейшее неосторожное выражение. Так как гвардии не доверяют, вызвано шесть батальонов (армейских), а также двести драгунов". "Прибегать к таким предосторожностям тем более, может быть, благоразумно, что брожение среди народа весьма сильно, - прибавляет Шетарди, - гвардейские

солдаты говорят смелей, чем когда бы то ни было, и им не смеют ничего сделать". Едва ли это было злословие по адресу Бирона: лично против него сторонники Елизаветы Петровны пока ничего не могли иметь, ибо Бирон в числе других заискивал и перед нею, назначив ей ежегодную пенсию в 50 тысяч рублей (около 400 тысяч золотом). Удар пришел, однако, не оттуда, откуда его ждали: "народного восстания", хотя бы при участии одной гвардии, не потребовалось. Один из членов бироновского же правительства, Миних, с несколькими гренадерами, оказался достаточно силен, чтобы произвести "государственный переворот": в ночь на 9 ноября (1740) герцог был арестован. Совершенно не видно, чтобы его счастливым соперником руководили какие бы то ни было политические соображения, он просто хотел сесть на место Бирона, воображая, что при своей популярности между солдатами он будет на этом месте прочнее. К его удивлению, когда его самого вскоре ссадил с этого места Остерман, гвардия не шелохнулась: ей нужен был совсем не Миних. Но это был в то же время единственный бироновец, умевший хоть разговаривать с солдатами. Победитель всех своих коллег, оставшись один у власти, оказался в том трагически беспомощном положении, какое мы видели...

Для солдатской массы уже переворот 9 ноября был сделан в пользу Елизаветы, в казармах толковали, что Миних для этого и арестовал герцога. Когда выяснилось, что номинально последнего заменила Анна Леопольдовна, гвардейцы были жестоко разочарованы. А мало-мальски наблюдательным людям стало ясно, что для низвержения остатков бироновского правительства вовсе не нужно ни шведского флота, ни французских миллионов, довольно немного решительности и одной роты гренадер. Шведский проект пришел слишком поздно для Швеции, и если Елизавета за него уцепилась, то, главным образом, потому, что у нее самой решительности было немногим больше, чем у ее противников. Как известно, гренадерам пришлось взять инициативу на себя, и роль Елизаветы в ночной операции 25 ноября 1741 года была более декоративная. Так как шведы перед этим только что допустили себя разбить в Финляндии, то Елизавета с большим основанием могла впоследствии утверждать, что ничем им не обязана. Гренадеры имели сердце более благодарное. Конечно, они слишком хорошо помнили Северную войну, чтобы примириться со шведами. Но когда несколько из них, порядочно выпивши, пришли раз во дворец и застали там маркиза де Шетарди, они, облобызав ручку императрицы, пожелали непременно поцеловаться и с французским посланником: он был теперь тоже их кумом. "И он поцеловался с этими янычарами", - со скрежетом зубов писал об этом факте английский посланник, ему его ставка казалась окончательно проигранной. Последствия не замедлили обнаружить, что он очень ошибался.

Новый феодализм

Военный характер нового царствования: лейб-компания; Елизавета - "полковница". Лагерные нравы двора - Дворянский резким; роль сената - Пережитки бироновщины; Россия и Англия при Елизавете Петровне: Лесток; Бестужев; вел. княгиня Екатерина Алексеевна - Переворот 28 июня 1762 года как окончательная ликвидация бироновщины - Внутреннее управление; деятельность

сената; служебные льготы дворянству; финансовая политика Шувалова - Новый феодализм в деревне: вотчина-государство

"Третьего дня вечером, - писал своему начальнику злосчастный Финч, с небольшим через три недели после вступления Елизаветы на престол, - государыня, присоединив к 141 гренадеру еще сколько нужно других людей для комплекта в 300 человек, образовала из них лейб-компанию, в которой все нижние чины объявлены поручиками, капралы и сержанты - капитанами и майорами, а шесть человек, на долю которых выпали главные хлопоты при последнем перевороте, - подполковниками. Офицеры еще не назначены; определено, однако, что прапорщики лейб-компании умеют пользоваться чином бригадира, два подпоручика - чином генерал-майора, а поручики - чином генерал-лейтенанта армии. Расквартирована лейб-компания будет в Домах, нарочно для нее купленных государыней вокруг дворца. Капитаном ее будет сама царица. Она заказала себе гренадерскую шапку и мундирную амазонку и станет во главе лейб-компанцев, как только обмундировка их будет закончена". В знак особенной милости образчики этой обмундировки, занимавшей такое важное место в предпринимавшейся новой государыней важной мере, были показаны игравшим с нею в карты иностранным дипломатам, в том числе и Финчу: об его доносе уже знали, но старались соблюсти внешние приличия и продолжали его принимать. То же соблюдение внешних приличий заставляло позаботиться и еще кое о чем, кроме обмундировки. Разговаривая с теми же дипломатами по поводу нового мундира, Елизавета Петровна добавила, что намеревается "мало-помалу из теперешнего состава лейб-компании удалить наиболее развращенных и пьющих (их там немало) и со временем устроить так, чтобы весь отряд состоял из одних дворян (хотя и теперешние все возведены в дворянство)". Но лейб-компанцев гораздо легче было украсить цветным сукном и золотым шитьем, нежели какими-нибудь буржуазными добродетелями, вроде трезвости и воздержанности. Когда одного запьянствовавшего гренадера из императрициной роты его начальство посадило под арест, его товарищи, как один человек, объявили бойкот императорскому двору, и никто из них во дворец в этот день не явился. Елизавета, узнав об этом, "немедленно и очень любезно приказала освободить арестованного и простила его". "Замечательное поведение гренадер должно вызвать на размышления, - замечает по этому случаю Финч. - Они явно сплотились в строгий союз, дабы стоять одному за всех и всем за одного, что, пожалуй, не позволит ее величеству осуществить предположенное удаление наиболее распущенных из их среды. Пожалуй, и объявленное прощение было вызвано не столько милосердием, сколько страхом; она (ее величество), пожалуй, признает себя зависимой от них; здешняя знать, по крайней мере, чувствует их господство над собой".

Елизавету Петровну так принято изображать доброй русской барыней. Она действительно находила такое же удовольствие "быть постоянно окруженной толпой холопов", как и "менять свои туалеты по 4 и по 5 раз на дню", и то и другое засвидетельствовал хорошо ее знавший человек, маркиз де Шетарди. Смешно было бы отрицать в Елизавете генерические черты того типа, первый образчик которого на русском престоле явила императрица Анна. Но жанровая сценка, которую нарисовал нам только что неудачливый противник счастливого маркиза,

показывает, что в области генерических черт у нее, пожалуй, еще больше было сходства с ее матерью: как и Екатерина, Елизавета была, прежде всего другого, "полковницей". Эту параллель можно бы провести до мелочей, до любви к венгерскому, например, столь прочной и интенсивной, что, по словам того же французского дипломата (который был для Елизаветы, кажется, кое-чем больше, нежели просто "представителем дружественной державы"), ничем нельзя было лучше угодить новой царице, как подарив ей хороший запас этого вина доброй марки. Или до любви к "развлечениям", опять-таки столь интенсивной, что только богатырское здоровье дочери Петра, не подточенное хроническим недугом, как у ее матери, позволило ей продержаться двадцать лет, вместо двух лет царствования, которые судьба послала Екатерине I. Ни одно царствование, не исключая Екатерины II, не поддается до такой степени превращению в chronique scandaleuse, как это. Не предполагая состязаться со специалистами этого жанра, мы не будем пускаться в подробности интимной жизни Елизаветы Петровны*. Отметим только, что черт сходства с казармой или с лагерем в придворном быту ее времени гораздо больше, нежели типичных черт помещичьей усадьбы. Последняя, прежде всего, нечто неподвижное, веками вросшее в землю, владелец если и выезжал из нее, то только по крайней необходимости. Почитайте записки Екатерины II: перед вами картина какого-то кочующего табора. "Зеркала, постели, стулья, столы и комоды перевозились из зимнего дворца в летний, оттуда в Петергоф, и даже ездили с нами в Москву"... Жили в наскоро построенных деревянных домах, где зимою вода текла со стен и куда людей набивали, как селедок в бочку. Великая княгиня (тогда единственная на всю Россию), жена наследника престола, должна была спать в проходной комнате, через которую поминутно бегали ее камерфрау и просто горничные, в количестве семнадцати душ, набитые в комнате рядом, не имевшей другого выхода, как через великокняжескую спальню. Ассенизационные приспособления при этой женской казарме живо напоминают реалистическое описание русского бивуака в известной сцене "Войны и мира". Но этим неудобства не исчерпывались: "Ко мне набиралось оттуда столько всякого рода насекомых, что я, бывало, не могла уснуть от них", - жалуется Екатерина. Нередко эти эфемерные постройки рушились, и только по счастливой случайности от одной из таких катастроф уцелела русская династия. Еще чаще они сгорали, как груда щепок, раньше, чем успевали опомниться: от большого московского дворца Елизаветы в ноябре 1753 года через три часа ничего не осталось, кроме кучи угольев.

** Недаром "La derniere des Romanov" является, несомненно, лучшим томом в длинной серии трудов Валишевского, посвященных XVIII веку. Нам случалось читать, что теперь и эту книгу перевели по-русски: не видав перевода, мы не можем ручаться за его полноту. Когда-то Валишевский удостоился очень сурового отзыва со стороны одного весьма известного историка-материалиста: писания Валишевского были охарактеризованы, как лакейские сплетни. Может быть, суровый критик вспомнит, что всего в 90-х годах XIX столетия гораздо менее жестокую по своей правдивости "Историю Екатерины II" Бильбасова пришлось издавать в Лондоне? Разрушать официальный обман, гипнотизировавший ряд поколений, всегда дело полезное - между прочим, именно с*

точки зрения материалистического понимания истории, нигде исторический идеализм не чувствует себя так уютно, как под благодетельным покровом этого обмана.

Елизавета так привыкла к деревянным домам, что с трудом представляла себе другие, когда ей донесли о лиссабонском землетрясении; первое, что ей пришло в голову - это послать португальскому королю лесу на постройку нового города. Ее с трудом убедили что пока придет русский лес, португальцы давно успеют отстроиться. Но императорскому лагерю не всегда хватало даже этих деревянных бараков, и тогда двор размещался, как армия на походе, в палатках. Когда императрица "ходила пешком" из Москвы к Троице (эта экспедиция обыкновенно продолжалась целое лето), мы всего чаще встречаем ее в этом солдатском помещении. В палатке происходила и знаменитая сцена с ежом, которого императрицин шут принес показать своей госпоже, чем напугал ее до полусмерти. Так как императорский испуг - дело серьезное, то шутом и ежом занималась впоследствии тайная канцелярия... Приехала императрица в Ревель - бал устраивается в ее палатках; а так как во время бала полил, как из ведра, дождь, то скоро полностью была воспроизведена знакомая нам картина петровского праздника в Летнем саду. Промокшие гости могли, по крайней мере, утешать себя тем, что традиции преобразователя не забываются его дочерью. В Рогервике двор опять стоит в палатках, поставленных прямо на жесткие голыши прибрежья: у Екатерины четыре месяца потом болели ноги от ходьбы по этим голышам. Другой раз она сильно простудилась, потому что в ее палатку набралось по щиколотку воды. Для лагерной жизни короткое платье лучше подходило, нежели пышные дамские "робы" того времени, и если мы так часто встречаем Екатерину на страницах ее записок в мужском костюме, то причиной этого было не одно кокетство - соображения практического удобства требовали того же. Военному быту соответствовали и военные нравы: в записках Екатерины карты встречаются не реже, чем они встречались бы в воспоминаниях какого-нибудь гусарского поручика. В Козельске (куда судьба ни заносила императорский лагерь!) "в большой зале, занимавшей середину дома, постоянно с утра до вечера шла игра в фараон и по большой цене, зато в остальных комнатах была теснота". Чтобы великая княгиня могла держаться на соответствующей ее званию высоте, ей выдавались специальные суммы "для игры в фараон" - суммы, довольно значительные: однажды упоминается 3 тысячи рублей, не меньше 20 - 25 тысяч золотом. "На другой день по приезде нашем в Катериненталь (в Ревеле) придворная жизнь пошла прежним, обыкновенным порядком, т. е. в зале, занимавшей середину двухэтажного дома и составлявшей переднюю комнату императрицы, с утра до поздней ночи происходила карточная игра, довольно значительная... Я наравне с другими играла в фараон, которым обыкновенно занимались все любимцы императрицы, если не уходили в покой ее величества, или, лучше сказать, в ее палатку. Эта большая и великолепная палатка была разбита возле ее комнат... Итак, даже когда были комнаты, предпочитали жить в палатке: правда, комнаты "были очень малы". Но на тесноту вообще, как мы видели, не обращали внимания*. Елизавета Петровна, может быть, очень хотела бы видеть вокруг себя лакеев, но в казарме и лагере чаще поневоле видишь солдат, а солдаты с первых же шагов

показали, что с ними нельзя обращаться, как с лакеями. Гвардейское шляхетство твердо решило не повторять ошибки 1730 года и, заняв престол своим человеком, не выпускать этого человека из-под своего наблюдения. "Интересы", которые таким наблюдением охранялись, пока дело шло о лейб-компании, были, конечно, весьма примитивные. Но за буйной и пьяной шляхетской молодежью стояло старшее поколение, для которого опыт бироновщины тоже не прошел даром. "Сенат, составленный из русской знати, начинает приобретать большой вес и старается возвратить ее царское величество к старорусским взглядам", - доносил (от 8 июля 1742 года) преемник Финча сэр Кириль Уэйч. Полгода спустя он говорит даже, что сенат "покушается на прерогативы" императрицы. С целью будто бы отпарировать эти покушения, последняя организует "новый совет или кабинет из 6 - 7 лиц". На таких воззрениях английского представителя, по-видимому, сказалась некоторая удаленность его от придворных центров, слишком естественная после инцидента с Финчем. Елизавета долго после не могла переносить англичан. Как-то она залюбовалась большим портретом Петра, висевшим в одной из комнат дворца. "Какой художник его писал?", - спросила она. Ей назвали английское имя. Она поспешно отвернулась и пошла прочь, с тех пор портрет ей перестал нравиться. От более близкого к делам Шетарди мы знаем, что совет - не в виде учреждения, таким он никогда не сделался, а на правах домашнего кружка "ближайших сотрудников" - существовал уже через месяц после переворота. В него входят более влиятельные сенаторы (в их числе мы встречаем и обломок Верховного тайного совета в лице фельдмаршала князя Вас. Влад. Долгорукого, освобожденного Елизаветой из Шлиссельбурга, и бывшего лидера шляхетства 1730 года, князя Черкасского, ставшего при Елизавете великим канцлером), но их близость к императрице так же мало стесняла сенат, как учреждение, как наличность кабинета из лидеров большинства палаты общин мало стесняет эту последнюю. Кабинет стесняет не парламент, а личную власть. Сенат Елизаветы Петровны больше подходил, по своему политическому значению, к Верховному тайному совету, нежели какое бы то ни было другое учреждение раньше или после. Вассалитет феодальной монархини, провозгласив ее государыней (в самом буквальном смысле этого слова, как известно, в манифестах о вступлении на престол Елизавета Петровна писала, что она приняла правление по прошению всех своих верноподданных, "а наипаче лейб-гвардии нашей полков"), стал вести себя, как вел всегда и везде всякий вассалитет: в лице наиболее крупных сеньеров он взял управление в свои руки. После полувекового перерыва Россия стала, наконец, опять той "дворянской Россией", какую мы видели накануне Петра.

---

* *Мы далеко не исчерпали, само собою разумеется, бытового содержания записок Екатерины. Это, как известно, их самая сильная сторона, что касается рассказа о личных отношениях автора, то тут мы имеем в "записках" не историю, а роман, и притом весьма тенденциозный.*

В чем заключалось это, теперь уже действительно дворянское, управление Россией, начавшееся 25 ноября 1741 года, в день вступления Елизаветы на престол, и оборвавшееся 6 ноября 1796 года, почти ровно через пятьдесят пять лет, в день смерти ее невестки? В нем легко подметить две полосы: одну, когда просто

выполняется программа 1730 года, не та, какая в довольно туманном виде носилась в голове литературных представителей движения, а та, которая была доступна и понятна каждому среднему "шляхетному", и которая вся. сводилась к избавлению шляхетства от тягостей, наваленных на него службою торговому капиталу. Эта полоса охватывает царствования Елизаветы и Петра III; ее кульминационным пунктом является манифест о "вольности дворянства" от 18 февраля 1762 года. С этого момента пассивная оборона может считаться достигнувшей своей конечной цели: "тягости" с шляхетства все сняты. Но одержанная социальная победа пробуждает дремавшие еще в 1730 году политические инстинкты. Дворянство скоро не довольствуется фактическим приспособлением к своим нуждам обломков петровских учреждений, как это было с елизаветинским сенатом. Оно хочет организовать все государство заново"" по-своему. У него теперь оказывается действительно, программа, правда и теперь не особенно стройная, но, во всяком случае, гораздо более детально разработанная, нежели в 1730 году. Выполнение этой программы и споры около нее наполняют вторую полосу дворянской политики - межевыми камнями этой полосы можно поставить 1,767 год, год созыва екатерининской комиссии, и 1785 год, издание жалованной грамоты дворянству. Но в тот момент, когда, казалось, остается только "увенчать здание", обнаружилось, что под ним уже нет фундамента. Пугачевский бунт наметил первый сдвиг почвы, и с тех пор непрерывно тряслось то там, то сям. Пришлось строить спешно новую оборонительную систему, чтобы защищаться уже не от деспотизма сверху, а от революции снизу. В этой лихорадочной работе были брошены мало-помалу за борт все "заветы" предшествующего поколения, а когда система при Николае Павловиче была закончена, то оказалось, что ею нечего оборонять, ибо те "ценности", во имя которых велась вся работа, к 40-м годам XIX века не стоили уже ни гроша. Надо было начинать всю стройку снова - и получились реформы Александра II.

Изучение последовательных этапов дворянской политики XVIII и первой половины XIX веков составит содержание ряда ближайших глав "Русской истории". В настоящей главе мы не будем выходить из пределов первой полосы первого периода этой политики (1741 - 1796). Но прежде чем говорить о том, чем она была, излагать ее положительное, с точки зрения дворянских интересов, содержание, приходится сказать несколько слов о том, чем она не была: эта отрицательная ее сторона тесно связывает ее с предыдущим периодом. Иначе читатель может подумать, что 25 ноября 1741 года было в самом деле какой-то катастрофой, что одна Россия провалилась в преисподнюю, а другая внезапно возникла на ее месте. Ничуть не бывало: в известном смысле - и притом в главном ее смысле - "бироновщина" непрерывно продолжала существовать во все царствование Елизаветы. До тех пор, пока она не задевала чувствительно интересов дворянства, на нее просто не обращали внимания. Только изведав на опыте Семилетней войны, к каким последствиям она может привести, ей положили конец переворотом 28 июня 1762 года.

Мы видели, что дворянская оппозиция при Бироне шла под национальными лозунгами: "против немецкого ига". Мы видели также, что у этой субъективной стороны дворянского движения были известные объективные основания: "немцы" были на жалованье заграничного капитала и продавали ему русские интересы и

русские штыки по мере спроса. Мы видели также, что собственно национальность "немцев" была здесь ни при чем: курляндец Бирон продавал Россию не своим соотечественникам, но англичанам. После 25 ноября 1741 года у власти должны были стать "чисто русские" люди: в смысле национальности это действительно и было так. Черкасские и Трубецкие, Куракины и Нарышкины, Головин и Бестужев, Ушаков, Чернышев, Левашов - эти имена членов императорского совета 1741 года говорят сами за себя. Но вот странно: иностранные агенты хлопочут больше не около них - за некоторыми исключениями, - а около не занимавшего никакого почетного поста человека с иностранным именем. И этот человек, врач Елизаветы Петровны, француз Лесток скоро благополучно ставит внешнюю политику России на те английские рельсы, с которых она чуть-чуть не соскочила из-за глупости правительницы Анны Леопольдовны и трусости Остермана. Присмотримся к деятельности этого Лестока, или, лучше сказать, к деятельности английских дипломатов по отношению к этому Лестоку, и мы увидим очень знакомую картину. Меньше, нежели через год после торжества "национальных начал" вот что писал своему министру преемник Финча: "Не стану беспокоить вас подробным рассказом обо всем, что я предпринимал со времени своего приезда к русскому двору для приобретения дружбы и доверия Лестока. Не жалея ни здоровья, ни денег, я провел с ним несколько ночей, играл с ним на большие суммы, чтобы приобрести его расположение и, наконец, нашел случай... внушить, что для него и почетно и выгодно будет воспользоваться своим влиянием на советников ее царского величества для поддержки мероприятий, угодных его величеству (Георгу II Английскому). Он дал мне всевозможные уверения, что впредь будет держаться поведения, направленного к поддержанию теснейшего союза между королем и царицей. Чтобы поддержать Лестока в таком расположении, выгодном для службы королевской, я предложил ему, именем его величества, пенсион, который он и принял с готовностью, не допускающей сомнения в его намерении оказаться достойным милости, которую король разрешил мне оказать ему". В Лондоне не особенно доверяли хирургу Елизаветы Петровны не в силу его французского происхождения, а так как знали, что он получает пенсион и от Франции. Английским министрам казалось невероятным, чтобы один и тот же человек мог служить сразу двум враждующим между собою державам, не обманывая одной из них. Но Кириль Уэйч, к тому времени уже достаточно осмотревшийся в Петербурге, глядел на вещи шире. Он вполне допускал, что Лесток, может быть, обманывает обоих своих давальцев, но что, тем не менее, при некоторой ловкости каждый из них может извлечь из него свою долю пользы. "Очень вероятно, что Лесток получает пенсион от Франции, - писал он, - но вне сомнения, что он на днях же был мне очень полезен для ускорения подписания нашего контракта". И он настоял на том, чтобы этому полезному человеку дали пенсию (правда, не очень щедрую: 600 фунтов, т.е. около 2 1/2, тысяч рублей, в год, да еще взяли при этом нечто вроде расписки). Притом же Уэйч, недаром "просвещенный мореплаватель", был слишком осторожен, чтобы держать свой корабль в такое бурное время на одном якоре, у него было их несколько. Еще раньше, чем Лестока, он отметил будущего руководителя иностранной политики при новом царствовании. "Братья Бестужевы достойны получить осязательные доказательства (some sensible proof) милостивого расположения к ним его величества, - писал он еще в июле 1742 года.

- Поведение их всегда оставалось неизменным, всегда было направлено к утверждению теснейшего союза морских держав с Россией. И они, полагаю, не стеснятся принять милость от короля, так как его величество не может потребовать от них взаимно ничего, что бы не соответствовало их собственным взглядам, а также действительным, несомненным выгодам Российской империи". Но час фавора Бестужевых еще не пришел - поэтому с пенсионом для них решено было обождать. Тем не менее один из братьев, скоро ставший очень знаменитым, Алексей Петрович, уже тогда занимал весьма крупный официальный пост: был вице-канцлером, товарищем министра иностранных дел, а фактически министром, так как номинальный канцлер, князь Черкасский, не знавший иностранных языков, притом старый и больной, мог только носить титул, но ничего не делал. Что такой важный чиновник, державший в руках все дела, мог на эти дела иметь меньше действительного влияния, нежели придворный доктор императрицы, это, конечно, необычайно характерно для елизаветинского режима. Но англичанин брал вещи такими, каковы они есть, и в то время, как доктору платили постоянное жалованье, притом за полгода вперед, министр иностранных дел получал сдельно и лишь в случае удачи. Убедившись, что "вице-канцлер хорошо служит королю и раз чуть было не поплатился за расположение к благому делу", решено было выдать и ему 8 тысяч рублей единовременно. Бестужев закапризничал, стал толковать, что он без разрешения императрицы не может взять денег, и такою добродетелью сначала поставил было в тупик Уэйча. Тот никак не мог понять, что же, собственно, Бестужеву нужно? Ларчик скоро открылся просто: неподкупный человек желал иметь на 1500 рублей больше. Английский дипломат не без брезгливости сообщает об этой мелочности "хорошо служившего" английскому королю русского министра*. Впоследствии англичане, однако, привыкли к изворотам Бестужева, постепенно дошедшего до такой виртуозности, что он брал взятки не только с разрешения императрицы (Елизавета знала, что ее министры берут, и раз, в сердцах, сказала это в глаза Бестужеву), но, можно сказать, ее руками. Операция обставлялась так: Бестужев "закладывал" свой дом английскому консулу; "заем" был, разумеется, фиктивный, фактически деньги шли из секретных фондов Английского кабинета. Но императрице, улучив добрую минуту, обыкновенно за столом, после нескольких бокалов шампанского или венгерского, кто-нибудь из друзей канцлера докладывал, что тот дошел до крайней нужды - даже дом, где он живет, в сущности уже не его. Елизавета была женщина добрая, хотя и вспыльчивая; снести такой нищеты своего верного слуги она не могла, Кабинет получал приказание выдать Бестужеву потребную сумму на выкуп его дома. История умалчивает, получал ли что-нибудь из этой суммы английский консул, надобно думать, что он был бы крайне изумлен, если бы ему стали возвращать "долг". Бестужев же получал вдвойне и притом лояльность его была гарантирована настолько прочно, что в нее верили не только многие современники, но даже и профессора истории XIX века**.

** См. депешу Уэйча от 3 мая 1743 года (Сборник Русского исторического общества), т. 99, с. 340.*

*** Бильбасов. История Екатерины II, т. 1, с. 71, примеч. (Автор приводит этот факт, ничтоже сумняшеся, тотчас после того, как он присоединился к мнению*

Екатерины II о "неподкупности" Бестужева. Чего стоит мнение Екатерины по такому вопросу, мы сейчас знаем. Наивность же самого Бильбасова как нельзя лучше демонстрирована Вали-шевским, которому, впрочем, нетрудно было это сделать; см.: La derniere des Romanov, p. 117 ssq).

Бестужев называл свою политику - не относительно дома, разумеется, а относительно Англии - "системой Петра Великого". На самом деле она гораздо больше заслуживала названия системы Бирона, первого покровителя Алексея Петровича, который в Кабинете Анны сел на место Волынского. Результаты 25 ноября 1741 года в области внешних отношений были быстро стушеваны, почти ровно через год, 30 ноября 1742 года, между Россией и Англией был подписан "союз дружбы, единения и обоюдной защиты, с принадлежащими к нему сепаратными и секретными статьями". Елизавета Петровна могла сколько угодно не выносить звука английского имени и уверять, что все английское "будет ей всегда противно", она была такою же союзницей Георга II, как и обе Анны, императрица и правительница. В борьбе английского и французского капитализма, которая составляет основной фон всей международной политики первой половины XVIII века, и тот эпизод, который разыгрывался за кулисами петербургского двора, разрешился в пользу Англии. Недавний "кум" лейб-компанцев, второе лицо при дворе после императрицы ("первый поклон отвешивают еще Елизавете, а второй уже, конечно, французскому посланнику", ядовито замечал один не французский посланник), маркиз де Шетарди, скоро оказался в самом комичном положении "неприятного иностранца", высылаемого из России без права обратного въезда. Для достижения такого блестящего результата Бестужеву достаточно было показать императрице расшифрованную с большой ловкостью его агентами переписку ее французского "друга". Она нашла там такие выражения о своей особе, что в себя не могла прийти от негодования, тем более, что характеристика была верная*. Нужно прибавить, что в не менее комическое положение попала и Швеция, так рыцарски обнажившая меч на защиту прав дочери Петра: вместо обратного получения, в награду за рыцарство, провинций, отнятых у нее Петром, она должна была (по миру 1743 года) уступить России еще добрую полосу своей финляндской территории. Ибо, вступив на престол, Елизавета немедленно позабыла с таким трудом вытянутые у нее обещания, а так как на поле битвы шведам не везло, то трудно было их напомнить. Англичане, постепенно возвращая себе все позиции, занятые при Анне и чуть не потерянные в 1741 году, одновременно могли себя утешить, что и привилегия одевать "национальную" армию Елизаветы Петровны осталась за ними, как и в дни "немецкого ига". В конце 1743 года был подписан контракт с английскими купцами "на обмундирование трех гвардейских полков, полков артиллерии, флота и всех армейских полков". Контракт был пятилетний. "Это очень важно, - прибавляет, сообщая новость, Уэйч, - так как мы за это время из году в год будем в состоянии продавать русскому правительству на пятьдесят тысяч фунтов стерлингов одного грубого сукна, не считая лучших сортов и тончайшего сукна, отправляемого через Россию в Персию". Персидская английская компания также продолжала действовать при Елизавете, но не дала тех выгод, каких раньше от нее ждали.

---

* *Она напечатана (быть может, не без пропусков) с подлинника в Сборнике Русского исторического общества, т. 105, с. 233.*

У этих успехов английской дипломатии была, однако, оборотная сторона: они внушили победителям такую уверенность в себе, что те стали считать себе дозволенным все, раз дело шло о России. Не говоря ни слова своей союзнице, Англия заключила (5 января 1756 года) наступательный и оборонительный союз с Пруссией, с которой у России с 1750 года были прерваны всякие дипломатические сношения. Надо иметь в виду, что русско-английский союз был направлен, главным образом, против Пруссии, что Фридрих II был, можно сказать, "персональным" неприятелем Елизаветы Петровны, не терпевшей его, если это возможно, еще больше, чем англичан: она называла его "Шах-Надиром прусским" и с ужасом говорила, что прусский король, кажется, и в церковь не ходит; что, наконец, в это самое время Австрия, днем с огнем искавшая союзников против Фридриха, была в Петербурге наготове с баснословными, по своей соблазнительности, предложениями: Елизавета просила 4 миллиона флоринов субсидии и получила два. Так как от субсидий в карманах фаворитов и министров императрицы всегда оставалось достаточно, это могло быть уравновешено лишь исключительными щедротами английского кабинета, который как раз теперь, взяв на содержание прусскую армию - первую армию в Европе, - стал скупиться на приобретение русской. Англичане везде предпочитали первый сорт. И вот - такова объективная сила денег! - англофильское правительство (канцлером продолжал оставаться Бестужев) принимает участие в Семилетней войне, последнем эпизоде великой колониальной борьбы Англии и Франции, на стороне последней и против первой. Казалось, что было за дело русским помещикам и крестьянам, что где-то, на берегах реки св. Лаврентия, в Канаде, солдаты в синих мундирах обменялись выстрелами с солдатами в красных? Да что было до этого за дело и помещикам и крестьянам прусским? И тем не менее стоило начаться англо-французской войне, началась прусско-австрийская, а за нею и русско-прусская. Мы не будем входить в подробности этой войны - первой большой европейской, в какой, после 35-летнего промежутка, приняла участие Россия. Но чтобы закончить характеристику "бироновщины после Бирона", нельзя не сказать несколько слов о том способе, каким Англия и в этом случае ухитрилась все-таки обеспечить свои интересы.

"Около Троицына дня (1755 года - следовательно, за год до начала войны) прибыл в Россию английский посланник кавалер Уильяме, - рассказывает в своих записках Екатерина II. - В свите его находился граф Понятовский, поляк, отец которого держал сторону Карла XII, шведского короля. Императрица приказала отпраздновать именины великого князя в Ораниенбауме. К нам съехалось много народа; танцевали в той зале, которая при входе в мой сад, и потом в ней же ужинали; посланники и иностранные министры также явились. Помню, что за ужином английский посланник, кавалер Уильяме, был моим соседом, и мы вели с ним приятную и веселую беседу: он был умен, сведущ, объездил всю Европу - с ним нетрудно было разговаривать". Разговор шел, впрочем, не о всей Европе, а только о графе Понятовском. По случайности как раз около этого времени Екатерина узнала, что прежний предмет ее внимания, Сергей Салтыков, после рождения Павла Петровича вынужденный покинуть Россию, ведет за границей

очень рассеянную жизнь и "волочится за всеми дамами, какие ему попадаются". Женское самолюбие Екатерины было задето, в сердце ее чувствовалась пустота, красивый и обаятельный польский граф, приехавший в Петербург в свите английского посланника, стал в великокняжеском дворце желанным гостем. Надежда Уильямса, что Понятовский "будет иметь успех в России", исполнилась очень быстро, впрочем, английская дипломатия и гораздо раньше, еще в дни Уэйча, имела ясное представление о политической роли, какую может сыграть в России "красивый молодой дворянин". Только, держа на жалованье русского министра иностранных дел, англичане пренебрегали этим средством, предоставляя им пользоваться более бедным или более скупым французам. Оценив Понятовского, нельзя было не почувствовать благодарности и к Уильямсу, виновнику его появления при петербургском дворе. Английский "кавалер" был не только интересным собеседником. Екатерина была страшная мотовка, как ни старается она замаскировать этот факт в своих мемуарах; в деньгах она постоянно нуждалась; просить же их у императрицы было не всегда удобно, вернее, всегда неудобно. Елизавета принималась в этих случаях ворчать и распространяться об ее собственной бережливости, когда она была цесаревной (в действительности она была в те времена в долгу, как в шелку, несмотря на то, что и Анна и Бирон были к ней щедрей, чем она к своей невестке). Можно себе представить приятное удивление великой княгини, когда она узнала от Уильямса, что под руками есть отличный способ "перехватить" в критическую минуту все у того же волшебника, английского консула. Факт этих "перехватываний" удостоверен документально; самый крупный из известных заем в 44 тысячи рублей (более 350 тысяч) относится к ноябрю 1756 года, когда война была уже решена, и русский главнокомандующий, приятель Екатерины, Апраксин, уже отправился к армии. А 18 декабря Уильяме* вот что писал своему Кабинету: "Посылаю вам самые верные известия, которые только удалось мне получить относительно планов, касающихся русской армии. Они были сообщены мне здешним лучшим моим другом (ma grande amie), великою княгиней. Она имела весьма продолжительный разговор с фельдмаршалом Апраксиным в ночь накануне его отъезда в Ригу, и то, что я пишу вам теперь, есть только точный список того письма, которым ее высочество почтила меня на другой же день". 7 января депеша Уильямса была в руках Фридриха II, а 8-го русский операционный план был сообщен фельдмаршалу Левальду, командовавшему против Апраксина. В утешение читателя мы можем только прибавить, что этот акт, находящий себе вполне определенную квалификацию не только в международном, но и в уголовном праве - практических последствий не имел. На практике русская армия обошлась без всяких операционных планов. Прошло чуть не полгода раньше, чем Апраксин, очень не хотевший воевать, собрался, наконец, перейти прусскую границу. К этому времени вся обстановка настолько изменилась, что планы, составлявшиеся осенью предшествовавшего года, никуда более не годились**.

** Так как война шла формально с Пруссией, а не непосредственно с Англией, то дипломатические сношения с последней не прерывались. Это было очень удобно англичанам.*

*** См. об этом инциденте у Билъбасова (т. 1, с. 318 и приложение III, с. 453). Бильбасов, конечно, отчаянно защищает свою героиню и храбро обвиняет Уильямса во лжи. Но аргументы его не сильнее, чем в деле с Бестужевым. Что изложенный Уильямсом, со слов Екатерины, план был нелепостью, очень возможно, но мало ли в нашей военной истории нелепостей еще больших? А что Уильяме медлил с его сообщением полтора месяца (главный козырь историка Екатерины II), так тот сам объясняет причину, чего Бильбасов не заметил. "Я все еще надеюсь добыть инструкцию, данную Апраксину, - пишет Уильяме, - мне обещали уже два раза, но эти обещания еще не исполнены". Подлинная инструкция была бы куда ценнее дамского письма: было из-за чего подождать.*

Русское дворянство, тысячами клавшее свои головы в бессмысленной, с точки зрения его классовых интересов, войне против Пруссии, никогда не узнало, кто играл его головами. Но тягости пятилетней (для России) войны нельзя было не почувствовать. Ко времени смерти Елизаветы положение было таково, что всякое разумное правительство поспешило бы как-нибудь выпутаться из дела. Когда мы читаем, что за январскую треть 1760 года жалованье войскам удалось выдать только в половинном размере, да и то медными деньгами, а чтобы добыть эти последние, пришлось переливать пушки в монету, знаменитая фраза Елизаветы Петровны о распродаже ее бриллиантов и туалетов, если понадобится, на нужды войны, перестает казаться только фразой. Но если императрице приходилось подумывать об отказе от привычной для нее роскоши (при дворе ее времени принято было переодеваться 3 - 4 раза в день, причем сама Елизавета Петровна редко надевала вторично однажды виденное публикой платье, так что цифра 15 тысяч платьев, о которой говорили современники, не покажется фантастической), то для дворянства, благодаря той же войне, начинало не хватать необходимого; если бы не отсрочка платежей в основанный Елизаветой дворянский банк, большая часть его клиентов осталась бы без имений. По этому положению заемщиков банка, составлявших привилегированное меньшинство помещиков, можно судить о положении большинства. Причина была та же, что и во время петровских войн: годами не живя в имении, офицер или солдат-помещик поневоле запускали хозяйство. А к исполнению воинской повинности тянули почти так же неукоснительно, как и при Петре: требовали даже старых, больных, даже никогда, фактически, военными не бывших, например, горных офицеров отправляли в действующую армию. Рекрутские наборы следовали один за другим, отбирая у владельцев крепостных деревень лучшие рабочие руки. Манифест о вольности дворянства - дело рук, в действительности, елизаветинского министра Воронцова (Петр III к изданному им манифесту не имел, в сущности, никакого отношения) - был не только логическим завершением дворянского царствования, это было слишком естественное стремление разрядить сгустившуюся атмосферу. Работа упраздненной одновременно тайной канцелярии была лучшим барометром, и барометр этот показывал бурю.

Когда Петр III, под влиянием личных симпатий к Фридриху II, поспешил заключить мир, этому, в сущности, все очень обрадовались. "Негодование" же он вызвал не этим, а намерением начать новую войну против Дании из-за Голштинии. Сопоставление фактов не оставляет ни малейшего сомнения, что

непосредственный толчок к гвардейскому мятежу 28 июня 1762 года дало именно это. Когда 3 июня высочайшим повелением были прекращены отпуска и всякие другие "отлучки" людей от полков - знак близкого похода - по Петербургу толпами ходили гвардейцы, "почти вьявь" ругая Петра III. В это же время вербовка заговорщиков Орловыми начинает идти особенно бойко, и только с этого времени самый серьезный человек заговора, Панин, серьезно за него принимается. Он понял, что груша созрела... Чем ближе поход, тем настроение острее. 26 июня был заготовлен провиант для гвардии от Петербурга до Риги. В тот же день вечером один капрал Преображенского полка спрашивает поручика Измайлова: "Скоро ли свергнут императора?" 27 июня "Преображенский солдат, вышед на галерею, зачал говорить, что когда выйдет полк в Ямскую, в поход в Данию, то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу возлюбленную матушку государыню, которой мы рады служить". Гвардии переворот помешал выступить, но двинутые ранее армейские полки, не дожидаясь приказаний, повернули к своим квартирам, как только узнали о низвержении Петра*. Судьба этого злосчастного государя становится нам понятна только в связи с его не менее, чем он сам, злосчастной внешней политикой.

** Бильбасов, т. 2, с. 2, 3, 6, 15, 36.*

До тех пор, пока дворянство не почувствовало внешней политики на своих боках, оно не имело поводов в нее вмешиваться. Если мы хотим найти дворянскую реакцию в царствование Елизаветы, мы должны ее искать в политике внутренней. Здесь картина получается совершенно отчетливая: шляхетство, наконец, добилось своего. Елизаветинский сенат, как уже давно заметили исследователи, был центром дворянского режима. "Без преувеличения, правление Елизаветы Петровны можно назвать управлением важнейших сановников, собранных в сенат", - говорит Градовский, и "нельзя не согласиться, что сенат неуклонно вел подчиненное ему сословие к свободе рядом практических мер"*. Градовский совершенно справедливо отмечает, что такое значение сената было тесно связано с сосредоточением в столице массы дворян: сенат был орудием социальной политики гвардии, как лейб-компания - орудием ее придворного влияния. Возрождающийся феодализм нашел свой центр, составленный, как и все феодальные центры, из представителей вассалитета не по избранию, а по положению. В сенат вошло все, что было повиднее среди шляхетства: "звание сенатора сделалось важнейшим отличием и ставится впереди всех других званий сановника. Петр Иванович Шувалов назывался просто сенатором Шуваловым". Особенно характерна для елизаветинского сената его власть над армией. "Обе воинские коллегии были обязаны строгою отчетностью пред сенатом в денежных суммах, находившихся в их распоряжении... По его (сената) распоряжению формируют новые полки. Он заботился об образовании молодежи, приготовляющейся к военной службе... Укомплектование полков и наборы вполне находятся в его распоряжении... Обмундирование и продовольствие армии находилось под его руководством, так что генерал-кригс-комиссары, кажется, имеют дело больше с ним, чем с военною коллегиею; точно то же следует заметить и об вооружении армии. Образцы оружия обыкновенно присылались в сенат,

который уже распоряжался о сделании оружия по этому образцу для всей армии... Общий бюджет армии составлялся в сенате, который, по представлению воинской коллегии, распределял сумму на военные расходы"**. И в этой области классовое значение сената успело сказаться достаточно рельефно. Рекрутчина брала у помещиков много рабочих рук: сенат заботился, говоря словами одной записки Петра Шувалова, о сохранении в рекрутских наборах такой пропорции, чтобы и армия была укомплектована, "число же народа, прежде в то употребляемое, сим способом оставшееся, умножало б народ к земледелию". И если в проведении этой политики сенат, по словам той же записки, обнаруживал некоторую вялость, то он, во всяком случае, чрезвычайно энергично боролся с попытками крепостных самовольно поступать в армию, попытками, которые петровским законодательством прямо поощрялись. Опираясь на петровские указы, дворовые "порознь и целою толпою" стали подавать Елизавете просьбы о принятии их в военную службу. "За таковое их вымышленное и противное указам (!) дерзновение учинено им на площади с публикою жестокое наказание; которые подавали челобитные не малым собранием, тех били кнутом, и пущие из них заводчики сосланы в Сибирь на казенные заводы в работу вечно; а которые подавали челобитные порознь, тех били плетьми, других батогами и по наказании отданы помещикам"***. В то же время для самих дворян служба всячески облегчалась. При Елизавете было отменено драконовское правило Петра, согласно которому недорослей, не явившихся к смотру, отдавали "вечно" в солдаты и матросы. Одновременно с этим при Елизавете окончательно укореняется обычай, не нашедший себе выражения в законодательстве, но который для дворян был полезнее всех писаных законов по этой части: обычай записывать в службу детей. Фактически дети, разумеется, не служили и нередко на руках у няньки уже пробегали первые ступеньки иерархии. Пяти- и семилетние капралы и сержанты к началу их действительной службы бывали уже офицерами, и пожелание шляхетских требований 1730 года, чтобы дворянских детей в нижние чины не отдавать, осуществлялось при помощи такого обходного движения без дальних хлопот и без помощи Кадетского корпуса.

** Высшая администрация России XVIII столетия и генерал-прокуроры. - Соч., т. 1, с. 193 и 221.*

*** Ibid., с. 207, 208.*

**** Из журналов Сената у Соловьева (изд. "Общественной пользы", кн. 5, с. 158 - 159).*

Но настоящей сферой дворянской политики сената должны были стать финансы: мы видели, что подушная подать являлась своего рода барометром, по которому сейчас же можно было узнать, от чьего имени действует правительство. При Елизавете этот барометр неизменно показывал для дворянства "очень ясно" - и даже с наклонностью к "великой суши". Именно донесения иностранных дипломатов от самого начала царствования сохранили нам чрезвычайно любопытный проект совершенного уничтожения подушных путем замены их увеличением соляного налога, который будто бы предполагалось отдать на откуп Демидову. Последний обещал доставлять ежегодно не меньше, чем давала

подушная подать. В такой чистой форме проект не осуществился, но стремление к упразднению номинально крестьянского, а на практике дворянского налога (упомянутый нами иностранный дипломат необычайно точно определяет подушные, как "подать, платимую каждым помещиком со своих крестьян") составляет постоянную тенденцию финансовой политики Елизаветы, притом тенденцию сознательную. Душа этой политики, тот же П.И. Шувалов, писал сенату в 1758 году: "Народ есть главная сила государственная, и потому надобно желать, чтобы народ, положенный в подушный оклад, от сего платежа совсем был свободен". Это звучало очень красиво и очень отвечало интересам помещиков. На практике возможно было, конечно, не достижение идеала, а только более или менее близкое к нему приближение. При вступлении Елизаветы на престол подушный оклад уменьшен на 10 копеек на два следующие года - 1742 и 1743-й, что должно было оставить в карманах помещиков около миллиона рублей (9 - 10 миллионов золотом). В 1752 году подушный оклад вообще был уменьшен на 3'/4 копейки, а манифестом от 15 декабря этого года прощена вся недоимка подушного сбора с 1724 по 1747 год - более двух с половиною миллионов рублей (20 - 25 золотом). Не совсем грамотно, но очень велеречиво манифест мотивировал эту высочайшую милость тем, что "империя так силою возросла, что лучшего времени своего состояния, какое доныне не было, несравненно превосходит в умножившемся доходе государственном"... Несравненно больше значения, нежели все частные льготы, имела мера принципиальная, назначенная, в самом начале царствования, по представлению сената, новая ревизия. Мотивировка ее не оставляет ничего желать еще по своей социальной выразительности. Сенат просил императрицу учинить ревизию "для удовольствия всех помещиков и пресечения доныне происходящих непорядков и в платеже отбывательства и запущения впредь доимок... и на будущее время производить ее через 15 лет, чем все непорядки... пресекутся, а бедные и неимущие помещики, кои сами и жены и дети в доимках под караулом содержатся и помирают, от такого бедствия свободятся". Даже крупнейшая финансовая реформа царствования - уничтожение в 1753 году внутренних таможен - рассматривалась проводившими ее с той же точки зрения. Ее инициатор, все тот же Шувалов, начинал с указания на то, какие обиды терпит от устаревшей таможенной системы крестьянство; интересы буржуазии, которые нам кажутся, естественно, господствующими в подобного рода перевороте, для него стоят на втором плане, и не видно даже, чтобы главный из этих интересов - развитие внутренней торговли - им отчетливо сознавался. Главная выгода, какую извлечет из реформы купечество, по мнению Шувалова, - это то, что оно избавится от таможенных должностей. Зато он много распространяется о тех мытарствах, которые приходится испытывать крестьянину, везущему "на продажу от Троицы в Москву воз дров". Но дрова эти чаще всего были барские, или из вырученных за них денег крестьянин должен был заплатить барский оброк.

Естественно является вопрос, кто же расплачивался за все эти льготы в пользу шляхетства, льготы, которые должны были образовать порядочную брешь в государственном бюджете: одно упразднение внутренних таможен должно было уменьшить доходы казны на миллион почти рублей. Тот же "народ", о котором так заботился Шувалов, но только в иной форме. Упразднение внутренних таможен было покрыто огромным повышением внешних таможенных пошлин - в 2 /2 раза.

Правда, что до нормы петровского тарифа 1724 года и теперь дело далеко не дошло, и что большую часть заграничного привоза все еще составляли, если не предметы роскоши, то, во всяком случае, предметы потребления высших классов. Но эти последние жили или крестьянским трудом или крестьянским оброком. Рост этого последнего в елизаветинское царствование достаточно показывает, что положение "народа" не улучшалось с облегчением платежей, падавших так или иначе на помещика. Возьмем один пример: в Загорской волости Московского уезда крестьяне платили своему барину в 1740-х годах. 300 рублей оброку, в начале 1750-х - уже 2300, в 1766 году - 3 900 рублей*. Но и все другие финансовые эксперименты Шувалова и руководимого им в этой области сената сводились к такому же переложению податного времени с плеч дворянства на плечи других классов - ив первую голову крестьянства. Грандиозный проект отдачи сей соли в России на откуп одному лицу, Демидову, не осуществился, но это не помешало правительству Елизаветы при помощи более мелких мер жить на счет того же соляного налога. Тенденция и здесь была настолько же сознательная, как в деле уменьшения подушной подати. Уже в 1745 году Шувалов, со ссылками на всевидящее око, отца отечества, матерь отечества и тому подобные возвышенные предметы, начал подходить к вопросу, как бы это открыть в государстве "такой пункт, который бы во время надобности бессумни-тельно доход государственный умножил", притом такой, который "умаления себе вовсе иметь не может, но будет единое обращение циркулярное бесконечное". Суть этих витиеватых рассуждений сводилась к тому, чтобы увеличить продажную цену вина и, в особенности, соли: вместо прежних различных по разным местностям цен, от 3'/2 до 50 копеек, за соль была назначена однообразная цена в 35 копеек за пуд, от чего Шувалов ожидал увеличения соляного дохода с лишком на миллион рублей. Этот миллион можно было добыть или этим путем, или повышением цены на вино - коренную, так сказать, казенную монополию, иначе пришлось бы увеличить подушную подать, как объясняет Шувалов, а это, мы знаем, "исключалось условиями задачи". В конце концов пришлось прибавить и на вино, и на соль. От увеличения цены на соль, по словам князя Щербатова, уменьшилось потребление соли, и развились болезни. Повышение цен на вино сделало более выгодной тайную продажу его; финансовая политика вынудила Шувалова на полицейские меры, очень выразительно изображенные тем же Щербатовым. "При милосерднейшей государыне учредили род инквизиции, изыскующей корчемство и обагрили российские области кровию пытанных и сеченных кнутом, а пустыни сибирские и рудники наполнили сосланными в ссылку и на каторги, так что считают до 15 000 человек, претерпевших такое наказание". Зато, благодаря увеличению соляного налога, можно было осуществить ту сбавку подушных на 3 '/4 копейки в год, о которой мы говорили выше. А увеличение дохода от винной монополии дало еще более блестящие результаты: от продажи вина удалось сэкономить 750 тысяч рублей, на которые был основан первый в России дворянский банк.

** Семевский В.И. Крестьяне в царствование Екатерины II. Изд. 2-е, т. 1, с. 57. (Детально хозяйственные условия эпохи будут рассмотрены в одной из следующих глав, в связи с экономическим переворотом в XVIII веке.)*

Как видит читатель, в министре финансов Елизаветы Петровны (Петр Шувалов фактически был им) мы имеем родоначальника того направления, которое для нашей дворянской политики стало классическим. Знакомый с новейшими фазами этой политики ищет еще одного: бумажных денег, ассигнаций. Бумажек Шувалов не любил, усматривая "от подделывания банковых билетов опасность, и бумажки вместо денег народу не только дикими покажутся, но и совсем кредит повредится, потому что при употреблении банковых билетов в торгах всякие помешательства и обманы могут происходить". Он нашел более безопасным средство национально-русское: медные рубли. Правда, сравнительно с попыткой времен царя Алексея то, на что пошел Шувалов, было лишь полумерой. Чеканить прямо медные целковики при Елизавете не решились, ограничившись номинальным удвоением цены обычных медных денег: вместо 8 рублей из пуда стали чеканить монеты на 16. Смысл меры, однако, и теперь был тот же самый. "Все усилия сената были направлены к тому, чтобы удержать серебряную монету в казне, оставив для народного обращения одну медную, которая была отдана в его полное распоряжение, - говорит Градовский. - Серебряную монету приказано было выменивать из обращения по установленной цене, а все имеющие ее должны были являться с нею; за утайку было положено наказание. В судебных местах серебряную и золотую монету велено было обменивать на медную для произведения выдачи, дабы золотая и серебряная монета в казне всегда оставалась, а медная циркуляцию иметь могла". Вообще на все казенные расходы сенат приказывал употреблять медные деньги, "всемерно стараясь удерживать золотую и серебряную монету в казне". Золото и серебро положительно считались казенною принадлежностью; за тайную их сплавку сенат грозил жестокими наказаниями*. И результат был приблизительно тот же, лишь менее грандиозный, чем в середине XVII века. "Пятикопеешники медные привел ходить в грош, - говорит о Шувалове князь Щербатов, - и бедные подданные на капитале медных денег, хотя не вдруг, но три пятых капитала своего потеряли". Если прибавить к этому тучу казенных монополий: смоляную, поташную, табачную, рыбную и т. д., то сходство елизаветинской России с дворянской Россией XVII века будет весьма полным. В царствование Екатерины II туземному капитализму приходилось начинать приблизительно с того же, с чего начала петровская Россия**.

** Цит. соч., с. 195, прим. 1.*

*** Разумеется, что монополии елизаветинского времени фактически были в руках разного рода "верховных господ" - ловля рыбы на Белом море была, например, "на откупе" у самого Шувалова. Торговля хлебом тоже была монополией, как и при царе Алексее, и вот какой документ по ее поводу приводит Градовский. В 1757 году гр. Воронцов писал Шувалову: "Злоключительное мое состояние, которое я от великих долгов имею, вашему п-ству совершенно известно; ежели вы по милости своей не испросите прошению моему от Е. И. В. позволения о выпуске до ... тыс. четвертей хлеба, мне никогда из горестного состояния выйти не можно; я слышу, что от сената уже некоторым купцам дозволено отсюда хлеба выпустить: не лучше ли бы было, чтобы я сей милостью пожалован был? На сих днях минет срок по векселю заплатить барону Вольфу (мы*

его знаем - это английский консул) 26 тыс. рублей"... Дальше Воронцов обещает Шувалову половину барышей.

Буржуазные наслоения первых лет XVIII века были смыты теперь основательно, и старый социальный материк должен был выступить наружу. Если при елизаветинском дворе феодальные черты уже били в глаза, то елизаветинская деревня дает столь ярко феодальную картину, что аналогичной мы не найдем, пожалуй, и в предшествующем столетии, правда, не найдем, быть может, только по недостатку данных. Елизаветинский дворянин был таким "государем в своем имении", каким был разве московский боярин до Грозного. Центральная власть, еще недавно, при Петре, довольно энергично вмешивавшаяся во внутренние отношения вотчины, незаметно отходит в сторону. Указ 1719 года, предписывавший отдавать в монастырь "под начал до исправления" тех дворян, которые разоряют крестьян своих вотчин, был, собственно, единственной юридической сдержкой помещичьего произвола на весь XVIII век, но и о ней "предшественники Екатерины II, по-видимому, совсем забыли"*. Зато с необычайной последовательностью практика этих "предшественников" проводит точку зрения на крестьянина, как "подданного" своего барина. Уже один из указов конца петровского царствования делает вотчину чем-то вроде маленького самостоятельного государства, требуя от ушедшего в город на заработки крестьянина паспорта, выданного помещиком и визированного, так сказать, представителями центральной власти - земским комиссаром и полковником. В случаях недальней отлучки или когда правительство по тем или другим причинам желало облегчить крестьянский отход, так было, например, по отношению к судорабочим, визы правительственных агентов не требовалось и достаточно было разрешения одного помещика, точно так, как и теперь в пограничных местностях для облегчения сношений упрощают паспортные формальности. Елизаветинский закон (1760), предоставивший помещикам право налагать на своих крестьян одно из самых тяжких уголовных взысканий - ссылать их в Сибирь, - был одним из дальнейших шагов на пути этого распыления государственной власти между отдельными землевладельцами. Как бы для того, чтобы подчеркнуть суверенный характер помещичьего господства, на решение барина в этом случае не полагалось апелляции, в то же время, чтобы барин не потерпел материального ущерба от результатов своей расправы, сосланный засчитывался ему в рекруты. "Вследствие позволения, данного дворянству, произвольно, по своему усмотрению, отправлять в ссылку ему подвластных, причем суд даже не может спросить о причине ссылки и исследовать дело, ежедневно совершаются самые возмутительные дела, - писал Екатерине II новгородский губернатор Сивере в 60-х годах. - Все, кто не годится в рекруты вследствие малого роста или другого какого недостатка, должны отправляться в ссылку в зачет ближайшего рекрутского набора, а зачетные квитанции многие продают. Признаюсь, не проходит дня, чтобы мое сердце не возмущалось против подобной привилегии. Какая потеря для войска и для земледелия! К тому же, Сибири достигают сравнительно немногие, если принять во внимание огромное расстояние и убыль ссылаемых на пути. Мне кажется, что дворянство могло бы удовольствоваться правом отправлять в ссылку в зачет рекрут виноватого, изобличенного в довольно тяжелом преступлении. Если же помещик

захочет кого-нибудь сослать по собственному усмотрению, то мог бы сделать это без зачета в рекруты". Как видим, екатерининский губернатор был очень скромен, он не притязал на лишение государя-помещика права ссылать своих подданных в Сибирь, а только желал бы, чтобы тот пользовался этим правом без ущерба для дворянского государства в целом. Помещичьи права юридически были ограничены лишь в одном пункте: права жизни и смерти над своими крестьянами помещик никогда не получил. Попытки, нужно заметить, были в этом направлении: в проекте уложения, составленном при Елизавете, предполагалось подвергать помещика судебному преследованию за убийство крепостного лишь в том случае, если он совершил это убийство лично, притом не случайно, а с заранее обдуманным намерением. Если крепостной умирал от последствий жестокого наказания, назначенного барином, но исполнявшегося другими людьми (крепостным кучером, например), проект возлагал ответственность на этих последних. Это было почти восстановление знаменитого правила Двинской грамоты XIV века: "а господин огрешится, ударит холопа на смерть, в вину ему того не ставить" - только в более лицемерной форме. Проект не стал законом, может быть, просто потому, что в глазах Европы - с нею как раз в это время начинают считаться - было бы уже очень зазорно, а между тем практической надобности в таком самообнажении вовсе не было: на практике помещики запарывали своих крестьян насмерть чуть не ежедневно, и никто в это не вмешивался. Даже когда свирепые наказания не вытекали естественно из уголовной юрисдикции помещика, а являлись просто любительским мучительством, на них смотрели сквозь пальцы: дело об известной "Салтычихе" начиналось двадцать один раз без всякого результата. Когда уже дело рассматривалось в юстиц-коллегии, челобитчики на Салтыкову, ее крепостные, были, по распоряжению сената, наказаны плетьми: так строго сенат соблюдал правило, неоднократно подтверждавшееся в течение XVIII века, что на барина государю бить челом нельзя. За границу помещичьего государства центральная власть могла проникнуть или по собственному почину, или по почину самого помещика; но для подданных этого последнего государство кончалось его барином - идти дальше без позволения барина они не смели.

** Семевский, цит. соч., с. 379.*

Нравы маленького государства, меньше подвергавшегося влиянию наносных буржуазных тенденций, чем большая царская вотчина, лучше сохранили допетровскую старину. Это сказалось, прежде всего, на названиях. Из иностранных терминов сюда проник только бурмистр, а то мы встречаем "земских", "целовальников", "приказную избу", совсем как в Московской Руси XVII века. Еще более духом XVII века веет на нас от помещичьей уголовной юстиции: помещичьи судебники (таких, как известно, дошло несколько от XVIII века), особенно более ранние из них, как судебник Румянцева, относящийся к 1751 году, не знают еще наказания розгами, а говорят только о батогах. Розги в то время были иноземным новшеством, усиленно пропагандировавшимся у нас остзейскими помещиками, считавшими это наказание более, если можно так выразиться, гигиеничным: боль такая же, а для здоровья не так вредно, как палки (батоги). Едва ли где-нибудь в

официальной практике можно было встретить в то время "рогатину", применявшуюся на одном уральском заводе: тяжелый железный ошейник, с рогами до одного аршина во все стороны и с железным висячим замком, который бил заключенного в "рогатину" по спине. Пытка в государственной практике начала отмирать в то время, ее применяли теперь только при политическом розыске да при следствии по важнейшим уголовным делам. В одном случае, запрещая употреблять пытку при маловажных преступлениях, елизаветинский сенат высказался даже принципиально против нее. В помещичьем государстве пытка продолжала процветать, и находились особые любители заплечного мастерства, которые в свое время, вероятно, не ударили бы лицом в грязь перед самим "князем-кесарем" Ромодановским. Уже в начале царствования Екатерины один орловский помещик, Шеншин, устроил у себя в деревне форменный застенок со всеми приспособлениями - дыбой, клещами и т.д. Притом это было учреждение таких размеров, что далеко не всякая воеводская изба XVII века могла бы похвастаться подобным: у Шеншина "работало" иногда до 50 человек палачей и их помощников. Не хуже Преображенского приказа! Пытали не только крепостных, но и свободных: однодворцев, канцеляристов, даже священников. На пытке одного купца и сорвалось все дело: купец пожаловался, и, так как он был не крепостной, начался процесс. Поводы к помещичьей пытке тоже живо напоминают годуновские времена: священника Шеншин пытал, подозревая в том, что тот давал его дворовым "чародейский корень", чтобы извести барина. Другой помещик пытал своего крестьянина, его жену и сына по подозрению в том, что они его испортили. Любители пытки были, конечно, редкостью, однако они не были все-таки какими-нибудь извергами. Бить крепостного считалось настолько нормальным делом, что этим не гнушались представители тогдашней интеллигенции, притом, что особенно интересно, они сами потом рассказывали о своих подвигах как о деле вполне обычном. Болотов, автор известных мемуаров и автор книжки "Путеводитель к истинному человеческому счастию", изданной Новиковым, сам рассказывает, как он истязал своего крепостного столяра, подвергая его сечению в несколько приемов, чтобы не засечь до смерти, а в промежутках держа его на цепи. Он довел этим самого столяра до самоубийства, одного из его сыновей до покушения на самоубийство, а другого до покушения на убийство самого Болотова, но даже этот трагический исход не навел Болотова на мысль, что он совершил нечто ненормальное; напротив, ненормальными людьми, "сущими злодеями, бунтовщиками и извергами" оказались у него замученные им крепостные, хотя он сам признает, что раньше сыновья столяра были хорошими работниками.

В литературе главное внимание долго было обращено на уголовную юстицию государя-помещика: в этом нельзя не видеть отзвука старой, еще дореформенной точки зрения на помещичьи неистовства как на "злоупотребление" крепостным правом. Так живучи однажды установившиеся взгляды: самое "право" давно осуждено, а историки задним числом все еще хлопочут доказать, что им "злоупотребляли"! Благодаря этой односторонности очень плохо изучено до сих пор законодательство маленького феодального государства вне уголовной сферы. Мы очень хорошо знаем, сколько палок или розог отмеривали помещичьи судебники согрешившим крепостным, как были устроены помещичьи застенки и тюрьмы, но у нас есть лишь очень отрывочные сведения о влиянии помещиков,

например, на развитие наследственного права в русской деревне. А такое влияние было. В "приказчичьей инструкции" гр. Шереметева (1764) очень детально устанавливаются правила крестьянского раздела после смерти главы семьи. К сожалению, мы не можем судить, насколько эти правила являются измышлением барина, насколько они просто отражают господствовавшие в его деревнях обычаи. На счет помещика, по-видимому, должна быть отнесена одна тенденция - стремление возможно затруднить дробление крестьянских тягол, до объявления "выморочными" участков, которым не отыскивалось наследников ближе правнучат: выморочные земли шли помещику. Как царь XVII века, так и помещик XVIII столетия давали своим крестьянам жалованные грамоты на владение землями. Таков, например, один "указ" того же Шереметева своему крепостному Сеземову: "Покупным тобою на мое имя... недвижимым имением (таким-то) тебе и установленным по тебе наследникам владеть дозволяю, чего ради для владения и дан сей указ". В купленном Сеземовым "недвижимом имении" были и крепостные. "Той вотчины между крестьян суд и расправу иметь ему, Сеземову", - говорит другой документ, вышедший из шереметевской канцелярии. Шереметевские крестьяне приобретали себе крепостных на барское имя еще в 1718 году: внутренний строй маленького государства оказывался, таким образом, довольно точной копией большого. Мы сравнивали выше Кабинет министров Анны с вотчинной конторой огромного имения: наблюдения над тем, как управлялись вотчины гр. Орлова, навели одного современного нам писателя на ту же параллель с другого конца. Крепостные приказчики, сидевшие в главной конторе Орлова, были "в миниатюре скорее государственными людьми, нежели агрономами... Они докладывали о деле вместе со своим проектом резолюции, подписанным ими единогласно или с мнениями и представлениями, а граф, по рассмотрении всего дела и мнения конторы, возвращал их в контору со своим утверждением или с измененными приказами". Такие конторщики и взятки брали не хуже современных им министров: после них оставались состояния в десятки тысяч рублей, хотя жалованье они получали грошовое*.

** Семевский В.И. Крестьяне в царствование Екатерины II, Изд. 2-е, т. 1, с. 241. (Большинство предыдущих цитат заимствовано оттуда же.)*

Теория сословной монархии

Политическая теория нового феодализма; олигархические тенденции и необходимость дворянской самообороны - Предшественники екатерининского монархизма; Салтыков и Волынский - Значение Монтескье; Дух законов и "Наказ" Екатерины II; роль, которую приписывают этому последнему, и его действительное значение - Дворянские проекты 1767 года: центральная власть; местное самоуправление; "петровская традиция": к чему она сводилась на практике? - Политические привилегии, неприкосновенность дворянской личности - Экономические привилегии дворянства; Ярославский наказ - Вопрос о гарантиях, проекты Щербатова

Новый феодализм не мог ограничиться одной социальной областью - у него должен был оказаться и свой политический аспект. Должна была выработаться политическая теория, логически обосновывавшая распыление власти между помещиками. Должны были явиться попытки организовать этих маленьких государей хотя бы для того, чтобы изо дня в день отстаивать их интересы перед лицом большого государя, который - за это были порукой царствования Петра I и Анны - так же, как и в дни Верховного тайного совета, мог оказаться орудием социальных сил, дворянству чуждых. Правда, как мы скоро увидим, с каждым десятилетием становилось яснее, что опасность эта позади: экономика, чем дальше, тем больше ручалась за то, что самодержавие впредь будет верно служить интересам помещиков. Но уроки экономики всегда учитываются задним числом. Люди, посадившие на русский престол ангальт-цербстскую принцессу, ставшую Екатериной II, хорошо помнили если не Петра, то Анну. Мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что они считали дворцовый переворот будничной вещью, которую можно устраивать каждый день. С другой стороны, не только лейб-компания, но и елизаветинский сенат были слишком импровизированными, чтобы на них можно были рассчитывать как на постоянное средство. Особенно после того, как закон о вольности дворянства должен был, рано или поздно, разрушить старый организационный центр - дворянскую гвардию. Без этой демократической Нижней палаты всероссийского "шляхетства" Верхняя палата, сенат, грозила весьма быстро выродиться в довольно точную копию Верховного тайного совета. Опасность обнаружилась, можно сказать, на другой же день после переворота 28 июня. Один из его невоенных вождей, Никита Панин, оказался очень не прочь воскресить традиции Дмитрия Голицына. Составленный им проект "императорского совета", непременного и постоянного "сотрудника" императрицы, без участия которого ничто не могло ни до нее дойти, ни от нее выйти, до такой степени напоминал учреждение, упраздненное в 1730 году, что один из критиков проекта выразил довольно резонное недоумение по поводу нового названия. Почему бы не назвать новый совет просто Верховным тайным советом, по-старому? - не без яду спрашивал этот критик. Екатерина чувствовала себя так непрочно на престоле, что соглашалась даже и на это, и манифест, превращавший панинский проект в закон, был ею уже подписан. Критика ее ободрила, а, может быть, отчасти и раскрыла ей глаза, и у нее хватило духу разорвать подписанный ею документ. Но дело было не в нем, а в существовании той социальной группы, которую при Петре называли "верховными господами", и в олигархических тенденциях этой группы. Нужно было не то что уничтожить ее - это было социально невозможно, а политически не важно дворянству: пусть верховники делят пирог между собою, но нужно раз навсегда помешать им ломать по-своему жизнь дворянской массы. Их деспотизм - гораздо больше, чем личный деспотизм Екатерины, которая вовсе не была страшна, как и не может быть страшна отдельная личность классу, - нужно было ограничить. "Система основательных прав" должна была послужить плотиной, сидя за которой маленький государь мог забывать о существовании большого вплоть до очередного паводка - уплаты подушных или рекрутского набора. И плотина, конечно, должна была быть настолько прочна, чтобы паводок не мог ее разрушить. О грунтовых водах, которые могли подточить все. сооружение снизу, тогда еще мало думали, хотя их

напор давал себя чувствовать год от году сильнее. Когда пришлось выбирать между произволом сверху и революцией снизу, выбрать пришлось все же произвол, обеспечив только его классовую, с дворянской точки зрения, доброкачественность. Но пока суровая необходимость выбора еще не была перед глазами, отчего было не помечтать о том, чтобы довести до конца дворянскую вольность, превратив отдельные и казавшиеся случайными завоевания в стройную систему?

Самооборона дворянства от натиска сверху начинается, как и следовало ожидать, одновременно с самим натиском: первую попытку формулировать дворянские привилегии мы находим у одного из прожектеров петровских времен, знакомого нам Федора Салтыкова. В своих "пропозициях" он предлагает, во-первых, закрепить за дворянством исключительное право на землевладение: "Ежели кто будучи из простых чинов, придут в богатство, и тем не покупать дворянских стяжательств, сиречь вотчин, понеже оное надлежит дворянам". Это была обычная практика XVII века, но при Петре слишком склонны были от нее отступать, и, несмотря на "пропозицию", Петр создал юридически недворянское землевладение, разрешив покупать вотчины к фабрикам купцам. Отмена этого разрешения при Петре III (указом от 29 марта 1762 года) была крупным успехом шляхетских интересов: как видим, однако, этого успеха пришлось дожидаться долго. Наплыв в ряды служилого сословия демократических элементов (чего стоили одни прибыльщики, так легко превращавшиеся в губернаторов!) заставлял поставить вторую перегородку: у Салтыкова мы впервые встречаем мысль, ставшую очень популярной впоследствии, что дворянином нужно родиться или стать в исключительном порядке, в силу особого высочайшего пожалования, но нельзя выслужиться в дворяне в обычном порядке службы, мысль эта пока выражена у него весьма осторожно: она сводится к требованию от новых дворян специальных жалованных грамот, к строгому контролю дворянских списков и т.п. Лишь в 1730 году шляхетство в проекте Татищева поднимается до более радикальных мер, прямо требуя очищения своих рядов от вкравшихся туда инородных элементов: татищевский проект настаивает на приведении в известность "подлинного шляхетства", отделив от него шляхетство, происходящее от солдат, гусар, однодворцев и подьячих. Но Салтыков прекрасно понимал, что одними юридическими перегородками не многого достигнешь и что при новых условиях дворянство лишь тогда сохранит командующую позицию, когда оно станет экономически и культурно сильнейшим элементом. Отсюда, во-первых, требование заведения училищ с необычайно широкой программой, куда входили и богословие, и поэтика, и артиллерия с фортификацией, и "мусика, пиктура, скульптура и миниатюра", не считая иностранных языков, а равно, "для обороны собственной и для изящества: на лошадях ездить, на шпагах биться, танцевать". Хотя Салтыков и называет свои училища "всенародными", но из контекста совершенно ясно, что предназначались они для дворянских детей, притом обоего пола. Параллельно с мужскими он проектирует устройство и женских школ с несколько иною, разумеется, программою - фортификации или "на шпагах биться" девиц не предполагалось учить, зато развитие "изящества" должно было быть предметом особого внимания. Экономическую силу дворянства Салтыков рассчитывал обеспечить майоратом, настоящее значение которого, в его английском образчике,

он, в противоположность Петру, представлял себе вполне отчетливо. Петр ухватился за форму, но, как мы знаем, влил в эту форму совершенно своеобразное, "истинно русское" содержание.

Даже и майорат Салтыкову пришлось, однако же, замаскировывать финансовыми выгодами, которые сулит, будто бы, это учреждение государству. О политических привилегиях дворянства он прямо не решался говорить, слишком уж это пошло бы вразрез с господствовавшими при Петре тенденциями. Начавшаяся в последние годы петровского царствования дворянская реакция делала людей смелее, и уже "кондиции" верховников, отражая в этом пункте желания всей дворянской массы, вводят гарантию личных и имущественных прав дворянина от произвола сверху: "У шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать". Слабая политическая сознательность шляхетства и отсутствие всякой организации у него позволили "курляндцам" разорвать вместе с остальными кондициями и этот пункт без всякого сопротивления с чьей бы то ни было стороны. Но идея продолжала жить и вспыхивала при каждом удобном случае. Ее отзвуки слышатся в деле Волынского. "Вот как польские сенаторы живут, - говорил он в ряду других своих вольных речей, - ни на что не смотрят, все им даром! Польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать, а у нас всего бойся". И он, как Салтыков, исходил от конкретных порядков той или другой знакомой страны: Салтыков - Англии, Волынский - Польши. Когда в 60-х годах вопрос был снова поставлен на очередь, налицо, к услугам дворянских идеологов, была уже стройная теория, обобщавшая все порядки всех дворянских стран: в 1748 году вышел "Дух законов" Монтескье.

Проводником влияния Монтескье на дворянскую идеологию в широкой публике принято считать "Наказ", данный Екатериной II известной "комиссии" 1767 года. Едва ли с каким-нибудь фактом из нашей истории XVIII века связано больше предрассудков, нежели с этой комиссией и ролью в ней Екатерины. Во-первых, самый созыв ее представляется началом какой-то новой эры. Приступая к чтению подлинных документов, вы больше всего будете поражены тем, что это необыкновенное событие никакой сенсации среди современников не произвело. И это просто потому, что ничего принципиально нового в затеянном Екатериной предприятии для этих современников не было. Недостатки уложения царя Алексея отчетливо сознавались еще при Петре, и над "сочинением" нового уложения работали комиссии уже с 1728 - 1729 годов, причем члены этих комиссий выбирались, "согласясь губернатором обще с дворяны". Эти полу выборные комиссии корнями непосредственно восходили к Земским соборам XVII века, и шляхетство относилось к ним с таким же равнодушием, как в свое время к этим последним.

Комиссия 1767 года отметила собой не какой-либо новый шаг правительственной политики, а огромное повышение сознательности в дворянской массе: дворянам теперь было что сказать, и они заговорили так дружно, так обстоятельно и определенно, что правительство Екатерины II несколько даже этого испугалось. Наша литература, в оценке результатов комиссии, довольно прочно усвоила себе мнение, высказанное биографом ее "маршала" (председателя) Л.И. Бибикова: "Должно признаться чистосердечно, предприятие сие было рановременно и умы большей части депутатов не были еще к сему приготовлены и весьма далеки от той степени просвещения и знания, которая требовалась к столь важному их делу". Но

это было мнение правительственных кругов, фактическим агентом которых в комиссии был Бибиков. И его биограф тут же, сряду, проговаривается о другой причине роспуска комиссии: "Некоторые же из них (депутатов), увлеченные вольнодумием, ухищрялись уже предписывать законы верховной власти". Это объяснение гораздо ближе к делу. Сравнивая наказы, какими снабдили дворянские общества своих уполномоченных, со знаменитым "Наказом" императрицы, читатель задним числом переживает чувства, вероятно, испытанные самим автором этого последнего "Наказа" - чувство стыда за человека, который выступил, чтобы учить других, и которому эти другие показали, что они лучше его знают дело. "Ограбившая президента Монтескье" Екатерина кокетливо называла свою книжку "ученическим произведением": она и не подозревала, сколько жестокой правды в таком отзыве. Удивительнее всего, что такие историки, как Соловьев, могли целыми страницами цитировать "Наказ" как произведение самой императрицы, написанное лишь "под влиянием" Монтескье и Беккариа. Это совершенно то же самое, что сказать, что составленный студентом к экзамену конспект профессорского курса есть произведение, написанное "под влиянием" данного профессора. Возьмите, для примера, главу XI, трактующую о самом животрепещущем вопросе эпохи - о положении крепостных. Она была предметом особого внимания императрицы и дошла до нас в двух редакциях: более полной, исправленной рукою Екатерины и оставшейся в рукописи, и сокращенной, которая была напечатана. Соловьеву это дает повод показать на примере, как либеральные мечты императрицы блекли в удушающей атмосфере ее крепостнического двора. Вот что она хотела и вот что позволили ей не сделать, а только сказать! В крепостничестве приближенных Екатерины едва ли можно сомневаться, но, цензуруя XI главу "Наказа", они руководились едва ли своими крепостническими вожделениями, а, вернее всего, просто элементарными требованиями литературного вкуса. В краткой редакции остались и характеристика рабства как неизбежного зла, и обидное для помещиков напоминание о знакомом нам указе Петра I, и весьма скользкая, по тогдашним временам, фраза о "собственном рабов имуществе". Вычеркнуты же были бесчисленные примеры германские, македонские, афинские, римские, ломбардские, из "законов Платоновых" и иные, выписанные великой императрицей из XV книги "Духа законов" с прилежанием гимназистки, конспектирующей первую серьезную книжку, которая попала ей в руки. Насколько конспектирующая вникла в смысл конспектируемого покажут два образчика. Говоря о законе Моисеевом, фактически позволявшем убивать раба, только не сразу, Монтескье восклицает: "Что за народ, у которого гражданский закон должен был быть в противоречии с законом естественным!" (Quel peuple que celui ou il fallait que la loi civile se relachat de la loi naturellei!). Екатерине понравилась фраза. Но как же выразиться непочтительно о "законе Моисеевом" - ведь это священное писание, ни более ни менее... Она сейчас же нашлась: слова Монтескье о евреях она применила к... римлянам. Правда, римлян автор "Духа законов" ни в чем подобном не обвиняет, и еврейский хвост, приделанный к римской голове, производит впечатление большой неожиданности, но зато уцелел звонкий конец периода, - а православному духовенству не на что пожаловаться. Другой пример еще лучше. Говоря о вредном влиянии вольноотпущенников в Древнем Риме, Монтескье делает из этого вывод, что не следует сразу, одним

общим законом, освобождать большое количество рабов. Пример, который он приводит, говорящий о влиянии вольноотпущенников в народном собрании, обращение к "хорошей республике" (bonne republique) - весь контекст, словом, не оставляет ни малейшего сомнения, что это место "Духа законов" имеет в виду демократическую республику, подобную античным. Можно себе представить, какие большие глаза сделал бы "ограбленный" Екатериной "президент", если бы он имел возможность прочесть § 277 "Большого наказа": "Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных". Эта фраза стоит в обеих редакциях (в окончательной она составляет § 260): окружавшие Екатерину помещики, вероятно, хорошо видели, что фраза ни к селу, ни к городу, но она так приятно звучала для помещичьего слуха...

Среди 28 параграфов, составляющих первоначальный текст этой главы, только два, оба заключающие в себе конкретные примеры - один знакомую нам ссылку на указ Петра, другой, изображающий судебные порядки Финляндии, - не представляют собою перевода или пересказа соответствующих мест "Духа законов". Критикуя императрицу, ее крепостники-придворные критиковали, в сущности, "президента Монтескье": немудрено, что он местами показался им чересчур либеральным. Зато в нем должны были найтись места, весьма приятные для дворянского самолюбия, но не очень удобные для самого "автора" "Наказа". Автор "Духа законов", как известно, очень считался с требованиями современной ему французской цензуры. Он отнюдь не хотел принадлежать к тем памфлетистам, которые гнили в тюрьмах "возлюбленного" короля Людовика XV. Для этого бывший президент Бордосского парламента был слишком большим барином. Ради цензуры, как это доказано новейшими исследованиями, он не стеснялся даже вставлять в свои писания отдельные благонамеренные фразы, явно противоречившие общему строю его мыслей*. Ради той же цели он, сторонник аристократической конституции тогдашнего английского типа, за образец благоустроенной монархии взял не Англию, а Францию, но, путем идеализации старых феодальных обычаев, вымерших еще до Людовика XIV, настолько приблизил ее к любимому своему типу, что эту искусственную Францию и Англию оказалось возможным поставить за одну скобку. Францию же натуральную и неприкрашенную, классическую Францию "старого порядка", он изобразил под видом "деспотии", перенеся место действия на далекий Восток. Французская публика XVIII века не хуже умела читать между строк, чем русские читатели Щедрина сорок лет назад. Приемы Монтескье на его родине никого не ввели в заблуждение, но коронованную составительницу конспекта к "Духу законов" они подвергли жестокому испытанию. Ей очень нравилась эта книга, которую она, как трогательно сама признавалась в известном письме к д'Аламберу, "переписывала и старалась понять". Но она не меньше любила и самодержавие, а Монтескье говорит о нем так дурно и так неблагозвучно его называет! Но Екатерина и тут, в конце концов, нашлась. Монтескье говорит, что в большой стране неизбежно должен быть деспотический режим, а Россия очень большая страна - значит, деспотизм в ней извиним. Против географии не пойдешь. И в назидание русским медведям вслед за элементарными географическими сведениями о размерах Российской империи выписываются соответствующие места из "Духа законов". Но автор рисует деспотию очень черными красками - в ней господствует страх, у подданных

нет чувства чести и тому подобное. На это Екатерина никак не была согласна: в ее деспотии ничего подобного не будет. Установив с географической непреложностью, что в России никакой образ правления невозможен, кроме самодержавного, "Наказ", характеризуя российское самодержавие в деталях, без всякого зазрения совести "грабит" те главы Монтескье, которые трактуют о монархии, т.е. о монархии ограниченной, конституционной. Как тут не вспомнить милую русскую интеллигентку 1905 года, пытавшуюся составить "свою" программу, выбрав "лучшее" из программ всех партий, ожесточенно боровшихся между собой?

** Об этих так называемых cartons Монтескье см.: Vian. Histoire de Montesquieu, p. 259 et suiv.*

Так чистолитературным путем в "Наказе" очутились две главы, III и IV, несомненно, стоявшие в противоречии с "существующим в Российской империи образом правления". Первая из них освещала политические претензии дворянства, как непременного участника в управлении. В монархической схеме Монтескье дворянство есть "посредствующая власть", pouvoir intermediaire, настолько необходимая, что без нее нет и монархии, как ее понимает "Дух законов": "Без дворянства нет монарха, а есть деспот". Екатерина воздержалась от цитирования этой последней опасной фразы, но послушно скопировала все остальное, что говорил ее профессор о "властях средних". Она сохранила буквально даже форму слов Монтескье, говоря от первого лица все, что он говорит от себя. Так как от читателя "Наказа" этот плагиат был скрыт, то раболепная типография, набирая "я", "меня" крупным шрифтом, как подобает лицу государыни, не подозревала, что она возвеличивает этим какого-то не совсем благонадежного французского литератора. Но тут оказалась пикантность двойная: и сама Екатерина, копируя пассаж о "средних властях", не подозревала, что в него вставлен один из cartons, имевших целью надуть французскую цензуру и несколько замаскировать резко конституционный характер всего этого рассуждения. Но carton был рассчитан на то, что понятливый читатель сумеет его вынуть и добраться до истинного смысла. Переводя это место буквально, Екатерина невольно посвящала русского читателя в такие секреты, которые считались официально запретными даже для читателя французского. Недаром Никита Панин, принадлежавший, вероятно, к понятливым читателям Монтескье, говорил по поводу "Наказа" об "аксиомах, способных опрокинуть стены". По существу, он был, вероятно, очень доволен этими стенобитными "аксиомами", а в особенности его должна была удовлетворить глава IV. Идеализируя старую Францию, Монтескье находит одну из сдержек монархического произвола в старом французском парламенте, регистрировавшем новые законы, причем он мог отказаться, в теории, от регистрации закона произвольного, нарушающего старинные "привилегии" подданных короля, и делавшем "представление" монарху в случае, если его распоряжения противоречили законам старым. Как "власти средние" были пережитком средневекового вассалитета, физически необходимого сюзерену, а потому и юридически делившего с ним власть, так парламент старого порядка был рудиментом собрания крупнейших из этих вассалов, королевской курии, строго

охранявшей неприкосновенность феодального контракта. В XVIII веке ни то, ни другое не имело реального смысла, что Монтескье, конечно, прекрасно понимал, но перед ним стояла задача найти легальные формы для обуздания королевского произвола; старый французский парламент помогал замаскировать настоящую сдержку, какою был бы парламент английский. В русской истории курии соответствовала боярская дума, но дворянская революция XVI - XVII веков настолько потрясла ее, что буржуазному режиму Петра удалось снести старое учреждение без остатка. Дворянской реакции елизаветинского времени пришлось творить сызнова: роль совета крупных вассалов стал играть сенат. Сенат и явился в "Наказе" тем "хранилищем законов", которому в схеме Монтескье соответствовал старый парламент. "В России сенат есть хранилище законов" (§ 26). "Сии правительства (сенат и "власти средние"), принимая законы от государя, рассматривают оные прилежно и имеют право представлять, когда в них сыщут, что они противны Уложению" (§ 24). "Сии наставления возбранят народу презирать указы государевы, не опасаяся за то никакого наказания, но купно и охранят его от желаний самопроизвольных и от непреклонных прихотей" (§ 29).

В стене самодержавия была проделана настолько крупная брешь, что позднейшее, при Павле Петровиче, превращение "Наказа" в "запрещенную книгу" более чем понятно. Но если мы присмотримся к непосредственному влиянию литературных упражнений императрицы на дворянскую массу, мы увидим, что впечатление от изданной по высочайшему повелению конституционной брошюры было довольно слабое. Дворянство тоже читало Монтескье, и, кажется, задача "понять" его далась дворянству лучше, нежели его государыне. Мы увидим несколько ниже, что на той же основе крупнейший дворянский идеолог эпохи князь Щербатов сумел развить политическую теорию такой смелости и широты, что дальше этого шагнули только декабристы, оказавшиеся, благодаря этому дальнейшему шагу, уже на чистореволюционной почве. Но декабристы имели перед собою новую "стену", в которой заново приходилось пробивать брешь. Перед екатерининскими же дворянами, в сущности, и стены-то никакой не было: фактически захват власти шляхетством уже совершился при Елизавете, оставалось найти юридические формулы и административные рамки для того, что было уже фактом. Меньше всего приходилось ломать в центре: при распылении власти влияние Центра на местные дела сказывалось довольно слабо, а поскольку такое влияние все-таки было, елизаветинским сенатом дворяне были довольны. Эта инстанция казалась им как бы само собою разумеющейся, естественной вершиной дворянского "корпуса". "Всеподданнейше просим, - говорили боровские дворяне в наказе своему депутату, - чтобы по сочинении, при помощи Божией, Нового Уложения дозволено было дворянам, через всякие два года, в городе или где заблагорассудят, но в своем уезде, съезд иметь и на оном рассуждать и рассматривать, все ли в уезде в силу законов исполняется и не бывает ли кому от судебных мест, от квартирующих и проходящих полков и команд, или от кого бы то ни было какого утеснения, и ежели усмотрят, что происходить будет к ущербу казенному или к неисполнению законов или к утеснению дворян и крестьянства, в таком случае всемилостивейше дозволить помянутому собранию прямо от себя, выбрав депутата, чрез оного с верным и ясным доказательством, представить в правительствующий сенат".

Гораздо больше интересовало и гораздо хуже, с дворянской точки зрения, было организовано местное управление, с которым крепостная вотчина ведалась непосредственно. В нашей учебной, а отчасти и ученой, литературе не вполне определенно, но довольно упорно подразумевалось, что дворянское самоуправление XVII века*, замаскированное новой, иноземной терминологией, благополучно дожило до екатерининских времен - как будто дворяне 1767 года, требуя этого самоуправления, ломились в открытую дверь. Правда, губные старосты были уничтожены Петром, но вместо них явились выборные дворянские ландраты, а позже комиссары, с очень сходными функциями, только имена были другие. Новейшие исследования показали, что на самом деле буржуазный шквал, пронесшийся над Россией в начале XVIII века, потряс основания дворянской организации гораздо серьезнее. Старые ученые основывали свое мнение на букве петровского законодательства, но чрезвычайно характерно: здесь буква оказалась гораздо консервативнее содержания. Петровский указ от 20 января 1714 года, предписывавший "ландратов выбирать в каждом городе или провинции всеми дворяны за их руками", на деле, как убедительно доказал проф. Богословский, никогда не исполнялся. Ландратов назначали, и притом не всегда из среды местного дворянства, de jure сенат, а de facto местный губернатор, и здесь, таким образом, то, что потеряло дворянское общество, перешло к "верховным господам". Вполне в согласии с этим и обслуживал ландрат не интересы местного населения, а нужды Центра; главной его функцией была финансовая, и сменил он не губного старосту, а воеводу**. В еще большей степени финансовым агентом центральной власти был земский комиссар 1719 - 1724 годов, назначавшийся камер-коллегией. Но, в отличие от ландрата, эта последняя должность пережила весьма любопытную эволюцию: земский комиссар после введения подушной подати*** действительно стал выборным, притом едва ли не по инициативе дворянства. Только что названный нами исследователь опубликовал одно челобитье новгородских дворян 1719 года, как он думает, намечающее целый план сбора подушных при участии местных помещиков. Во главе этого дела в уезде, по дворянскому проекту, должен был стать обер-комиссар, а под ним "земляные комиссары" из местных дворян, по их выбору, и перед ними ответственные. О выборном комиссаре, впрочем, упоминали и более ранние указы Петра 1718 года, но тогда это опять был глас вопиющего в пустыне, а в 1723 году переписчики уже "понуждают" дворян к выборам. Одновременно с этим земский комиссар как бы становится полицейским органом: он должен смотреть и за тем, чтобы крестьяне снимали хлеб косою, а не серпом, и за тем, чтобы служивые люди брили бороды, и чтобы никто не уклонялся от исповеди и причастия. Правда, все это больше на бумаге - на деле главной заботой и выборного комиссара, как раньше назначенного, был сбор податей, а тут он, при петровской системе, совершенно стушевывался перед полковым начальством, в руках которого был сбор подушных. Он и жил обыкновенно при полковом дворе, и был, в сущности, делегатом местных помещиков при комиссаре полковом. Но не нужно забывать, что и этот последний был тоже своего рода выборным дворянским агентом: он выбирался только не местными дворянами, а полковым офицерством****.

** См. о нем: Русская история, т. 2, с. 109 и др.*

*** Богословский М. Исследования по истории местного управления при Петре Великом // Журнал Министерства просвещения, 1903, N 9.*

**** Фактически она начинала собираться в 1724 году.*

***** Богословсикий М. Областная реформа Петра Великого. - М., 1902, особенного с. 404 - 443.*

Таким образом, вместо непрерывной линии, ведущей в Московскую Русь, в качестве антецедента (предшествующего обстоятельства) екатерининских "реформ" приходится отмечать первые поступательные шаги дворянской реакции в последние годы Петра I. И не случайно, быть может, екатерининские дворяне сохранили в своих проектах петровскую номенклатуру. "На том же собрании, - продолжает цитированный нами выше боровский наказ, - дозволить дворянам между собою выбрать ландрата и от всякого стана, которые дистриктами переименовать, дистриктного комиссара..." Память о том, что не удалось, но чего уже желали при Петре, была крепка еще в 1767 году. Но большинство не хотело останавливаться на исторических реминисценциях и шло дальше. Почему только низшие ступеньки областной администрации должны замещаться дворянскими уполномоченными? "От прежде бывших времен и доныне из правительствующего сената в города определяются воеводы, - писали козельские дворяне, - а к их должности принадлежащих качеств правительствующему сенату, за множественным числом оных, определяемых в воеводы, знать невозможно, но не благоволено ли будет отдать выбор воеводы дворянству того города, чтобы они выбирали из своих сотоварищей..." Коломенские дворяне были смелее и откровеннее. "К исполнению правосудия по законам и для искоренения лихоимства потребны добросовестные и помнящие свою присягу, беспристрастные городские правители, кои бы собою своим подкомандующим примером были, - говорил их наказ. - К достижению же таковых кажется ближайший способ: 1) поведено б было в городах воевод и товарищей воеводских и дворян того уезда выбирать дворянству... 2) воеводам быть по два года, а по прошествии оных сменять другими из того же уезда по дворянскому выбору"*. Тульские дворяне находили, что новый правитель и звания прежнего сохранить не должен: "И того градоначальника и его товарища, - писали они, - не бесполезно будет от ее императорского величества высочайшей власти назвать не воеводой, а нижние чины не подьячими, дабы чрез то не только удержать всякого градоначальника в своей не зазорной поступи, но и память многих бывших в сем звании нарушителей благоденствия загладить". Но, передав в руки местных помещиков уездную администрацию до самой ее верхушки, почему не передать в их руки и местный суд? Скромнее других в этом отношении были костромские дворяне. Судиславское** дворянство выражалось так: "Весьма бы для дворянства способно и полезно было, если бы ее императорское величество, милосердная мать отечества, соизволила повелеть для дворянства учредить словесный суд и по оному определить того уезда из дворян, выбрав обществом судью, и к нему, по таковому же выбору, определить же из дворян четыре персоны помощников... А суд дозволить им производить в нижеследующих делах, а именно: в ссорах, драках, в потраве хлеба и лугов, в порубке лесов, в перепашке земель и в других случающихся просьбах (окроме криминальных и разыскных дел), для того, дабы дворяне, не имея себе убытка и

приказной волокиты, могли получить себе вскоре и малое удовольствие, сочтя за большое; ибо из дворян многое число таких, которые приказных порядков не знают, а другие и грамоте вовсе не умеют"***. Здесь, как видим, дворянскому судье отводилась компетенция позднейшего мирового или земского начальника: уголовными делами ("криминальные и разыскные") должен был ведать кто-то другой. Калужское и медынское дворянство, напротив, главную цель своего суда видело в том, чтобы "разбои, кражи, наглости и всякие непорядки предварительно отвращены и сокращены были". Совершенно естественно, что калужане не довольствовались переходом в дворянские руки одних низших судебных инстанций. "Чтобы на учрежденный дворянский суд апелляцию просить от каждого уездного города прямо в губернских, городах в учрежденном же дворянском суде, также избранием общим дворянским", - ходатайствовали они. В этом губернском суде центральная власть была бы представлена одним губернатором, который в нем должен был председательствовать, "яко поверенная особа от высочайшей власти ее императорского величества", апелляционной же инстанцией для губернского суда был бы только сенат или юстиц-коллегия. Перемышльские и воротынские дворяне (нынешней Калужской же губернии) желали, чтобы и местная прокуратура была выборная: на местах получался, таким образом, сомкнутый фронт дворянских учреждений, противостоявших непосредственно центральной власти, тоже дворянской, но в состав которой местные помещики не желали мешаться. Картина "средних властей, поставленных между государем и народом", была столь полная, что более полной не представил бы себе и Монтескье. И в то же время картина была глубоко национальной. Ни в каком литературном позаимствовании никому не пришло бы в голову упрекнуть хотя бы суздальское "благородное дворянство", как оно само себя именовало, жаловавшееся на отмену пыток и смертной казни, отчего "некоторые, не видя самим смертоубийцам достойного, по делам их, истязания, чинят не токмо посторонним, но люди и крестьяне своим помещикам и помещицам смертные убийства и мучительные при том наругания", и требовавшие "таковым злодеям приумножить истязания". Или галицких дворян, желавших, без дальних рассуждений, просто восстановления губного сыска, как он практиковался при Грозном. "По смертоубийственным, такоже татиным и разбойным делам, на что свидетельства нет, - писали галичане, - и по тому производятся суды, не повелено ль будет оное отставить, аучиня, на кого в оных делах будет челобитье, сделать повальный обыск, и ежели тот в повальном обыске одобрен не будет... таковых пытать, а не судом производить"****.

** Сборник Русского исторического общества, т. 4, с. 266 и 329; с. 484, т. 8,с. 484, 517, 522.*

*** Судислав - уездный город в Костромской губернии.*

**** По словам биографа А.И. Бибикова, треть костромских дворян не знали грамоты.*

***** Сборник Русского исторического общества, т. 4, с. 247, 281, 289, 292, 436; т. 8, с. 533; т. 14, с. 493.*

Мы напрасно стали бы объяснять подобного рода вожделения невежеством захолустного дворянства: те же самые галицкие дворяне очень обстоятельно развивают в своем наказе мысль о необходимости дворянских училищ в провинциальных городах. Губной сыск, конечно, был бы направлен не против дворянства: первая из сейчас приведенных двух цитат ясно показывает, к какому классу общества принадлежали "злодеи", которым нужно было "умножить истязания". Кнут и плети предназначались для людей "подлого состояния", которым и по мнению тогдашней интеллигенции естественно было быть битыми, как мы видели на примере Болотова. Иное дело люди благородные. "Мы, быв обнадежены беспримерного милосердия опытами нашей всемилостивейшей государыни, яко то избавлением от смертной казни и впавших в важные преступления ее подцаных, - писали калужане и медынцы, - препоручаем вам, почтенному господину депутату, в учрежденной комиссии представить, чтобы все дворянство, яко род из подданных ее императорского величества удостоившийся особливой высочайшей милости, благоволения и доверенности, как в важных государственных делах, так во всяком состоянии, везде и всегда, избавлен был бы всякого телесного и бесчестного наказания и пыток, а потому смертной казни*. Капорское дворянство, представителем которого в комиссии был Григорий Орлов, шло еще дальше и подбиралось к "действительной неприкосновенности личности", исключительно дворянской, конечно. "Сделано бы было положение... дабы дворянин, действительно владеющий своим имением, без предводителя и других ему в помощь назначенных, никогда и ни по какому делу арестован не был, в деревнях своих находящийся". И все дворянские пожелания прямо и просто резюмирует кашинский наказ (Тверской губернии): "Живущий дворянин в уезде не зависим бы был ни от кого, кроме того уезда дворян, и чтобы воеводская канцелярия и ниже другие какие правительства не могли дворянина собою к суду призвать, или к должности определить, или по какому делу взять". Дворянство должно было стать сословием политически привилегированным.

** Ibid., т. 14, с. 288, ср. с. 462 - 463.*

Наиболее полное и обстоятельное изложение дворянских требований содержал в себе, как известно, ярославский наказ, в большей своей части произведение лучшего публициста эпохи князя М.М. Щербатова. Его публицистическая деятельность и выразилась, главным образом, в этом наказе, да в "голосах", которые он по разным случаям подавал в комиссии; более обширные публицистические работы его (вроде знаменитого рассуждения "О повреждении нравов в России") увидели свет лишь много лет спустя после его смерти. По ярославскому наказу можно видеть, как представляли себе положение своего сословия наиболее сознательные его члены. О необходимости экономического базиса для дворянских привилегий подумывали уже довольно давно, как мы видели, но Федору Салтыкову, вероятно, и во сне не приснилась бы смелая картина, нарисованная Щербатовым. Ярославский депутат (Щербатов как раз и был им, так что это был, в сущности, наказ самому себе) должен был прежде всего другого, разумеется, стараться, "дабы право иметь деревни и земли одним дворянам российским оставлено было, яко более всех рождением своим и

воспитанием пристойным владеть другими подданными ее императорского величества". Отсюда следовало, что он должен был бороться против права земельной собственности для купцов. Правда, закон Петра I, позволявший купцам покупать имения к фабрикам, был отменен Петром III, но это касалось лишь будущего - уже купленные или пожалованные вотчины оставались за фабрикантами. "Того ради, не соблаговолено ли будет, по рассмотрении, в противность законам (!) купленные ими деревни у них взять с нужными распорядками, дабы их по милосердию в убытке не оставить", - просили ярославцы. Работа на купеческих фабриках после этого должна была вестись вольнонаемными рабочими, что, в массе случаев, должно было сделать дальнейшее существование фабрики невозможным. Но ярославские дворяне не имели оснований особенно об этом заботиться; они ничего не возразили бы против того, чтобы взять почти всю обрабатывающую промышленность и добрую половину торговли на себя. Относящееся сюда мнение ярославского наказа настолько любопытно, что стоит его привести целиком. "Колико дворянство не утруждено службою своею государю, - писал Щербатов, - однако не меньше имеет старания и о домостроительстве, помышляя, что домостроительство партикулярных людей делает их изобилие, а обилие партикулярных сочиняет обилие государства. И как оно из древних времен имеет право пользоваться винною скидкою для поставки государю, которое право и ныне еще им (дворянам) вновь милосердием нашей всемилостивейшей государыни подтверждено; а как мнится нам, что сие право, особливо дворянству, не от чего иного начало свое имеет, как от того, что вино из продуктов земли, которой единые дворяне владетели, сидится, то по тому же резону мнится, что и фабрики, сочиняющие изо льну и из пеньки, и из прочих земляных и экономических произращений, равным же образом дворянам должны принадлежать. А понеже уже многие купцы, за неразличением сего права (!!), вступили в сии фабрики и уже великие капиталы положили, то оные у них оставить им и потомству их, с некоторым небольшим и им нечувствительным платежом корпусу дворянства в число платежа подушных денег за крестьян, а впредь такие фабрики оставить так, как вино, единым дворянам"*. Итак, земля дворянская и все, что в земле, - тоже дворянское; рассуждая по этой логике, нетрудно было бы доказать, что и всю металлургическую промышленность нужно также предоставить "дворянскому корпусу": металлы ведь извлекаются из земли, стало быть, они, как и земля, должны принадлежать "единым дворянам". И, как полагается публицисту XVIII века, это дворянское право Щербатов рассматривает как право естественное, оно только "не различалось" до сих пор, а существовало искони, как и право дворян курить водку. Но это еще не все: "право торговли вне государства" тоже должно стать неотъемлемым дворянским правом; как купцы будут вести заграничную торговлю, когда они не знают ни арифметики, ни иностранных языков? А что оптовую торговлю хлебом нужно оставить дворянам, это совершенно ясно: ведь хлеб из земли, а крестьяне, у которых покупают хлеб купцы, - дворянские крепостные выторговывая у них на хлебе, купечество, в сущности, залезает в дворянский карман. Но всего лучше заключительный пассаж всего этого отдела: после длинного рассуждения о том, как вредны кабаки в деревне, вы ждете, что Щербатов закончит решительным требованием - уничтожить это пагубное учреждение. Не тут-то было. "И так, не соблаговолено ли

будет, по исчислению, сколько на те в господских деревнях построенные питейные дома выходит вина, пива и меду, отдать тем самым господам на откуп". Даже пьянство станет безвредно, когда откупа, почти крупнейшее капиталистическое предприятие того времени, станут дворянской привилегией!

** См. соч. кн. М.М. Щербатова (т. 1, с. 17).*

Ярославский наказ представляет собою один из характернейших памятников того экономического сдвига, какой испытало крепостное хозяйство во второй половине XVIII века. Позднее мы подробнее займемся этой весной помещичьего предпринимательства*. Пока для нас важны те политические выводы, которые делал Щербатов из доминирующего положения "дворянского корпуса" в центре народного хозяйства. В самый наказ, по самому характеру этого официального документа, эти выводы вошли в минимальном объеме. Экономически привилегированное дворянство и во всех других отношениях должно быть "отличено от простых людей": дабы дворянин не лишился "знатных мыслей", он должен был быть избавлен от телесного наказания как в дисциплинарном порядке, в военной службе, так и по приговорам уголовного суда; не совсем ясно Щербатов требует на последнем защиты (только для дворян, разумеется) и права отвода судей. Предварительное заключение для дворян если и допускается, то в самых мягких формах: "Чтобы каждый (дворянин), в каком бы преступлении ни явился, ожесточительным образом прежде изобличения его содержав не был"**. А так как привилегии лишь тогда ценны, когда они доступны не всякому, то, повторяя в более расширенной форме татищевские требования 1730 года, ярославские дворяне ходатайствовали "не соблаговолено ли будет право достигшим в офицерские чины дворянского как имени, так и прочих дворянских прав, отменить (которое по нужде прежних обстоятельств было дано), какой бы чин ни имели, дабы достоинство дворянское, которое - яко и блаженной и вечной славы достойной памяти Петр Великий в Табели о рангах изъясняется - единственно жаловать государю надлежит, не было уподлено чрез какие другие происками учиненные происхождения". Нужно сказать, что после указа от 18 февраля 1762 года требование это было более логично, нежели при Анне Ивановне: раз служба не являлась более отличительным признаком дворянина, не было основания делать дворянами всех, кто служил. В одном из своих "предложений" (поданном в комиссию 12 сентября 1767 года) Щербатов подробно развил эту мысль, что дворянином нужно родиться, а нельзя сделаться - разве уже в виде редчайшего исключения, - призывая на помощь и "Наказ" самой Екатерины и "славного римского писателя Варрона", и барона Пуфендорфа. И сохранение дворянства по службе в жалованной грамоте 1785 года вызвало у Щербатова ряд саркастических замечаний, показывающих, как горько было ему видеть крушение его надежды. Говоря о праве на потомственное дворянство тех, кто получил орден Георгия или Владимира, он припоминает такие анекдоты: "Я слышал, не помню как, что одному был прислан орден георгиевский с прописанием его знатного дела, но он с трудом его принял, говоря, что он тогда и в армии не находился, а другой получил, сказывают, орден за потеряние пушек в Польше. Владимирский орден не лучше же, кажется, раздаваем. Третьяковский украл деньги у своего благодетеля, и когда дело

было гласно, орден Владимирский получил; найду я и других воров, о которых сами начальники доносят, а однако ордены получают; и потому можно ли дворянину не жалованному, но рожденному, без прискорбия видеть, что воровством и происками сии равны делаются с теми, которых кровь в непрерывное течение многих веков лилась за отечество?"***.

** См. следующую главу "Русской истории".*

*** Ibid., с. 20. "Наказ" говорит в данном пункте о "подданных" вообще, но из контекста ясно, к какому именно разряду подданных все относится.*

**** Примечание верного сына отечества на дворянские права на манифест. - Соч., т. 1, с. 330.*

Итак, экономическое преобладание дворянства гарантируется его правами и преимуществами. Но чем будут гарантированы эти последние? Гласно, вслух, в комиссии или вне ее это не было сказано, но отсюда не следует, чтобы об этом не думали, и то, как формулировал правовое положение российской монархии тот же Щербатов в одном из тех произведений, которые появились в печати только в наши дни, может считаться каноническим изложением русского "монаршизма" второй половины XVIII века. Неосторожные цитаты "Наказа" коронованной поклонницы Монтескье развернуты здесь в целую систему норм, ограничивающих императорскую власть. Но менее ядовито, чем Монтескье, охарактеризовав "деспотичество", и с не меньшею ловкостью, нежели он, перенеся его за тысячи верст от русских пределов, Щербатов продолжает: "Понеже Российская империя есть монаршического правления, яко и сама ее величество в "Наказе" своем изъясняется, что надлежит иметь хранилище законов, ибо законы в нем должны твердо пребывать под сению монаршей власти. Каковы сии законы должны быть? Я, первое, считаю, что понеже монарх несть вотчинник, но управитель и покровитель своего государства, а потому и должно быть некиим основательным правам, которые бы не стесняли могущества монарха ко всему полезному государству, но укрощали бы иногда беспорядочные его хотения, по большей части во вред ему самому обращающиеся. В числе сих прав необходимо должно поместить твердое основание и положение о порядке наследства на престол... Хранение владычествующей веры и пребывание государя в оной и в гражданских законах должно составить ненарушимое положение... Права издания законов, разных налогов на народ, переделания монеты, - вещи, которые по непостоянству вещей человеческих иногда применяются, - то, по крайней мере, порядок произведения сего в действо на непоколебимых основаниях должен быть утвержден; равным образом суд и право себя защищать... наконец, право именования дворянского, по их разным степеням, ненарушимо в монаршическом правлении поставлено быть должно. Но недовольно сие словами или грамотою какою утвердить: надлежит, чтобы поставлены были и наблюдатели о сохранении оного. Тако, держася слов ее императорского величества, надлежит иметь "хранилище законов". А что в России хранилище законов? Сие есть сенат. Надлежит оный не токмо снабдить довольно основательными государственными правами о его могуществе, но также и наполнить такими людьми в силу ж основательных прав, чтобы препорученный ему закон в силах был охранять"*. Из

этого можно видеть, что и состав сената предполагался независимым от "беспорядочных хотений" монарха. Как Щербатов надеялся этого достигнуть, здесь он не сказал. В его утопии "Путешествие в землю Офирскую г. С., швецкого дворянина", при "вышнем правительстве" Офирской земли имеются выборные депутаты, от дворянства и от купечества. Но дворянские депутаты представляют каждый только дворянское общество своей губернии, до вседворянского парламента щербатовская конституция не доходила.

** Ibid., с. 390. - "Размышления о законодательстве вообще".*

Пока учительница дворянства "усиливалась понять" монархическую теорию "Духа законов", у ее учеников готова была своя теория, не менее стройная, чем у Монтескье, но приспособленная к русским условиям. Теория эта, в смысле логического совершенства, далеко оставляла за собою тот жалкий "плагиат" (подлинное выражение самой Екатерины), который носил название "Большого наказа". Но автор последнего, теоретически отстав от своей публики, далеко не лишен был практического здравого смысла. Екатерина не могла не видеть, что "основательные права" и политические гарантии интересуют лишь ничтожное меньшинство сознательных дворян, что серая дворянская масса гораздо больше хлопочет о социальных преимуществах и об укреплении своих позиций на местах, нежели о дворянской конституции. Чтобы помешать дворянским лидерам распропагандировать эту серую массу, комиссия была закрыта на середине своих занятий - - наскоро выбранным предлогом была начавшаяся в 1768 году турецкая война. А затем большая часть практических пожеланий дворянских наказов были попросту превращены в законы, что в истории получило пышное название "реформ Екатерины II". По положению о губерниях 1775 года, уездная полиция была отдана выборному от дворян капитан-исправнику, были созданы дворянские суды не только в уезде, но и в губернии (Верхний земский суд), были удовлетворены даже второстепенные требования дворянства - учреждены, например, дворянские опеки, о которых много толковали наказы 1767 года, - дворянский предводитель занял определенное место среди губернской администрации. Изданная в 1785 году "Жалованная грамота дворянству" обещала, что "благородный" без суда не будет лишен ни дворянского достоинства, ни чести, ни жизни, ни имений; что он будет судим только своими равными, что его не коснется телесное наказание, что с дворянами, служащими в нижних чинах, будут поступать во всех штрафах так, как с обер-офицерами, что благородный имеет право покупать деревни, устраивать в них фабрики и заводы, торговать оптом сельскими продуктами, вести заграничную торговлю: было разъяснено, что право собственности на земли распространяется и на "недра той земли"; так что упущенные Щербатовым в его наказе минералы не ушли-таки из дворянских рук. Наконец, подтверждено было собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы через депутатов их, "как сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений". Но чем и как будут гарантированы все эти права и преимущества - жалованная грамота молчала. Казалось бы, рано или поздно дворянство должно было заинтересоваться этим вопросом, как заинтересовался им князь Щербатов. Но обстоятельства сложились так, что интересы дворянства направились совсем в другую сторону - и Щербатову

суждено было стать не вождем дворянского движения, а только теоретиком неосуществившейся конституции*.

** В настоящем очерке нашли себе место только дворянские пожелания, высказывавшиеся в комиссии 1767 года: дворянство было решающей общественной силой. Недворянские депутаты (в комиссии были представлены все сословия, кроме крепостных крестьян) могли говорить, но никто не обязан был их слушать.*

Денежное хозяйство

Распространенное мнение о "натуральном хозяйстве" русских феодалов XVIII века. Ошибочность этого мнения: отзывы современников; проекты Вольного экономического общества; роль денег в личном хозяйстве помещика - Условия перехода к денежному хозяйству; относительное перенаселение Центральной России - Экономическое разложение феодальной деревни; земледельческий и неземледельческий отход во второй половине XVIII века - Индустриализация крепостного имения; домашняя промышленность, ее размеры; крепостная мануфактура - Помещичьи винокурни; дворяне-горнозаводчики - Зачатки аграрного капитализма в крепостной деревне: пенька; хлеб; турецкие войны и хлебный вывоз; внутренний хлебный рынок - Хлебные цены; их рост в конце века; влияние этого факта на дальнейшее разложение деревни; крушение эмансипационных планов; интенсификация барщины; плантационное хозяйство

Лет двадцать тому назад историк русской культуры, желая наглядно изобразить своему читателю разницу натурального и денежного хозяйства, противопоставил русского помещика начала XIX века, от которого мало было доходу московским лавкам и магазинам, потому что все у него было свое, а не покупное, современному предпринимателю, вынужденному "обращать свой товар в деньги и деньги опять в товар", чтобы существовать и пользоваться достатком. Насколько первый мог "с философским равнодушием созерцать окружающее", настолько второй зависит от покупателя и от обмена. Картинка, как и вся книга, хорошо кристаллизовала обычное мнение о предмете: так именно всегда и все представляли себе эволюцию русского хозяйства на протяжении двух последних веков. Уже несколько лет, как это представление начало сдавать перед другим, причем, как всегда бывает, быть может, несколько даже перегнули палку в противоположную сторону: стали говорить "о дворянской буржуазии" XVIII века и рисовать екатерининскую Россию чуть не капиталистической страной. Чтобы найти равнодействующую между двумя крайностями, лучше всего обратиться к современникам. Русские помещики начала прошлого века отнюдь не были безгласными; они говорили и писали о своем экономическом положении весьма словоохотливо. Найдем ли мы в их рассуждениях "философское равнодушие" или сознание своей зависимости от покупателя и от обмена? В 1809 году - эпоха, как видит читатель, как раз та, которую выбрал наш историк русской культуры, - некий коллежский секретарь,

Михаил Швитков, представил Вольному экономическому обществу сочинение "о двух главных способах, назначенных к лучшему деревнями управлению". Общество наградило сочинение золотой медалью и напечатало его в своих "Трудах". Мы имеем, стало быть, основание считать взгляды и мнения Швиткова за нечто принятое и одобрявшееся значительною частью тогдашних образованных помещиков, заседавших в комитете общества. "Попечение о стяжании множества денег стало быть общим, - писал Швитков, - и, как кажется, единственно в том предмете, что оными думают заменить во всякое время другие свои недостатки... По приказным вотчинным делам не так известно, как по приватным сведениям, что многие помещики по пристрастию к одному только денежному богатству перестали уже существовать помещиками. Я отнюдь не упускаю из вида и того, чтобы как помещикам, так и крестьянам, наивозможнейшим образом стараться о приобретении довольного количества денег, как потому, что деньги за всем изобилием сельских произведений для многих предметов всякому необходимо нужны, так и потому, что они для всякого состояния людей естественно заключают в себе самое приятнейшее побуждение к трудолюбию и рачению о благе не меньше общественном, как и собственном своем"*. Историку конца XIX века казалось, что помещику начала этого столетия очень приятно было иметь "все свое, не покупное", начиная от крепостного повара или камердинера и кончая всякой живностью для стола. А богатому барину-петербуржцу уже за сорок лет до Швиткова начинало казаться, что выгоднее именно все покупать, а прислугу, по возможности, нанимать. В 1771 году то же Вольное экономическое общество, президентом которого тогда был граф Шувалов, а в числе "очередных" членов гр. Чернышев, Олсуфьев, кн. Гагарин и Демидов, задавало "для решения публике" задачу: как прожить в Петербурге примерно на двадцать тысяч рублей в год? Вопрос, очевидно, касался богатого помещика - один из премированных обществом авторов и называет своего воображаемого "домостроителя" "его сиятельством графом N. N.". В идеальном бюджете этого воображаемого сиятельства, который реальные сиятельства, заседавшие в Вольном экономическом обществе, вполне могли оценить по собственному опыту, все покупается на деньги, до черного хлеба и коровьего масла включительно, и вся прислуга наемная, - говорится лишь о возможности подучить кое-кого из крепостных мальчиков или девушек для некоторых второстепенных должностей**. Это, конечно, не действительность, а идеал, но для тенденции большого барского хозяйства второй половины XVIII века такой идеал как нельзя более характерен. В Петербурге дней Екатерины II, как в Париже времени Людовика XIV, уже не спрашивали: "Какого происхождения этот человек?", а спрашивали: "Сколько у этого человека ренты?"

** Труды Вольного экономического общества, ч. 62, с. 135 и 121 - 122.*

*** Обширные трактаты, отвечавшие на поставленную графом Шуваловым и другими задачу, напечатаны в XXI и XXII частях "Трудов" Вольного экономического общества. Приложенные к ним подробные расчеты составляют драгоценный материал для истории петербургских цен 1770 годов, сколько мы знаем, еще не использованный.*

Так как рента "его сиятельства графа N. N." могла получаться только в виде доходов с его имений, то, очевидно, либо крестьяне графа, либо его управляющий должны были заботиться о том, чтобы "превращать товар в деньги". Первое имело бы место в том случае, если бы его имение, как большая часть крупных вотчин той поры, было на оброке, второе - если бы в нем велось собственное хозяйство. Что сам граф при всем этом оставался весьма малобуржуазной фигурой, не должно нас удивлять: ведь и современный нам предприниматель, если он достиг известных размеров, разве сам, лично, хлопочет о "превращении товара в деньги"? Он или картинную галерею собирает, или скаковых лошадей держит, или учится летать на аэроплане - словом, предается какому-нибудь благородному занятию, создавать же материальный базис для этого благородного занятия - дело разной челяди, получающей более или менее скромное вознаграждение, вроде управителя "его сиятельства графа N. N.". Разница между богатым помещиком екатерининских времен и теперешним крупным буржуа не в их индивидуальном, личном хозяйстве, а в социальной основе этого хозяйства. Один эксплуатирует пролетаризованных рабочих при помощи своего капитала, другой - мелких самостоятельных предпринимателей, крестьян, при помощи своей власти над ними. В одном случае мы тлеем экономическое принуждение, в другом внеэкономическое. В известный момент второе должно было перейти в первое, тогда понадобилось так называемое "освобождение крестьян" - частичное открепление производителей от земли и орудий производства, предшествовавшее их полной пролетаризации*. При Екатерине II до этого было еще далеко, хотя появление первых ласточек эмансипации все в том же Вольном экономическом обществе тех же дней не менее характерно для эпохи, нежели вольнонаемный трубочист или вольнонаемный дворник графа N. N. Мы займемся этими идеологическими течениями в своем месте - сейчас мы в области объективного, а не субъективного. Новый феодализм второй половины XVIII века сделал еще шаг вперед сравнительно со старым московским. Мы помним, что уже тогдашнее имение не вполне само себе довлело: оно жило не только для удовлетворения непосредственных потребностей своего владельца, а отчасти и для рынка. Но это еще не было рационально поставленное хозяйство новейшего типа. Скорее, это было своего рода "разбойничье земледелие" - параллель "разбойничьей торговле" XI - XII веков. Помещик времен Годунова добивался не правильного постоянного дохода, - он стремился в возможно более короткое время извлечь из своего имения возможно больше денег, дешевевших год от года с быстротой, способной навести панику на людей, все привычки которых еще отдавали стоячим болотом натурального хозяйства. Он спускал на рынке все, что мог, и, оставшись в один прекрасный день на выпаханной и опустошенной земле с разоренными крестьянами, он старался превратить в товар хоть этих последних, так как земли никто уже не покупал. Эта оргия наивных людей, впервые увидевших денежное хозяйство, должна была кончиться, как всякая оргия, тяжелым похмельем. В XVII веке мы имеем частичную реакцию натурального хозяйства: но так как силы, разлагавшие это последнее веком раньше, продолжали действовать и теперь, притом чем дальше, тем больше, новый расцвет помещичьего предпринимательства был только вопросом времени. А это время должно было быть тем короче, чем плотнее было население помещичьей России, во-первых, и чем теснее были его связи с Западной Европой - во-вторых, ибо, как

мы помним опять-таки, опустение центральных уездов и разрыв торговых сношений с Западом, благодаря неудаче ливонской войны, в сильнейшей степени способствовали обострению аграрного кризиса конца XVI века. Как раз к расцвету "нового феодализма", к концу царствования Елизаветы, обстоятельства в обоих этих отношениях складывались для помещичьего хозяйства необыкновенно благоприятно.

** В России глубоко закономерным явлением в этом отношении является указ от 9 ноября 1906 года - логичное дополнение к "великой реформе" от 19 февраля. За шумом политической борьбы эта логика не всеми почувствовалась.*

Петровские войны, как мы видели, сильно разредили очень увеличившееся к концу XVII века население старых областей Московского государства, но следы этого опустошения сгладились еще скорее, нежели следы Смуты. Петровская ревизия дала около 5 600 тысяч душ мужского пола: через двадцать лет - меньше одного поколения - елизаветинская ревизия, проводившаяся далеко не с такою свирепостью, как первая, и давшая, наверное, гораздо больший процент "утечки", зарегистрировала, тем не менее, 6 643 тысячи душ. Первая екатерининская ревизия, опиравшаяся исключительно на показания самого населения, т.е. для дворянских имений, на показания самих помещиков и их управляющих (в первую минуту столь простой способ счисления, предложенный императрицею, ошеломил даже членов дворянского сената), дала, однако же, новое и очень значительное увеличение - 7 363 тысячи душ. Начиная с четвертой ревизии, в перепись вошли губернии, раньше к ней не привлекавшиеся, вследствие иной податной организации в них (Остзейские и Малороссийские), а также области, вновь приобретенные от Польши: для всей России цифры получаются, таким образом, несравнимые с результатами трех первых ревизий. Но уже в 70-х годах (четвертая ревизия началась в 1783 году) князь Щербатов считал в границах петровской России около 8 1/2 миллиона душ. Другими словами, за полвека со смерти Петра население увеличилось в полтора раза. Абсолютные цифры населения еще ничего, конечно, сами по себе не говорят. Важнее отношение его к территории. При средней плотности для Европейской России 405 человек на кв. милю (около 8 на кв. километр), в конце царствования Екатерины II нашлось 11 наместничеств, где эта плотность превышала 1000 человек на кв. милю (20 на километр), т.е. почти достигала средней плотности населения теперешней Европейской России, составляющей, как известно, по данным 1905 года, 25 человек на кв. километр. То были губернии: Московская, с плотностью 2403 человека на кв. милю (почти 50 на кв. километр, т.е. почти столько, сколько теперь в центральных земледельческих губерниях - Курской, Рязанской, Тамбовской и т.д.), Калужская, Тульская и Черниговская - от 1500 до 2000 на кв. милю (от 30 до 40 на километр, как губернии Среднего Поволжья, Симбирская, Саратовская, Пензенская, Казанская), Рязанская, Курская, Киевская, Орловская, Харьковская, Ярославская и Новгород-Северская - от 1000 до 1500 на кв. милю, или от 20 до 30 на кв. километр (плотнее Самарской и области Войска Донского и немного ниже Минской или Смоленской)*.

** Цифры для XVIII века взяты у Шторха (Historisch-statistisches Gemalde des russischen Reichs. - Riga, 1797. B. I. S. 325 - 326.*

На населенность Московской губернии должен был оказывать известное давление город Москва, но не столь, однако, сильное, как может показаться: в конце XVIII столетия в Москве было не более 250 тысяч жителей. Еще меньше могло сказаться влияние городских центров на населенности таких губерний, как Калужская или Рязанская. Даже уменьшив плотность населения Московской губернии на 1/5, мы получим до 40 человек на кв. километр чисто земледельческого населения. В наше время губернии с такой плотностью страдают уже от малоземелья: полтораста лет назад не могло быть иначе. Вот что писал в 70-х годах Щербатов о Московской губернии петровского разделения, включавшей в себя позднейшие Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую: "По причине великого числа народа, населяющего сию губернию (Щербатов в ней считал 2169 тысяч душ), многие деревни так безземельны остаются, что ни с каким прилежанием не могут себе на пропитание хлеба достать, и для того принуждены другими работами оный сыскивать. По той же причине многонародие леса в сей губернии весьма истребило, и в полуденных провинциях их столь мало стало, что с нуждою на протопление имеют". В то же самое время в Нижегородской губернии были "многие великие села и волости", которые, вследствие недостатка земли, "упражняясь в рукоделиях, промыслах и торговле", не имели даже огородов*. Вольное экономическое общество при самом своем основании пожелало собрать сведения об экономическом положении различных областей России, и в первой же книжке его "Трудов" был напечатан весьма обширный и детально разработанный план анкеты, заключавший в себе 65 вопросов, "касающихся до земледелия". Это было, для своего времени, очень крупное и рационально задуманное предприятие - если бы оно удалось вполне, мы имели бы нечто вроде моментальной фотографии аграрных отношений, существовавших в России около 1765 года. К сожалению, полученные обществом ответы охватывают лишь меньшую часть тогдашних провинций, притом не все они напечатаны в "Трудах", а в напечатанных есть пробелы. Тем не менее ничего столь полного мы не имеем ни для предшествующей эпохи, ни даже для последующих, вплоть до того времени, когда появились работы "редакционных комиссий" 50-х годов. Нам в дальнейшем не раз придется прибегать к данным этой анкеты. Пока отметим, что по интересующему нас вопросу об относительном перенаселении ответы корреспондентов Вольного экономического общества вполне подтверждают слова Щербатова. "Сколько я приметить мог, - писал из Каширского уезда знакомый нам Болотов, - то во многих местах здешнего уезда более способных работников, нежели земли к делению способной. Почему многие помещики от времени до времени вывозят крестьян своих в Воронежскую и Белогородскую губернии, и селят в степных уездах". "В здешней провинции противу пашенной земли земледельцев гораздо больше", - категорически заявлял корреспондент из Переяславля Залесского. Притом "крестьяне опричь земледелия никаких промыслов других не имеют": здесь, таким образом, мы имеем очень чистую форму избыточного населения, которому ничего не остается, как уйти, если оно не хочет умирать с голоду. Избыток отмечается во всех центральных

провинциях: в Рязанской, Калужской, Владимирской и Тверской**. Его нет только в южных и восточных пристенных областях, хотя уже в Украинской слободской провинции (нынешней Харьковской губернии) "пашенные земли с числом земледельцев состояли в равновесии". А в Сумской провинции (теперь уезд той же Харьковской губернии), "земли против числа людей" было даже "умеренно, и излишества ни в чем не предвиделось". Наконец, в северных провинциях - Вологодской, Галицкой, около Онежского озера - земли, правда, было, сколько хочешь, но лишь ничтожная часть ее была распахана, так что малоземелье давало себя чувствовать и здесь***.

** Щербатов, соч., т. 1, с. 480 и 492.*

*** Труды Вольного экономического общества, т. 2, с. 197; т. 7, с. 75 и 105; т. II, с. 113; т. 12, с. 112; т. 26, с. 69 и др.*

**** Ibid., т. 8, с. 95 и 213; т. 10, с. 92; т. 23, с. 108 и др.*

Кашинский корреспондент Вольного экономического общества дает нам чрезвычайно яркую картину разложения земледельческой России по мере того, как плодилось земледельческое население. Нет нужды, что он сам плохо улавливает связь явлений и склонен большую долю возложить на Господа Бога, который урожая не послал, да на леность крестьян, не сумевших вовремя приноровиться к Божьему насланию. В прежнее время большая часть кашинских крестьян, "не выходя с роду ни ногою из своего уезда, питалась единственно хлебом, просто сказать, так, как он сам родился, не заботясь о приведении земли к лучшему хлебородию, что им удавалось; ибо продолжавшиеся до 1762 года сухие годы и, следовательно, по здешней низменной земле хорошие урожаи довольно снабжали их как хлебом, так и для скота кормом, а они, обнадеясь на то, и употребляли все свои мысли единственно к обрабатыванию той земли, коя их питала, не приумножая вновь. Но когда же с 1762 года сделались почти всегда дождливые лета, и низкие пашни от долго на оных стоявшей воды начали вымокать, а старая земля выпахиваться, то и хлебы стали хуже родиться. Однако крестьяне пробивались еще год или два старыми семенами, неурожаи не переставали, но еще более умножались; наконец хлеба у них не стало, они принялись за скот, но который, к пущему несчастию, неоднократно помирал поветрием, что их и последнего лишило пропитания. Они стали мало содержать скота, следовательно, и земля навозу прежнего получать не стала, вспашка от дурных лошадей и бороньба также переменилась, и пашня сделалась еще хуже; при всем том они никаких средств не предпринимали, перебивались с корейки на копейку, а все дома сидели, и почитали за страх ходить по землям куда-нибудь в большие города работать, и тем доставать себе хлеб и деньги. Напоследок, когда многие помещики начали их к тому принуждать, то вступили они в поход; но и там, как люди незнаемые и не заобыкновенные, мало получали барышей или привыкнувши к вольной городской жизни, а лучше сказать, к пьянству, от хлебопашества зачали отставать"*.

** Ibid., т. 26, с. 24 - 25.*

Итак, первое, что умели сделать помещики с избыточным населением своей крепостной деревни это выгнать лишние рты в город на заработки. Общественное мнение хороших хозяев тех времен этого отнюдь не одобряло, помещик считался как бы обязанным найти своему крепостному работу на месте. Князь Щербатов развитие отхожих промыслов прямо связывает с развитием как среди помещиков, так и среди самих крестьян "сластолюбия": "Сластолюбие обыкновенно влечет за собою леность, а леность людей ослабляет в земледельческой работе". Неодобрительную нотку в суждениях кашинского корреспондента Вольного экономического общества читатель уже заметил, конечно. Но неодобрение не могло устранить объективного факта: барин требовал оброка, и в поисках денег крестьянин "выступал в поход" - из деревни в город. О размерах "похода" дают представление цифры, собранные историком русской фабрики. В Ярославской губернии было взято паспортов:

в 1778 году - 53656;

в 1788-м - 70144;

в 1798-м - 73663.

"Мужчин в Ярославской губернии по 5-й ревизии (1796 года) было 385.008. Таким образом, в конце XVIII века около 20 % всего мужского населения Ярославской губернии уходило на заработки на сторону, иначе говоря, более 1/5 взрослого мужского населения занималось неземледельческими отхожими промыслами"*.

** Туган-Барановский. Русская фабрика. Изд. 2-е, т. 1, с. 47 - на основании данных архивов Вольного экономического общества.*

Не симпатизировавший явлению князь Щербатов даст в одном месте картину его конечных результатов не менее наглядную, чем изображенная кашинским помещиком. "Если мы возьмем одну Москву, - писал он в 1788 году, - и рассмотрим разных мастеровых, живущих и приходящих в оную, то ясно увидим, как число их приумножилось. Двадцати лет тому не прошло, весь Каретный ряд вмещался за Петровскими воротами по земляной ограде на большой улице, а ныне не только уже многие лавки распростерлись внутрь Белого города, и взаворот в обе стороны по земляному городу, но и в других улицах множество есть таких сараев для продажи карет, не считая, сколько немцев каретников в Москве в разных местах кареты делают и продают. Хлебники были весьма редки; ныне почти на всякой улице вывески хлебников видны. Кирпичу в год делалось в ряд до 5 миллионов, ныне делается до 10 миллионов; строенья (т.е. стройки) были редки и много как в Москве прежде когда 20 домов строилось, а ныне нет почти улицы, где бы строения не производилось. Все таковые промыслы требуют людей, или навсегда пребывающих или приходящих на время летнее, яко кирпичников, каменщиков, штукатуров, плотников, столяров и проч.: а все сии люди, удвоившиеся или утроившиеся на летнее время, оставляют свои дома и земледелие, чтобы, не способствуя к произращению пропитания, быть истребителями съестных припасов"*. Но Щербатов мог бы утешиться: рядом с неземледельческим те же причины создавали земледельческий отход. Описывая в своей "статистике" Белогородскую губернию (соединявшую в себе части теперешних Курской и

Орловской), он говорит: "Великое число земель и легкая работа дают способ земледельцам великое число земли запахивать, так что в многих местах они четверть жатвы своея отдают приходящим из Московской губернии за то, что сии им помогают хлеб их убрать". Это известие целиком подтверждает для крайнего юга тогдашней Московской губернии Каширского уезда Болотов, добавляющий любопытную подробность: на работу в степь ходили преимущественно женщины, а осенью их мужья отправлялись, иногда за сотни верст, с телегами, чтобы забрать хлеб, наработанный в течение лета их женами. Одного этого маленького факта достаточно, чтобы видеть, насколько екатерининская Россия не была уже страной натурального хозяйства.

** Соч., т. 1,с. 632 - 633.*

Выгнать крестьянина на заработки в город было, конечно, самым простым для помещика способом извлечь пользу из своих "лишних людей". Для этого ничего, кроме некоторой энергии с его стороны, не требовалось. Но мы видели, что хорошие хозяева не сочувствовали такому способу извлечения дохода из крестьян, и, с помещичьей точки зрения, они были правы. "Где селянин навыкает тем порокам, которые ему больше должны быть чужды, нежели кому другому в гражданском состоянии пребывающему? - вопрошает своего читателя знакомый нам Швитков. - Где он научается роскоши, где вольнодумству, где высокомерию, как не в городах? По природной своей простоте он скорее, нежели кто другой, по самому первому побуждению к тому, имеет поползновение; а сие, я думаю, потому больше делается, что он живет не в природном своем местопребывании, но на стороне, а потому и на воле, которая, как обыкновенно, всякого почти портит. Пристойно ли и сходно ли с гражданственным всего народа состоянием, не скажу по большей части, но весь свой век, жить крестьянину в городе, и, одним городским промыслом наживая себе многие тысячи денежной суммы, отнимать через то у городских жителей способ к подобной промышленности, оставлять в пусте свою пашню между всем тем по союзу со своими земляками в селах пребывающими, переносить к ним вести о нуждах градских? Посему едва ли не настает уже та необходимость, чтобы крестьян от всех их привилегированных посторонних промыслов возвратить в природный сельских их должностей круг, или, по крайней мере, поставить их в известную и надежную в том ограниченность". Швитков предвидел возражение, что нельзя же всех крестьян посадить на землю, потому что в таких местах, как Кашинский уезд, например, у земли им всем не найдется работы. Но у него на это был готов ответ. "Я всегда держусь того мнения, - писал он, - что из них (поселян) и те семьи, которые поселены на невыгодной хлебородием земле, по изволению своих господ могут быть заняты в собственных своих обиталищах многими упражнениями, полезными и для себя самих, и для своих господ, и для своего государственного общества"*. Дальнейшей, по интенсивности, ступенью эксплуатации избыточного населения являлось развитие в деревне промыслов. В Кашинском уезде ко времени анкеты Вольного экономического общества эта ступень была уже достигнута. "Нет почти ни одного помещичьего дома, - говорит цитированный нами выше автор, - где бы не было несколько ткачей для ткания полотен, которые бывают по семидесяти по

девяносту пасм, и в Москве продаются аршин по пятьдесят и по шестьдесят копеек, многие помещики сим большие барыши получают. Впрочем, прядут здесь столько, сколько в силах выпрясть, - говорит он же в другом месте о кашинских крестьянах, - и пряденье не за недостатком льну не приумножается, но в помещичьих домах не достает иногда льну по причине многих ткачей: однако там покупают на ростовской ярмарке пряжею, а иногда и льном, как лучше рассудится". "Прилежные, трудолюбивые женщины" пряли "прикупной лен" и в Вологодском уезде. "Когда своего льна нет, что часто случается, - пишет Болотов о Каширском уезде, - то покупается он от посторонних". И здесь, кроме грубой крестьянской холстины, которая, однако, охотно разбиралась весной по ярмаркам и торгам городским, существовали помещичьи холстопря-дильни: в них дворовые бабы и девки прядут довольно тонко, и обученные ткачи ткут полотна, которые аршин по 20,30 и по 40 копеек продается, и мне случалось такую видеть, за которую охотники по 70 копеек аршин давали (тогда как цена крестьянского холста была от 2 до 3 1/2 копейки аршин). Тканье холста на продажу засвидетельствовано анкетой и для целого ряда других провинций и уездов: Калужской, Владимирской, Переяславль-Залесской, Рязанской, Олонецкой. Пряли, по большей части, из своего, непокупного льна, но местами, в Калужской провинции, например, его тоже начинало уже не хватать, и если его еще не покупали, то только потому, что не было подвоза из других мест**.

** Труды Вольного экономического общества, ч. 62, с. 157, 137, 140.*

*** Труды Вольного экономического общества, т. 26, с. 8, 9 и 80; т. 23, с. 274, 275; т. 2, с. 205 - 207; т. 11, с. 117; т. 12, с. ИЗ, 114; т. 7, с. 78, 79 и 107; т. 13, с. 40.*

Несколько цифр дадут понятие о размерах этой отрасли домашней индустрии в екатерининское время. Тверская губерния 1780-х годов вывозила на продажу ежегодно не менее 10 миллионов аршин холста, а в 1879 году той же Тверской губернией вывозилось не более 16 миллионов аршин. Торговое значение холстоткачества увеличилось за сто лет всего на 60 %, и уже при Екатерине II оно достигало здесь двух третей того, что давала Тверская губерния при Александре II*. Но относительное значение промысла было несравненно выше того, что могут показать абсолютные цифры. Пеньковые и льняные ткани были главной статьей русского мануфактурного вывоза за границу и одной из главных статей этого вывоза вообще. В 1793 - 1795 годах средний отпуск их из России достигал 14 614 000 аршин в год, на сумму 4285 тысяч рублей тогдашних (около 10 миллионов рублей золотом), и он был также велик уже за тридцать лет раньше: в 1769 году изделий из льна и пеньки (не считая канатов, веревок и т. д.) было вывезено на 1935 тысяч рублей; но рубль 60-х годов был втрое больше по своей покупной силе рубля 90-х годов, в переводе на современные деньги вторая цифра дает даже больше первой - от 13 до 14 миллионов рублей. А весь вывоз 1769 года составлял всего 14 866 тысяч рублей тогдашних - около 100 миллионов золотых**.

** Туган-Барановский, цит. соч., с. 54.*

*** В.И. Семевский считает русский рубль 1760-х годов лишь в четыре раза больше рубля 1880-х годов. А так как несомненно, что за царствование Екатерины II цена медного, или ассигнационного, рубля упала втрое, то рубль 90-х годов оказывается равным 1 рублю 30 копейкам, в переводе на цены времени Александра III. Мы считаем оценку слишком низкой уже по одному тому, что около 1750 года рубль Елизаветы Петровны был не менее, как в 8 раз крупнее рубля 1880-х годов. Между тем, никакой катастрофы, которая бы уронила рубль за 10 - 15 лет вдвое, экономическая история этих лет не знает. Сравнивая цены на рожь, по данным анкеты Вольного экономического общества (таблицу см. ниже), с ценами ржи 1890-х годов, мы получили отношение 7:1, которым и пользуемся. Цифры вывоза см у Шторха, доп. том, с. 34 - 38.*

Мы употребили выражение "домашняя индустрия" несколько в фигуральном смысле. У Болотова мы встречаем и настоящую "систему домашнего производства", с переходом даже к фабричной системе: крестьянки в окрестностях Серпухова брали пеньку и паклю с парусинной фабрики и пряли "в домах своих за заплату". Но и там, где лен покупался или раздавался помещиком, а потом холстина ему же отдавалось в виде оброка, разница с домашней промышленностью была больше юридическая, чем экономическая. Крестьянин эксплуатировался уже как современный нам кустарь, только поле эксплуатации было сужено: эксплуататором являлся не экономически сильнейший, а тот, кто имел над крестьянином власть и мог его принудить отдать свой продукт внеэкономическим путем. С другой стороны, тканье в барской усадьбе полотна высших сортов дворовыми женщинами и девушками, вероятно, стало прообразом настоящей мануфактуры, отличавшейся от западноевропейской, опять-таки, только юридическим положением работника. То, что Петр напрасно старался вызвать к жизни, уничтожая конкурировавшего с мануфактурой кустаря чуть ли не при помощи осадного положения, теперь росло само собою из того же самого крепостного кустарничества. Наглядную схему превращения маленького домашнего заведения в небольшую фабричку дает современник Швиткова и его соперник по соисканию премии от Вольного экономического общества орловский помещик Погодин. Он советует своим собратьям заводить на первое время "таковые рукомесла, фабрики, заводы и прочие работы - самые небольшие", и рисует такую примерную картину: "Помещик, имеющий сто душ ревижских, может завести фабрику на первый случай не более 5 или 6 станов и бичевую прядильню, и как уже не безызвестно всякому (!), что на сих обеих работах могут заниматься от 10- и до 15-летнего возраста крестьянские дети обоего пола, под надзором совершенного возраста людей, и которые к тяжелой полевой работе не так еще привыкли и способны и, по большей части, больше бывают праздны..."* Подозревавшийся историками в наклонности к натуральному хозяйству помещик начала XIX века, как видим, не хуже своего современника, английского капиталиста, умел понять, как выгодно эксплуатировать детский труд. Мало того, он постигал уже, что одним "внеэкономическим принуждением" в этом случае не обойдешься и предлагал назначить маленьким работникам денежную плату, настолько, впрочем, безобидную для помещика, что последний при этом получал "втрое или вчетверо" более, нежели от оброка, т. е. от отхожих промыслов своих

крестьян. В 1809 году, нужно прибавить, Погодин вряд ли кому говорил что-нибудь новое. Рядом с ним Швитков ссылается на помещичьи фабрики, как на нечто прочно укоренившееся, и нужно посмотреть, с каким торжеством он о них говорит: "По поместьям и действительно есть многие таковые заведения, и существуют уже несколько лет, не приходя нимало в упааок, между тем как по городам на нашей уже памяти скоропостижно возникшие разного рода фабрики и заводы, существовавшие весьма краткое время, скоропостижно упали. Суконные и другие фабрики князя Юсупова, состоящие в его поместьях, как известнейшие всему обществу, могут служить ближайшим всему сказанному в сей статье примером. Подрядчики и самые казенные места по близости тех заводов и фабрик состоящие, с какою выгодою получают от них изделия их, то докажут всегда они сами". Что после известного нам указа 1762 года, запретившего покупать деревни к фабрикам, недворянам было трудно основывать новые промышленные предприятия, и крупная индустрия, в силу вещей, стала дворянским делом, об этом еще за 10 лет до Швиткова, как о деле общеизвестном, писал Шторх. Но закон шел в направлении экономической эволюции, а не против нее. Избыточное население давало готовый контингент фабричных работников именно в руки владельцев крепостных имений, и они воспользовались этим своим преимуществом еще раньше закона 1762 года, который только убрал с поля последних их конкурентов. Уже в комиссии 1767 года, когда влияние изданного всего за пять лет закона не могло быть очень ощутительно, князь Щербатов заявлял с гордостью, еще большей, чем какой проникнуты только что цитированные нами строки позднейшего помещика: "Дворяне, заводя фабрики, весьма умножили разные рукомесла и трудолюбие и подали способ государству довольствоваться теми вещами своими, которые оно прежде от чужестранных народов получало. И оставя прочие токмо о двух родах упомяну, то есть о суконных и полотняных, которых, невзирая на великие побуждения государя императора Петра Великого по 1742 год было суконных фабрик только 16; с вышеозначенного года, когда дворяне зачали в оные вступать, доныне еще их 60 прибавилось, и чрез такое прибавление Россия стала в состоянии армию свою собственными своими сукнами довольствовать: полотняных же, которых было по вышеозначенный год только 20, а того году еще 68 прибавилось"**. Как быстро пошла новая, дворянская фабрика в противоположность туго росшей купеческой, покажут следующие данные: в 1762 году фабрик, не считая горных заводов, в России было 984; в 1796 году - 3161; уже в 1773 году их общее производство выражалось суммой 3 548 тысяч рублей (около 21 - 22 милионов рублей золотом), в том числе сукна на 1178 тысяч рублей, полотна на 777 тысяч рублей, шелковых материй на 461 тысячу рублей, бумаги на 101 тысячу рублей и т.д.***

** Труды Вольного экономического общества, ч. 62, с 179 - 180.*

*** Из возражения, поданного в комиссии, 1767 года на "голос" одного купеческого депутата, требовавшего исключительного права для купечества владеть фабриками (соч., т. 1, с. 125).*

**** Барановский, назв. соч., с. 45.*

Оброчный крестьянин, выгнанный своим барином на заработки в город, крепостной кустарь, рабочий на крепостной фабрике, - таковы прослеженные нами три ступени все возрастающей эксплуатации избыточного населения крепостных имений, не находившего себе работы у земли. Читатель с удивлением спросит: разве эта последняя так хорошо обрабатывалась уже, что дальше некуда было идти, и более интенсивной системы хозяйства, которая потребовала бы новых затрат труда, завести уж было нельзя? Напротив, и в земледелии интенсификация вполне была возможна, и последние десятилетия XVIII века были свидетелями чрезвычайных успехов крепостного хозяйства в этом отношении, но и логически, и хронологически интенсивное барщинное земледелие пришло у нас позже крепостной индустрии. Хлеб, как товар, становится очень выгоден с 80- - 90-х годов: промышленные предприятия давали раньше барыши, с которыми не могло сравниться никакое сельское хозяйство. Две статьи "Наказа управителю", составленного известным тогда агрономом Вольфом около 1769 года, лучше длинных рассуждений покажут нам, как стояло тут дело, и вместе напомнят об одной отрасли промышленности, до которой куда как далеко было и сукну, и полотну. § 1 VII главы этого "Наказа" гласит: "Управителю должно всегда наведываться о цене хлеба, дабы оный продать в настоящее время". А § 2: "Ежели есть винокурни, то должен он употреблять хлеб на курение вина для того, что через сие получить двойную прибыль, а именно: корм скотины для навоза; во-вторых, изойдет меньше на провоз потому, что одна лошадь свезет в город настолько вина, насколько шесть лошадей хлеба". Шторх прибавляет к этому еще один расчет, вполне убеждающий, насколько прав был по своему времени Вольф. Для одного бочонка вина, мерою в 12 ведер, нужно, по меньшей мере, две четверти ржи, говорит он. Цена этого количества хлеба, по средним ценам 90-х годов (когда писал Шторх), около 9 рублей, а за выкуренную из него водку правительство платит от 15 до 18 рублей; чистый барыш помещика мог доходить, таким образом, до 100 %, а расход главный был на дрова, которые, по большей части, были свои, не купленные. Немудрено, что практичные остзейские дворяне (Вольф как раз принадлежал к их числу) перекуривали в водку весь свой хлеб, и Лифляндия, в шведские времена "житница Севера"*, при Екатерине II не вывозила ни пуда хлеба, а даже ввозила его для надобностей своих винокуренных заводов. В 1773 году правительством было куплено у помещиков 2103 тысячи ведер, на сумму около 3 - 3 1/2 миллиона рублей тогдашних (около 20 рублей золотых), одни винокуренные заводы "вырабатывали" столько, сколько вся остальная индустрия, вместе взятая. Остается прибавить, что казна, уже совершенно без всяких предприятий, получала на водке еще более крупные барыши, продавая откупщикам за 4 рубля ведро, которое самой казне обходилось не дороже 1 рубля 80 копеек. Причем и откупщики не оставались в обиде: в списке тогдашних русских богачей, по случайному поводу приводимом Щербатовым, они занимают первое место**. С ними могли конкурировать только горнозаводчики. По словам Шторха, они пользовались в России екатерининских времен такими привилегиями, как, вероятно, нигде и никогда в мире. Он приводит образчики льгот, дарованных им законом: уже этот перечень достаточно выразителен. Князь Щербатов иллюстрирует ту же мысль бытовыми наблюдениями, по своему обычаю, - и картина получается еще более эффектная. На основании очень надежного

источника - торговых книг, которые ему пришлось просматривать, так сказать, по обязанности службы, - он рассказывает, что пуд меди, например, обходился заводчику с доставкой до Екатеринбурга от полутора рублей до 1 рубля 70 копеек. По словесным показаниям заводчика Твердышева, дороже 2 рублей 25 копеек он никогда не стоил: а казна принимала медь в Екатеринбурге, для надобностей Монетного двора, по 5 рублей 50 копеек за пуд. Немудрено, что дела предпринимателей шли прекрасно.

** Русская история, т. 3.*

*** Труды Вольного экономического общества, т. 12, с. 27; Storch op. cit., т. 3, с. 266; Щербатов, т. 1, с. 623.*

"По тем же книгам Твердышева я видел, - рассказывает Щербатов, - что, помнится, в 1756 году, при начале их заводов, было на них долгу до пятисот тысяч рублей, а в 1784 году, когда Иван Борисыч Твердышев умер, уже были заводы заведены, восемь тысяч душ куплено, и до двух миллионов с половиною чистого капитала было"*.

** О состоянии России в рассуждении денег и хлеба. - Соч., т. 1, с. 703.*

Большинству железозаводчиков не приходилось и покупать "душ". Почти все дворяне, или из старинных одворянившихся купеческих фамилий (вроде Демидовых), они вели работу собственными крепостными, которых у Строгановых, например, по четвертой ревизии, было 83 453 души. Несвободный труд настолько преобладал в горном деле, что, по словам Шторха, свободные рабочие составляли здесь ничтожное исключение, и если бы горное дело вынуждено было довольствоваться ими, почти все заводы пришлось бы закрыть. Так как правительство не могло хладнокровно отнестись к подобному бедствию, то тем предпринимателям, которые не имели своих крепостных, рабочих давала казна. По обе стороны Уральского хребта целые волости черносошных государственных крестьян "приписывались" к горным заводам, где они должны были "отрабатывать" свою подушную подать. По смыслу закона, они несли на себе лишь разные вспомогательные работы - рубку и подвоз дров, вывоз металла и т. п., - причем, как только труд их, по казенной оценке, достигал нормы подушной подати, их обязанности по отношению к заводчику прекращались. На деле их зависимость от заводской администрации была почти так же велика, как крепостных, и заводовладельцы эксплуатировали их, как находили для себя выгоднее*. Так на рабском труде воздвигалась еще одна отрасль индустрии, имевшая не только общерусское, но и громадное международное значение. Читатель, вероятно, очень удивится, когда узнает, что железо составляло одну из главнейших статей русского экспорта во второй половине XVIII века. Впереди железа как вывозной товар шла только пенька, все остальное, не говоря уже о холсте и полотне, даже лес, продукты скотоводства и хлеб, стояло далеко ниже. Средний вывоз железа за границу в 1767 - 1769 годах составлял 1 951 464 пуда; в 1793 - 1795 годах - 2 965 724 пуда. По ценности, железа вывозилось в 90-х годах ежегодно с небольшим на 5 миллионов рублей (11 - 12 миллионов рублей теперешних), около одной восьмой

всей суммы русского вывоза, где лен и пенька составляли почти 33 %. Особенно ценилось "сибирское", или, как оно еще называлось, "соболиное" железо - клемейнное сибирским гербом двумя стоящими на задних лапах соболями. Оно шло из классического района уральского горнозаводства - из рудников на восточном склоне Уральского хребта. Англичане предпочитали его шведскому железу и охотно, по словам современников, перенесли бы все свои заказы из Швеции на Урал, если бы русские заводы сумели приспособиться к английским потребностям. Но, обеспеченные своими привилегиями, Демидовы и Строгановы мало интересовались новыми заказчиками, а крепостная администрация их заводов, где иногда предприятием с сотнями тысяч рабочих ворочал один полуграмотный приказчик была, конечно, во всех отношениях слишком далека от европейского рынка с его требованиями. Русские заводы продолжали изготовлять товар по раз установившимся образцам, и качество металла было так высоко, что он все же находил себе покупателей на Западе**.

** Подробнее об их положении см. ниже, в следующем отделе настоящей главы.*
*** О железе см. у Шторха (назв. соч., т. 2, с. 512; т. 8, с. 143 - 148).*

На помещичьих винокурнях и уральской железопромышленности мы можем снова наблюдать влияние тех двух факторов, которые создавали концентрацию капиталов в послепетровской, как и в допетровской России: монополий, с одной стороны, заграничного спроса - с другой. Дворянский капитализм времен Екатерины II ничем не отличался в этом случае от буржуазного капитализма последних дней Московской Руси. И уральские заводчики фактически были монополистами: когда в 1782 году всем было разрешено свободно искать и добывать руду, это не вызвало к жизни ни одного нового завода, до такой степени несокрушимой казалась всем конкуренция уральских магнатов. Когда появились у нас первые зачатки аграрного капитализма, он не ушел из-под влияния общего закона.

Говоря теперь о сельскохозяйственном предпринимательстве в России, мы думаем о хлебе и о том, что связано с производством хлеба, - от засеянного пшеницей поля до молотилки, мельницы и элеватора. А когда говорили о нем полтораста лет назад, говорящему представлялась пенька. "Которого из наших земных продуктов излишнее размножение нимало неопасно и, следовательно, заслуживает преимущественное поощрение? - спрашивал в 1765 году инициатор знакомой нам анкеты Вольного экономического общества, Т. Клингштет. - Ежели отвечать на сей вопрос в рассуждении важности и множества выпускаемого ныне из России продукта, то всякому, чаятельно, в голову придет назвать пеньку, ибо всем известно, что сей продукт имеет преимущество в цене и количестве перед всеми прочими, которых Россия от своего натурального избытка ежегодно уделяет чужестранцам, но не упоминая о том, что уже выше сказано о пеньке, тщетный труд был бы выхвалять, яко новость, прибыла уже и без того всем известные"*. Тщетность всяких панегириков конопле арифметически доказывает знакомый уже нам орловский помещик Погодин, приложивший к своему проекту подробный расчет, что давала каждая десятина под тем или другим растением (цены 1809 года). В то время как десятина ржи давала всего 14 рублей 40 копеек дохода, овса -

16 рублей 50 копеек и даже пшеницы только 54 рубля, десятина конопляника приносила 83 рубля дохода. Пенька была главной статьей русского экспорта в XVIII веке, притом вместе со льном она далеко оставляла за собою все другие предметы вывоза. По расчетам Шторха, Россия вывозила в среднем пеньки:

в 1758 - 1762 годах ежегодно 2 214 956 пудов;
в 1763 - 1767-х - 2 490 588;
в 1793 - 1795-х - 3062387.

** Труды Вольного экономического общества, ч. 62, с. 166.*

По стоимости вывоз пеньки составлял в 1769 году 2 795 тысяч рублей (18 миллионов рублей на золотые деньги), льна и пеньки вместе - 4 478 тысяч рублей (около 29 миллионов золотых рублей). Любая картинка, изображающая корабль XVIII века, объяснит нам странное для современного взгляда преобладание этого товара: пенька - это паруса и канаты, это каменный уголь торгового, как и военного флота времен Семилетней войны. Очень характерно, в связи с этим, что англичане искали на русском рынке всегда первого сорта пеньку, а французы - всегда второго и третьего. Повторяем, уже в 60-х годах XVIII столетия приходилось не толковать русскому помещику о выгодах конопляников, а, напротив, держать его, что называется, за фалды. "Известно, что никакой продукт не истощает столь много силы из земли, как пенька", - предостерегает в цитированной нами статье Клингштет. Но из этого следовало только, что землю под коноплю нужно удобрять сильнее, чем под хлеб, другими словами, что разведение пеньки являлось более интенсивной культурой, чем хлебопашество. Погодин и изображает это весьма ясно: "Десятина конопляника больше всякого хлеба приносит дохода и составляет по здешним местам наилучший продукт, - говорит он, - а потому всякий владелец согласился бы засевать свою землю больше коноплею, нежели прочим хлебом; но сего сделать потому нельзя, что от 50 тягол при посредственном скотоводстве больше нельзя удабривать земли, как 8 десятин, а сверх того и работы за оною больше, нежели за прочим хлебом"*. Оттого в большей части Средней России, по анкете Вольного экономического общества, крестьяне сеяли коноплю в ничтожном количестве, лишь для собственного потребления. Только на нетронутых целинах юга поставщиком пеньки на рынок могло явиться крестьянское хозяйство; во всех других местах таким поставщиком мог быть только помещик, способный собрать на свои конопляники удобрение с целой деревни - способный благодаря своей монополии, называвшейся крепостным правом. А побуждение пустить эту монополию в ход именно в этом направлении давал опять-таки европейский рынок.

** Там же, с. 168 - 169.*

В русском хлебе этот рынок пока нуждался еще гораздо менее: в списке русских вывозных товаров хлеб стоит на шестом месте, ниже не только пеньки, льна и железа, но ниже продуктов скотоводства (сала) и даже холста. Холста в 90-х годах вывозилось на четыре с лишком миллиона рублей, а хлеба меньше, чем на три. Это объясняется, однако же, вовсе не тем, чтобы русский хлеб меньше ценили на Западе, нежели русскую пеньку или русское железо напротив, хорошо

просушенное русское зерно предпочитали всякому другому. Хлебный экспорт задерживался чисто географическими причинами. До второй половины царствования Екатерины II у России были порты только на Балтийском и Белом морях. Но ближайшие к этим морям губернии производили, главным образом, серые хлеба, а Европа спрашивала, преимущественно, пшеницу. "Большая часть жителей полуденных европейских земель пшеницею питаются, - писал в 1765 году пропагандист русского хлебного экспорта Клингштет, - и понеже многие из сих государств гораздо меньше у себя имеют хлеба, нежели к содержанию их жителей потребно, то цена пшеницы (выше?) прочих родов хлеба, и сей продукт должен быть сочтен продажным во всякое время товаром". Но сеять пшеницу на суглинке было хлопотливым и рискованным делом, особенно, когда рожь можно было с такою выгодой перекурить в спирт*. Великолепные урожаи давала пшеница в южных пристенных уездах, но ее сеяли здесь мало - "столько, сколько кому, по его семейству, на пропитание до новой жатвы стать может". Корреспондент Вольного экономического общества по Слободской Украинской провинции (нынешней Харьковской губернии) тут же чрезвычайно убедительно и объясняет, для чего земледельцы не прилежат к размножению сего, равно как и прочего хлеба. Никакой иной причины им "не предвидится, кроме того, что они не имеют способа, куда оной с прибылью отпускать, потому что в близости сих стран никакого порта нет". Так, накануне первой турецкой войны Екатерины II, скромный захолустный обыватель дал философию всех русско-турецких войн XVIII века. Вопрос о том, как сделать русский хлеб таким же отпускным товаром, как пенька, давно был поставлен, и не только в ученых обществах, что показывает напечатанная в первом же томе знакомых нам "Трудов" записка Клингштета, но и в официальных сферах, как мы знаем из еще более ранней записки Волкова, будущего кабинет-секретаря Петра III и автора манифеста о вольности дворянства. Рассуждая о том, какими мерами вернуть России серебро, выкачанное из России благодаря нелепому ее участию в Семилетней войне, Волков писал, приблизительно за год до смерти Елизаветы Петровны: "Хлебом торг производит Рига и великую полякам прибыль делает: то мне кажется стыдно столь изобильной России в сем торгу ничего не участвовать и весь свой хлеб на одном вине пропивать. Хлебный здешнему государству торг натуральнее всех. Подлинно, бывшими и часто без нужды запрещениями (вывоза хлеба) заставили мы многих (иностранцев) прилежать к земледелию и убавили расходы на наш хлеб. Но если бы паче чаяния и ожидания надлежало войну еще несколько лет продолжать, то в государстве серебряного рубля не осталось бы"**. Но против экономики, гнавшей хлеб на винокуренные заводы, никакая политика ничего не могла поделать, и скоро та самая Лифляндия, на которую с одобреним ссылался Волков, как на хороший пример, перестала вывозить хотя бы пуд хлеба, весь выкуривая на вино. Положить в основу русского торгового баланса хлебный вывоз можно было, только отворив пшеничной России ворота на Черное море. Это и сделал Кучук-Кайнарджийский мир, и его экономические результаты были немедленно же, по горячим следам, учтены теми, кто пристальнее всех следил за русской торговлей. "Я посвящу эту депешу разбору дела, которое может оказать весьма важное влияние на интересы этой страны в торговом отношении, - писал английский министр иностранных дел посланнику Георга III в Петербурге 14 февраля 1775 года, - я разумею плавание по турецким

морям, по смыслу последнего мира уступленное России в самых широких размерах. Если взглянуть на карту, очевидно, что держава эта может извлечь много торговых выгод из последних своих приобретений на Черном море и свободного прохода по Дарданелльскому проливу, предоставленного ее купеческим кораблям... Один только зерновой хлеб, выставляемый в огромном количестве губерниями, прилегающими к Черному морю, займет значительное число кораблей, составляя предмет, который всего менее помешает торговле русских северных портов". Английский дипломат выводил отсюда, конечно, что и англичанам"положительно необходимо иметь свободное плавание к русским портам на Черном море и обратно". Турецкие войны и позже, как известно, гораздо больше помогли развитию на Черном море какого угодно судоходства, только не русского. Но, на своих или чужих кораблях, русский хлеб должен был массой пойти по новой дороге на Запад. Проницательный англичанин только несколько предупредил события: новая дорога наладилась не сразу. Но к концу царствования Екатерины его предсказание можно было считать достаточно оправдавшимся: в 1793 году уже пятая часть русского хлебного вывоза шла через Таганрог, Херсон и Феодосию, а пшеница в этом вывозе, по ценности, составляла почти половину***.

** Тем не менее даже в Вологодской провинции сеяли в 60-х годах пшеницы 1/3 или, по крайне мере, 1/4 сравнительно с рожью, и не только для домашнего потребления, но и для продажи, но лишь на местном рынке. (Труды Вольного экономического общества, т. 23, с. 225 - 226 и 252).*

*** Архив кн. Воронцова, т. 24, с. 118 и 123.*

**** Вот несколько цифр, иллюстрирующих развитие русской торговли на Черном море в связи с турецкими войнами; русский вывоз через Черноморские порты: 1764 год - 59 097 рублей; 1776-й - 369 823 рубля; 1793-й - 1 295 563 рубля.*

Из этого, конечно, вовсе не следовало, что превращения хлеба в товар дожидались так же долго. Если уже в XVI веке у нас существовал внутренний хлебный рынок, то во второй половине XVIII веке не могло быть иначе. Уже в самом начале царствования Екатерины II мы встречаем в Нижнем Новгороде купеческую "компанию" - товарищество на паях, одно из первых в России, которая торговала, главным образом, хлебом, и первоначально даже так и предполагалась назвать ее в уставе: "Хлебная компания". Хлебный рынок создавался автоматически, благодаря той передвижке избыточного населения, о которой мы говорили в начале главы. Подвоз хлеба в центральные области был необходимостью уже в 60 - 70-х годах. "Об Московской губернии особливо должно сказать, - говорит Щербатов, - что в оной не токмо ее жители истребляют хлеб, но также множество приходящих из всех городов, да и самые жители, находя себе удобные промыслы, довольно не прилежат к земледелию; а потому коль обильную жатву поля ни представляли бы, но никогда она пропитаться сама собою не может, а должна от всего государства заимствовать свое пропитание"*. Этими словами Щербатов опровергает, между прочим, собственное свое показание относительно слабого развития хлебной торговли в современной ему России: благодаря размерам империи, издержки перевозки будто бы съедали все барыши. Наблюдения помещика Центральной России курьезным образом перепутались у него с

наблюдениями петербургского обывателя. Петербург действительно, пока не были окончательно готовы водные пути, связывавшие его с Верхним Поволжьем (главным образом, Вышневолоцкий канал), часто получал хлеб за более дешевую цену из Польши, через Ригу, нежели из Рязанской или Казанской губерний. Но самое прорытие каналов, при тогдашней технике более трудное, чем теперь, достаточно свидетельствует о громадном напоре черноземного хлеба к северу. Вышневолоцкий канал начали еще при Петре I, но практическое значение эта "в высшей степени искусственная система сообщения, на которой главным образом основана балтийская торговля и снабжение Петербурга" (Шторх) получила лишь при Екатерине II, а вполне закончена она была даже лишь в XIX веке (в 1802 году). Задолго до этого времени в Петербурге выражали уже опасение, что максимальная пропускная способность Вышневолоцкого канала - 4 тысячи барок в год - скоро окажется ниже потребностей петербургского рынка. Это опасение дало толчок к постройке новых каналов, связывавших Неву с Верхней Волгой, - Тихвинского и Мариинского, оконченного при Павле. Действительно, Вышневолоцкий канал, пропустивший снизу 2 914 барок в 1787 году, уже достиг своего максимума к 1791 году, когда через него прошло 4025 барок. Речное судостроение к этому времени сделалось настолько важным промыслом, что один помещик начала XIX века называет деревни, расположенные близ судоходных рек и имеющие строевой лес, "превосходнейшими". Такие деревни, по его словам, даже если у них вовсе не было пахотной земли, могли давать владельцу не меньше доходу, чем имения "с обширными для хлебопашества землями", притом без всякого отягощения крестьян**. Постройка барок общественным мнением тех дней рассматривалась, как чрезвычайно серьезная угроза русским лесам, а что это не было предрассудком, доказывает быстрый рост цен на речные суда: в 1764 году в Рыбинске барка стоила от 16 до 30 рублей, в 1797 году - от 120 до 350 рублей (т. е., приводя к рублю 60-х годов, - от 40 до 120, - цена поднялась от 2 1/2 до 3 раз).

** Соч., т. 1, с. 652.*
*** Труды Вольного экономического общества, ч. 42, с. 214 и др.; ср. с. 203 - 206.*

Мы имеем косвенное, но довольно убедительное доказательство того, что всероссийская торговля хлебом была во второй половине XVIII века распространена значительно более, нежели некоторые исследователи принимают даже для первой половины XIX. В неоднократно упоминавшейся нами анкете Вольного экономического общества были вопросы и о хлебных ценах. Сводя получившиеся на этот вопрос ответы, мы получаем таблицу (см. ниже).

Провинции	Цены за четверть, коп.			
		Рожь	Овес	Пшеница
Вологодская	100	50	160	
Каширская	80 - 90	50 - 60	150 - 160	
Оренбургская	50 - 60	30	70 -	

		- 40	80
Владимирская: в деревне осенью	90	50	180
в городе зимой	160	95	230
Калужская	60 - 100	50 - 60	180
Рязанская	64 - 72	48 - 56	120 - 160
Переясл.-Залесская: minimum	100	56	210
maxim. (в недород)	150	85	250 (и выше)
Ингерманландская	200	?	300
Кашинский уезд: осенние цены	160	60 - 70	240
весенние цены	200 - 220	100 - 120	300 - 340
Слободская Украинская	50	25	60
Изюмская	70	40	130
Ахтырская	60	40	120
Острогожская	60 - 70	30 - 40	?
Сумская	90	40	120

Рассматривая эту таблицу, мы сразу замечаем два географических полюса: Петербург (Ингерманландская губерния), с ценами резко выше средних, и степные провинции Юга и Юго-Востока, лишенные всякого сбыта за отсутствием речных путей, с ценами значительно ниже их. О южных степных уездах до первой турецкой войны (а наши цифры относятся именно к этому времени) в этом отношении уже говорилось выше. Об Оренбургской губернии тамошний корреспондент общества, очень известный в те времена агроном Рычков, писал, что "водяной коммуникации из уездов к Оренбургу ни отколе нет", а провоз гужом обходится от 30 до 40 копеек за четверть, т.е. даже для пшеницы составляет 50 % цены самого хлеба, а для овса все 100 %. Но даже и здесь производство хлеба на вывоз уже налаживалось, ниже мы увидим один чрезвычайно яркий признак этого.

Как бы то ни было, если брать одно только настоящее, для шестидесятых годов, а не будущее, хотя бы ближайшее, мы увидим, что цены на хлеб, за исключением столиц, с одной стороны, окраин, отрезанных от остальной России, - с другой, отличаются поразительной ровностью: и в Вологде, и в Калуге, и в Кашире, и во Владимире, даже в Рязани цены были приблизительно те же, с колебаниями не больше 12 - 15 %. Только живой обмен хлебом во всей этой полосе мог установить такие однообразные цены. И действительно, за единичными исключениями, опять-таки в окраинных провинциях, анкета всюду изображает нам продажу хлеба, как общераспространенное явление. Наиболее "капиталистическими" из охваченных анкетой местностей были Кашинский уезд, несмотря на свое неплодородие, отправлявший хлеб водою в Петербург, и Вологодская провинция, посылавшая его даже, через Архангельск, за границу. Здесь не только хлеб, но и сено "всегда продавалось". Ближе всего к натуральному хозяйству была Калужская провинция. "Хлеба во время и великого урожая, по малоимению у владельцев земель, излишнего от своего употребления в остатке бывает весьма мало, - писал корреспондент последней. - В отпуск в другие места оного никогда не бывает", покупали хлеб будто бы только купцы местных уездных городов, да помещики, у которых хлеб не уродился. Единственными продуктами земледелия, шедшими за пределы провинции, были, по его словам, конопля, пенька и конопляное масло: он дает их цены у Гжатской пристани. Двадцать лет спустя Щербатов, который в своих экономических показаниях всегда скорее отставал от своего времени, чем опережал его, дает, однако же, цены ржи именно для этой самой Гжатской пристани. Да и сам корреспондент в другом месте проговаривается, что "земледелец" возит хлеб на продажу в уездный город не только в случае исключительного урожая, но и "в обыкновенный год", и цены дает для этого "обыкновенного года". А сходство этих цен с ценами соседних губерний ясно показывает, что уездные купцы, дальше которых не видел калужский помещик, едва ли сами ели купленный ими у "земледельца" хлеб. Вопреки его неоднократному утверждению, "отпуск", таким образом, и из Калужской провинции, несомненно, был. Каширский уезд в отношении сельскохозяйственной культуры был весьма отсталой частью России. Болотов рисует нам чрезвычайно яркую картину почти средневековых отношений. Мы ее ближе коснемся далее. Тем не менее и здесь торговля хлебом была вполне налажена. Только "скудные и бедные люди" продавали свой урожай на месте. "Имеющие же довольно лошадей" возили уже в уездный город, "где они за хлеб свой лучшую цену получают". А помещики посылали его в Москву "сухим путем", несмотря на то, что Кашира связана непрерывной водяной дорогой с Москвой. Барка, как мы видели, все же стоила денег, а крепостной мужик обязан был возить барский хлеб даром, на своей лошади и своей телеге. В Рязанской провинции помещики, по-видимому, никогда не продавали хлеба на месте, а весь отправляли в Москву и другие города, опять-таки сухим путем. Только более емкая мука шла до Москвы на барках и стругах, притом ею торговали уже не помещики, а по большей части купцы. "Провоз сухим путем на четверть подлинно положить невозможно, потому что всяк возит на своих лошадях и своими работниками; но провоз водою от места до Москвы на четверть становится по двадцати копеек". Так как четверть пшеницы на месте стоила не

меньше 1 рубля 20 копеек, а ржи - не меньше 60 копеек, то доставка хлеба на рынок давала в первом случае накладной расход в 16 - 17 %, во втором - до 33 %*.

** О внутренней торговле (вопросы 31 - 35 и 53 анкеты) см. Труды Вольного экономического общества, т. 2, с. 185 - 186; т. 7, с. 73,158 - 159; т. 8, с. 149 и 201; т. 11, с. 102 - 103; т. 23, с. 251 - 252 и 255; т. 26, с. 49 - 50 и 53.*

Ровные географически, хлебные цены зато тогда, как и теперь, обнаруживали резкие хронологические колебания: по сезонам - во-первых, в зависимости от урожайного или неурожайного года - во-вторых. Кашинский корреспондент, потому ли, что он сам был толковее других, оттого ли, что Кашинский уезд был более затронут рассматриваемым нами экономическим процессом, даст наиболее полное объяснение колебаниям первого рода. Он говорит, приведя обычнуюцену хлеба на месте: "Вышеписанная цена обыкновенно бывает вскоре по убрании с полей хлеба, уменьшается против весенней цены по причине сбору подушных и оброчных денег; но весною, когда крестьянин небольшое количество родившегося хлеба съест, оставя малую часть для посева, цена возвышается". Трудно себе представить более "современную" картину: Тверская губерния уже при Екатерине жила так же, как все русское крестьянство при Александре III и позднее, только название податей изменилось, да вместо того, чтобы отдавать их в разные руки то помещику непосредственно, то в казну, они целиком стали отдаваться последней, чтобы потом, в образе ли государева жалованья или под видом займа из дворянского банка, попасть все в тот же помещичий карман. Денежный помещичий оброк был сильнейшим стимулом превращения крестьянского хозяйства в денежное, а в Нечерноземной полосе в екатерининское время на оброке было 55 % всех крестьян*. В связи же с казенными податями корреспонденты Вольного экономического общества особенно часто упоминают продажу скота: продавать лишний, а в случае крайности, и не лишний, скот на уплату подушных было, по-видимому, чрезвычайно распространенным обычаем. Всего более развита была торговля скотом опять-таки в нынешней Тверской губернии. "Здешней народ, - говорит Кашинский корреспондент, - имея мало промыслов, первою в нужде подпорою почитает свой скот, который, хотя бы последний был у него, ведет со двора на рынок, для заплаты подушных денег и прочих податей". Но от чего разорялись бедняки, на том более состоятельная часть крестьянства еще наживалась: "семьянистые и домовитые крестьяне, содержа больше скотины, не только оную продают, но скупая у других, оною еще переторговывают; иные по первому пути тушами возят в Петербург или купцам, торгующим мясами, из барышей перепродают. Таковые, не имея довольного числа для скотины корму своего, нанимают луга для сенокоса, или пашню для хлеба, дабы излишнее число тем прокормить". Зачатки классов и классовой борьбы мы встречаем, по данным анкеты, не в одной Кашинской провинции. Автор "экономических ответов" из южной части нынешней Олонецкой губернии рассказывает следующее: "Имеющий достаток почти за весь погост платит деньги в нужном случае, а именно, когда должно платить подушные деньги, или употреблять на домашние нужды и на складчину во время рекрутского набора. Но за такое свое благодеяние берет он чрезвычайные проценты, на которые склоняет его староста: и таким образом

бедные крестьяне не токмо не могут исправиться, но еще приходят через то в большее разорение"**. Чем не 1880-е годы? А это писано за сто лет до споров о том: есть в России, и в частности в русской деревне, почва для классовой борьбы, или нас Господь Бог уберег от этой напасти. О податях, как стимуле для "торгового скотоводства", упоминают и вологодский корреспондент ("мясо... редко в году употребляют в пищу, ибо от скота что сберегут, то продают на соль себе и в подати"), и сумский, и Болотов из своего средневекового Каширского уезда ("во время нужного случая, а особливо при платеже подушных денег первое свое прибежище к сей продаже - скота - принимает, и скудные часто до такой крайности доходят, что последнюю корову или овцу продают и платят подушные деньги, штнужной себе хлеб покупают"). Последняя фраза Болотова рисует нам такую картину разложения натурального хозяйства, даже в этом медвежьем углу, ярче которой трудно себе что-нибудь представить.

** В.В. Семевский. Крестьяне при Екатерине II, т. 1, с. 48.*
*** Труды Вольного экономического общества, т. 13, с. 40 - 41.*

Но население росло быстрее, чем производство хлеба, и уже 80-е годы дают нам картину голода, напоминающую конец XIX столетия. "Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Белогородская, Тамбовская губернии и вся Малороссия претерпевают непомерный голод, - писал Щербатов в начале 1788 года, - едят солому, мякину, листья, сено, лебеду, но и сего уже недостает; ибо, к несчастию, и лебеда не родилась, и оной четверть по четыре рубля покупают. Ко мне из Алексинской моей деревни привезли хлеб, испеченный из толченого сена, 2 из мякины и 3 из лебеды. Он в ужас меня привел, ибо едва на четверть тут четвертка овсяной муки положена. Но как я некоторым и сей показал, мне сказали, что еще хорош, а есть гораздо хуже"*. Цифры того же Щербатова показывают нам, каким темпом и до каких неслыханных прежде размеров поднимались хлебные цены. У Гжатской пристани, главного отпускного "порта" для восточной части Смоленской и западной - Московской губерний, а также для Калужской провинции, платили за четверть ржи:

в 1760 году - 1 рубль 86 копеек;
в 1763-м - 1 рубль 95 копеек;
в 1773-м - 2 рубля 19 копеек;
в 1788-м - 7 рублей.

** Соч., т. 1, с. 684.*

Даже приняв в расчет разницу в цене рубля (ассигнационного с семидесятых годов - причем к 1790 году ассигнации упали почти на 20 % сравнительно с серебром), мы получим увеличение цены за четверть столетия почти на 500 %. Если когда-нибудь помещик хлебородной губернии мог колебаться, что выгоднее - завести ли у себя в имении суконную или полотняную фабрику, или же самое имение превратить в фабрику для производства хлеба, то теперь этим сомнениям должен был наступить конец: при ценах 80-х годов, а они держались и в 90-х, когда четверть хлеба стоила не дешевле 4 рублей, хлеб становился не менее выгоден, чем

всякий другой товар. В 60-х годах помещики еще не решили, что лучше: вести ли хозяйство самим или предоставить его крестьянам, превратившись в простых получателей ренты. С этим связаны известные эман-сипаторские проекты 60-х годов, которым сочувствовала крупнейшая русская знать, заседавшая на первых местах в только что основанном Вольном экономическом обществе. Под их влиянием, не без участия и разделявшей их взгляды императрицы Екатерины, общество поставило "задачу": "Что полезнее для общества: чтобы крестьянин имел в собственности землю, или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то и другое именно простираться должны?" Премию - 100 червонных и золотую медаль - получил Беарде-Делабэ, "доктор прав церковных и гражданских в Ахене". Две цитаты покажут, в каком направлении был дан ответ. § 9: "Человек, осужденный питатися в поте лица своего, без сомнения, должен трудиться: но Бог, подвергая его сему труду, в то же время дал ему и право на ту самую землю, которую принужден он был обрабатывать"; § 11: "Но узнав все прибытки, происходящие от собственности, крестьянам дозволенной, каким образом должно их до того доводить? Как могут они владеть землею, будучи сами во власти у других? Раб, сам в себе не властный, никогда не может иметь владения, как только мнимого: ибо собственность не может быть без вольности. Богатство, принадлежащее рабу, подобно брякушкам серебряным, у собаки на ошейнике висящим: все принадлежит господину. Излишне входить о сем в дальнейшие подробности: ясно, что прежде, нежели дать рабу какое имение, надлежит необходимо сделать его свободным". Понятно, что попытка напечатать это произведение на русском языке произвела среди тогдашних помещиков впечатление настоящего скандала; даже в обществе предложение не собрало сначала большинства. Но количество должно было уступить качеству: за напечатание высказались такие члены общества, как гр. Орловы, гр. Чернышевы, Сивере и другие, а за ними, как всем было известно, стояла императрица. Трактат "доктора церковных и гражданских прав" был напечатан в русском переводе*. Дочитав его до конца, успокоились вероятно, и наиболее ожесточенные его противники: Беарде практически не предлагал ничего такого, что шло бы вразрез с интересами владельцев оброчных деревень. Сущность его проекта сводилась к тому, чтобы, дав крестьянину юридическую свободу, притом не сразу, а очень постепенно, следуя столь оригинально понятому Екатериною правилу Монтескье, и небольшой участок земли, и то и другое не даром, а за выкуп, увеличить этим производительность крестьянского труда, а, стало быть, и размер оброка. "Дайте собственность крестьянину; пускай бы он имел какое-нибудь имение: тогда можете вы без всякого страха препоручить ему управление своих доходов; вы не будете ничего опасаться в рассуждении цены, за какую вы оное ему уступите: небольшое его поместье, или, лучше сказать, охота, с которою он прилепится к новому своему имению, будет вам порукою во всем. Таким-то образом богатые, способствуя благополучию крестьян, умножат собственное свое богатство, и доходы их тем надежнее будут. Владельцы, познав истинные свои пользы, препоручивши им свои земли и попечение о полученном с них доходе, умножат тот самый доход..." Юридически свободный крестьянин, фактически поставленный в необходимость арендовать барскую землю, - вот тип, весьма хорошо знакомый нам, тип, который, в качестве идеала, рекомендовал Беарде-Делабэ своим знатным читателям. И,

предвидя возражение, что крестьянин не удовлетворится этой свободой, воспользовавшись ею просто для того, чтобы сбежать из имения, ученый доктор ссылается на пример Европы. "Нет, господа, - говорит он своим воображаемым возражателям, - никогда не вздумают они бежать. Воззрите на примеры всех благоустроенных в Европе народов; подражайте оным. Богатые, не утруждая себя всегдашним надзиранием, получают исправно и порядочно свои доходы. Удовольствие видеть следующую везде за вами собачку, которая вас любит и вас ласкает, может ли сравняемо быть с тягостным трудом водить медведя?" Все это звучало очень приятно для ушей сверстников жившего исключительно на денежные доходы "графа N.N.", пока оброки, т.е. отхожие промыслы, сулили, по крайней мере, не меньше, чем земледелие. Но когда хлеб, вместо рубля за четверть, стал давать четыре, находилось все больше и больше помещиков, легко соглашавшихся "водить медведя" (столь прибыльного!) и "утруждать себя всегдашним надзиранием". Сорок лет после Беарде то же Вольное экономическое общество премирует Швиткова, который о свободе рассуждал, как мы видели, совершенно иначе, нежели "доктор церковного и гражданского права", и категорически рекомендовал барщинное хозяйство перед оброчным. В добросовестность "ласковой собачки" Швитков решительно отказывается верить, и, даже допуская, что оброчный крестьянин от своего хозяйства будет иметь хороший доход, он сомневается, чтобы тот пожелал делиться этим доходом со своим барином. "Часто случается, - пишет он, - что при всем изобилии сельских произведений, которыми крестьяне могут наживать себе и деньги, в приобретении потребного оных количества для оброка могут они господ своих обманывать, а количество их же трудами приобретаемых сельских произведений всегда может быть виднее: то по сим причинам судя, я полагаю, что лучше обложить крестьян рабочею, нежели денежною повинностью... Мне кажется всегда лучше, чтобы помещики ссужали крестьян своих нужным количеством денег за их работу**, нежели чтобы крестьяне промышляли деньги для помещиков. И сколь оно удобно, особливо в нынешние благословенные времена, когда и из благородного дворянства помещики имеют привилегию не только держать подряды и откупы, но и производить торговлю наравне с купечеством! Товар они имеют всегда готовый, т.е. сельские произведения, трудами поселян приобретаемые, которые во всяком, а особливо в известных местах, платятся весьма дорого"***.

** В ч. 8 Трудов Вольного экономического общества, откуда мы и берем наши цитаты.*

*** Швитков имеет в виду уплату подушных за барщинных крестьян их господами.*

**** Труды Вольного экономического общества, ч 12, с. 113 - 115.*

Так, к концу XVIII века "избыточное население", от которого за сорок лет раньше помещик не знал, как избавиться (при условии сохранения своего дохода, разумеется), становится необходимо нужно в самом имении, и помещик начинает находить, что у него не только нет "лишних" людей, а даже едва-едва хватает тех, которые есть. Мы напрасно стали бы искать какие-нибудь политические или, тем более, индивидуально-психологические причины тому, что эмансипаторские

проекты Екатерины II увяли, не успев расцвести. Идею освобождения крестьян в XVIII веке убили хлебные цены. Дальнейшее повышение этих цен в половине XIX века сделало снова всех умных помещиков эмансипаторами, а их падение сорок лет тому назад снова развило сильнейшие крепостнические тенденции в русском дворянстве. Что хозяйство, основанное на рабском труде, рано или поздно должно было очутиться в экономическом тупике, подобном тому, в какой попала Римская империя в первые века нашей эры и из которого этой империи вовсе не удалось выйти, - это могли бы предсказать и современники Беарде-Делабэ. Но теоретические выкладки всего меньше могли иметь влияние на ход хозяйственного развития. Огромное вздорожание "сельских произведений" толкало к интенсификации помещичьего хозяйства, а это последнее в данный момент не могло обойтись без барщинного труда крестьян; интенсификация хозяйства должна была свестись к интенсификации барщины.

Эту последнюю можно уже заметить по анкете Вольного экономического общества, хотя анкета двадцатью годами предшествовала тому колоссальному подъему хлебных цен, какой отмечен Щербатовым. Наиболее типичные для середины столетия условия изображает, по-видимому, Болотов, отвечая на вопросы анкеты по Каширской провинции. Как мы уже упоминали, картина получается средневековая: чересполосица, или, как он выражается, "разно-боярщина и чересдесятинщина", в связи с этим принудительный севооборот, плохое удобрение - потому что на дальние полосы иногда даже и не доберешься, - и т.д. Все эти отрицательные стороны средневекового экономического режима Болотов рисует чрезвычайно яркими красками, интенсификация хозяйства уж очень его озабочивает, а он вполне отчетливо сознает, какой вред для нее представляет, например, чересполосица. "Чересдесятинщина препятствует земледельцу малою своею землею по своему хотению пользоваться и оную под такой хлеб или произрастание употреблять, и то на ней в разные года сеять, чтобы он за лучшее признавал. Она отнимает у него руки и не допускает ни до каких предприятий..." Она связывала не только крестьянина, но и помещика, ибо и помещичья земля, обыкновенно вперемежку с крестьянскою, была "изрезана на мелкие полосы и по них разделена". Выделять помещичью землю к одному месту только еще "в иных местах начинали", иными словами, особой барской запашки в Каширском уезде 1760-х годов, как правило, не было, а крестьянин пахал часть своих полос не на себя, а на господина. Это был большой архаизм: в хорошо устроенном имении даже сороковых годов барская пашня была уже выделена в самостоятельное целое*. Тем характернее, что количество пахавшихся крестьянами на барина полосок было не меньше, чем в правильно организованном имении 40-х годов: в Каширской провинции, обыкновенно, половина рабочей силы тратилась на барина (или один работник с полного тягла, т.е. один из двух постоянно пахал на барина, или все тягло три дня в неделю работало на барина, три дня на себя), а иногда и больше. Между тем Татищев, в 1742 году, считал трехдневную барщину максимальной. Определяя, как и Болотов, размеры ее размерами земли, которую крестьянин пашет как на барина, так и на себя, Татищев говорит: "В случае недостатка земли помещику делить землю с крестьянами пополам (иначе барская пашня должна была составлять меньшую часть имения, а крестьянская большую)... а если того не достанет крестьянам, то такие деревни должны быть на оброке

необходимо". Сравнительно с картиной застоя, которую представляла собой Каширская провинция ("Ежели сказать об урожае хлеба, то в здешних местах хлебы за несколько уже лет хуже прежних родятся", - нехотя признается Болотов), соседняя Рязанская провинция давала яркие признаки сельскохозяйственного прогресса: "Здесь земледелие ни в которых местах в упадок против прежнего не пришло, но еще размножается, - писал рязанский корреспондент, - ибо всяк тщится во всяком довольствии себя видеть, к чему росчисти, а по способности и луга в высоких местах употребляют в пашню". Зато здесь и барская запашка, а стало быть, и барщинная повинность, достигала размеров, не знакомых Кашире. Характерно уже то, что работу крестьянина на своем наделе рязанский корреспондент склонен рассматривать как исключение, а работу на барской пашне как правило. Присмотритесь к его манере выражаться: "Помещичьим крестьянам свободные дни даются на себя работать не равно, но по рассмотрению помещика: и так у некоторых в неделе, кроме праздников, один день, а прочие дни на господина; а у других два дня на помещика, а третий крестьянину". В Переяславль-Залесской провинции свободных дней помещичьему крестьянину давалось "в неделю два дня, а прочие дни работают на господина". Кашинский корреспондент очень желал быть оптимистом в вопросе о крестьянских повинностях**, но, начав за здравие, он, нечаянно для самого себя, кончает за упокой. "С осмака ("тягло из двух мужиков и двух баб состоящее") один крестьянин с женою ходит всякий день на барскую работу, а другой с бабою всегда дома, воскресные же дни и прочие праздники также от господской работы уволен (видите, какая идилия!), и, следовательно, имеет в год больше дней на себя работать, нежели на помещика. Случается также, что во время жнитва, где не разделена господская пашня, или в сенокос, ходят они поголовно, то есть, иногда трое, иногда четверо с тягла; но сие бывает не всегда (еще бы!), или после за то какая дается выгода". И наконец, оренбургский корреспондент, суровый и правдивый Рычков, так характеризует положение дела в своей губернии: "Крестьяне помещичьи работают на своего господина по три дня в неделю, столько же и на себя, а воскресный день оставляется им свободен, но больше употребляют они так, как помещик хочет. Есть и такие еще помещики, что повседневно наряжают их на свои работы, а крестьянам для пропитания их дают один месячный хлеб". Это первое упоминание о плантационном хозяйстве, какое мы встречаем в литературе, притом не в сатире, как впоследствии у Радищева, а в чисто деловом сообщении. И современники (Болтин) и новейшие исследователи (В.И. Семевский) оспоривают, чтобы подмеченное Рычковым явление, на котором он настаивает и в других своих писаниях, было общераспространенным. Первый оперирует методом того француза, который давал честное слово, что земля вертится, и спор его с Рычковым может быть решен только сопоставлением их авторитетов - одного из первых агрономов своего времени и дилетанта-историка, умного, наблюдательного, но еще менее, чем Щербатов, способного критически отнестись к своим собственным наблюдениям***. Г. Семевский обосновывает свое заключение на просмотренных им описаниях огромного количества имений Средней России, где он нашел лишь два-три случая, когда в имении отмечены одни дворовые, а пашня была. Но помещик очень редко мог иметь побуждение юридически раскрестьянивать своих крепостных, ибо это, прежде всего, вело к личной ответственности за подушные.

Оставить крестьянину хотя бы видимость своего хозяйства было в его интересах, но это "свое хозяйство" могло быть не крупнее того участка, который сплошь и рядом давался и античному рабу, чтобы отнять у него побуждение к побегу, и который, конечно, не делал еще этого раба крестьянином в настоящем смысле этого слова. Только дальнейшие архивные изыскания смогут решить вопрос окончательно. Историк, вынужденный опираться на печатный материал, может лишь констатировать, что тенденции превратить крестьянина в живой инвентарь, в некоторое подобие античного раба или негра на американской плантации (отсюда, как известно, и термин "плантационное хозяйство"), существовали повсюду, а не в одной Оренбургской губернии. Хотя, возможно, что в последней необычайно благодарная почва и малое, относительно, количество рабочих рук создавали для помещика больший соблазн доводить до крайности эксплуатацию крепостной рабочей силы, чем в других местах. Недаром Оренбургская губерния, так скоро после описания ее Рычковым, стала ареной Пугачевского бунта.

** Краткие экономические до деревни следующие записки. Татищев II "Временник" Общества истории и Древней Руси, ч. 12, с. 12 - 13.*

*** По словам Семевского, ответы на данный вопрос в "Трудах" вообще напечатаны с некоторыми купюрами - выкинуто наиболее яркое.*

**** Притом отдельных случаев плантационного хозяйства - якобы как остатка варварской старины - и Болтин не отрицает.*

Домашний враг

Непрочность положения Екатерины II в первые десять лет ее царствования; попытки дворянского заговора; пугачевщина кладет им конец - Пугачевщина и разинщина; различие экономических условий - Пугачевщина как ответ на интенсификацию барщины; горнозаводские крестьяне; их положение, их волнения; Петр III на Урале " Тактика уральского движения; карательные экспедиции и их результаты - Движение яицких казаков: денежное хозяйство и классовая борьба среди уральского казачества; роль в этой борьбе Петербурга - Пугачев и его предшественники; начало его карьеры; особенности тактики уральских казаков в 1773 году; военная роль горнорабочих: пугачевская артиллерия - Регулярные войска на службе Пугачева: башкиры и крепостные крестьяне; опасения за "фабричных". Пугачев и духовенство - Дворянская паника, паника в Петербурге и "секретная комиссия"; Екатерина и Павел - Политические ошибки Пугачева; их причины; он теряет время: действия Бибикова - Роль Панина; правительственный террор; Екатерина и дворянство в конце пугачевщины

"Что бы ни говорили в доказательство противного, императрица здесь далеко не популярна и даже не стремится к тому, - писал один иностранный дипломат, характеризуя положение Екатерины в середине 1772 года. - Она нисколько не любит своего народа и не приобрела его любви; чувство, которое в ней пополняет недостаток этих побуждений к великим замыслам безграничная жажда славы;

приобрести эту славу для нее гораздо важнее истинного блага той страны, которою она управляет. Это, по-моему, ясно следует из положения здешних дел, если рассмотреть его беспристрастно. Без этого предположения мы должны были бы обвинить ее в непоследовательности и сумасбродстве, видя, как она предпринимает огромные общественные работы, основывает коллегии и академии по чрезвычайно обширным планам и с огромными издержками, а между тем ничего не доводит до конца и даже не доканчивает зданий, предназначенных для этих учреждений. Нет сомнения, что таким путем растрачиваются огромные суммы без малейшей реальной пользы для этой страны, но не менее несомненно и то, что этого достаточно для распространения молвы об этих учреждениях между иностранцами, которые не следят, да, в сущности, и возможности не имеют следить за их дальнейшим развитием и результами"*.

** Донесение английского посланника Роб. Гуннинга гр. Суффольк от 28 июля 1772 года // Сборник Русского исторического общества, т. 19, с. 298, 299. (Мы позволили себе несколько изменить перевод, сделанный чересчур канцелярским языком.)*

Иностранный наблюдатель делал из этого вывод о неизбежности близкой "революции", т.е. нового дворцового переворота, в пользу, как казалось ему, Павла Петровича. По его мнению, отношения между матерью и сыном (которому не было еще и двадцати лет) уже тогда отличались крайней степенью остроты. Поговаривали, что Екатерина не прочь избавиться от сына, и сам Павел был убежден, что его хотят отравить. В материале для нового заговора недостатков как будто не было. Не считая громкого дела Мировича, попытавшегося посадить опять на престол однажды уже сведенного с него Ивана, первое десятилетие екатерининского царствования наполнено целой вереницей аналогичных попыток, которые Екатерина и ее окружающие имели весь интерес выставить перед публикой пустяками и вздором, а позднейшие историки слишком легко поверили в этом случае заинтересованным людям. На самом деле, это был ни более и ни менее вздор, нежели первые неудачные вспышки заговора в пользу Елизаветы Петровны. Как тогда имя Волынского, так теперь в заговорах мелькали имена Никиты Панина, Шуваловых, даже знакомого нам князя Щербатова, одна группка гвардейцев не прочь была сделать основателя российского "монаршизма" русским монархом. Эта, на первый взгляд, самая курьезная подробность свидетельствует, может быть, что движение после разгона комиссии 1767 года приобрело более серьезный политический оттенок, нежели какое-либо гвардейское движение, бывшее раньше. Недаром и Екатерина, по обычаю притворяясь для публики, что она считает и это дело чуть не детской шалостью, в действительности очень хотела бы его замять так, чтобы публика, по возможности, ровно ничего не знала. "Скажите Чичерину (генерал-полицеймейстеру), - писала она в одной записке, - что если по городу слышно будет, что многие берутся и взяты солдаты под караул, то чтоб он выдумал бы бредню и ее б пропустил, чтобы настоящую закрыть, или же и то сказать можно, что заврались". Боялась она, конечно, не Панина и тем более не Щербатова: последний, вероятно, и узнал-то о предназначавшейся ему роли из следствия. Первый стоял ближе, может быть, если не к этому, то к предшествующим

заговорам: недаром ему было дано прочесть дело Волынского в назидание. Но костей не ломали и ему, Екатерина была слишком европейской государыней, чтобы устроить скандал на всю Европу, как не постеснялась в свое время простая русская помещица Анна Ивановна. Главное же, центральной фигурой всех толков были не "министры", надежные или нет, ею был все тот же Павел Петрович, имя которого с уст не сходило у всех "болтунов" без исключения. Эту фигуру было не так легко убрать. И пока на это не решались, оставалось терроризировать сторонников Павла, назначая за "детские шалости" такие кары, что впору хоть очень зрелым людям. В записках Державина сохранился рассказ, живо рисующий одну из таких расправ, да, кстати, и настроение, какое они создавали в гвардии. "В один год (это был год 1772-й), помнится, в июле месяце, отдан приказ, чтобы выводить роты на большое парадное место в три часа поутру. Прапорщик Державин приехал на ротный плац в назначенное время. К удивлению, не нашел там не токмо капитана, но никого из офицеров, кроме рядовых и унтер-офицеров; фельдфебель отрапортовал ему, что все больны. Итак, когда пришла пора, он должен вести один людей на полковое парадное место. Там нашел майора Маслова, и прочие роты начали собираться. Когда построились, сказано было: "к ноге положи", и ученья никакого не было. Таким образом прождали с трех часов до девяти в великом безмолвии, недоумевая, что бы это значило. Наконец, от стороны слобод, что на Песках, услышали звук цепей. Потом показались взводы солдат в синих мундирах. Это была Семеновская рота. Приказано было полку сделать каре, в который, к ужасу всех, введен в изнуренном виде и бледный унтер-офицер Оловянишников и с ним 12 человек лучших гренадер. Прочтен указ императрицы и приговор преступников. Они умышляли на ее жизнь. Им учинена торговая казнь; одели в рогожное рубище и тут же, посажав в подвезенные кибитки, отвезли в ссылку в Сибирь. Жалко было и ужасно видеть терзание их катом, но ужаснее того мысль, что мог благородный человек навлечь на себя такое бедствие. Однако же таковых умышлений на императрицу было не одно сие, окроме возмущения злодея Пугачева, которое будет ниже несколько обстоятельнее описано"... "Возмущение злодея Пугачева" и положило конец дворянским "умышлениям". Все мелкие счеты между сюзереном и его вассалами были забыты, когда у ног их открылась пропасть, куда "чернь" - вилланы, чтобы продолжить сравнение, готовилась сбросить сразу и императрицу, и ее дворянство. Пугачевщина потрясла до основания империю Екатерины, но она как нельзя лучше укрепила положение ее самое, лично.

Когда также знакомый нам Рычков сидел в осажденном Пугачевым Оренбурге, он от скуки занялся описанием бунта Стеньки Разина и написал "большую тетрадь". Два казацко-крестьянских восстания, отделенные друг от друга почти ровно столетним промежутком, и тогда, как теперь, были связаны в умах публики прочной "ассоциацией по сходству". Новейшая историография, однако же, довольно давно заметила, что ассоциация идет, скорее, в другую сторону, и уже Соловьев указывал на почти фотографическое сходство начала разинского восстания с началами казацких "рухов" в Приднепровье. Как у запорожцев, так и у донцов дело начиналось с того, что казакам отрезали дорогу к морю, лишая их тем промысла, столь же исконного на Дону, как и на Днепре. Для донцов решающим моментом была, по словам Соловьева, постройка турками Азова, перекинувшая

казацкие походы с Дона на Нижнюю Волгу и Каспийское море. Он не договаривает, что там, на только что проторенной большой дороге из Западной Европы в Персию, казачество должно было встретиться с крупнейшей экономической силой эпохи - торговым капиталом, к которому уже начало поступать на службу Московское государство. Исконный промысел вдруг стал необычайно выгодным, но и страшно опасным: удачливый атаман на новой дороге мог награбить так много, как никогда раньше, но зато и встретить на своем пути силу, какой раньше донцам никогда не приходилось видеть против себя. Что Астрахань защищали от Стеньки немцы - это было таким же выразительным символом, как и то, что окончательный удар казацким отрядам нанесли европейски обученные войска князя Барятинского. Тут столкнулись между собой два этапа коммерческого развития: "разбойничья торговля" первобытного типа с колониальным предприятием XVII века. И то, и другое по отношению к коренной России было периферийным явлением, каким остались бы и набеги запорожцев на польские области, не захвати революционное движение оседлого и зажиточного казачества, "дуков", "посполитых" с одной стороны, крепостного крестьянства, с другой. Но зажиточная часть донского казачества с самого начала отнеслась к разинскому движению очень холодно, а для восстания крепостных в коренных московских областях как раз 1668 - 1669 годы были наименее подходящим моментом, ибо крестьянское хозяйство именно в эту эпоху шло на подъем, а не на убыль*. Оттого разинщина, кроме Поволжья, в тесном смысле, где ее отряды пополнялись в первую очередь из населения, непосредственно эксплуатировавшегося торговым капиталом (бурлаков, грузчиков, нижних слоев посадского населения и т.п.), захватила только свежеколонизованную окраину тогдашней Руси: Тамбов и другие соседние города, оказавшиеся в черте восстания, были основаны всего за тридцать лет до Разина. К Москве она не подошла и с московскими движениями того времени, весьма нередкими (из-за медных рублей, например), не связалась. Оттого и непосредственного влияния разинского восстания на судьбу собственно московских дел нельзя подметить: и до, и после него режим был тот же, и даже на прогрессе торгового капитализма оно сколько-нибудь заметно не отразилось. Роль пугачевщины, с этой точки зрения, была совершенно иная. Она положила резкую грань между двумя периодами развития "дворянской России". Последующие три четверти столетия русской истории проходят под знаком пугачевщины, и только переход к новым условиям производства, с 60-х годов, снимает этот "знак", снимает настолько основательно, что возобновление явления оказывается невозможным даже при самых, на первый взгляд, благоприятных условиях. Пугачевщина нанесла удар, глубоко проникший в самую сердцевину крепостного хозяйства, и это потому, что она сама была продуктом общерусских экономических условий, которые на восточной окраине проявлялись наиболее интенсивно, но отнюдь не были ее местной особенностью. Восстание крестьян в 1775 - 1774 годах было первым ответом на интенсификацию барщины, и новый Петр III нигде не имел более верных сторонников, как среди уральских горнорабочих, представителей той отрасли крепостного труда, где интенсификация была доведена до последних пределов. Этот факт хорошо отметили уже современники, хотя и не понимая его экономической подкладки: биограф Бибикова, писавший с их слов (когда вышла его книга, всякий помещик за

пятьдесят лет мог рассказывать о Пугачеве по личным воспоминаниям), среди "подлой черни", составлявшей пугачевскую армию, на первое место выдвигает "рудокопов". Без них не было бы той "пугачевщины", какую мы знаем, было бы лишь слабое повторение одного из казацких бунтов, вроде булавинского при Петре. В сущности, вся пугачевщина явилась соединением двух взрывов, вызванных каждый самостоятельными причинами: то были конечные эпизоды борьбы за свободу уральского крестьянства, с одной стороны, уральского казачества - с другой. Разобравшись в обстоятельствах, пред-шедствовавших бунту в том и в другом случае, мы будем иметь уже достаточно полную его "этиологию" - достаточно полное представление об его причинах. Уральское движение было самостоятельным, остальное лишь сообщенным: но сообщиться оно могло только потому, что основной экономический фон всюду был одинаков, разница была лишь в степени интенсивности гнета и, отчасти, в связи с этим, в степени организованности движения.

** Русская история, т. 2.*

Горнозаводские крестьяне (их в 60-х годах на Урале считалось до 100 тысяч душ мужского пола) не были юридически крепостными. Это, как мы уже упоминали, были черносошные, казенные крестьяне, отрабатывавшие на заводах свою подушную подать, т.е. таково было их правовое положение. По инструкции 1734 года всем заводчикам, в видах расширения их производства и устройства новых заводов, было обещано от 100 до 150 дворов государственных крестьян к каждой доменной печи и по 30 дворов к каждому молоту. Заводчик обязывался платить за этих крестьян подати, как помещик за своих крепостных, а крестьяне - на него работать по известной таксе: выработанные ими деньги не выдавались им на руки, а засчитывались в подать. По расчету одного исследователя, каждому работоспособному крестьянину, чтобы выработать подати, приходилось затратить на заводскую работу 120 дней: другими словами, по тяжести, заводская работа равнялась, приблизительно, двухдневной барщине*. Это было бы еще не так тяжело, если бы соблюдалось требование инструкции приписывать ближайшие к заводам деревни. На самом деле, юридическая оболочка никого не обманывала: дело шло о возможности получить крепостных из казны, и само собой разумеется, что заводчики и их управители тянулись к лучшим, наиболее богатым и населенным волостям. В результате "заводские" крестьяне оказывались за 400, 500 и даже 700 верст от завода, к которому они были приписаны. Это одно уже делало заводскую барщину исключительно тяжелой. "Земледельцы не могут пропитаться своим собственным хлебом, - говорит Н. Рычков о Соликамском уезде около 1770 года, - сие не столько от посредственного плодородия их земель, но больше от того, что обитатели сей области почти все к заводам приписные крестьяне, а потому большая часть из них, упражнены будучи заводскими работами, не имеют довольно времени к распространению своего хлебопашества. Ибо в тот час, когда руки земледельцев должны обрабатывать свои земли и пользоваться плодами, от нее произрастаемыми, принуждены они идти на заводы, находящиеся от них в весьма дальнем расстоянии, каковые суть заводы верхо-турского купца Походяшина, лежащие в 500 верстах от тех селений, кои к ним приписаны, и еще в

таких местах, куда и пешим с великим трудом пройти возможно по причине чрезмерно болотистых и лесистых мест". По расчету того же исследователя для того же типичного случая, походы приписных крестьян на завод при расстоянии, которое можно считать, скорее, средним, чем очень большим (400 верст), брали у них 96 дней в год, т.е. их барщина растягивалась до 216 дней, из двухдневной превращаясь в четырехдневную. Это уже одно делало положение "приписных" значительно худшим в сравнении со средним положением барщинного крестьянина по всей России; но это было далеко не все. Работа крестьян на их наделах и заводская барщина сталкивались не только потому, что вторая брала время, нужное для первой. По самым условиям производства заводская работа требовала непрерывности: доменную печь потушить было нельзя, потухшая домна была крупным убытком для заводчика. Странно было бы думать, что более сильный пойдет в этом случае на убытки ради интересов более слабого, и вот заводчики начинают систематически стремиться к ликвидации собственного крестьянского хозяйства, к пролетаризации крестьянства, чтобы иметь рабочие руки при заводе всегда. "Я многих (заводчиков) знаю, - писал в 1765 году оренбургский губернатор Волков, - кои за правило почитают, дабы их заводские крестьяне совсем домоустройства не имели, а единственно от заводской работы питались; и сего правила тем прилежнее держатся, что в то же время и сугубую от того пользу получают". "Сугубая польза" заключалась в том, что заводчик эксплуатировал пролетаризованного им крестьянина совершенно так же, как фабрикант второй половины XIX века своих "свободных" рабочих, заставляя его покупать все необходимое, до хлеба включительно, в заводской лавке, с крупной для предпринимателя прибылью. Челобитная крестьян демидовских заводов (1741) дает яркую картинку этой пролетаризации в условиях глубоко феодального режима. В рабочую пору демидовские приказчики наезжали на деревни с солдатами и били дубинами и батогами старост, выборных десятников и писарей, требуя, чтобы они, в свою очередь, гнали крестьян на заводскую работу. "Когда приказчики наших крестьян увидят на пашнях, - писали челобитники, - то и работать им не дают, и бьют смертельно, и приговаривают... работай на заводе, а не на своих пашнях". Ко времени челобитной цель была уже в значительной степени достигнута: "уже не малая часть" демидовских крестьян "произошла пустотою и многие в убожество и в крайнее разорение пришли и подушного окладу платить нам нечем". Приводить последний мотив было большой наивностью: за уплату подушных отвечал заводчик, покупавший этим рабочие руки приблизительно втрое дешевле, чем они стоили тогда на Урале**. "Конечное" же "разорение" было прямо в его расчетах, и Демидов прекрасно это понимал, рекомендуя своим детям терпеливо относиться к забастовке и их "крепостных пролетариев", он высказывал твердую уверенность, что голод, рано или поздно, пригонит их обратно на завод.

** Семевский, цит. соч., т. 2, с. 364.*

*** Или, по крайней мере, вдвое: сажень нарубленных дров засчитывалась приписным в 25 копеек, а исполнить эту работу вольнонаемными стоило от 50 до 60 копеек. См. мнение депутата комиссии 1767 года Полежаева у г. Семевского, ibid., с. 437. Большая часть цитаты взята из этого же сочинения.*

Плантационное хозяйство, которое в земледельческой полосе было, во всяком случае, исключением, хотя, может быть, гораздо более частым, чем обыкновенно думают, на уральских заводах становилось правилом: "приписной" крестьянин все больше и больше обращался в безземельного раба, которого хозяин кормил и одевал, эксплуатируя за то и его, и его семью (случаи применения детского труда уже встречаются), как ему заблагорассудится. Нет надобности говорить, что условия труда вполне отвечали всей картине тогдашнего режима: никаких признаков "фабричной гигиены", разумеется, не существовало; рабочие задыхались в шахтах, лишенных вентиляции, их заливало водой, они наживали себе скорбут (цингу) и другие болезни. Обезлюдив одну деревню, заводчик хлопотал о приписке другой - и только. Особенно мало заботились об этом привилегированные заводчики из крупной знати, которые, как грибы после дождя, стали расти в конце царствования Елизаветы, с развитием спроса на уральское железо за границей: Шувалов (у одного Петра Ивановича, так хорошо знакомого, было до 25 тысяч душ "приписных"), Чернышев, Воронцов и др. При этом дисциплина на заводе XVIII века была такая же, как и в крепостном имении, и если на фабриках XX века "начальство" сплошь и рядом давало волю рукам, можно себе представить, что было в те времена. "При заводской работе происходило нам не точию излишнее противу положенных на нас подушного оклада и оброчного провианта отягощение, но и самые мучительные ругательства", - писали демидовские же крестьяне (в одной челобитной, несколько более поздней, чем цитированная выше). "Его, Демидова, приказчики и нарядчики, незнаемо за что, немилостиво били батожьем и кнутьями, многих крестьян смертельно изувечили, от которых побои долговременно, недель по шести и по полугоду не зарастали с червием раны. От тех же побои из молодых в военную службу за увечьем в отдачу уже быть не способны; а заводских и домашних работ исправлять не могут (а иные померли). А за принесенную в обиде жалобу, дабы и впредь нигде не били челом, приказом приказчиков и нарядчиков, навязав яко татю на шею колодки и водя по дровосекам и шалашам, а в заводе по улицам, по плотинам и по фабрикам, ременными кнутьями немилосердно злодейски мучили..." Крестьяне называли при этом по именам 12 человек, засеченных приказчиками до смерти*.

** Ibid., с. 368 - 369.*

Для того чтобы правильно оценить то действие, которое процесс закрепощения должен был произвести на психику уральских крестьян, надо не забывать двух обстоятельств: во-первых, что процесс этот, тянувшийся в земледельческой России с незапамятных времен, здесь начался и кончился на глазах у одного поколения - ко времени пугачевщины во многих местах могли быть живы люди, которые не только родились, но и выросли свободными черносошными крестьянами; во-вторых, что, благодаря именно этой постепенности, всюду право успело приспособиться к экономической действительности, подчинившей себе все - и религию, и мораль: и государев указ, и поучение сельского попа, и "обычай", свято хранимый мудрыми стариками, дожившими до старости именно потому, что они были самыми усердными холопами, твердили крепостному об одном: нужно слушаться барина. На Урале не было ничего подобного, на бумаге "приписные"

продолжали оставаться свободными, наезжие государевы чиновники на словах не решались этого отрицать, как ни сильно они тянули руку заводчиков, и ни в каком священном писании нельзя было отыскать текстов, которые бы уполномочивали Демидова драть семь шкур со своих мужиков, "обычаи" же все говорили о свободе. В первую минуту уральским крестьянам и казалось, что вполне возможно легальное сопротивление надвигавшейся на них крепости. По дальности расстояния о них забыли, вот заводчики и начали своевольничать; надо напомнить о себе, и управа на лиходеев найдется. Они писали прошения в главную канцелярию заводов в Екатеринбурге, с них брали взятки, огромные по времени и положению просителей, до 100 - 150 рублей (700 - 1000 на золотые деньги), и потом издевались над ними. Они посылали ходоков - их сажали в тюрьму, заковывали в кандалы, надевали им на шею рогатки и отправляли работать вместе с каторжниками. Естественно, должна была явиться мысль, пока еще не о том, что легальный путь ни к чему не приведет, а о том, что они ищут управы не по тому направлению, по какому нужно. Настоящее ли это начальство, которое не хочет исполнять требований, до очевидности законных? Не узурпаторы ли это, посаженные заводчиками? "Узурпаторы" действуют от имени императрицы Екатерины II; не в этом ли обман? где же Петр III? почему он так скоро исчез? Уже в 1763 году на Урале питали сильные сомнения по этому случаю, и священник одного села, не без побуждения своих прихожан, конечно, служил молебен о здравии Петра Федоровича. А два года спустя, почти за десять лет до Пугачева, по Уралу уже ходят слухи, что Петр Федорович не только жив, но находится здесь, на Урале, называли даже крестьянина, в избе которого он ночевал. А крестьянские ходоки собирают указы Петра III, подлинные и подложные, да, говорят, это еще не все, есть другие, откуда крестьянская правда видна еще лучше. Идеология уральской революции 1773 года была, таким образом, готова.

Ее тактика была готова еще раньше. Было бы верхом наивности думать, что восстание станет дожидаться, пока сложится юридическая теория, которой можно его оправдать, во всех революциях люди начинают действовать стихийно, теорию они находят, или теория их находит потом. Уже самая "приписка" крестьян к заводам редко проходила спокойно: для того чтобы получить фактически, а не на бумаге только, рабочих для Авзяно-Петровского завода (впоследствии одного из главных опорных пунктов пугачевщины на Урале), П.И. Шувалову пришлось прибегнуть к содействию целого драгунского полка, специально присланного из Казани. "Приписные" были жестоко перепороты, и часть их отдана в каторжные работы на те же самые шуваловские заводы. В то же время (1750-е годы) Сивере "приписывал" крестьян к своему заводу при помощи шести рот пехоты. Чтобы читатель оценил как следует эту военную статистику, вот один пример, живо рисующий тогдашние условия по этой части: когда посланный по специальному поручению Екатерины на Урал князь Вяземский затребовал из Казани 100 человек солдат, ему ответили, что в городе всего 33 гренадера и мушкетера. При таком положении вещей мобилизовать полк или шесть рот было все равно, что теперь двинуть дивизию или бригаду. Но с меньшими силами нельзя было иногда подступиться к взволнованным "приписным". В 1760-м и следующих годах около масленского острога, на юго-востоке нынешней Пермской губернии, происходили настоящие военные действия. Крестьяне заняли "крепость" (острог был окружен

деревянными стенами) вооруженным отрядом в несколько сот человек. Сотня из них имела ружья, остальные были вооружены копьями, бердышами, дубинами, иные имели луки и стрелы. Подступы к крепости были заперты рогатками, а около ворот были насыпаны кучи камней "и прочих к сопротивлению разных орудий". По дорогам держалась строгая караульная служба, а крепостной гарнизон производил по временам правильные учения. Маленькие воинские команды, приходившие по вызову демидовских приказчиков - они были тогда неприятелем, на которого ополчились крестьяне, - и подступиться не смели к этому укрепленному лагерю. Демидовская администрация вызвала тогда из Оренбурга отряд гренадер с пушкой и две роты драгун и воспользовалась проходом из Сибири полка донских казаков: вокруг крестьянской крепости было сосредоточено до 600 человек войска. Но крестьяне и тут не сдались - удачно отбились от казаков и храбро выдержали бомбардировку из полковой пушки. Тогда драгуны пошли на приступ, и после жестокого рукопашного боя, в котором войска потеряли более 50 человек, острог был взят. После этого в соседней шадринской тюрьме оказалось 300 колодников, да такому же числу удалось бежать, убито во время усмирения тоже было, конечно, немалое количество, а всего-то речь шла о приписке 2 тысяч душ мужского пола. Восстание было едва ли не поголовным, и когда в Петербурге получили о нем детальные сведения, решено было пойти на уступки, на место была послана следственная комиссия с чрезвычайно широкими полномочиями: ей было предоставлено право в случае надобности даже и отчислить крестьян от демидовских заводов. Большая часть заключенных в тюрьму была выпущена, и вообще расправа за "вооруженное сопротивление" со стороны центральной власти была гораздо более кроткой, чем можно было ожидать по нравам эпохи. Но если в Петербурге до некоторой степени понимали, что не следует доводить дело до крайности, местные власти, в упоении своей "победы", обыкновенно теряли всякую способность различать достижимое от недостижимого. Предводитель шести рот, приписывавших крестьян к заводу Сиверса, майор Остальф, "забирал под караул наиболее зажиточных крестьян, приковывал к кольцам за руки и за ноги, бил немилостиво кошками, и все это для того, чтобы вынудить у них взятки. Всякий, опасаясь смертных побоев, закладывал дом, продавал скот, чтобы отнести деньги, холст, медь и все, что случится, не только самому Остальфу, но и его офицерам и рядовым; одними деньгами они отдали 712 рублей". Крестьяне другого селения, куда потом перешел Остальф со своими отрядами, передавали в своей челобитной такую сцену: "Пришли мы, сироты, к господину майору Осипу Маркычу поклониться и стал наш выборный ему, господину, говорить, что "мирские люди кланяются вашему высокородию пуд меду", и оный майор ударил выборного в рожу и говорит нам, мирским людям: "Я де не рублевый гость, вы-де дадите и дворецкому моему пять рублев; привезите же ко мне... 30 рублев денег да приведите пару коней"". Когда в приписных к шуваловским заводам волостях стоял драгунский полк, "это было чуть ли не поголовное изнасилование и растление женского населения: эти преступления совершали и офицеры, и солдаты. Крестьян всевозможными наказаниями заставляли отдавать своих дочерей на жертву страстям разнузданной солдатчины; от насилия не избавлялись ни замужние женщины, ни девушки, еще не достигшие зрелости"*. Прибавим, что эти тираны были так немногочисленны, что даже терроризировать население не могли.

Этот драгунский полк был, в конце концов, чуть ли не единственный на весь Урал и, ко времени приезда кн. Вяземского (1763), от постоянных передвижений почти потерял способность двигаться, оставшись без лошадей.

** Семевский, назв. соч., с. 329, 396, 397.*

Карательная экспедиция при таких условиях только лила масло в огонь, волнения возобновлялись, стоило солдатам уйти, и при вступлении на престол Екатерины II почти половина приписных крестьян на Урале (49 тысяч из 100 тысяч душ) находились в состоянии бунта. И Вяземскому пришлось рассчитывать не столько на военную силу, сколько на хитрость: он рекомендовал своему чиновнику "приманивать" крестьян ссылкою на туманные слова императорского манифеста, где говорилось, что крестьяне, может быть, будут и отписаны от заводов. "Таким образом приманя и обнадежа, что никакого вреда им сделано не будет, вдруг и крестьянам неприметным образом всех или сколько можно главных злодеев и возмутителей захватить и того же часа, набив на них колодки, спрашивать о их сообщниках и помощниках, которых потому же, немедленно захватя, содержать под крепким караулом, ибо от скоро приятой твердой резолюции не только крестьяне, но и регулярный неприятель легко в беспорядок приведен быть может, и всякое такое предприятие желаемый конец получает..." Но, в сущности, и обещания манифеста сами по себе были военной хитростью, и подписавшая его сама признавалась, что крестьян, даже незаконно закрепощенных заводчиками, она освободить не в силах. "О переведенных крестьянах на заводы, чтобы их выслать на старые жилища, - писала Екатерина Вяземскому, - хотя сие и в противность указам заводосодержатель делал, я еще указа дать не могу, дабы, поправляя сие зло, другого вящего не сделать к разрушению заводов, потому что многие уже мастерствам обучены"*.

** Ibid., с. 377.*

Заводские крестьяне должны были, таким образом, на собственном горьком опыте убедиться, насколько та власть, которая им казалась всемогущей, бессильна перед крупными собственниками. В то же самое время таким же опытом пришли к такому же убеждению уральские, или, как их тогда называли, яицкие казаки. Как и всякая другая казацкая община, на первых порах промысловое товарищество, в свободное от промыслового хозяйства время "казаковавшее" в соседней степи, уральцы к шестидесятым годам XVIII века оказались сразу стесненными в обоих своих исконных занятиях. С одной стороны, откочевка к Китаю калмыков лишила их главного объекта "казакования"; с другой, монополизация казною рыбного промысла привела на практике к быстрому вторжению на Урал денежного капитала и, в связи с этим, к быстрому расслоению общины, которая и раньше, как всякая опять-таки казацкая община, содержала в себе элементы более зажиточные quasi-буржуазные, рядом с бедняками*. Главным уральским промыслом была рыбная ловля, считавшаяся тогда лучшей во всей России. В половине XVIII века она не была уже совершенно свободной, и лучшие рыболовные места (гурьевский учуг, например) войску приходилось брать на откуп у казны. Пойманную рыбу

надо было солить, но соль опять была казенной монополией, и мы помним, что при Елизавете на эту монополию особенно налегали. Номинально откупщиком и соляной, и рыбной монополии на Урале было все войско, практически контракты в Москве и в Петербурге заключали от имени войска наиболее зажиточные казаки, и официальные документы, касающиеся "яицких волнений", нисколько не отрицают, что атаман Бородин, например, правивший Яиком в 60-х годах, "содержал соляной откуп в своем ведомстве три года, не давая в том никакого отчету, и хотя собираемых в оной откуп денег не только на заплату учужного (рыболовного), но и соляного, откупов казалось быть довольно, несмотря на то, налагали еще на народ сборы". После Бородина старшина Якутии, при помощи взяток из войсковой казны, сделался откупщиком рыбной ловли на Волге, а потом и соляных на Урале**. А за то, на чем казацкая старшина наживалась, казацкой массе приходилось самой платить. За соляную подать с казака требовали десятую рыбу от улова. С рыболовным откупом было еще "лучше": со времени Бородина повелось, что в откупную сумму стали засчитывать жалованье, которое выдавалось казакам от правительства - жалованье небольшое, не выше рубля в год, но составлявшее едва ли не главную денежную сумму, попадавшую в руки простого казака, особенно с тех пор, как "казакованье" прекратилось за отсутствием добычи. Когда Бородин, не удовлетворившись и этим, обложил еще казаков, возвращавшихся с рыбной ловли, денежным сбором, якобы на необходимые войсковые расходы, вспыхнул бунт. Среди державшей в руках войсковые должности, войсковую казну казацкой олигархии нашелся порядочный человек, некто Логинов, который раскрыл глаза "войску" на хозяйничанье его атамана и убедил казаков новозаведенного Бородиным сбора не платить, ибо в атаманском кармане и без того уже слишком много казацких денег. Струсивший Бородин в первую минуту нашелся ответить смелому агитатору только "непристойной бранью", но затем, конечно, поспешил воззвать к власти, охраняющей порядок, послав жалобу в военную коллегию. Подавляющее большинство казаков было на стороне Логинова, так что предпринять что-либо собственными средствами атаман не решался: очень характерно, что логиновская сторона скоро получила в народе название "войсковой", а бородинская - "старшинской" - названия давали очень точное представление о соотношении сил на месте. Иным оно, конечно, было в военной коллегии. Присланный ею для разбора дела (в 1763 году) генерал Потапов нашел Логинова достойным кнута и каторжных работ (в действительности он был лишен чинов и, исключенный из яицкого войска, записан в оренбургское простым казаком), многих его сторонников наказали плетьми, а одного отдали в солдаты, что для казака было едва ли не более тяжким наказанием, чем плети. Но желания "войсковых" были еще так умеренны, что они остались почти довольны Потаповым за то, что он сместил с атаманства Бородина и пообещал взыскать с него и других старшин, по крайней мере, ту часть войсковых денег, которую те слишком явно клали себе в карман. Войско заволновалось снова только тогда, когда оставленный Потаповым майор Новокрещенов стал беззастенчиво тянуть руку "старшинской" стороны, а выборных от "войсковой" приказал наказать палками. Но и на этот раз недовольство не нашло еще себе более резкого выражения, чем челобитные в Петербург, и только когда посланный для разбора челобитных генерал Черепов начал с того, что стал стрелять в челобитчиков, температура быстро поднялась...

Череповская пальба помогла "старшинской" стороне посадить еще одного своего атамана, Тамбовцева, но это был уже последний. Теперь достаточно было первого удобного повода, чтобы вызвать настоящее вооруженное восстание. Военное начальство не замедлило этот повод дать. Когда присланный из Петербурга новый генерал Траубенберг стал отбирать казаков для формировавшегося тогда "образцового легиона" и велел брить новых рекрутов на площади (а уральские казаки были раскольники и бородами своими очень дорожили), войско начало с того, что двинулось к генералу с иконами, одна из которых даже плакала при этом случае, а кончило тем, что убило и Траубенберга, и Тамбовцева. Что история с рекрутами была лишь случайным поводом, а движущие пружины и этого волнения оставались прежние, ясно видно из того, что победившее войско, прежде всего другого, взыскало с Бородина и остальных старшин деньги, обещанные когда-то Потаповым. Убийство Траубенберга было уже бунтом во всем смысле этого слова, и на Яик явилась карательная экспедиция. Попытка войска оказать ей вооруженное сопротивление была сломлена - так слабы, в сущности, были уральские казаки, предоставленные самим себе! - а последующая расправа превзошла все предыдущее. Арестована была такая масса народу, что в тюрьме ему не нашлось места, многие сидели по лавкам в гостином дворе. Множество "войсковых" было пересечено кнутом, сослано в каторгу, отдано в солдаты. Столица уральского войска, Яицкий городок, была так терроризована, что "порядок" в ней торжествовал и в разгар пугачевщины: в то время как Казань была уже сожжена, Пенза и Саратов были в руках Пугачева, а Москва ждала нашествия со дня на день, в центральном пункте мятежа продолжал держаться царский гарнизон. Но масса инсургентов разбежалась по степным хуторам, где их трудно было достать; на одном из таких хуторов появился, как известно, и Пугачев.

** Ср. характеристику запорожской общины (Русская история, т. 3).*

*** "Материалы для истории пугачевского бунта", собранные Я. Гротом (Сборник отдела русского языка и словарей Академии наук, т. 15. Из донесения П. Потемкина.)*

История "самозванства" последнего еще менее интересна для современного читателя, нежели история Лжедмитрия. Там есть хотя материал для довольно эффектного романа, в старом вкусе, а менее романическую фигуру, чем Пугачев, трудно себе представить. Как личность это было нечто среднее между фантастом, способным уверовать в плоды своей фантазии, каких тогда много было среди раскольников (к которым Пугачев был так близок, хотя и родился православным), и просто ловким проходимцем, каких тоже было немало в разбойничьих гнездах Поволжья или даже в воровских притонах Москвы. Что он сознательно принял на себя имя лица, одна мысль о котором должна была приводить в трепет простого, безграмотного казака, показывает, как легко люди этого типа эмансипировались от обычной холопской психологии. Но и тут он опять был представителем типа - и довольно распространенного. Он был не первым "Петром III", как не был и последним. За восемь лет до него бывший солдат Кремнев попытался разыграть совершенно ту же роль в Воронежской губернии; в миниатюре его история как две капли воды напоминает пугачевскую - даже до такой подробности, что у него были

"генералы" из крепостных крестьян, одного из которых он называл "Румянцевым", а другого "Пушкиным" (нужно думать, что это были единственные важные генералы, известные ему по именам). Воронежские однодворцы, с которыми пришлось иметь дело Кремневу, оказались гораздо менее благодарной почвой, нежели только что "усмиренные" яицкие казаки или бесконечно усмирявшиеся уральские горнорабочие, одиссея Кремнева кончилась, благодаря этому, очень скоро. Но чуть ли не в то еще время, как его секли кнутом на базарах всех деревень, где он выступал в качестве "претендента", в соседней Изюмской провинции другой беглый солдат, Чернышев, уверял всех, что Петр III - это он, сейчас же нашел сельского попа, который стал поминать его на ектеньях, как императора. Словом, как раз в этом пункте Пугачев был наименее оригинален. Если бы можно было приписать ему лично систему его военных действий, за ним пришлось бы признать выдающиеся стратегические способности, но эту систему, кажется, приходится считать продуктом коллективного творчества, и возможно, что здесь Зарубин (Чика) или Белобородое играли большую роль, нежели сам Пугачев. Поведение "императора" после ареста показывает, что сам на себя он смотрел не больше как на удачливого атамана разбойников, не задумывающегося ни над какими "принципиальными" оправданиями своих действий: просто грешил, пока было можно, а пришел час - нужно искупить грех. Поймавшие его чиновники Екатерины II не могли прийти в себя от удивления и обиды в своем дворянском достоинстве, когда увидели, кто их держал целый год в страхе и трепете. "Он человек нельзя никак сказать, чтобы великого духа, - писал императрице московский главнокомандующий князь Волконский после первого свидания со вчерашним "Петром Федоровичем", - а тем меньше разума, ибо я по всем его изветам нисколько остроты его не видел... Скверен так, как мужику быть простому свойственно, с тою только разницею, что он бродяга".

Карьера этого "бродяги" на первых шагах ничем не отличалась от карьеры его предшественников. Едва успев объявить себя Петром III, он был схвачен, отвезен в Казань и приговорен к кнуту и каторге. Вместо этого, однако ж, он через несколько месяцев опять появился среди яицких казаков, а еще через несколько недель стоял уже во главе общеуральского мятежа. Екатерина - с ее взглядом на дело мы ниже познакомимся подробнее - долго не могла простить казанскому губернатору Бранту его оплошности, и нашла нужным подчеркнуть ее даже в официальном рескрипте ему, по случаю назначения генерала Кара главным начальником над первой экспедицией против Пугачева. "По случившемся в Оренбургской губернии от бежавшего у вас из-под караула бездельника казака Пугачева мятеже", - ядовито отмечал рескрипт, объясняя бедному Бранту причины посылки Кара. Естественно, что сам Кар больше всего хлопотал, как бы Пугачев не убежал вторично: "Опасаюсь только того, - писал он Екатерине, - что сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег". Военная коллегия вполне разделяла его "оптимизм". "Весьма изрядно учинить все изволили, предписав сибирскому коменданту преградить у плутовской толпы путь на случай их бегства по услышании о приближении к ним военных команд", - писал Кару в ответ президент военной коллегии граф Чернышев. По крайней медленности тогдашних сношений, писалось это в то время, когда давно "обратился в бег" сам Кар, а командированный им для пресечения Пугачеву путей к бегству "синбирский

комендант" давно качался на виселице. В силу вековой традиции русской - да и всяческой другой - бюрократии старались не упустить "зачинщика". Но суть была совсем не в нем, можно быть уверенным, что в случае вторичной поимки Пугачева "войсковые" сейчас же нашли бы себе нового "Петра. III", а в той тактике, которую усвоили себе теперь уральские казаки и которая, всего вероятнее, была им подсказана их неудачей в предшествующем году. Тогда они держались оборонительной системы - дожидались, пока к ним придут войска, и отбивались от них, в результате они были разгромлены.

Теперь они решились взять инициативу в свои руки, и победа над силами, гораздо более крупными, чем какие они имели перед собою в 1772 году, досталась им с легкостью, которая должна была изумить их самых. Историки, которые объясняют легкость успехов Пугачева тем, что против него была "дрянная гарниза" за не менее дрянными деревянными укреплениями, забывают, что ведь и годом раньше на Яике действовали не отборные полки (они были на турецкой войне или же в Польше). У Фреймана, усмирявшего Яик в 1772 году, была всего одна гренадерская рота - точь-в-точь такая, какую Пугачев в ноябре следующего года взял, что называется, голыми руками. Но перед Фрейманом были "злодеи", бежавшие и укрывавшиеся, в крайнем случае, отстреливавшиеся, когда на них нападали, словом, была картина обычная, к которой "усмирители" давно привыкли, а перед Каром и его предшественниками были "злодеи", совершенно необычным образом нагло шедшие вперед, точно они были авангардом стотысячной армии. Между тем у Пугачева в этот период восстания было не больше двух тысяч хорошо вооруженных людей, и то под самый конец, а начал он, имея их не более трехсот. Тогда как у одного Кара было 1300 человек, может быть, и не равнявшихся по достоинству гренадерам Фридриха Великого, но, во всяком случае, вооруженных и обученных, как всякие регулярные солдаты, да в Оренбурге, за всеми потерями первых недель, оставалось почти три тысячи. Но на стороне пугачевцев был огромный моральный перевес - перевес людей, уже одержавших победу и идущих вперед, тогда как психология правительственных войск была психологией отступающей армии, не верящей ни в себя, ни в своих вождей. Два привходящих обстоятельства облегчили положение: одно - первую победу, а стало быть, и моральный перевес восставших, другое - техническую возможность использовать этот перевес. Первое обстоятельство заключалось в крайнем ослаблении "старшинской" партии на Урале в это время, благодаря отсутствию почти всех ее боевых элементов, командированных в Кизляр: считая Яик окончательно замиренным, правительство спешило использовать свою победу, заткнув яицкими казаками бреши, которых у него так много было на всех границах. Таким образом, элемент, который имел социальный интерес бороться с восстанием, был сведен почти на нет, и это как раз в ту минуту, когда противоположная сторона была ожесточена до крайности, потому что яицкий комендант начал править с "войсковых" деньги, нечто вроде контрибуции, наложенной на них за бунт 1772 года. Один из допрашиваемых казаков впоследствии "откровенно признался", по словам официального документа, "что никакая другая причина не принуждала их к соединению с самозванцем, как только, чтобы избежать притеснений и взыскания несносного денег"*. В то же самое время восставшие казаки немедленно же умели связаться с социальным элементом, как нельзя более им родственным:

горнозаводскими крестьянами. Уже в октябре 1773 года, через месяц после выступления Пугачева, на знакомом нам Авзяно-Петровском заводе лили для восставших пушки и ядра, которые Кар тщетно пытался перехватить при перевозке их в пугачевский лагерь. Благодаря этому уже к ноябрю Пугачев имел до 70 орудий, в том числе довольно крупных - двенадцатифунтового калибра, и был артиллерией сильнее правительственных войск: в главном сражении с Каром у инсургентов было 9 пушек против 5, которыми располагал отряд Кара, причем пугачевские пушки были лучше казенных. Факт необычайной важности, недостаточно подчеркивающийся обыкновенно историками бунта, весьма склонными изображать пугачевскую армию как громадную нестройную толпу полувооруженного мужичья? В документах мы не видим ни громадности, ни нестройности, видим, напротив, сравнительно небольшую силу, составленную из отборных элементов и подготовленную к борьбе в данных условиях гораздо лучше, чем ее противники. Во-первых, вместе с пушками с заводов пришли люди, умеющие их употреблять в дело: современники согласны с тем, что не только артиллерия, но и артиллеристы у Пугачева были лучше правительственных. "Артиллериею своею чрезвычайно вредят, - доносил военной коллегии разбитый Кар, требуя присылки возможно более пушек возможно более крупного калибра, - отбивать же ее атакою пехоты также трудно, да почти и нельзя, потому что они всегда стреляют из нее, имея для отводу готовых лошадей, и как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя ее лошадьми далее на другую гору, опять стрелять начинают; что весьма проворно делают и стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно было". Рычков в своем описании оренбургской осады отмечает, что инсургенты, придавая большой угол возвышения своим орудиям, навесным огнем ухитрялись громить дома в самом центре города, к немалому ужасу осажденных, в первую минуту думавших, что только на валу и около вала опасно быть. Надо иметь в виду, что тогдашние гладкостенные орудия не отличались дальнобойностью, и что городским пушкам, например, никогда не удавалось разрушить пугачевские батареи: чтобы достигнуть описываемого Рычковым эффекта, нужно было быть, по своему времени, образованным артиллеристом. Совершенно определенно указывает Рычков на связь этого явления с присутствием в рядах пугачевцев заводских мастеровых. "Сказывали, - пишет он, - что посланные на Твердышевский завод без всякого там сопротивления получили и прислали к нему злодею более 3000 зарядов с ядрами, и заряды де были все из лучшего пороха, и не малое число ружей. Тут же взяли они к себе из заводских многих служителей, в том числе несколько довольно обученных пушечной пальбе, о коих сказывали, якобы они добровольно склонились"**. Остается прибавить, что если на горнозаводских рабочих держалась артиллерийская тактика Пугачева, то яицкие казаки не менее умело развили тактику кавалерийского боя. Их рассыпной строй был почти неуязвим для артиллерии противника, в те далекие времена не располагавшей даже и шрапнелью, появившейся в начале XIX столетия, попасть же ядром в одиночного всадника было труднее, чем убить ласточку на лету пулей из ружья. А на ружейный выстрел казаки не подъезжали, пока тяжелые каре екатерининской пехоты не были окончательно расстроены метким артиллерийским огнем: тогда стремглав, с криком и визгом, бросались они на обезумевших солдат, большей частью без сопротивления бросавших ружья. Кар не видел иного

спасения, как сосредоточить на театре восстания возможно более регулярной конницы, и действительно, в усмирении пугачевщины гусары и драгуны впоследствии сыграли самую видную роль, а в зимнюю кампанию 1773 - 1774 годов с пугачевской тактикой довольно удачно боролись еще отряды егерей-лыжников.

** Сборник, ibid., с. 96.*

*** Летопись Рычкова, в приложениях к "Истории пугачевского бунта" Пушкина.*

Но пока были усвоены тактические уроки пугачевщины - более серьезные, как видит читатель, чем обыкновенно думают, - "Петру Федоровичу" давно удалось самому обзавестись настоящей регулярной армией: одним из непосредственных результатов первых его успехов было то, что целые отряды правительственных войск, нередко с офицерами, переходили на его службу. Современники очень неохотно признавались в этом факте. Екатерина уверяла Вольтера, будто бы Пугачев "предавал смерти всех офицеров и солдат, которые в руки к нему попадались". Биограф Бибикова очень хотел бы уверить своего читателя, что ни один из дворян не передался (самозванцу): он, однако же, не мог скрыть, что после взятия Татищевой (в самом начале восстания - в конце сентября 1773 года) Пугачев "всех военнослужащих, бывших в городе, числом более тысячи человек, принудил присягнуть", а несколько позже - что "из войск, противопоставленных бунтовщикам, целые отряды положили оружие и даже иные перешли к самозванцу". Изменяли не только гарнизоны крепостей оренбургской линии, что еще можно было бы с грехом пополам объяснить "заразой", давно исходившей от яицкого казачества. Ненадежны были и полки, присылавшиеся из Центральной России: солдаты Кара "вслух кричали, что бросят ружья". Измена гнездилась в отборных полках, на которые особенно рассчитывали при усмирении восстания. Владимирский гренадерский полк, который на почтовых наспех везли из-под Петербурга в Казань, пришлось подвергнуть особому тайному наблюдению, открывшему, "что действительно между рядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения перед бунтовщиками ружья". Цитируемый нами здесь Державин также неохотно бы признался, что измена шла выше "рядовых солдат". Но в том самом Саратове, откуда он не особенно почетно уехал, когда стал приближаться Пугачев, почти весь гарнизон, во главе с довольно крупным чином, секунд-майором, перешел на сторону инсургентов. Из состава этого гарнизона артиллерийская команда особенно отличилась в рядах пугачевской армии во время битвы под Царицыном против Михельсона. А еще раньше, когда последний действовал на Урале, он принял однажды пугачевцев за правительственные войска, настолько хороша была их фронтовая выправка. Дела об офицерах, перешедших к "самозванцу", менее всего редки в бумагах, оставшихся от пугачевщины, и напрасно Бибиков, желая успокоить Екатерину, объяснял эти явления "мрачной глупостью" провинциального офицерства. Дворцовые перевороты как раз более сметливых должны были приучить к тому, чтобы не разбираться чересчур долго в правах различных претендентов на престол, а, не теряя времени, присоединяться к тому, кто сильнее. Если что задерживало в этом случае, так, скорее, неизбежность конкурировать с пугачевскими "генералами" и "полковниками" из казаков, да

острое социальное недоверие, которое чувствовали восставшие ко всему, от чего пахло барином.

Казаки, горнозаводские мастеровые и крестьяне, перешедшие к Пугачеву отряды регулярной армии составляли главную боевую силу восставших. То, что нами так прочно ассоциируется с именем "пугачевцев", восставшие крепостные помещичьих имений, были не столько активной частью пугачевского войска, сколько его питательной средой. Во-первых, Пугачевым была заведена правильная рекрутчина: он брал по одному человеку с пяти душ тех деревень, которые были заняты его войсками, а под конец восстания, когда ему приходилось иметь дело с огромными, относительно, правительственными силами, забирал с собою поголовно всех, кто мог носить оружие "Секретная комиссия", ехавшая по следам пугачевского ополчения в августе 1774 года, во встречавшихся по пути селениях никого не находила, "кроме престарелых людей мужеска и женска пола, а прочие все, кто только мог сесть на коня и идти добрыми шагами пешком, с косами, вилами и всякого рода дубинками, присоединились к пугачевской армии" (Записки Рунича). Но в еще большей степени, чем рекрутским депо, взбунтовавшаяся "чернь" служила Пугачеву ширмой, закрывавшей движение его главных сил и рассеивавшей в то же время силы его противника. В первый период восстания такой ширмой для него служили башкиры. Неоднократно бунтовавшие в течение XVIII века, они "усмирялись", кажется, еще решительнее, чем заводские крестьяне. По крайней мере, автор, которого трудно заподозрить в тенденциозности по такому случаю (биограф Бибикова), приводит такие данные: после восстания 1735 - 1741 годов "башкирцев побито, казнено, под караулом померло, сослано в работу, жен и детей их для поселения в России роздано, а всего числом 28 452 человека"; между тем всех башкир автор считает 100 тысяч душ обоего пола! Нет надобности говорить, что к "успокоению" такие меры не привели - в 1754 году башкиры "опять взбунтовали", причем на этот раз "для усмирения их побито и вывезено... до 30 тысяч". Нет ничего удивительного, что они присоединились к Пугачеву весьма охотно и дрались под его знаменами отчаянно: другим пощады не давали и сами не сдавались; в одном сражении с ними Михельсону удалось взять в плен из большого отряда только одного человека, да и то "насильно пощаженного", по образному выражению Пушкина. Помощь башкир, народа конного, располагавшего отличными лошадьми, была особенно ценна для восставших. Разгром их Михельсоном был вторым, по тяжести, ударом для пугачевщины, после подавления тем же Михельсоном и Деколонгом заводского движения. Но на Среднем и Нижнем Поволжье, куда передвинулся театр восстания летом 1774 года, для него нашлась питательная среда и завеса не хуже прежней, в населении помещичьих имений, в военном отношении превосходно использованном пугачевцами. "По всем местам, где они проходили, - доносил Екатерине Панин в августе этого года, - и по прилежащим к ним на немалое от оного отстояние оказывается чернь, восстающая против своих начальств"; из этого "заключать можно, что злодеево главное в том и упражнение, чтобы оную (чернь), где только возможно ему собою и посланными от себя подсыльными возмутить, и когда он войска, на истребление его отраженные, за собою развлечет, то тогда обратиться ему туда, где больше будет обнажено и где он лучшие себе выгоды предвозвещать может". Один современник рассказывает, что для достижения этой цели Пугачеву

достаточно было самых ничтожных средств: довольно было двум его посланным, без всякой вооруженной силы, явиться в какую-нибудь местность, чтобы целые волости поднялись, как один человек. Насколько далеко захватывало пугачевское влияние, покажут два-три образчика. В окрестностях города Рязани, за несколько сот верст от места военных действий, воеводы с трудом находили лошадей для графа Панина и вынуждены были обратиться к содействию проходившего гусарского полка. Когда член "секретной комиссии" Рунич ехал из Рязани в Шацк переодетый, подводчик спрашивал его: "Не к батюшке ли государю ты едешь из Москвы, и не слышно ли в ней, скоро ль наследник государь, Павел Петрович, изволит к нему здесь проехать? Мы его то и дело, что всякий день сюда ожидаем". Член секретной комиссии ничего не нашелся на это сказать, кроме: "Молчи, брат!" "Что далее вдаюсь я в сей край, то открывается в ней черни злодеево бунтовщичье возжение, - писал оттуда же Панин, - по которому всякие оказательства подлость превращая к его выгодам, не оставила и такое дерзновение произносить, что я, как брат дядьки его императорского высочества*, еду встречать с хлебом да солью". Это объяснение панинской экспедиции, "принудив вострепетать все жилы" в уполномоченном Екатерины, послужило для него оправданием ряда совершенных им жестокостей - "для показания, с каким хлебом и солью я против самозванца и всего его сонмища еду". Из его же собственных донесений видно, что жестокости никакого впечатления не производили: месяц спустя ему пришлось доносить Екатерине о "холопе", который, "видя все оные казни и наказания, не ужаснулся, однако же, на перво-встретившегося дворянина напасть с ножом для ограбления его... Во всей здешней черни из всего без изъятия весьма приметно, что дух ее наисильнейшим образом прилеплен к самозванцу изданными от его имени обольщениями на убийство своих градоначальников, дворян, на разграбление казны, соли и на неплатеж десятилетний никаких податей"**. Как всегда, официальные донесения, скорее, смягчали истину, чем преувеличивали: если почитать письма московского главнокомандующего Волконского к Екатерине, можно подумать, что кроме самой невинной болтовни в Москве ничего услыхать было нельзя. А вот что пишет биограф Бибикова, отражающий в своем рассказе неофициальные впечатления той поры: "Приехав в Москву 13 того же месяца (декабря 1773 года: речь идет об А. И. Бибикове), нашел он обширную сию столицу в страхе и унынии от язвы и бывшего возмущения***; настоящая гроза приводила в трепет ее жителей от новых бедствий, коих не без причины опасались, ибо холопы и фабричные, и вся многочисленная чернь московская, шатаясь по улицам, почти явно оказывали буйственное свое расположение и приверженность к самозванцу, который, по словам их, несет им желаемую ими свободу"****. Рабочих московских фабрик побаивалась и Екатерина; еще в июле 1774 года она, в числе возможных планов, в сущности уже разбитого тогда Пугачева, упоминала и о таком: "Прокрадывается в Москву, чтобы как-нибудь в городе в самом вдруг пакость какую ни на есть наделать сам собою, фабричными или барскими людьми". А для удержания на стороне правительства тульских мастеровых были приняты специальные меры: "О тульских обращениях слух есть, будто там между ружейными мастеровыми не спокойно, - писала Екатерина Болконскому. - Я ныне там заказала 90 000 ружей для арсенала: вот им работа года на четыре - шуметь не станут".

** Н.И. Панин был воспитателем Павла Петровича.*

*** Сборник Русского исторического общества, т. 6, с. 132.*

**** В 1771 году, когда случилась чума, в Москве был бунт, во время которого был убит архиепископ Амвросий.*

***** Записки о жизни и службе А.И. Бибикова. - СПб., 1817, с. 277 - 278.*

Горючего материала для восстания было сколько угодно, и его создавала уже не одна интенсифицированная барщина. Поднималось все, что было задавлено и обижено господствующим режимом. Для того демидовского крестьянина из села Котловки, который "по богатству имел в околотке первенство" и "назван был от злодея полковником", мотивом, побудившим к "предательству", едва ли была тяжесть заводских работ. Положение "экономических" (бывших церковных) крестьян после секуляризации церковных вотчин (в 1764 году), несомненно, улучшилось*. В них, по-видимому, ожидали найти элемент "порядка": Кар вооружил их в подмогу своим войскам, но они из первых перебежали к Пугачеву. Мелкое мещанство поволжских городов с восторгом принимало инсургентов. Католический патер одной из немецких колоний на Волге рассказывал Руничу, что человек до тридцати молодых людей из колонии, "разграбив его (патера) и некоторых зажиточных жителей, ушли к Пугачеву". Местное духовенство, до архимандритов крупных монастырей включительно, выходило навстречу Пугачеву с крестами и хоругвями, служило молебны о здравии "Петра Федоровича" и, разумеется, поминало его на ектеньях. Высшие его представители (в числе подозреваемых был ни более ни менее как казанский архиепископ Вениамин, насчет сношений которого с Пугачевым имелись весьма сильные улики, но дело сочли удобнее замять) действовали, главным образом, под влиянием страха, если не за свою жизнь, то за свое и церковное имущество: подчинением самозванцу они надеялись хоть что-нибудь спасти. Но сельское духовенство, с которым помещики обращались не лучше, нежели с крестьянами, разделяло идеологию последних, и нередки были сельские батюшки, которые "наперед к злодеям выезжали и в шайках совокупное с ним злодейство производили". В Петербурге сгоряча решили было расстричь всех, так или иначе приставших к самозванцу, но против этого должен был восстать даже такой последовательный усмиритель, как П.И. Панин. "На сей чин смею я вашему императорскому величеству представить, - писал он, - в тех здесь местах, где злодей сам проходил и в которые входили большие его отряды, не было из оного (духовенства) почти ни одного человека, из не случившихся быть тогда в отлучке, который бы не встречал злодея с крестами, и не делал бы служения с произношением самозванца". Если бы исполнить первоначальное синодское определение, пришлось бы лишить духовенства целый край и закрыть в нем все церкви. По представлению Панина, ограничились поэтому извержением из сана только тех попов, которые приняли активное участие в бунте, но и таких было немало, не меньше, чем офицеров. Невосприимчивым к заразе оказался только один класс - местные землевладельцы, не дворяне вообще, потому что поступившие на пугачевскую службу капитаны и майоры по званию были, конечно, дворянами. Но не было, кажется, ни одного случая, чтобы во главе пугачевского отряда стоял помещик из восставшей местности. Там, где мятеж

пылал ярким пламенем, все население превращалось в охотника, а помещики - в травимую дичь. Одно, устным путем дошедшее от времен пугачевщины до 60-х годов прошлого века предание рисует нам трагикомическую картину отчаяния одной крепостной деревни, барин которой был в отъезде: мужички были искренно убеждены, что если им не удастся повесить своего барина, они навеки останутся крепостными. И как они были рады, когда им удалось, наконец, приманить беглеца на родное пепелище! Но, на счастье почти уже повешенного барина, это был последний момент восстания: правительственные войска вовремя успели явиться ему на выручку**. Местное дворянство гибло "всеродно" не хуже, чем боярство при Грозном. "В некоторых селениях злодейские убийства истребляли всех их владельцев до того, что еще неизвестно, кому они по закону достанутся", - доносил Панин. По его подсчету мятежниками было казнено (преимущественно повешено) 753 помещика, а с женами и детьми 1572 человека, но он сам признает эти сведения далеко не полными. Паника, охватившая дворянство приволжских губерний, да и не их одних, была неимоверная. Казани в декабре 1773 года, когда приехал туда Бибиков, никакая непосредственная опасность еще не угрожала. Тем не менее, "многие отсюда, или, лучше сказать, большая часть дворян и купцов с женами выехали, - писал Бибиков жене, - а женщины и чиновники здешние уезжали все без изъятия, иные до Кузмодемьянска, иные до Нижнего, а иные до Москвы ускакали. Сами губернаторы были в Кузмодемьянске". Но чего же было требовать от казанцев, город которых был все же, в конце концов, сожжен Пугачевым (хотя только через полгода после того, как они стали приходить в трепет), когда и подмосковное дворянство вело себя не лучше. "Дворянство, собирающееся обыкновенно в Москву к празднику, съехалось тогда в великом множестве; выезхая из губерний, разоряемых разбойничьими шайками бунтовщиков (но в декабре 1773 года "разоряема" была еще только одна Оренбургская да часть Казанской) или угрожаемых, оставляло отеческие свои домы и искало в Москве последнего себе убежища"***. Кто не имел средств ехать в Москву, искали убежища в уездных городах, где помещики скоплялись сотнями: в одном Шацке Рунич нашел "до 300 мужска и женска пола дворян". Когда взята была Казань, паника пошла гораздо дальше уездных помещиков. "Сего утра получили мы известие о разорении Казани, и что губернатор со всеми своими командами заперся в тамошнем кремле, - писал Никита Панин брату 29 июля 1772 года. - Мы тут в собрании нашего совета увидели государыню крайне пораженною, и она объявила свое намерение оставить здешнюю столицу и самой ехать для спасения Москвы и внутренности империи, требуя и настоя с великим жаром, чтобы каждый из нас сказал ей о том мнение. Безмолвие между нами было великое". Но и сама Екатерина только храбрилась - мерою ее паники может служить распоряжение, отданное ею за несколько дней перед тем: задержать на три дня всю почту из Петербурга во внутренние губернии. По собственному признанию, она еще никогда так не терялась в своей жизни, как в эти месяцы. "Уф, тяжело, горько было, до позабычливо!" - вспоминала она потом свое настроение в дни казанского разгрома. От этой растерянности самого "высшего правительства" сохранился и более объективный след, чем письма императрицы: знаменитый проект изловить Пугачева при помощи подкупа его приближенных, - в чем предлагал взять на себя посредничество "яицкий казак Остафий Трифонов", на

самом деле проворовавшийся ржевский купец Долгополов. История этого громадного шантажа составляет истинно комическую сцену в трагедии пугачевщины****. "Секретная комиссия", о которой упоминалось выше - к ней Екатерина относилась так ревниво, что попытка Панина забрать комиссию под свое ведение вызвала у нее резкую вспышку негодования, - эта "секретная комиссия", с огромными полномочиями, делавшими ее иногда соперником главнокомандующего, имела главною задачею содействовать предприятию ржевского шантажиста, своего рода провокатора навыворот, ибо он обманывал не пугачевцев, а правительство без всякой задней политической мысли, впрочем, а просто в расчете сорвать с правительства хорошую сумму денег, что ему, было, и удалось в первую минуту. А о размерах паники наверху эта история может свидетельствовать потому уже, что первым, уверовавшим в Трифонова был Григорий Орлов - человек, вообще говоря, не легко терявшийся.

** Семевский, цит. соч., т. 2, с. 255 и др.*
*** Осьмнадцатый век, т. 3, "Былое из пугачевщины".*
*** Записки о жизни и службе А. И. Бибикова, с. 278.*
**** Подробно рассказана Руничем, в его записках (Русская старина, т. 2).*

Если мы к пожару, неудержимо стелившемуся по низам, прибавим эту растерянность наверху да еще те вспышки, которые, почти не переставая, нарушали спокойствие в верхних слоях, мы поймем, что перед противником Екатерины была ситуация, благодарнее которой трудно себе представить. Мы теперь хорошо знаем, что между попытками гвардейского мятежа и мятежом уральских крестьян и яицких казаков не было ровно никакой связи, ни внешней, ни внутренней. Но современникам дело представлялось иначе. Еще Рунич, писавший в двадцатых годах XIX века, находил нужным связывать яицкое восстание с известиями "о сылке в Сибирь некоторых лейб-гвардии офицеров". А для Екатерины связь между петербургскими "замыслами" и появлением самозванца казалась, по-видимому, сама собою разумеющейся, и нет ничего страннее, как видеть в ее переписке, наряду с полным игнорированием социальной стороны движения, пристальный интерес, с которым она подхватывала такие мелочи, как присутствие в пугачевском лагере голштинского знамени, например. Для человека, чувствовавшего себя твердо на престоле, как обычно представляют себе Екатерину этого времени, такое поведение могло бы служить действительно доказательством невероятной мелочности и ограниченности. Но не принадлежа к числу гениальных администраторов, Екатерина все же не принадлежала и к числу ограниченных людей. Просто она была более трезвого мнения о себе, чем большинство ее историков. Она знала, что в России XVIII века так же легко было взойти на престол, как и потерять его, особенно, когда соперник был налицо. С этой точки зрения выдающийся интерес представляют донесения иностранных дипломатов из Петербурга зимой 1773/74 года: известия об успехах пугачевщины систематически переплетаются в них с новостями о несогласиях в царской семье; то Павел, рассказывают, сделал матери сильную сцену, обвиняя своего обер-гофмаршала, Салтыкова, в постоянном шпионстве за ним, Павлом; то Екатерина требует сына к ответу по поводу какой-то неосторожно подписанной им бумаги, попавшей в руки

уже действительного екатерининского шпиона, причем английский посланник "из безусловно авторитетного источника" располагает сведениями, что речь шла ни более ни менее, как о том, чтобы заставить императрицу поделиться властью с Павлом. Все это - сплетни, но для психологии тех, кто руководил борьбой с пугачевщиной, они не менее характерны, нежели уверенность того же английского посланника в том, что движениями пугачевской армии руководят трое сосланных гвардейских офицеров*. Пугачев не только объективно был грознее, потому что его военная сила на первых порах ни качественно, ни количественно не уступала силе правительства, субъективно он казался еще страшнее, нежели был на самом деле. Как это ни странно, беглый донской казак действительно мог бы явиться соперником "Северной Семирамиды", но при одном условии, чтобы он сам имел хотя бы приблизительное представление о своем политическом положении и возможных для него политических перспективах. Ни следа этого мы не подметим ни у него, ни у его окружающих: они с начала и до конца оставались восставшими яицкими казаками, беглыми солдатами или каторжниками, словом, тем, чем они были до своего превращения в "генералов" и "полковников". Воплощением государства для них было то единственное государственное учреждение, которое так много значило в их судьбе, - военная коллегия. Первое, что они поспешили сделать, это создать свою собственную военную коллегию, наделив ее членов для большего сходства даже именами генералов, заседавших в коллегии настоящей, начиная с президента, графа Чернышева (им стал Зарубин-Чика, правая рука Пугачева в военных делах). Затем они порекомендовали всем верноподданным Петра Федоровича казацкий строй, как идеал и образчик: "Награждаем вольностью и свободою и вечно казаками, - говорили пугачевские манифесты, - не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными сенокосными угодьями и рыбными ловлями и солеными озерами без покупки и без оброку", - словом, не требуя ничего, что так досаждало яицким казакам и из-за чего они бунтовали уже десять лет. Большего блаженства для кого бы то ни было пугачевцы представить себе не могли, и мы очень ошиблись бы, если бы приняли их манифесты за провозглашение земли и воли хотя бы в самой примитивной форме: если понимать пугачевские воззвания буквально, они не шли дальше превращения помещичьих крестьян в казенных. "Жалуем... всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков быть верноподданными рабами собственно нашей короны", - писал "Петр III". А так как на практике и рекрутчина, и денежные поборы продолжали существовать и в пугачевском царстве, притом едва ли не в усиленном виде сравнительно с тем, что было раньше (относительно рекрутчины это несомненно), то от всех обещаний в руках крестьян оставалось одно: право истреблять помещиков, "кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать". Крестьяне пользовались этим правом как только могли широко - мы это видели. Но свести всю революцию к истреблению дворян, при сохранении во всем прочем старого порядка, - это могло повести лишь к одному результату: заставить дворянство сплотиться и сорганизоваться так, как оно никогда не было сплочено и сорганизовано раньше. Пугачевская стратегия, испорченная той же политической

близорукостью, как и пугачевская агитация, давала им, к тому же, достаточно для этого времени.

** См. донесения сэра Роберта Гунинга (Сборник Русского исторического общества, т. 19, с. 393, 401 и др.). Впрочем, английский дипломат сумел схватить и действительно серьезные причины пугачевских успехов: "Большое количество медных пушек, отлитых на казенных литейных заводах, достались в руки мятежников, - говорит он, - разрушивших несколько железных заводов, в том числе один из заводов Демидова, крепостные и крестьяне которых присоединились к бунтовщикам".*

После поражения Кара (в ноябре 1773 года) самое естественное в положении Пугачева было двинуться на запад, на Казань и Москву, по следам отступавших правительственных войск. Ожидание этого совершенно естественного события и вызвало ту панику и в Казани, и в самой Москве, о которой мы говорили выше. Но как военная коллегия для казаков была воплощением государства, так центром всякой власти для них был Оренбург, откуда появлялись все громившие и поровшие Яик генералы. Одержав блестящую победу в поле, Пугачев поворачивает назад и почти на полгода (до марта 1774 года) застревает под Оренбургом. Эта была не столько стратегическая ошибка, как думают военные историки пугачевщины, сколько именно политическая. Стратегически, если рассматривать восстание как местное, уральское дело, в попытке овладеть Оренбургом не было ничего нелепого: нельзя было считать себя хозяином на Урале, пока в самой середине его сидел екатерининский гарнизон, который при первой же удаче легко мог перейти от обороны снова к наступлению. Но Пугачев мог стать хозяином не на Урале, а во всей восточной половине России по крайней мере: этого гораздо легче было достигнуть в Казани или Нижнем, но и эта цель и средства к ней лежали вне пугачевского кругозора. Благодаря этому, в руках его противника оказался страшный перевес - тот выиграл время, которое Пугачев потерял. Сорвав зло на Каре - больше за собственное легкомыслие, потому что Кар сделал все, что при его средствах можно было сделать, Екатерина поспешила заменить его крупнейшим полицейским талантом, какой имелся в ее распоряжении, в лице А.И. Бибикова. Бывший "маршал" комиссии 1767 года систематически употреблялся для поручений наиболее "деликатного" свойства, были ли это переговоры с семьей низверженного Ивана Антоновича или приведение в порядок занятых русскими войсками польских областей.

С бунтами на восточной окраине он был притом знаком уже практически: в 1764 году, после назначения Вяземского генерал-прокурором, он доканчивал усмирение заводского восстания на Урале. По уверению его биографа, Бибиков действовал исключительно кроткими мерами: "более уверением общего прощения, даруемого монаршим милосердием", и быстро достиг "успокоения". Новейшие историки находят его расправу более свирепою, чем меры, практиковавшиеся его предшественником, и утверждают, кроме того, что "успокаивать" ему было уже некого, ибо восстание было окончательно подавлено Вяземским*. Как бы то ни было, он знал Урал и правильно ценил его значение в пугачевщине. Психологически вынужденный, ввиду настроения дворянства, двинуть главные

силы к Оренбургу, закрывая дорогу на Казань и Москву, Бибиков все остальное, что было в его распоряжении, двинул на Уфу, для уничтожения пугачевской базы, что Михельсону и удалось выполнить довольно удовлетворительно, - настолько, что Пугачев после своего разгрома удержаться на уральских заводах не мог. Разгром был неизбежен: за время стояния Пугачева под Оренбургом правительству удалось стянуть на восток силы, далеко превышавшие боеспособную часть инсуррекционной армии. В марте 1774 года в главных пугачевских силах считалось около 3 тысяч регулярных солдат при 35 орудиях, у Бибикова же было тысяч до десяти, притом последний шел вперед, а Пугачев вынужден был обороняться - психологический перевес был уже не на его стороне. Что восставшие оборонялись все-таки отчаянно, показывают крупные потери отряда Голицына в главном деле (под Татищевой, 22 марта): до 500 убитых и раненых. Зато и у Пугачева легли здесь лучшие силы, и с той поры его армия все более и более носит характер импровизации: кое-как вооруженные крестьяне, толпа, бравшая количеством, а не качеством, начинает играть в ней все большую и большую роль. Попытка разбитого Пугачева опереться на уральское крестьянство (тотчас после разгрома под Татищевой он бросился на знакомый нам Авзяно-Петровский завод), благодаря предусмотрительности Бибикова, тоже ни к чему не привела: движение пугачевской армии по Уралу было, в сущности, бегством, более или менее удачным, перед лицом правительственных отрядов, которые на этот раз всюду оказывались сильнее ее. И только теперь, по необходимости, Пугачев делает то, что давно подсказывал элементарный политический и стратегический расчет, - пытается прорваться в Поволжье и поднять сплошное крестьянское восстание в восточных губерниях. Этого больше всего боялся Бибиков: "Можно ли от домашнего врага довольно охраниться?" - писал он в начале своего похода, когда ему казалось, что все идет "к измене, злодейству и к бунту на скопищах". Победа под Татищевой и успехи Михельсона на Урале успокоили его, и он умер, 9 апреля, не дождавшись того, чего так боялся. Его смерть, которой современники придавали такое огромное значение, ничего не могла переменить, Пугачев уже был разбит и вниз по Волге, в сущности, также бежал, как раньше вдоль Уральского хребта. Что и эта агония пугачевщины была еще так страшна, если судить по дворянской панике, это время можно принять за самый грозный период пугачевщины, показывает только, на какие результаты могло бы рассчитывать восстание, будь оно с самого начала перенесено к западу от Волги. Преемнику Бибикова, Петру Панину, в распоряжении которого было уже столько войска, что "едва ли не страшна такая армия и соседям была", по словам Екатерины, оставалось только терпеливо дожидаться естественного конца всего дела. Он так и поступал, коротая время, от скуки, охотой. И, конечно же, не энергии этого генерала, две недели собиравшегося выехать из Москвы, постоянно жаловавшегося, что ему "подагрический припадок пал на кишки" и принимавшего приезжавших к нему с докладами офицеров "в светло-сером шелковом шлафроке и большом французском колпаке с розовыми лентами", - не этой слишком штатской фигуре Екатерина была обязана прекращением бунта. Индивидуальный вклад Панина в дело усмирения выразился в поставленных им около бунтовавших деревень "виселицах, колесах и глаголях", о чем он с гордостью доносил императрице, подчеркивая, что эта мудрая мера принята по его "повелениям". На этих виселицах и колесах велено было

казнить "злодеев и преступников подлого состояния... не останавливаясь за изданными об удержании над преступниками смертной казни всемилостивейшими указами как покойною в бозе почивающею государынею императрицею Елизавет Петровною, так и ныне владеющею над нами нашею всемилостивейшею самодержицею". Так впервые в нашей истории Петром Ивановичем Паниным было дано авторитетное разъяснение, что политических преступников указы об отмене смертной казни не касаются. Панин готов был бы и дальше идти, он, было, издал "повеление", чтобы в случае повторного бунта "казнить всех без изъятия возрастных мужиков мучительнейшими смертями", но и тут его остановила Екатерина. Все-таки, она переписывалась с Вольтером, и ее подобная откровенность могла поставить в неловкое положение.

---

* *Семевский, цит. соч., т. 2, с. 360.*

Но в участии Панина, как "усмирителя" пугачевщины, была еще одна сторона, если так можно выразиться, символическая. Панин был главой будировавшего из-за недостатков екатерининского монархизма дворянства. В донесениях московского главнокомандующего Волконского - это "большой болтун", а в письмах самой Екатерины - "первый враль и мне персональный оскорбитель". Что оскорбитель и оскорбляемая сошлись теперь за общим делом, это было глубоко знаменательно. Комиссия 1767 года едва не поссорила Екатерину и ее дворянство, пугачевщина опять их сблизила, и на этот раз неразрывно. Этот новый и прочный мир нашел себе и еще более яркое символическое выражение, нежели назначение Панина главнокомандующим против Пугачева. Когда зашла речь об организации на местах дворянского ополчения для борьбы с пугачевщиной, Екатерина, по дворцовым имениям Казанской губернии местная землевладелица, приняла живое участие в деле, и в письме, которым сопровождалось ее пожертвование на "милицию", назвала себя казанской "помещицей". Нужно видеть, какой взрыв холопского умиления вызвало это маленькое слово в сердцах казанских дворян, чувствовавших себя такими жалкими и покинутыми перед лицом надвигавшейся пугачевщины. - "Что ты с нами делаешь? - вопияли дворяне в ответном письме. - В трех частях света владычество имеющая, славимая в концах земных, честь царей, украшение корон, из боголепия величества своего, из сияния славы своея снисходишь, и именуешься нашею казанскою помещицей! О радости для нас неизглаголанной, о шастая для нас не окончаемаго! Се прямо путь к сердцам нашим!" Перед чрезвычайно демократической практикой мужицкого бунта где уж тут было хлопотать о "доведении до конца" аристократического монархизма "Духа законов"...

Централизация крепостного режима

Административные уроки пугачевщины: умножение местных правительств, наместники - Центральная полицейская диктатура; Потемкин; особенности его фавора, его военные реформы; его церковная и социальная политика - Отношение к Потемкину екатерининского дворянства; характеристика нового режима у кн.

Щербатова - Вырождение потемкинского режима; Зубов - Павел Петрович как продолжатель Потемкина и Зубова; безграничное расширение полицейской диктатуры - Крестьянская политика Павла; история указа о трехдневной барщине - Павловская демагогия; "желтый ящик"; льготы общественным низам; Павел и раскольники, Павел и дворянство - Патологические черты павловского режима; неизбежность катастрофы

Одним из основных условий русского феодализма XVIII века, как он сложился к шестидесятым годам, была слабость центральной власти. Государю-помещику в его вотчине редко была нужна эта власть: он справлялся собственными средствами. А с тем, что превышало эти средства, должно было справляться местное дворянское общество через своих выборных агентов: таков был идеал дворянских наказов 1767 года. Мы не встретим в них жалоб на то, что в провинции мало правительственных чиновников: бюрократическая централизация прочно связалась в воспоминаниях дворянства с реформой Петра, а эту реформу дворяне вспоминали без большого удовольствия; официальные восторги по ее поводу не должны нас обманывать. Если Петр часто цитируется в тогдашней дворянской литературе, то большей частью для того, чтобы приписать ему то, чего он не делал и что - как выборные дворянские ландраты, например, - шло вразрез с основными тенденциями петровской политики в дни ее расцвета. Это был удобный и приличный повод легализировать дворянские чаяния, когда они казались самим дворянам немного смелыми для настоящего момента - нечто вроде тех цензурных вставок, какие делал Монтескье в своих немного скользких рассуждениях о "посредствующих властях". В действительности, дворяне желали бы, чтобы между дворянскими выборными органами и общегосударственным центром не было никаких промежуточных звеньев, а этот центр рисовался им в образе сената, где заседают такие же дворяне-помещики. До пугачевщины этого казалось совершенно достаточно, пугачевское восстание заставило пересмотреть вопрос. "Внутреннее бывшее беспокойство, - писал Екатерине с места усмирения не кто иной, как Петр Панин, недавний "большой болтун" и вождь дворянской оппозиции, - для управления таковых (отдаленных от первопрестольных надзираний) народов и стран открыло потребности в умножении над ними более правительств и присутственных полицейских надзирателей, нежели доныне оных есть". "Мудрая императрица Екатерина II, - говорит в своих записках знакомый нам член "секретной комиссии" Рунич, - по случаю возникшего в низовом краю России возмущения извлекла все опыты из внутреннего тогдашнего управления губерний и воеводств и со сродным ей благоразумием усмотреть соизволила, что в таком обширном государстве, какова российская монархия, разделенная на 12 только губерний, необходимо требует нового постановления - чтобы они (губернии), в пределах своих, были не столь обширны, что и сделано по усмирении в низовом краю пугачевского бунта..." Низший персонал новых губерний, в несколько раз "умноживших" местные "правительства", рекрутировался, как мы знаем, все из того же дворянства: этим были удовлетворены в минимальной мере требования 1767 года. Но над низшей дворянской администрацией были поставлены агенты центральной власти с чрезвычайными полномочиями в лице наместников, которые обращались к дворянскому обществу с высоты императорского трона, нарочито

поставленного в залах дворянских собраний, "яко частные цари под начальством единой великой самовластной своей царицы, коей одной обязаны они были ответствовать". Это отнюдь не была только декоративная должность, как часто думают: выборная дворянская администрация скоро это почувствовала. "По прошествии некоторых лет, - говорит тот же автор, - начали изменяться, упадать и терять цену дворянские выборы, ибо некоторые из государевых наместников допустили вкрасться при своих, так сказать, дворах пристрастию фаворитов и фавориток, по внушению коих на новые трехлетия при выборах начали избирать дворян, как в предводители, так и в присутственные места, качеств низких, услужливых прихотям фавора... почему многие добрых качеств дворяне, видя, что в собраниях для выбора зарождаются пристрастия и выгоды... начали удаляться от выборов и решительно оставили по губерниям службу"*.

** Рунич П. С. Записки // Русская старина, т. 2.*

"Двор" екатерининского наместника, с его "фаворитами и фаворитками", был такой же точной копией центрального, петербургского, двора, как трон в зале губернского дворянского собрания - копией настоящего царского трона. И далеко не случайно в самый разгар пугачевщины вся Россия получила "государева наместника" очень своеобразного типа в лице Потемкина. На "великолепного князя Тавриды" (иные еще называли его "князем тьмы") долго смотрели у нас как на "фаворита" в полном смысле этого слова, как на человека, лично близкого императрице, а потому и пользовавшегося, по личному доверию, "всею полнотою власти самодержавной". С этой точки зрения он, конечно, легко находил себе предшественников в Бироне, Разумовском, Шувалове, Орлове. Но уже современники должны были заметить, что между этими последними и Потемкиным было существенное различие: у тех власть (если они ею обладали, как Бирон или Орлов) и "случай" были тесно связаны, прекращался "случай", и они становились частными людьми, иногда с богатством и внешним почетом, иногда без всего этого, но всегда без всякого политического значения. Когда кончился "случай" Потемкина, когда появился новый фаворит (Завадовский), все были убеждены, что и роль прежнего фаворита сыграна, но, доносил своему начальству австрийский посол, "князь Потемкин, к общему удивлению, сохраняет авторитет, трудно соединимый с его теперешним положением, и, по крайней мере, по наружности, совсем не похож на попавшего в немилость фаворита, хотя, несомненно, он более фаворитом не состоит"... С тех пор сменилось еще несколько фаворитов, а Потемкин все оставался при старом значении и влиянии, причем это влияние распространилось даже и на выбор его, по внешнему виду, заместителей*. Размеры же этого влияния были совершенно ни с чем предыдущим не сравнимы: ни один из его предшественников, даже Бирон, не занимал положения такого всевластного первого министра, настоящего великого визиря, каким был князь Таврический, притом с первых же дней своего фавора. "Граф Потемкин имеет такое влияние на императрицу, что во внутренних делах все от него зависит", - писал тот же австрийский посол в 1775 году, а через несколько месяцев он был очень рад, когда один его приятель доставил ему частную аудиенцию у того же Потемкина, причем посол мог убедиться, что и по иностранным делам тоже "все от

него зависит". В марте 1774 года Потемкин сделался генерал-адъютантом императрицы (звание, в екатерининскую эпоху имевшее совершенно определенное значение - и Орлов, и Зубов, и все меньшие боги екатерининского Олимпа были генерал-адъютантами), а уже в апреле Лондонскому кабинету доносили: "Весь образ действий фаворита свидетельствует о совершенной его уверенности в прочности своего положения. Действительно, принимая в расчет время, в которое продолжается его фавор, он достиг далеко большей степени власти, чем кто-либо из его предшественников... Хотя нигде любимцы не возвышаются так внезапно, как в этом государстве, однако даже здесь еще не было примера столь быстрого усиления власти, какого достигает настоящий любимец. Вчера, к удивлению большей части членов, генералу Потемкину поведено заседать в Тайном совете". В действительности, он был гораздо больше, чем рядовым членом Тайного совета: наиболее "тайное" изо всех тогдашних дел, усмирение пугачевского мятежа, всецело было отдано в его руки. Самые секретные донесения Екатерине с мест доставлялись прямо ему, и он имел право их вскрывать**. Гордый и непреклонный Никита Панин вступал с ни в частные интимные разговоры по поводу назначения главнокомандующим против Пугачева Петра Панина. По-видимому, вначале Н. Панин тешил себя надеждой, что ему удастся забрать в руки "неопытного" нового фаворита, когда же окончательно убедился, что тот "ничего не внемлет или внимать не хочет, а все решает дерзостию своего ума", то заскучал и стал говорить об отставке. Предметом многочисленных "милостей", сыпавшихся, как из рога изобилия, бывали и другие. В быстрой карьере Потемкина характерно именно сосредоточение в его руках реальной власти. По части "милостей" он не очень опережал других, и графом, например, сделался слишком полгода спустя после начала своего "случая". Зато в первые же его месяцы он стал подполковником Преображенского полка (полковником была сама императрица) и вице-президентом, а фактически президентом, военной коллегии. Только нежелание всегда тактичной Екатерины обижать старших генералов армии мешало ей подчинить Потемкину формально все русское войско, и без того Румянцев чувствовал себя жестоко обиженным, получая распоряжения из рук человека, еще недавно сражавшегося под его начальством в скромном качестве "волонтера". Но на деле Потемкин все же был главнокомандующим, и характерно, что его фавор начал бледнеть с той самой поры, когда вторая турецкая война показала совершенное ничтожество его как полководца. Только тогда один из временных фаворитов, Платон Зубов, начинает выдвигаться на место постоянного. И точно так же не менее характерно то, что одним из первых, кого Екатерина нашла нужным известить о пожаловании Потемкина генерал-адъютантом и Преображенским подполковником, был усмирявший пугачевщину Бибиков: обер-полицеймейстер, работавший на месте, должен был знать, кто в России новый генерал-полицеймейстер. Суть была не в том, что Бибиков "любил" Потемкина. Почти игривая форма, в которой старый и верный слуга был извещен о появлении нового фаворита (письма Екатерины от 7 и 15 марта 1774 года, таким резким пятном выделяющиеся на общем мрачном фоне тогдашней ее переписки), была одним из проявлений все той же тактичности. Пилюлю нужно было подсластить...

** Процедура "отбора" Потемкиным предметов временного удовольствия его повелительницы обстоятельно описана его бывшим камердинером, который, впрочем, сам называет себя "частным секретарем". (См.: St. Jean. Lebensbeschreibung des Fiirsten Gr. Al. Potemkin. - Karlsruhe, 1888; с рукописи начала XIX века.) Это уже в полной мере "лакейские сплетни", но как раз такие интимности лакеи знают всего лучше...*

*** Рунич П.С. Записки, с. 157.*

Только в самое последнее время русская историческая литература начинает делать попытки взглянуть на "князя тьмы" не как на типичного представителя фаворитизма XVIII века, а как на выразителя новой политики Екатерины II, так не похожей на времена, когда эта государыня с трогательной добросовестностью конспектировала Монтескье*. Как реагировало на эту новую, послепугачевскую, политику общественное мнение дворянской России, это в необычайно яркой форме выразил лидер дворянской публицистики князь Щербатов. Но прежде чем перейти к этому плачу на развалинах русского "монаршизма", нельзя не сказать два слова о новых струнах совсем иного рода, какие начинают теперь звучать в екатерининской политике, подготавливая следующее царствование. Пугачевщина заставила не только поставить у центра всех дел "человека с кулаком", всеми ненавидимого ("Вся нация, - писал ровно через два года после назначения Потемкина генерал-адъютантом австрийский посланник, - которая его ненавидит, ничего так сильно не желает, как его падения", - мы сейчас увидим, кто это "вся нация"), но умеющего всех подчинить своей воле. Она напомнила о том, что в известную минуту, и как раз самую критическую, кулак может бессильно повиснуть в воздухе. Военные реформы Потемкина чрезвычайно выразительны. Уже одно стремление организовать войско из инородцев - албанцев, волохов, болгар, даже кабардинцев, и, так неприятно напомнивших о себе во время пугачевщины башкир - не покажется случайностью тому, кто вспомнит, как вели себя русские войска в дни Пугачева. Иноземные наемники - любимое прибежище всякого деспотизма XVIII века. Но это, конечно, мелочь на общем фоне потемкинских преобразований. Они вовсе не ограничивались одним введением рациональной формы обмундирования (заимствованной, впрочем, отчасти у австрийцев). Сущность дела хорошо объясняет одно распоряжение Потемкина**: "А офицерам гласно объявите, чтоб с людьми обходились со всевозможной умеренностью, старались бы об их выгодах, в наказаниях не преступали бы положенных, были бы с ними так, как я, ибо я люблю их как детей". Положение солдата вообще стремились облегчить, для того, чтобы сделать его более надежным, если опять понадобится встретиться с "домашним врагом". Но и самого домашнего врага старались приручить, насколько возможно. Мы видели, какую поддержку пугачевщине оказывали раскольники. "Время улучшения раскольников при Екатерине II совпадает с порою усиления влияния Потемкина", - говорит новейший биограф последнего. В Таврической губернии старообрядчество терпелось на равных правах с остальными неправославными исповеданиями. Из одной резолюции Екатерины на доклад Потемкина видно, что он предполагал распространить это местное распоряжение на всю Россию, организовав старообрядческую церковь на началах, напоминающих позднейшее "единоверие".

Екатерина нашла это слишком рискованным: "Сей пункт поныне избегаем был всеми, и по сею пору о сем никто, а наипаче духовный чин, слышать не хотел". Она посоветовала, без огласки, улучшить положение раскольников путем частных соглашений с духовной властью. Всего труднее было приручить главную разновидность "домашнего врага" - крепостных крестьян; но и тут Потемкин оставил по себе весьма характерный след, предписав уже совершенно секретно не выдавать помещикам беглых, которые найдут убежище в подчиненной непосредственно ему Новороссии.

** К числу этих попыток принадлежит очерк, помещенный в "Русском биографическом словаре", составленный г. Ловягиным. Его портит только явное стремление подчеркнуть "положительные" результаты потемкинского управления. Значение Потемкина, конечно, не в этом.*

*** Цитируемое г. Ловягиным.*

Этим распоряжением Потемкин, конечно, гораздо больше помог колонизации Новороссии, нежели постройкой своих городов, которая к "колонизации", собственно, может быть отнесена лишь по недоразумению, потому что населены они были исключительно солдатами, чиновниками и иными казенными людьми, или выпиской заграничных колонистов, по показанию очевидцев, частенько умиравших голодной смертью, ибо, выдав им грошовое пособие, потемкинская администрация бросала их на произвол судьбы. Что злоупотребления этой администрации были колоссальны, как всякой администрации крепостного типа, - об этом не может быть спора. Но это были именно недостатки, свойственные всякой тогдашней администрации, когда же приходится перечислять индивидуальные грехи человека, которого ненавидела "вся нация", злейшие обвинители теряются и не знают, что сказать. Щербатов готов приписать Потемкину "все знаемые в свете пороки", которыми тот будто бы не только "сам был преисполнен, но и преисполнял окружающих его", но видим мы воочию только любовь хорошо покушать, да грубое обращение с придворными лакеями высшего ранга. "Неосторожность обер-гофмаршала князя Николая Михайловича Голицына не приготовить ему какого-то любимого блюда подвергла его подлому ругательству от Потемкина и принудила идти в отставку", - вот и все доказательства "всех знаемых в свете пороков Потемкина, какие можно найти в широкой картине "повреждения нравов в России". Для человека, задавшегося специальной целью обличать, жатва не богатая. Не много находит прибавить сюда и другой обличитель Потемкина, представляющий собою противоположный полюс Щербатову. St. Jean рассказывает, например, не без пафоса, как самые знатные люди, в том числе губернаторы и наместники, в полной парадной форме и во всех орденах, съезжались за сотни верст навстречу проезжавшему по их губернии Потемкину, а он сплошь и рядом не удостоивал даже выйти из своего крытого возка, где спал или читал, так что собравшейся высокопоставленной публике оставалось только раскланиваться с лакеями и лошадьми князя. Вольно им было кланяться, скажет новейший читатель, чем же виноват Потемкин, что екатерининские наместники, гордые сатрапы перед местным населением, так подло холопствовали перед центральной властью? И, наконец, Державин, который, как и

все дворяне его времени, не прочь привести образчик "пороков" князя Таврического, в качестве самого эффектного номера рассказывает, как тот разрешил купить населенное имение еврею. По нравам XVIII века, когда у всех свежо было в памяти поголовное изгнание евреев из империи Елизаветой Петровной, это был, конечно, случай резкий, но где же опять-таки тут "все знаемые в свете пороки"? Если при этом и были закрепощены свободные люди, как рассказывает Державин, этому, впрочем, менее придающий значения, чем национальности покупщика, - то разве вся политика Екатерины в Малороссии не сводилась к закрепощению уцелевших еще остатков свободного населения?

В лице князя Потемкина "вся нация", т.е. все благородное российское дворянство, ненавидела режим, а человеку доставалось лишь за то, что он был первым воплощением этого режима, хотя лично он был не хуже и не лучше других. Когда Щербатов почти в симпатичных тонах рисует первого фаворита Екатерины, Григория Орлова, сравнивая его с последующим, он вспоминает добром первую, до-пугачевскую, половину царствования - весну дворянского "монаршизма". "Домашний враг" безжалостной рукой разрушил иллюзии своих господ, и полторы тысячи повешенных помещиков заставили их уцелевших собратьев позабыть всякие мечтания о "властях средних". Приходилось брать то, что центральной власти угодно было уступить, да еще и за это благодарить и славословить. "Испекли законы, правами дворянскими и городовыми названные, - иронизирует Щербатов, - которые более лишение, нежели дание прав в себе вмещают и вообще делают отягощение народу". Но поневоле идя под ярмо, кляли его, и тот же Щербатов умел придать этим проклятиям общую форму, не привязываясь к "порокам" отдельных "властителей". "Я охуляю самый состав нашего правительства, - говорит он в своей предсмертной записке, - называя его совершенно самовластным и таким, где хотя есть писаные законы, но они власти государевой и силе вельмож уступают, где состояние каждого подданного основывается не на защищении законов, не от собственного его поведения зависит, но от мановения злостного вельможи... Надлежало бы мне теперя говорить о правительствах; но как у нас по самому непомерному деспотичеству не законы действуют в правительствах, но преклонение двора и воля вельмож, то прежде и должно о сих говорить". Настроение настолько сродни и недавнему поколению, что нельзя, кажется, читать эти строки без живого сочувствия, но взгляните на конкретные образчики "непомерного деспотичества". "Охуляю я подчинение губернских предводителей под власть наместников, яко разрушающее преграду власти наместников над дворянами... Охуляю я учреждение нижних и верхних расправ, где несмышленые и упрямые крестьяне заседают, с отнятием их от земледелия и с повреждением их нравов, от коих и другие повреждаются... Охуляю я дворянское право в самом его порядке и расположении книг; позволение девкам благородным выходить в замужество и за низшего состояния людей с сохранением своего права, от чего нравы повреждаются и смешиваются состояния; вмещение в разные классы дворянства всяких чинов людей, чрез что самое сословие дворянское уподляет-ся"... Это не все, что "охуляет" старый "монаршист" в своей предсмертной речи к тем, кто заставил согнуться его гордую голову (он "отстал от двора", по его словам, в 1777 году - как раз в начале потемкинского режима): во многих своих "охулениях" он опять оказался бы понятен и людям иного

мировоззрения, когда он нападает, например, на "чинимые наказания по уголовным преступлениям, производящие мучительную смерть", или на "писание законов самою монархинею, писанных во мраке ее кабинета, коими она хочет исполнить то, что невозможно, и уврачевать то, чего не знает". Но это - общие места, годные для многих мест и разных эпох: индивидуальность вносит в них то, что отражает интересы класса, представителем которого не только в комиссии 1767 года был князь Щербатов, и ту перемену, которую этот класс пережил на склоне царствования Екатерины.

Как личность Потемкина не играла никакой особенной роли в этой перемене, так и его смерть ничего не могла изменить в установившемся режиме. Зубов, по общему признанию, был не умен, и если мог с некоторым внешним приличием играть роль "государственного человека", то лишь благодаря своей чудовищной памяти, позволявшей ему ошеломлять случайного собеседника массой технических терминов и мелких подробностей: это создавало иллюзию, что он "все знает". Люди, имевшие более частое обхождение с последним фаворитом Екатерины, уверяли, что он почерпал свою мудрость, главным образом, из проектов, доставшихся ему в наследство от Потемкина, почему бывший секретарь последнего, Попов, играл вначале первую роль и при Зубове, пока тот не счел, что достаточно усвоил себе уже суть потемкинской политики. К оригинальным продуктам политического творчества Зубова принадлежал, по-видимому, хотя бы отчасти, бесстыдный грабеж, известный под именем "третьего раздела Польши". По крайней мере, сам он любил этим хвастаться, и если держаться правила: is fecit cui prodest, придется признать за ним некоторое на это право, так как все богатства Зубова и его приближенных составились из имений, конфискованных у польских помещиков, обнаруживших недостаточную преданность... России. Но награждать русских слуг нового режима землями, отобранными у поляков, давно вошло в обычай: еще усмирители пугачевщины получили имения в Белоруссии, по первому разделу доставшейся России как раз около этого времени. Большая часть потемкинских владений была там же, и оттуда же бралось приданое для большинства мелких екатерининских фаворитов. И тут Зубов нашел уже, таким образом, традицию, которой оставалось только следовать. Во всяком случае, распоряжался огромным земельным фондом, доставшимся русскому правительству благодаря разделу, именно он. "Раскаявшиеся" польские помещики, рассчитывавшие получить обратно хоть часть ограбленного у них достояния, прибегали не к кому другому, как к Зубову. Таким путем Понятовский, племянник последнего польского короля, получил 30 тысяч душ крестьян "за то, что ежеминутно называл Зубова высочеством и светлостью". Нужно прибавить, что польский принц только следовал в данном случае установившемуся в послепотемкинской России этикету, который позволял идти и далее: по словам того же свидетеля, "старый генерал Мелиссино, принимая однажды из рук Зубова Владимирскую ленту, поцеловал у него руку". Одно такое паломничество польских помещиков в Петербург сохранило для нас любопытную картинку русских придворных нравов 1790-х годов. "Каждый день, - рассказывает в своих записках князь Чарторыйский, которого родители прислали в Петербург спасать семейное достояние, - у Зубова был un lever (утренний туалет короля, по французской придворной терминологии), в точном смысле этого слова. Огромная толпа

просителей и придворных всякого ранга стекалась присутствовать при его туалете. Улица была заставлена каретами шестериком и четвериком, совершенно, как перед театром. Иногда, после долгого ожидания, толпу предупреждали, что граф сегодня не выйдет, и все расходились, говоря друг другу "до завтра". В противном случае двери распахивались настежь, и в них бросались, тесня и толкая друг друга, полные генералы, кавалеры различных орденов в звездах и лентах, черкесы - до купцов с длинными бородами включительно. В числе челобитчиков иногда было много поляков, приезжавших хлопотать о возвращении их имений или жаловаться на какую-нибудь несправедливость... Самое торжество происходило следующим образом: раскрывались обе половинки дверей, Зубов входил, волоча ноги, в халате, почти неодетый; легким наклонением головы он приветствовал челобитчиков и придворных, в почтительных позах стоявших кругом, и принимался за свой туалет. К нему приближались камердинеры, взбивали ему волосы и пудрили их. Тем временем прибывали новые просители; их также удостаивали легкого движения головы, когда граф замечал кого-нибудь из них; все с напряженным вниманием ловили его взгляд. Мы были из тех, кого всегда встречали милостивой улыбкой. Все оставались на ногах, и никто не осмеливался произнести слова. Это была как бы мимическая сцена: красноречивым молчанием каждый стремился обратить внимание всемогущего фаворита на свое дело. Никто, повторяю, не открывал рта, разве что граф сам обращался к кому-нибудь - при этом никогда по поводу просьбы. Часто он не произносил ни одного слова, и я не помню, чтобы он предлагал сесть кому бы то ни было, за исключением фельдмаршала Салтыкова, который был первым лицом при дворе и, как говорят, сделал фортуну Зубовых; благодаря его посредничеству граф Платон наследовал Мамонову. Деспотический проконсул Тутолмин, перед которым все трепетало в эту эпоху в Подолии и на Волыни, приглашенный сесть, не осмелился сделать этого как следует: он лишь присел на кончик стула, и то только на один момент"*.

** Czartoryski. Memoires, m. 1, pp. 56 - 59.*

Двадцать лет потемкинского режима так вымуштровали русского дворянина, что, казалось, самая пылкая фантазия не в силах была бы представить себе этого последнего революционером и политическим заговорщиком. И, однако же, такое чудо совершилось всего через несколько лет после описанной князем Чарторыйским сцены. Виновником чуда был Павел Петрович. Он натянул струну до последней степени, и на нем режим временно оборвался, чтобы очень скоро, даже не целое поколение спустя, возродиться вновь в лице Аракчеева и Николая Павловича.

Оригинальности мало было и в Павловом царствовании. Основная пружина, выдвинувшая в свое время Потемкина, продолжала действовать и при Павле. Рассказав, как Павел десятками тысяч раздавал своим приближенным казенных крестьян (по случаю коронации в 1797 году роздано было более 82 тысяч душ), адмирал Шишков дал этому факту такое объяснение: "Причиною сей раздачи деревень, сказывают, был больше страх, нежели щедрость. Павел Первый, напуганный, может быть, примером Пугачева, думал раздачею казенных крестьян дворянам уменьшить опасность от народных смятений. Сия, можно сказать,

несчастная боязнь часто тревожила сердце сего монарха и была причиною тех излишних осторожностей и непомерных строгостей, какими, муча других, и сам он беспрестанно мучился, и которые, вместо погашения мнимых искр возмущения, действительно, порождали их и воспламеняли". Правдоподобность этого объяснения вполне подтверждается словами самого Павла: "По-моему, лучше бы и всех казенных крестьян раздать помещикам. Живя в Гатчине, я насмотрелся на их управление; помещики лучше заботятся о своих крестьянах, у них своя отеческая полиция"*. Полиция, и именно "отеческая", т.е. вотчинная, крепостническая и крепостная, была душой павловского режима: этого не решаются отрицать даже панегиристы "коронованного Гамлета". "Сенат и совет при высочайшем дворе утратили почти всякое законодательное значение: государь хотел сам все видеть, все решать и всем лично управлять, - говорит один из них. - Зато особое значение приобрели полицейские органы власти, наблюдавшие за исполнением воли государя..."**. "Насмотревшись" на управление самого Павла вы приходите к убеждению, что это был прирожденный полицеймейстер, прежде всего другого. Как нельзя более для него характерна в этом отношении одна его записка, относящаяся еще к догатчинскому периоду ("Рассуждения о государстве вообще", 1774), где он настаивал на том, что необходимо "предписать всем, начиная от фельдмаршала, кончая рядовым, все то, что должно им делать; тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено". Это не случайное увлечение: "Предписать всем Все, что должны они делать" - основная идея Павла, гвоздем сидевшая в его мозгу, идея, которую он добросовестнейшим образом пытался осуществить, как только власть попала в его руки. Ежели не всему населению вообще, то, по крайней мере, дворянству и жителям столиц было точно указано, как должны они причесываться, одеваться, ходить и ездить по улицам, красить свои дома, и даже, как должны они говорить. "Воспрещено было ношение фраков и разрешено немецкое платье, с точным определением цвета его и размеров воротника; запрещены были жилеты, а вместо них дозволено употреблять камзолы; дозволены были башмаки с пряжками, а не с лентами, и запрещены короткие сапоги с отворотами или со шнурками"; не позволялось "увертывать шею безмерно платками", а внушалось "повязывать ее без излишней толстоты" и т.д. При этом "домоправителям, приказчикам и хозяевам строжайше подтверждалось, чтобы всем приезжающим для жительства или на время в домы их объявляли они не только об исполнении сих предписаний, но и о всех прежде бывших, и если окажется, что таковых объявлений кому-либо учинено не было, то с виновным поступлено будет по всей строгости законов". К большому, вероятно, огорчению Павла невозможно было урегулировать обыденную, разговорную речь, но из официального языка был изгнан целый ряд слов с заменою их другими. Слово "стража" заменено было словом "караул", "врач" - "лекарь", граждане" - "жители" или "обыватели", "отечество" - "государство" и т.д.; слово же "общество" совсем воспрещено было к употреблению. "Во время путешествия Павла Петровича в Казань статс-секретарь его, Нелединский, сидевший с ним в карете, сказал государю, проезжая через какие-то обширные леса: "Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал". - "Очень поэтически сказано, - возразил с гневом император, - но совершенно неуместно: извольте сейчас выйти вон из коляски""***. Любовь Павла к военной регламентации, его парадомания и

мундиромания были, в сущности, производными качествами, наиболее бросавшимися в глаза формами любви его к регламентации вообще. Мало известно, но очень характерно, что повод к возникновению знаменитых гатчинских батальонов был чисто полицейский - опасение шаек беглых крестьян, будто бы бродивших вокруг Гатчины. Гатчинские порядки ставили себе целью создание не только образцового войска, но и образцового города. Задолго до Петербурга как Гатчина, так и Павловск были переведены на "полуосадное пг чожение"; дома строились по определенному фасону, после известного часа нельзя было показываться на улицах и т.д. Собственно к военному делу, в точном смысле этого слова, Павел уже потому не мог чувствовать особенного влечения, что он от природы был крайне труслив. Ребенком он так трепетал перед императрицей Елизаветой Петровной - женщиной, в сущности, очень доброй, как мы знаем, что это отражалось даже вредно на его здоровье. Известие о том, что его воспитателем назначен Ник. Панин, преисполнило его ужасом. "Увидя в Петергофе, что идет старик в парике, в голубом кафтане, с обшлагами желтыми бархатными, Павел Петрович заключил, что это Панин, и неописанно струсил", - рассказывает его гувернер Порошин. Взрослым Павел боялся ездить верхом и крайне неуверенно держался на лошади, что было причиною бесчисленного количества "недоразумений" на кавалерийских ученьях и маневрах, недоразумений не всегда комических, иногда и трагических, не для самого Павла, а для окружающих. Он сам признавался, что любит "военных, но не войну", и если ни в одной из екатерининских войн ему не удалось принять участия (кроме, на короткое время, шведской 1788 - 1790 годов, где он воевал не столько с неприятелем, сколько с русским главнокомандующим), то в этом виноваты не только политические расчеты Екатерины; ей, правда, не было бы приятно, если бы сын ее приобрел популярность как военачальник, и она могла сознательно мешать этому, но нужно сказать, характер ее сына очень облегчал эту задачу. Недаром именно после выступления Павла в шведской войне она окончательно перестала беспокоиться о гатчинских батальонах и равнодушно смотрела на то, как Павел увеличивал свою "армию". На этом поле он никому не был страшен, кроме собственных солдат. Зато полицеймейстер он был "бравый". С его вступления на престол не проходило пожара в Петербурге, на котором бы Павел не присутствовал, а с ним и "все, что носило военный мундир из его свиты", в результате чего дамам императорской фамилии с их фрейлинами нередко приходилось доканчивать ужин в полном одиночестве. Старые екатерининские придворные, совершенно не привыкшие ассоциировать в своем представлении царя и брандмейстера, долго не могли прийти в себя от изумления после первого такого случая...

** Шильдер. Павел I, с. 346.*

*** Шумигорский Е. Павел I // Русский биографический словарь.*

**** Шумигорский, passim.*

Полицейскими соображениями вдохновлялась и крестьянская политика Павла, которую так часто утилизировали, пытаясь хоть чем-нибудь облагородить это злосчастное царствование. Для того чтобы прийти к этому выводу, достаточно сопоставить даты. В январе 1797 года волнения крестьян, за двадцать лет успевших

несколько забыть панинское "усмирение", с его виселицами и колесами (в то время как экономическое положение крепостных ухудшилось, барщина стала еще интенсивнее), достигли таких размеров, что вечно преувеличивавший все опасности Павел нашел нужным командировать для усмирения их первого, после Суворова, боевого генерала того времени, фельдмаршала Репнина. Одновременно был издан манифест, где говорилось: "С самого вступления нашего на прародительский наш императорский престол предположили мы за правило наблюдать и точно взыскивать, дабы каждый из верноподданного нам народа обращался в пределах, званию и состоянию его предписанных, исполняя его обязанность и удаляясь всему тому противного, яко разрушающего порядок и спокойствие в обществе. Ныне уведомляемся, что в некоторых губерниях крестьяне, помещикам принадлежащие, выходят из должного им послушания, возмечтав, будто они имеют учиниться свободными, и простирают упрямство и буйство до такой степени, что и самым прощениям и увещаниям от начальства и властей, нами постановленных, не внемлют... Повелеваем, чтобы все помещикам принадлежащие крестьяне, спокойно пребывая в прежнем их звании, были послушны помещикам своим в оброках, работах и, словом всякого рода крестьянских повинностях, под опасением за пре-слушание и своевольство неизбежного по строгости законной наказания. Всякое правительство, власть и начальство, наблюдая за тишиною и устройством в ведении, ему вверенном, долженствует в противном случае подавать руку помощи, и крестьян, кои дерзнут чинить ослушание и буйство, подвергать законному суждению и наказанию". Действия агентов Павла не оставляли никакого сомнения в полной искренности императорского манифеста: то, что здесь говорилось о "строгости" и "наказании", было отнюдь не фразой. Посланный на бунтовавших крестьян фельдмаршал не мог не дать генерального сражения - уже чин не позволял ему унижаться до мелких стычек, и хотя мятежники, по собственному признанию Репнина, были вооружены лишь цепами и дубинами, при усмирении их в одной только деревне было сделано 33 пушечных выстрела и израсходовано 600 ружейных патронов, причем сожжено было 16 крестьянских домов, убито 20 крестьян и ранено 70*. На этот раз войскам посчастливилось все же найти "инсургентов", но не всегда было так. Один вице-губернатор, явившись в бунтовавшую деревню с командою, ни одного взрослого крестьянина там не нашел и должен был для устрашения "пересечь кнутьем жен их и среднего возраста детей". Как бы то ни было, "порядок одержал победу всюду, притом очень быстро (из деревни, бомбардированной Репниным, уже через четыре дня оказалось возможно вывести войска). Происходило это в феврале, а в апреле, по случаю коронации, вышел указ о трехдневной барщине, претендовавший устранить раз навсегда самую причину крестьянских волнений - отягощение крестьян работой. Нужно прибавить, что самое урегулирование барщинной повинности трактуется в манифесте очень осторожно и как бы вскользь - на первый план выдвигается соблюдение святости воскресного дня. Но так как воскресенье даже при хозяйстве почти плантационном обыкновенно оставлялось крестьянам, как мы знаем, то с этой стороны большой фактической перемены в существующие отношения манифест и не вносил. Не видно, чтобы помещики особенно тяготились указом от 5 апреля 1797 года, и даже, чтобы они вообще сколько-нибудь обращали на него внимание: надзор за его соблюдением был

всецело в руках местных властей, а эти власти были свои, дворянские. Манифест мог бы встревожить дворянство, как симптом, как первая ласточка эмансипационной политики, но от этой последней Павел был едва ли не дальше, чем даже Потемкин с его косвенным покровительством крестьянским побегам, не говоря уже о приводившейся выше его сентенции насчет преимущества положения крепостных крестьян сравнительно с казенными, он и больше, чем словами, доказывал, что и здесь "порядок" для него выше всего. Когда в Петербурге на разводе кучка дворовых подала ему челобитную, жалуясь на своих господ, Павел немедленно приказал дать каждому из челобитчиков столько плетей, сколько захочет его барин. "Поступком сим, - говорит Болотов, - Павел приобрел себе всеобщую похвалу и благодарность от всего дворянства". Нужно сказать, что дворянство могло быть ему благодарным и за более серьезные меры в пользу помещичьего сословия: 18 декабря того же 1797 года Павлом был учрежден дворянский банк, откуда выдавалось под залог имений от 40 до 75 рублей на душу из 6 %; ссуда выдавалась билетами, приносившими 5 %. Интересы дворянства, насколько он их понимал, Павел старался соблюдать не хуже своих предшественников.

** Шильдер, цит. соч., с. 328 - 329. См. также статью Павлова-Сильванского "Волнения крестьян при Павле I" во 2-м томе его сочинений. Из нее видно, между прочим, что большая часть "волнений" не шла дальше жалоб крепостных на своего помещика.*

Мы не хотим, однако, сказать этим, что Павел Петрович был совершенно чужд сознательной демагогии на почве классового антагонизма верхов и низов феодального общества. Напротив, если он где был новатором, так именно тут - позднейшим поколениям оставалось только идти по его следам. Людям его общественного положения во все времена была не чужда мысль, что "народ", который обыкновенно они представляют себе очень смутно, весьма интересуется их личностью и семейными делами*. На самом деле, у "народа", конечно, довольно своих забот, и для него, как бесцеремонно выразился один конногвардейский солдат после смерти Павла, "кто ни поп, тот батька". Но народ толпится на пути высокопоставленных особ, кричит, машет шапками - как тут не явиться мысли, что на эту "восторженную толпу" можно опереться при случае? Надо обладать умом и цинизмом Екатерины II, чтобы ответить так, как она ответила в одном подобном случае: "На медведя еще больше смотреть собираются". Ее сын был человек наивный, неспособный к цинизму, в народные "восторги" простодушно верил и упивался ими еще почти ребенком. Когда он был в Москве в 1775 году, он "разговаривал с простым народом и позволял ему тесниться вокруг себя так, что толпа совершенно отделяла его от полка". Сообщающий об этом английский посол рассказывает, как мы помним, в других своих донесениях от того же времени, о резких столкновениях, происходивших незадолго перед тем между матерью и сыном - и все это на фоне грозно гудевшей вдали пугачевщины, вождя которой казнили на Болотной площади всего за две недели до приезда Екатерины в Москву. В поведении Павла нельзя не видеть своего рода "воззвания к народу" - provocatio ad populum. "Народ", как ему показалось, принял его благосклонно, в то время как

московское дворянство, не помнившее себя от восторга перед спасительницей Екатериной, к великокняжеской чете (Павел был уже тогда женат) отнеслось очень холодно. Это искание "народных" симпатий, не без связи с тою же пугачевщиной, еще более странно дало себя почувствовать тотчас после восшествия Павла но престол, когда он посылал Рунича (знакомого нам члена "секретной комиссии" по пугачевскому делу) на Урал выразить высочайшее доверие и милость тем, кто некогда поддерживал "Петра III". Но самым эффектным шагом его в этом направлении был тот, о котором единогласно повествуют записки всех современников. Мы перескажем его словами одного из лояльнейших слуг Павла Саблукова. "Спустя несколько дней после вступления Павла на престол во дворце было устроено обширное окно, в которое** всякий имел право опустить свое прошение на имя императора. Оно помещалось в нижнем этаже дворца, над одним из коридоров, и Павел сам хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно. Каждое утро, в седьмом часу, император отправлялся туда, собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать их себе вслух. Резолюции или ответы на эти прошения всегда были написаны им лично или скреплены его подписью и затем публиковались в газетах для объявления просителю. Все это делалось быстро и без замедления. Бывали случаи, что просителю предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство и затем известить его величество о результате этого обращения"***. Комедия эта продолжалась до тех пор, пока Павел не нашел однажды в "желтом ящике" карикатуры на самого себя: тогда ящик был упразднен. Какую путаницу создавало это "непосредственное общение" государя с "народом", едва ли нужно объяснять читателю, тем более, что резолюция всегда зависела от минутного настроения Павла. Но несомненно также, что вовсе без результатов демагогия не оставалась; "доступность" царя подкупала малосознательных людей - тот же Саблуков отзывается о нововведении Павла с видимым сочувствием. Позже мы увидим, что гвардейские солдаты не оказывались нечувствительными к демагогии еще более элементарной. О Павле начинала идти молва как о государе грозном, правда, но друге и защитнике бедных людей, и непочтительное сравнение с Пугачевым, которое позволил себе по его поводу подвыпивший сторож Исаакиевского собора, в устах этого сторожа заключало в себе и кое-что лестное...

** С особенной наивностью эта мысль выступает, например, в мемуарах пресловутой Луизы Саксонской.*

*** Собственно в особый "желтый ящик", стоявший у этого окна.*

**** Записки Саблукова, рус. пер., с. 23.*

Все это был расчет, грубый и неуклюжий, но вполне сознательный, нужно думать: человеку, который боялся окружавших его дворян, который вступил на престол с мыслью, что его ждет участь Петра III, если он не примет мер вовремя*, не на кого было опереться в феодальном обществе, кроме низов, так еще недавно бунтовавших против дворянской монархии. Читатель помнит перечень общественных групп, принявших участие в пугачевщине: можно подумать, что Павел распределял свои милости, руководясь их списком. Освобождение крестьян

уже потому, что это было "освобождение", слишком расходилось со всем символом веры Павла Петровича. Он не мог бы никогда примириться с самой идеей такого акта, как не мог он перенести слова "представитель" (а его сын и продолжатель Николай Павлович - слов "вольные хлебопашцы"). Но облегчить положение крестьян, не нарушая полицейской субординации, он был не прочь: он начал с отмены рекрутского набора, уже назначенного Екатериной, и некоторых натуральных повинностей (вместо чего пришлось тотчас же повысить денежную подать), несколько раз за свое недолгое царствование прощал недоимки, специально занимался участью горнозаводских крестьян на Урале, отписав часть их от заводов и превратив снова в государственные. По отношению к раскольникам он сделал то, о чем только мечтал Потемкин: под известными условиями разрешил богослужение по старым книгам, положив начало так называемому "единоверию". Это отнюдь не была принципиальная веротерпимость; Павел не допустил бы ее, как и "представителей", но фактически это была льгота, и раскольники ее почувствовали. Когда Павла убили, из их среды вышел единственный, хотя и очень робкий, протест против переворота. Духовенство Павел старался привязать к себе разными мерами: и нарезкой земли из казенной, по 30 десятин на церковь, и основанием новых духовно-учебных заведений, и наконец (ему это, вероятно, казалось важнее всего остального), тем, что стал жаловать духовным лицам ордена и разные другие знаки отличия. По отношению же к дворянству, наоборот, мы рядом с милостями встречаем и ряд ограничительных мер. Современники больше всего шумели по поводу нарушения Павлом жалованной грамоты 1785 года - восстановлением телесных наказаний для дворян (указы от 3 января и 13 апреля 1797 года), но как раз эти указы остались почти мертвой буквой, и случаев сечения дворян за царствование Павла известно два-три. Важнее было фактическое упразднение губернской организации дворянства (разрешались только уездные собрания), и тут полицейский мотив, стремление ослабить подозрительную общественную силу выступает с такою же отчетливостью, как и в устранении от выборных должностей чиновников и офицеров, массами исключавшихся Павлом из службы**. Прогнанные из Петербурга дворяне отправлялись в свои имения - если бы допустить их в местные выборные учреждения, эти последние очень скоро стали бы очагами оппозиционного движения.

** См. мемуары Чарторыйского и слова самого Павла Марии Федоровне: "Если вы вздумаете подражать Екатерине, вы не найдете во мне Петра III".*

*** За время царствования Павла (1796 - 1801) было уволено несколько фельдмаршалов, более 300 генералов и 2 тысячи штаб- и обер-офицеров. Из 132 офицеров Конногвардейского полка к концу царствования на службе остались двое - все остальные были новые.*

Как видит читатель, нам с ним удалось выяснить основные линии политики Павла I, не прибегая к излюбленному методу большинства историков этого царствования: к психопатологии*. Все, что делал "сумасшедший" Павел, делал бы и нормальный человек его умственного развития и склонностей, поставленный в подобное положение. И даже эти склонности были не уклонением от нормы, а лишь преувеличением тех привычек и обычаев, которые сложились на почве

потемкинско-зубовского режима. Перед Зубовым не смели сесть - перед Павлом становились на колени; перед каретой Потемкина раскланивались - перед каретой Павла выпрыгивали в грязь и делали реверанс. Даже знаменитый "желтый ящик" был лишь более организованной формой зубовских levers da roi, и, нужно сказать, формой более деловой - Павел занимался своими челобитчиками серьезнее, нежели екатерининский фаворит своими. Даже мундиромания Павла (форма обмундирования одной конной гвардии за его время была изменена не менее девяти раз!) находит себе антецедент в мундиромании Потемкина, а что этот последний придумывал мундиры более целесообразные, так это может быть объяснено отчасти более удачным образчиком, на который он напал (австрийские мундиры, а не прусские), отчасти же тем, что потемкинская униформа придумывалась в лагере, на походе, в обстановке, которой Павел совсем не знал и которую едва ли даже мог себе представить. Словом, в том, что Павел делал общественно важного, он был не столько уродом в семье, сколько крайностью - наиболее резким воплощением особенностей данной группы. Но как раньше полицейская традиция не заслонила от нас сознательной демагогии Павла, так и теперь нормальность его политики не должна закрыть от нас несомненной ненормальности его личной психики. Достаточно привести один случай, сомнению абсолютно не подлежащий, ибо он исходит от очевидца, и даже, как читатель сейчас увидит, более чем "очевидца", чтобы устранить всякие споры на этот счет. Рассказ идет от лица А.М. Тургенева - полкового адъютанта Екатеринославского кирасирского полка, одного из "потемкинских" полков, которого за то Павел (лично ненавидевший Потемкина) очень не жаловал. "В один день, не упомню числа, после вахт-парада пошел дождь; всем дежурным штаб-офицерам и адъютантам, для принятия пароля, который Павел Петрович сам отдавал, было приказано собраться в военную залу перед кабинетом; все собрались. Павел вышел из своего кабинета, отдал пароль; казалось, все шло в надлежащем и подлежащем порядке, ничто спокойствия не нарушало, и Павел изволил шествовать во внутренние комнаты, как вдруг минут через пять двери опять отворились, гоффурьеры зашикали, и он вступил в залу и громко сиповатым голосом повелел: "Екатеринославского адъютанта сюда!" Недалеко было меня искать - я был в зале и стал перед государем. Павел Петрович подошел ко мне очень близко и начал меня щипать, сзади его, с правой стороны, стоял великий князь Александр Павлович, с бледным лицом; с левой стороны стоял Аракчеев; щипание было произведено несколько раз, от которого брызгали у меня из глаз слезы, как горох. Очи Павла Петровича, казалось мне, блестели, как зажженные свечки; наконец, он изволил повелевать мне сими словами: "Скажите в полку, а там скажут далее, что я из вас потемкинский дух вышибу, а вас туда зашлю, куда ворон костей ваших не занесет". Приветствие - не вполне радостное, но изустно мне оглашенное в присутствии 200 или 300 офицеров! Его величество, повторив высочайшее повеление пять или шесть разов, продолжая щипание, изволил мне сказать: "Извольте, сударь, отправиться в полк!""

---

* *Пишущий эти строки отдал в свое время дань этому методу, объяснив многое в политике Павла его болезненной наследственностью (см. "Историю России в XIX*

в.", изд. бр. Гранат, т. 1, с. 22 - 24). "Наследственность" тут была, конечно, только не физиологическая, от Петра III, а социальная, от Потемкина и Зубова.

Мы не будем доканчивать рассказа, повествующего далее, как Тургенев тут же снова снискал милость своего государя, ловко, по форме, повернувшись перед ним, и для большей правильности поворота не побоявшись даже больно задеть своим палашом слишком близко подошедшего к нему императора; это пожертвование всем форме особенно подкупило Павла, и он проводил исщипанного им адъютанта одобрительным возгласом: "Бравый офицер! славный офицер!". Подобными случаями полны современные мемуары, и они, эти случаи, проще всего объясняют нам, почему к заговору против Павла так легко пристал "весь Петербург" с генерал-губернатором во главе: необходимость устранить явно ненормального психически императора оправдывала самые крайние меры. Но событие 11 марта 1801 года слишком сложно, чтобы его можно было объяснить только этим, и слишком тесно связано с последующим, чтобы его можно было понять, не выходя за пределы Павлова царствования. Его приходится поэтому рассмотреть отдельно и в иной связи.

Глава XII

Александр I

11 марта 1801 года

Дворянское движение начала XIX века как реакция против полицейской диктатуры; 11 марта 1801 года и 14 декабря 1825 года " Экономические условия дворянской революции 1801 года; внешняя политика Павла и первый заговор против него - Второй заговор; полиция знати; Пален и Беннигсен; участие великих князей и императрицы - Гвардия: офицерство и солдаты; отношение последних к Павлу; влияние этого на катастрофу - "Народное ликование"; поворот во внешней политике

Полицейский механизм, созданный для охраны крепостного "порядка", нарушенного пугачевщиной, при Павле Петровиче развил максимум своего действия. Дворянство, для защиты интересов которого механизм и явился на свет, казалось бы, должно было испытывать максимальное удовольствие. Вместо этого царствование Павла было прервано дворянской революцией, Павел пал жертвою дворянского заговора. Этот заговор становится исходной точкой дворянского оппозиционного движения, наполняющего собою все первое десятилетие XIX века и преемственно связанного с другим заговором, по составу участников тоже дворянским, - заговором декабристов. Первый заговор был стихийным взрывом, почти, можно бы сказать, рефлективным жестом самообороны от "порядка", которому с таким фанатизмом служил Павел. Второй был сознательной попыткой поставить на место полицейского порядка нечто иное. Участники второго были детьми заговорщиков 1801 года если не в буквальном, физиологическом смысле, то

как непосредственно следующее поколение того же общественного класса. Первый заговор был формально удачен, но ни на йоту не изменил системы. Второй был, с формальной стороны, катастрофой для тех, кто в нем участвовал, но косвенно он сделал в системе трещину, которую можно было замазать, но которая фактически, под толстым слоем замазки, все расширялась. Только после второго мы встречаем настоящую реакцию - лет двадцать относительного "покоя", свидетельствовавшего, что, с одной стороны, кто-то был удовлетворен достигнутыми результатами, с другой - что кто-то разочаровался и не верит больше в достижимость ставившихся с таким упорством целей. В промежутке между 1801 и 1825 годами мы не встречаем ни на минуту полной паузы: в течение всего этого промежутка "общественное движение" ориентируется все в одном и том же направлении. Немудрено, что связь между событиями этих двух годов улавливали уже современники, хотя не менее естественно, что современников больше поражало внешнее сходство: внутренняя связь была для них менее заметна. Рассказав об ужине, предшествовавшем экспедиции гвардейских офицеров в Михайловский дворец в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, один современник прибавляет: "Говорят, что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла, что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше было бы отделаться от них всех сразу. Как ни возмутительно подобное предложение, достойно внимания то, что оно было вторично высказано в 1825 году, во время последнего заговора, сопровождавшего вступление на престол императора Николая Первого"*.

** Саблуков Записки, рус. пер., с. 69.*

Заговор 11 марта обыкновенно ставят за одну скобку с дворцовыми переворотами XVIII века. В известном смысле это, конечно, и правильно: по своей технике, например, предприятие Палена и Зубовых ничем не отличалось от предприятия братьев Орловых, но нужно сказать, что и 14 декабря, взятое с этой стороны, как две капли воды похоже на дворцовый переворот. Их, однако же, не принято сопоставлять, и это опять правильно, потому что этой стороной дело далеко не исчерпывалось, и не в ней было главное. Идеология некоторых декабристов могла очень напоминать идеологию Григория Орлова (мы ниже увидим разительные доказательства этого) - их психика была совсем иная, и это новое настроение даст нам право резкою чертою отделять первых русских революционеров от устроителей дворцовых переворотов предшествовавшего столетия. И вот эта новая психология дает себя чувствовать уже около 1801 года. Другой современник, гораздо более блестящий, нежели цитированный нами выше Саблуков, рассказав об убийстве Павла, заканчивает такими словами: "Так погиб этот тиран, после того как он пять лет держал Россию под своим унизительным игом и заставлял дрожать сорок пять миллионов людей при малейшем знаке его воли. Он кончил бы тем, что погрузил бы снова в варварство свою страну, если бы она не была от него избавлена при помощи единственного возможного средства. Ненависть к тирану должна брать верх над всеми другими чувствами, говорит Ласепед, и всякое

средство хорошо, чтобы сломить этот бич"*. И это написал не горячий, увлекающийся мальчик, а старик, бывший на своем веку русским министром и главнокомандующим одной из русских армий. А вот другие строки, написанные всего через три дня после катастрофы, еще более любопытные по общественному положению писавшей, и потому еще, что она раскаивалась в своем вчерашнем настроении, раскаивалась, не считая, однако, возможным его скрыть: "Я легкомысленно превозносила революции только потому, что окружавший меня безмерный деспотизм почти лишал меня возможности рассуждать беспристрастно; я хотела только видеть эту несчастную Россию свободною, какой бы ценою ни было". Это писала своей матери великая княгиня Елизавета Алексеевна, которая 11 марта стала русской императрицей**. Немудрено, что в кругах, близких к заговорщикам, сохранилась легенда, будто Павлу в эту трагическую ночь предлагали подписать конституцию, и его отказ был непосредственным поводом к катастрофе. Это не более как легенда: читатель сейчас увидит, что весь характер заговора исключает возможность такой театральной сцены. Гвардейские офицеры с Беннигсеном и Зубовым во главе приходили в царскую спальню совсем не за тем, чтобы вести там политические споры. Но легенда характерна: впервые в истории русских дворцовых революций их участники чувствовали себя борцами за политическую свободу. Раньше просто и грубо, без иллюзий, охранялись классовые интересы дворянства. Теперь эта крайне материальная сама но себе задача начинает освещаться поэтическим ореолом: борьба с деспотизмом, вредным для помещиков, начинает сознаваться, как борьба против деспотизма вообще. Еще четверть столетия - и защитники дворянских "вольностей", как декабрист Каховский становятся, не только субъективно, но и объективно политическими мучениками.

** Memoires de L'amiral Paul Tchitchagof. - Paris, 1909.*
*** Schiemann. Die Ermordung Pauls, введение, с. VII.*

Но как бы красиво ни было то или другое общественное настроение, основы общественной психологии всегда приходится искать в экономике. По отношению к катастрофе Павла Петровича мы имеем редкий, для тогдашней эпохи в особенности, случай осознания этого факта еще современниками. Писавший с их слов декабрист Фонвизин так определяет условия, ближайшим образом вызвавшие восстание дворянства против Павла: "Павел, сперва враг французской революции, готовый на все пожертвования для ее подавления, раздосадованный своими недавними союзниками, которым справедливо приписывал неудачи, испытанные его войсками... вдруг совершенно изменяет свою политическую систему и не только мирится с первым консулом Французской республики, умевшим ловко польстить ему, но становится восторженным почитателем Наполеона Бонапарта и угрожает войною Англии. Разрыв с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекло все для нее необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместьев, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и пр. Разрыв с

Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким деспотизмом. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей", Что Фонвизин передает здесь подлинное мнение современников, и даже самих участников заговора, доказывает речь Зубова на знаменитом "ужине", с которого заговорщики прямо отправились в Михайловский дворец: по передаче Чарторыйского, Зубов начал именно с указания на "безрассудность разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние". И это, в связи с опасностями, которыми угрожала России и в частности Петербургу русско-английская война, составило, по-видимому, главное содержание "речи": внутренняя политика Павла в ней, если верить Чарторыйскому, отсутствовала, не считая указания, что при Павле "никто из присутствующих не может быть уверен в личной безопасности". Остается прибавить, что сознательность была не только с русской стороны, английская дипломатия сделала для низвержения Павла все, что могла. Английский посланник в Петербурге Уитворт был деятельным членом первого заговора против Павла (не позже весны 1800 года, т.е. приблизительно за год до катастрофы), рядом с вице-канцлером Павла Паниным и адмиралом Рибасом, причем первый из них, сын знакомого нам усмирителя пугачевщины, являлся едва ли не лучшим проводником английского влияния на русскую политику, чем сам Уитворт. Можно сказать, что сама форма этого первого заговора была "английская". Павла предполагалось объявить сумасшедшим, как это было сделано в Англии с Георгом III, Александр же Павлович должен был занять место "принца-регента". Дело было поставлено настолько серьезно, что Панин собирал уже сведения под рукой у иностранных дипломатов, в какие формы облекаются подобные предприятия в той или другой стране. Это было нужно потому, что Англия как парламентское государство, юридическим образчиком для России служить не могла. Александр был посвящен в заговор и имел с Паниным тайные свидания, происходившие, для большей конспирации, в бане. Затормозило дело, по-видимому, исчезновение с петербургского горизонта Уитворта: косвенный признак, что английские субсидии играли в движении большую роль, чем допускает большинство мемуаристов из патриотических соображений. Несомненно, что в дни союза с Англией приближенные Павла получали от английского правительства не менее крупные суммы, чем в свое время приближенные Елизаветы Петровны. Известно, например, что фаворитка Павла Нелидова в одном случае получила 30 тысяч рублей. После разрыва милости Англии должны были перейти к противникам павловского режима. Уитворт продолжал поддерживать сношения с оппозиционной петербургской знатью и из-за границы; особенно близок он был с Зубовыми через сестру екатерининского фаворита Ольгу Александровну Жеребцову. Но дело, очевидно, должно было идти медленнее, притом же случайные обстоятельства - смерть Рибаса, отставка и ссылка Панина (последняя, может быть, и не вполне случайная) - расстроили первоначальный штаб заговорщиков. На первый план среди них теперь выдвинулся петербургский генерал-губернатор Пален, но он, по-видимому, возбуждал сильнейшее недоверие в великом князя Александре и, кажется, не совсем неосновательно. Как раз Пален и Беннигсен принадлежат к числу таких фигур, поведение которых, если мы исключим возможность

английских субсидий, является совершенно загадочным. Первый, петербургский генерал-губернатор, фактический министр иностранных дел и главный начальник почтового ведомства (один из важнейших постов полицейского режима!) был почти что временыциком второй - типичный военный авантюрист тогдашней бурной эпохи, казалось, готов был служить всякому, кто хорошо платит. Что за охота им была рисковать головой из-за интересов русского дворянства, с которым оба были связаны весьма слабо? Если же предположить, что этого рода служба хорошо оплачивалась, не говоря уже о том, что она была прочнее службы Павлу, "исполненной случайностей", то неожиданно вспыхнувший в них русско-дворянский патриотизм окажется явлением довольно естественным. Но того, кто продавался, можно было и перекупить: в известный момент Павел мог оказаться более выгодным "заказчиком", и Пален продал бы Александра Павловича, как он раньше продавал его отца. Вполне естественно, что Александр желал видеть рядом с собою людей, более популярных в дворянском обществе, участие которых являлось бы своего рода "страховкой", и, пока этого не было, "обнаруживал нерешительность".

Но екатерининская знать очень туго шла в заговор. Ни одного из тех блестящих дворянских имен, которые так часто попадаются потом на страницах истории Александра I, ни Воронцовых, ни Румянцевых, ни Разумовских, ни Голицыных, ни Строгановых мы не встречаем в списках известных нам членов заговора. Ненавидя Павла, екатерининские магнаты очень не прочь были покончить с ним руками наемных немцев. Александр должен был удовольствоваться тем, что к заговору, так сказать, официально присоединились Зубовы, но и те, со своей стороны, потребовали перестраховки - права назвать в решительную минуту Александра всей массе заговорщиков. Не будь этого последнего факта, засвидетельствованного таким компетентным источником, как мемуары Чарторыйского, историки, вероятно, и до сих пор спорили бы, участвовал непосредственно Александр Павлович в заговоре против своего отца или только "догадывался". Благодаря Чарторыйскому мы знаем, что, идя 11 марта на императорский дворец, заговорщики с уверенностью могли считать своим главою будущего русского императора, и вопрос может быть только об остальных членах царской семьи. Императрица Мария Федоровна не принадлежала, конечно, к числу заговорщиков: два конкурирующих между собою лица не могли же быть главами одного и того же предприятия. Но быстрота, с которой она оказалась на месте действия, и энергия, с какой она, не теряя ни минуты, принялась за отстаивание своих прав на российский престол, с достаточной убедительностью доказывают, что она, во всяком случае, была вполне готова к катастрофе. Некоторые современники не чужды предположения, что около нее группировался параллельный маленький заговор, но Панин с Паленом ее перехитрили, чем достаточно объяснялась бы лютая ненависть доброй императрицы к обоим названным деятелям. Участие в заговоре Константина Павловича почти так же не подлежит сомнению, как и участие самого Александра. Распоряжения, отдававшиеся им в роковую ночь, по состоявшему под его командой Конногвардейскому полку, показывают, что он знал о перевороте по крайней мере за несколько часов: из этих распоряжений особенно характерно то, которое делало для ненадежного, с точки зрения заговорщиков, Саблукова физически невозможным исполнять как следует обязанности начальника

дворцового караула. По-видимому, кое-что подозревал на этот счет и Павел, за несколько часов до смерти приказавший вовсе удалить из дворца конногвардейский караул - одновременно с "арестом" Константина и Александра. И во всей трагедии 11 марта нет более ужасного момента, чем вопль задыхавшегося в скарятинском шарфе императора: "Ваше высочество, пощадите! воздуху, воздуху!" Он увидал в толпе конногвардейского офицера и был уверен, что это его сын, цесаревич Константин Павлович...*

** Личные мотивы, определившие участие членов царской семьи в заговоре, не так легко вскрыть, в то же время и большого исторического интереса они не представляют. По общераспространенной версии, Павел в последние месяцы своей жизни носился с планом радикального семейного переворота: он собирался развестись с женою и заключить ее в монастырь, Александра - в Шлиссельбургскую, а Константина - в Петропавловскую крепости. План этот в нем будто бы поддерживал его камердинер Кутайсов, которого Павел сделал графом и андреевским кавалером и который имел больше влияния в государстве, чем все министры. Под влиянием Кутайсова находилась и последняя фаворитка Павла Гагарина, тогда как прежняя, Нелидова, дружила с Марией Федоровной. Никаких доказательств существования такого "заговора" со стороны Павла и его челяди мы не имеем, и вполне возможно, что он был сочинен ad hoc задним числом, для того чтобы сколько-нибудь прилично мотивировать поведение императрицы и старших великих князей. Не нужно забывать, что в семейной жизни гораздо больше, чем в политике, решающим моментом являлось сумасшествие Павла - жизнь в ежеминутном ожидании безумных выходок, границ которых никто не мог себе представить, была невыносимой пыткой. Затем не нужно упускать из виду и того, что перед 11 марта Павел все сильнее и сильнее начинал подозревать, что против него что-то готовится, и тут дело, действительно, могло легко кончиться Шлиссельбургом. Недаром он сам явно подготавливал себе наследника в лице маленького принца Евгения Виртембергского, племянника Марии Федоровны. Приходилось спешить...*

На самом деле состав "исполнителей" был гораздо менее высокопоставленный. Глава заговора, правда, был представлен своим адъютантом Волконским: подробность, пикантная в том отношении, что традиция твердо привила Александру "отвращение" к убийцам его отца, между тем у Александра Павловича всю его жизнь не было личного друга ближе Волконского. Кроме последнего, к "порядочным" людям принадлежали только Зубовы: характерно, что бывший фаворит Екатерины оказался честнее фон дер Палена и пошел вместе с другими в царскую спальню, когда "бескорыстный немец" остался позади, чтобы "наблюдать и поддерживать порядок". Современники были убеждены, что Пален готовился действительно арестовать Александра Павловича при малейшем признаке неудачи. Непосредственно "руками" заговора, за вычетом Николая Зубова, в эту ночь совершенно пьяного, по словам большинства рассказчиков, были весьма темные люди, имена которых ничего не говорят читателю, даже хорошо знакомому с историей эпохи. Тираноубийство могло быть окружено ореолом при иной обстановке, но убить целой толпой безоружного, полусонного человека (Павел был

настолько спросонок, что не успел даже испугаться, при всей своей трусости, как очень характерно отметил Саблуков) слишком мало льстило самолюбию военных людей, какими были почти все заговорщики без исключения. Чрезвычайно типично участие в самом акте убийства уже настоящего лакея - камердинера Зубова, которого барин привел с собой: как истый феодал, он явился на место действия со своим "двором". Вполне достойным вождем этого отряда был другой из честных немцев, Леонтий Леонтьевич Беннигсен. Кто видал превосходный потрет Джорджа Дау (воспроизведенный при последнем издании мемуаров Беннигсена), тот никогда не забудет этого лица - идеального воплощения холодной жестокости. Современники приписывали Беннигсену решительность и находчивость в трудные минуты. Ни того, ни другого он не обнаружил в 1806 - 1807 годах, когда командовал русскими войсками против Наполеона. Он был не из тех генералов, которые выигрывают сражения, а из тех, которые, не моргнув глазом, расстреливают или запарывают насмерть сотни людей. Смерти Павла, однако же, не хотел брать на свою душу даже он, и в письме к близкому человеку, непосредственно после события, он представлял дело так, что Павла убили совсем "нечаянно", притом в его, Беннигсена, отсутствие - он, будто бы, вышел распорядиться, оставив все в полном порядке и благополучии, вернулся - Павел уже мертв. Достоверность этого рассказа, вероятно, не выше, чем рассказ того же Беннигсена о его победах над Наполеоном, после которых русская армия неизменно отступала, а французская шла вперед. Зерно истины, какое есть в показании Беннигсена, сводится, кажется, к тому, что убийство Павла не было непосредственной целью, какую ставили себе заговорщики: в тысячу раз "приличнее" было бы избавиться от него позже, когда он, отрекшийся от престола, "бывший" император, жил бы в какой-нибудь Ропше, как Петр III. Без соблюдения этого минимального приличия дело принимало столь варварский характер, что даже предшествовавшие гвардейские революции оказывались более европейскими. А никто не дорожил европейской внешностью так, как Александр Павлович... Когда он уверял потом Чарторыйского, что убийство отнюдь не входило в одобренную им программу заговора, этому можно поверить, основываясь не только на соображениях общечеловеческой психологии, но и на том, если так можно выразиться, этикете дворцовых переворотов, какой выработался в течение XVIII века. Чрезвычайно единодушные показания современников не оставляют никакого сомнения в том, что конец Павла был фатально ускорен той самой демагогией, в которой он искал гарантии от дворянской мести. Заговорщики вынуждены были убить императора, потому что иначе их самих перебили бы гвардейские солдаты.

Дворянская, по составу офицерства, гвардия в своей массе была к 1801 году несравненно демократичнее, нежели пятьюдесятью годами ранее. Закон о "вольности дворянства" и обычай записывать в службу детей сделали свое - среди нижних чинов гвардии дворян теперь почти не было. Один факт, относящийся как раз к царствованию Павла, подчеркивает это обстоятельство: этот факт заключается в формировании "дворянского" полка - кавалергардов. Он должен был стать особенно привилегированным отрядом императорской гвардии и, в то же время, рассадником кавалерийских офицеров для всей армии. И даже в этой по самому названию (chevaliers-gardes) дворянской части около трети солдат были не

дворяне. Смешение со старыми екатерининскими полками гатчинских батальонов, где и среди офицерства трудно было найти человека из мало-мальски родовитой семьи, еще усилило этот демократизм павловской гвардии. Офицеры и солдаты в ней принадлежали уже к различным общественным классам. И это внесло новую черту в организацию заговора 1800 - 1801 годов: прежние были общегвардейскими, этот был исключительно офицерским. В Семеновском полку, которым командовал Александр Павлович, в заговор были посвящены все, "до подпрапорщика включительно": т.е. все, кроме простых солдат. "Генерал Талызин, - рассказывает Чарторыйский, - командир Преображенского полка, один из видных заговорщиков, человек, пользовавшийся любовью солдат, взялся доставить во дворец в ночь заговора батальон командуемого им полка. После ужина у Зубовых он собрал батальон и обратился к солдатам с речью, в которой объявил людям, что тягость и строгости их службы скоро прекратятся, что наступает время, когда у них будет государь милостивый, добрый и снисходительный, при котором все пойдет иначе. Взглянув на солдат, он, однако, заметил, что слова его не произвели на них благоприятного впечатления; все хранили молчанье, лица сделались угрюмыми, и в рядах послышался сдержанный ропот. Тогда генерал прекратил упражнение в красноречии и суровым командным голосом вскричал: "Полуоборот направо. Марш!", после чего войска машинально повиновались его голосу. Батальон был приведен в Михайловский замок и занял все выходы". Конногвардейцы, которых так не любил и боялся Павел, называвший их "якобинцами" (известен случай, как он однажды "сослал" Конногвардейский полк из столицы в деревни Петербургской губернии), отказывались присягнуть новому императору, пока им не покажут покойника, и только убедившись, что Павел "крепко умер", "якобинцы" пошли к присяге. Уже когда о смерти Павла было всем известно, солдаты очень хмуро приветствовали Александра - за исключением Семеновского полка, где любили своего шефа, но и в семеновцах Александр был настолько мало уверен, что заставил Палена отложить на несколько дней coup d'etat, выжидая, пока дежурным будет 3-й батальон, единственный, на который он мог вполне рассчитывать. Это сознание ненадежности солдат все время не оставляло руководителей заговора, ставя под вопрос все их расчеты. Чарторыйский, писавший со слов людей, ближе всего посвященных в дело, в том числе самого Александра Павловича, - говорит об этом вполне определенно: "Императору Павлу было бы легко справиться с заговорщиками, если бы ему удалось вырваться из их рук хотя на минуту и показаться войскам. Найдись хоть один человек, который явился бы от его имени к солдатам, он был бы, может быть, спасен, а заговорщики арестованы. Весь успех заговора заключался в быстроте выполнения". Причины популярности "тирана" среди солдат весьма обстоятельно выясняет тот же Чарторыйский: мы воспользуемся более короткой формулировкой Беннигсена - в данном случае не подозрительного, ибо он передает здесь общее мнение. "Несомненно, что император никогда не оказывал несправедливости солдату и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне". Преображенский караул и готов был вспомнить царскую ласку в ночь 11 марта, хотя офицеры-заговорщики приняли все меры, чтобы подтасовать его состав: на эту ночь в него были назначены почти исключительно бывшие солдаты только что раскассированного Павлом Лейб-гренадерского полка. В самую

критическую минуту, когда Платон Зубов тщетно уговаривал Павла подписать отречение, в передней императорского кабинета послышался страшный шум; на самом деле, этот шум произвела вновь подвалившая толпа участников заговора, но бывшие вокруг Павла заговорщики, ежеминутно ожидавшие появления солдат ему на выручку, вообразили, что все кончено, и поспешили прикончить свою жертву.

То, что непосредственно последовало за этим, достаточно объясняет реакцию, возникшую в душе молодой императрицы, так легкомысленно восхищавшейся ранее революциями, знакомыми ей только по книжкам. Она увидала теперь воочию, чем бывает дворянская революция в России. Первое, чем ознаменовали свою победу заговорщики, было разбитие погребов Михайловского замка. Идя "убивать тирана", выпили для храбрости только офицеры - теперь была пьяна вся гвардия без изъятий. Выйдя из своей комнаты, Елизавета Алексеевна очутилась в толпе пьяных людей, которые хватали ее за руки, целовали эти руки, чуть не целовали ее самое. И среди всего этого бесновалась старая императрица, в сотый раз доказывая свои права глумившимся над нею гвардейским часовым: бедная Мария Федоровна никак не могла отделаться от своего немецкого акцента, и это казалось ее пьяным слушателям всего забавнее. Никогда, даже в дни лейб-кампании, царский дворец не был театром подобной оргии. Александр и Константин поспешили бежать из этого места, одинаково страшного и отвратительного в ту минуту. Д.Х. Ливен сохранила в своих записках эту историческую картину: одинокий возок, без свиты, без конвоя мчащийся глухою ночью по улицам Петербурга, и в нем забившиеся, дрожащие от ужаса новый император и его брат. Только в Зимнем дворце Александр Павлович несколько пришел в себя. А разливанное море из стен дворца убитого императора начало растекаться по всему городу. Торговцы иностранными винами, уже видевшие себя накануне банкротства благодаря прекращению балтийской торговли, на радостях выкатили бочки на все перекрестки, и скоро было пьяно все, что хотело напиться. Долго не могло улечься "народное ликование", и уже на следующее утро гр. Головина из окна своего дома могла созерцать сцену, символизировавшую в одном образе общее настроение: пьяный гусарский поручик ехал верхом вскачь по тротуару, крича, что теперь "все позволено!"*. Но пока "народ ликовал", правящие круги должны были заняться устранением политических результатов только что трагически закончившегося царствования. Всего настоятельнее это было нужно в области внешней политики, которая явилась ближайшим поводом катастрофы. "Примирение России с Англией было непосредственным результатом смерти Павла, - говорит Чарторыйский. - Война с этой державой, издавна богатейшим рынком для русского железа, хлеба, строевого леса, серы и пеньки, более всего восстановила общественное мнение против покойного императора. После его смерти нужно было во что бы то ни стало положить войне конец. Наскоро состряпали соглашение, на котором явственно отразилось стремление заключить мир как можно скорее, во что бы то ни стало. Интересы морских союзников России не обратили на себя должного внимания**, и капитальные пункты, ограждавшие права нейтрального флага: были обойдены молчанием или выражены неясно. Прекращение враждебных действий было все, чего хотели добиться возможно скорее". В Лондоне о событии 11 марта стало известно чуть не на другой день - Жеребцова сообщила о нем Уитворту с быстротой, почти непостижимой в эпоху,

не знавшую телеграфа. Со своей стороны, англичане настолько видели в начинавшейся войне личное дело Павла, что, получив известие о его смерти, главнокомандующий английским флотом на Балтике Нельсон, не дожидаясь формального перемирия, пришел со своими кораблями в Ревель - запасаться там пресной водок и съестными припасами. Ревельский комендант до смерти перепугался, вообразив, что англичане собираются бомбардировать город и делать высадку, а в Петербурге обиделись, что Нельсон до такой степени пренебрег всякими дипломатическими приличиями. Англичан приняли очень холодно и потом должны были послать им вдогонку адмирала Чичагова с извинениями. Рассказ о том, как Чичагов ощупью искал Нельсона по Финскому заливу и нашел, наконец, к собственному своему удивлению, только благодаря густому туману, принадлежит к числу курьезнейших страниц в истории русского флота. Как бы то ни было, тут дело было решено скоро и радикально - понадобился разгром России Наполеоном и Тильзитский мир, чтобы заставить Александра Павловича в этой области пойти по стопам .своего отца. Совсем иначе пошло дело в области политики внутренней здесь, после некоторого топтания на одном месте, в сущности вовсе ничего не было сделано, и Александр Павлович, несмотря на чрезвычайно демонстративные заявления своей несолидарности с предшествующим царствованием, остался на колее, проложенной еще в последние годы царствования Екатерины и с таким рвением пробивавшейся далее Павлом. Объективные условия, создавшие концентрацию крепостного режима, оказались сильнее общественной психологии.

** Souvenirs de la comtesse Golovine. - Pans, 1910. (Воспоминания императрицы Елизаветы Алексеевны о ночи 11 - 12 марта, записанные Головиной с ее слов, составляют лучшие страницы этой части "Записок").*

*** Англичане только что уничтожили тогда датский флот, заграждавший им вход в Балтийское море.*

"Молодые друзья"

Александр Павлович и его кружок - отсутствие самостоятельности, зависимость от екатерининской традиции - "молодые друзья" как представители крупнейшего землевладения; индифферентизм среднего помещика к реформам - роль самого императора - Внешняя политика Александра до Тильзита - влияние Чарторыйского - влияние Англии - Внешние неудачи и петербургское общество: начало разрыва между Александром и знатью

С этой психологией связан, впрочем, целый ряд недоразумений, которые начали рассеиваться лишь в самые последние годы, хотя материал для их разъяснения, отчасти, существует уже давно. Конечно, для того чтобы нарисовать себе во весь рост российский либерализм "дней Александровых прекрасного начала", понадобилось знакомство с подлинными дневниками Строганова, опубликованными лишь в начале текущего столетия. Но уже мемуары

Чарторыйского, напечатанные еще в 80-х годах прошлого века, давали такую превосходную характеристику "топтания на одном месте", что после них говорить серьезно о "реформах первых лет царствования Александра I" можно было лишь при очень большой предвзятости в пользу всяких реформ, хотя бы они ограничивались переобмундированием русских чиновников на английский лад. Не нужно забывать, что Чарторыйский принадлежал к числу ближайших сотрудников Александра в этих "реформах", а по уму был самым крупным из всего кружка*, не исключая, конечно, и самого императора. Если этот человек, вовсе притом не желавший злословить, стремившийся, напротив, представить злосчастные "реформы" в возможно более выгодном свете, не мог припомнить ни одного факта в их пользу, кроме того, что "теперь лучше была организована продажа соли", и, в конце концов, должен был признаться, что "дело шло", главным образом, о том, чтобы "ввести в новую администрацию молодых друзей императора"**, то, значит, вообще сказать было нечего. "Молодым друзьям" - это до последней очевидности ясно из мемуаров Чарторыйского - нечего было сказать не только после, ретроспективно оценивая результаты своей деятельности, но даже и в разгар этой последней. Когда им понадобилось развернуть свою платформу перед императором, они выпустили вперед старика Семена Воронцова, а тот, в свою очередь, не сумел сказать ничего, кроме повторения старых щербатовских рассуждений о сенате и его значении. Это могло быть недурно в дни комиссии 1767 года, но после Французской революции, после конституции 1791 года, которую даже и Александр читал в подлиннике, этого было маловато... Между тем Воронцов так и не мог "съехать" со своего сената. "Каждая фраза графа Семена начиналась и кончалась сенатом, и, когда он не знал, что сказать и что отвечать, он повторял одно и то же, ничего не прибавляя... Нам казалось, что потом император даже и во сне должен был слышать голос, кричавший ему на ухо: "Сенат! Сенат!" В этой аффектации было что-то смешное и неуклюжее, что должно было охладить императора, вместо того чтобы одушевить его"***.

** Кроме Чарторыйского, к нему принадлежали, как известно, Строганов, Новосильцев и Кочубей.*

*** Memoires, т. 1, pp. 317 et 319.*

**** Ibid., с. 304 - 305.*

Звучащая в последних словах ироническая нотка должна как-будто внушить читателю, что у самих "молодых друзей" имелось в запасе что-то лучшее старых "монаршических" рассуждений. Было бы очень опасно поддаваться этому внушению: для самого радикального из друзей Александра, для "русского якобинца" Строганова, одна старая записка Безбородки, который "знал всего Монтескье наизусть", казалась верхом политической премудрости. "Ограничением (произвола) должны быть учреждения уже существующие, - писал Строганов в своем "Общем плане работы с императором над реформою". - Создать новый порядок вещей для этой цели мне казалось бы очень опасным, и, дав некоторый блеск и кое-какие (quelques) привилегии учреждениям старым, можно было бы, кажется мне, создать из них преграду (для произвола) вполне достаточную. Бумага князя Безбородки дает в этом отношении канву для всего, чего только можно

пожелать". "Мой принцип, - поясняет он в другом месте, - изменять вещи, а не слова, и облекать нововведения в старый костюм так, чтобы не поражать ими никого, и чтобы перемену заметили тогда, когда к ней уже привыкли". Необычайно длинная, и даже теперь, спустя сто лет, в чтении необычайно скучная канитель с такими элементарными "нововведениями", как разрешение покупать землю не дворянам или запрещение продавать людей без земли (в сущности воспроизводившее лишь знаменитый указ Петра, никогда не исполнявшийся), ставит искренность слов Строганова вне всяких сомнений: новое одевали в старый костюм так старательно, что будь воля "молодых друзей", кроме этого старого костюма от "нововведений", пожалуй, ничего бы и не осталось. К счастью, в дело вмешивались иногда "старики", вроде Мордвинова, Румянцева, даже (кто бы подумал?) Платона Зубова. Благодаря первому в России была узаконена, фактически существовавшая, конечно, и ранее буржуазная земельная собственность (указ от 12 декабря 1801 года, разрешавший купцам, мещанам и казенным крестьянам покупать землю). Благодаря второму закон впервые признал за крестьянином право "никому не принадлежать - ни частному лицу, ни казне, право, впрочем, чисто принципиальное, ибо осуществление его зависело от тех, кому крестьяне принадлежали в настоящий момент (так называемый "закон о вольных хлебопашцах" от 20 февраля 1803 года). Платон Зубов едва не сделался виновником ограничения барского произвола относительно дворовых, но этому слишком смелому нововведению "молодые друзья" успели помешать вовремя. Их аргументация против опасных новшеств отличалась безукоризненной логикой. По поводу проекта - запретить или ограничить продажу крестьян без земли, "на вывоз" (при данных условиях одно из главных средств помещичьей колонизации, свободу которой, в сущности, и отстаивали, "молодые друзья"), кто-то из них рассуждал: "Этот обычай, каким бы варварским, каким бы отвратительным он ни был, связан с общим порядком вещей, - то есть, с положением крестьянина по отношению к его барину. Как тронуть одну из ветвей, не видя ее связи со стволом?.. Мера этого рода не может быть введена, не задевая различных интересов, если уничтожить ее (продажу без земли) вовсе; может быть, при помощи распоряжений общего характера удалось бы обуздать этот обычай и искоренить его нечувствительно, задевая (эти интересы) возможно менее"*. Зато, когда им самим пришлось заняться вопросом об эмансипации, оказалось, что дальше оброчного мужика они ничего себе представить не в состоянии, так что, опять-таки, старик Мордвинов с его "буржуазными" проектами крестьянской реформы - необычайно крепостническими на современный взгляд - был куда впереди их**.

** В. кн. Николай Михайлович. Гр. П.А. Строганов, т. 2, с. 11,34 - 35,134 и др.*

*** См. ibid. De la fixation de l'etat des paysans, с. 43 и др. Ср. наш очерк в "Истории России в XIX в.", т. 1, с. 34.*

На самом деле "молодые друзья" хлопотали, главным образом, о двух вещах: во-первых, о том, чтобы никто не отбил у них монополии личного влияния на императора. Для этой цели они ревниво оберегали двери своего "негласного комитета" от вторжения посторонних и облекали его чрезвычайно невинные занятия покровом непроницаемой тайны*; во-вторых, получить места, не просто

места с жалованьем, конечно: они были люди богатые, а места, которые давали бы им влияние в администрации. Чарторыйский откровенно признается, что должности товарищей министров были созданы специально для "молодых друзей", т.е. без всякой, в сущности, надобности для дела. Это его подлинные слова: имея смелость повести свои догадки дальше его прямых признаний, мы не сделаем слишком большой неосторожности, если предположим, что и пресловутое "образование министерств" (8 сентября 1802 года) имело одной из своих задач такую перетасовку правящего персонала, после которой над "молодыми друзьями" оказывались бы или нули, или люди, им сочувствующие. Их влияние, таким образом, стало прочно, и не было больше надобности играть в заговорщиков. Все другие, обычно приводимые мотивы гораздо менее объясняют дело. О замене коллегиального начала личным могут говорить лишь люди, не имеющие понятия о русской административной практике XVIII века. Коллегии с самого начала были пустой формой, и на самом деле президенты этих коллегий, имевшие непосредственный доклад у императрицы, уже при Екатерине II являлись настоящими министрами, не говоря уже о том, что функции теперешних министров юстиции, внутренних дел и финансов были и юридически в руках одного лица - генерал-прокурора. Фактически последний являлся премьером, в теперешнем смысле слова, поскольку у него не оспоривали этого положения такие фавориты, какими были Потемкин и Зубов. При Павле "личное начало" было проведено так далеко, как только возможно - при нем появилось и самое звание "министра" (министр уделов), и был составлен тот план министерств, который был адаптирован, в конце концов, "молодыми друзьями". Прибавим, что павловский режим - управление через двух-трех доверенных лиц - все время продолжал господствовать и при Александре, несмотря на существование министерств: до первой войны с Наполеоном все фактически было в руках триумвирата "деятелей" (faiseurs), как называли тогда в салонах Петербурга Чарторыйского, Новосильцева и Строганова; после первой войны - в руках Сперанского по гражданской части и Аракчеева по военной, а в конце царствования - в руках Аракчеева по всем частям. "Кабинета" в английском смысле, о котором теоретически мечтал Новосильцев, никогда не было по той простой причине, что кабинет опирается на партийную организацию, а сменявшиеся около Александра мелкие котерии никогда не выражали собою мнения даже придворных кругов в широком смысле, не только что какого-нибудь течения за пределами двора. Если их политика была все же классовой, то потому лишь, что их члены были представителями определенного общественного класса и не могли вылезти из своей социальной кожи, как и из кожи физической. Это дает известную физиономию "реформам первых лет": все они, начиная с проектов превращения всех крестьян в оброчных и кончая проектами превратить сенат в некоторое подобие палаты лордов, носят на себе явный отпечаток взглядов и интересов крупной знати. С этой точки зрения, образование комитета министров, вероятно, уже напомнило читателю "верховных господ" Петровской эпохи. Но была и огромная разница: тогда "верховные господа", в союзе с буржуазией, представляли собою крупнейшую прогрессивную силу, теперь "молодые друзья" и их старые советники были силой, несомненно, реакционной. После пугачевской помещичьей России, вкусившей от сладости нового барщинного хозяйства, рекою лившего золото в дворянские карманы, не нужно

было ни оброчного мужика (всегда ведь, как мы знаем, "утаивавшего" свои доходы от барина), ни аристократической конституции, стеснявшей центральную власть. Для того чтобы вести хозяйство по-новому, нужен был крепостной мужик, порабощенный больше, чем когда бы то ни было, и железный полицейский порядок, который обеспечивал бы власть барина над этим мужиком. Это, немного лет спустя, и объяснил Александру Карамзин в самой доступной форме. "Равнодушие" дворянства к "преобразовательным планам" Александра объясняется не чем другим, как тем, что для дворянства в целом эти планы были более чем излишними. Передовые группы нового дворянства, "помещиков-предпринимателей", были бы, может быть, не против буржуазной конституции: проекты Сперанского и позже декабристов представляли собою эхо чаяний и ожиданий этого дворянского авангарда. Но тут поперек дороги стала та же старая знать; бессильная создать что-нибудь положительное, она отнюдь не желала делиться властью с российским "сельским сквайром", который умел разводить коноплю и пшеницу, но Монтескье не знал не только наизусть, как Безбородко, а нередко и по имени. Знаменитая характеристика Строганова относится именно к этому провинциальному дворянству**. План Сперанского рухнул под напором придворных кругов, и они же, эти круги, явились свирепыми судьями декабристов. Что масса не поддержала своего авангарда, это более чем естественно: масса всегда довольствуется минимумом. А минимумом для дворянской массы, как цинично, но верно выразил Карамзин, были хорошие губернаторы: еще проще говоря, - хорошая, с помещичьей точки зрения, полиция. Со всем остальным можно было повременить. Только грубое вмешательство в непосредственную хозяйственную практику помещика могло в эту пору всколыхнуть среднее дворянство и на минуту солидаризировать его с аристократическими верхами. Так было в последние месяцы царствования Павла, так случилось в конце первых лет царствования его сына: и в том, и в другом случаях почвой была внешняя политика.

** Гр. П.А. Строганов, с. 22, "La base generale... le secret", особенно с. 12 - рассуждение о том, как опасно допускать к делу чужих людей.*

*** "Дворянство у нас состоит из некоторого количества людей, которые сделались благородными только благодаря службе, которые не получили никакого воспитания и которые, по всему своему миросозерцанию, неспособны представить себе, чтобы что-нибудь могло быть выше императорской власти. Ни право, ни суд - ничто не может зародить в них идею хотя бы о самомалейшем сопротивлении! Это класс самый невежественный, самый грязный, и ум которого наиболее ограничен. Такова приблизительная картина дворянства, живущего в деревнях" (Гр. П.А. Строганов, т 2, с. 111).*

Как видим, реформы первых лет Александра I для своего объяснения совсем не нуждаются в личности того, чье имя они носят. Оставляя совершенно в стороне вопрос о "роли личности в истории", мы можем игнорировать Александра Павловича этого периода просто потому, что он был тогда (извиняемся за плохой каламбур) совершенной безличностью. Собственные убеждения у Александра сложились постепенно, в результате его жизненного опыта уже как императора, приблизительно ко второму десятилетию XIX века. Особенно повлияла на него в

этом отношении последняя борьба с Наполеоном (1812 - 1815). В 1801 - 1805 годах это был недоучившийся ученик отчасти Лагарпа, отчасти своего отца - "наполовину швейцарский гражданин, наполовину прусский капрал", - по ядовитому, но меткому замечанию Чичагова, который имел случай наблюдать его очень часто именно в этот период его жизни. И едва ли тот же Чичагов придумал фразу, вырвавшуюся в его присутствии у Александра, в минуту откровенности: "Господи! Как меня пугает эта огромная ответственность и затруднения, окружающие меня со всех сторон! Как бы я был счастлив, если бы у меня было пятьдесят тысяч рублей дохода, да хороший полк, которым я мог бы командовать, вместо этой огромной страны и стольких народностей, которыми я должен управлять!" От отцовских уроков у него твердо засела в памяти важность "выпушек, погончиков и петличек"; он целые дни просиживал в комитетах, обсуждавших новую форму кивера или ботфортов, в то время как статс-секретарь по принятию прошений Муравьев, по месяцам не мог добиться аудиенции. Мундиромания свирепствовала так же, как при Павле, нимало не стесняемая проектами конституции, и в то время как последние оставались на бумаге, новые проекты мундиров немедленно становились самой живой действительностью. Последним словом в этой области были тонкие, "осиные" талии (мы помним, какое значение придавал им еще Скалозуб): забота о них доводила офицеров до того, что они на смотру, как барышни на балу, падали в обморок от туго перетянутого корсета. От Лагарпа Александр Павлович усвоил отвращение к рабству, причем, судя по мотивировке, которую он выдвинул в одном заседании негласного комитета, и павловская традиция играла тут свою роль. Полицейский мотив - возможность новой пугачевщины - в этой его аргументации был на первом плане. Но именно этот полицейский мотив - мы увидим это подробнее на истории "негласных комитетов" Николая Павловича - в корне подсекал самую идею эмансипации: как только разнеслась весть о намерениях императора, крестьяне немедленно начали "бунтовать", т. е. подавать на высочайшее имя жалобы на своих помещиков, и этого было, разумеется, довольно, чтобы всякие разговоры об освобождении крестьян заглохли на несколько лет. Таким образом, новый мундир так и остался единственным образчиком индивидуального воздействия молодого императора на судьбы его страны.

Не больше "личностью" был в эти годы Александр Павлович и в своей внешней политике. В старой литературе упорно держался взгляд, перешедший и в учебники, что молодой император вступил на престол, одушевленный необычайно широкими и гуманными, хотя немного неопределенными, воззрениями на свою международную роль. Он будто бы видел в себе охранителя всеевропейского мира и "начал христианских" в отношениях между государями Европы, которых он рассматривал как членов одной семьи. В пользу этого взгляда цитировались и кое-какие документы - вполне подлинные. Только они вышли из-под пера не самого Александра, а его тогдашнего министра иностранных дел*, Чарторыйского, который преследовал действительно некоторую идеальную цель, но не совсем ту, какую приписывали внешней политике Александра позднейшие историки. "Я хотел бы, - пишет в своих мемуарах Чарторыйский, - чтобы Александр сделался, некоторым образом, третейским судьей цивилизованного мира; чтобы он был покровителем слабого и угнетенного, стражем справедливости в международных

отношениях, чтобы его царствование, одним словом, начало собою новую эру в европейской политике, которая должна была впредь быть основана на общем благе и на праве каждого". Какая сентиментальность, скажет читатель. Вовсе нет. Чарторыйский был все, что угодно, но только не сентиментальный фантазер. Можно сказать, что вся жизнь этого замечательного человека била в одну точку: "Моя система, - говорит он, - своим основным принципом устранения всех несправедливостей необходимо вела к постепенному восстановлению Польши. Но чтобы не натолкнуться сразу же на трудности, которые неизбежно должна была встретить дипломатия, столь противоположная укоренившимся взглядам, я избегал произносить имя Польши. Идея ее восстановления подразумевалась всем смыслом моей работы, всем тем направлением, какое я хотел придать русской политике: я говорил только о постепенном освобождении народов, несправедливо лишенных их политического существования; я не боялся назвать греков и славян: все это было как нельзя более согласно с желаниями и мнениями русских, но, косвенно, все это было приложимо также и к Польше". Александр не был в числе обманываемых: он был посвящен в планы своего министра. Ему, без сомнения, льстило быть спасителем, избавителем, добрым гением всех угнетенных, в том числе и поляков, но инициатива этого "красивого жеста" принадлежала совсем не ему, и неизвестно, добрался ли бы он до этой идеи собственными средствами. Еще менее можно усвоить этой голове, "посредственной во всех отношениях", тот тонко рассчитанный макиавеллизм, с каким Чарторыйский стремился сделать слугою своего дела ни более ни менее как Англию. "Самое могучее оружие, каким пользовались до сих пор французы и которым они еще грозят всем странам, - это общее убеждение, которое они сумели распространить, что их дело есть дело свободы и счастия народов, - читаем мы в секретной инструкции Новосильцеву, посланному за спиною официальной дипломатии вести переговоры с Питтом: инструкции, подписанной Александром, но написанной, конечно, его министром. - Стыдно было бы за человечество, если бы дело, столь прекрасное, приходилось рассматривать, как собственность правительства, которое ни в каком отношении не заслуживает быть его защитником; было бы опасно для всех государств оставлять долее за французами явную выгоду казаться таковым. Благо человечества, истинный интерес законных властей и успех предприятия, задуманного обеими державами, требуют, чтобы они вырвали из рук французов это страшное оружие и, завладевши, воспользовались им против них самих".

---

* *Номинально товарища министра, но фактически он был руководителем русской иностранной политики до 1806 года.*

Итак, политическая свобода должна была стать оружием в руках держав старого порядка ("законных властей") против уже не республиканской, но все еще символизировавшей в глазах мира революцию Франции. Трудно найти в истории дипломатических отношений что-нибудь равное этой международной зубатовщине, и, нужно сказать, ничто не было усвоено Александром Павловичем лучше. Чарторыйский нашел не весьма, правда, благодарного, но чрезвычайно памятливого ученика; конституции Финляндии и Польши, рядом с аракчеевщиной в самой России, находят себе в инструкции Новосильцеву столь полное

объяснение, какого только можно желать. Для непосредственной цели переговоров - англо-русского союза - зубатовщина была, правда, излишней роскошью. Еще за год до миссии Новосильцева англичане со своей стороны употребляли все усилия, чтобы сделать Россию своей союзницей в войне с Францией. "Англичане стараются здесь со своей обычной энергией и своими обычными средствами подкупить русское правительство, - писал весною 1803 года Талейрану французский посланник в Петербурге Эдувиль. - Английским негоциантам, Торнтону и Байму, живущим в Петербурге, поручено их правительством предоставить в распоряжение адмирала Уорена (английского посланника) от 60 до 70 тысяч фунтов стерлингов, 40 тысяч уже трасированы на Лондон, и остальные тоже трасируют немедленно. Полагают, что эти суммы предназначены главным особам при дворе, которых Англия хочет привязать к себе во что бы то ни стало". Когда Новосильцев явился к Питту, английский министр немедленно перевел беседу на столь же реалистическую почву. Учтиво выслушав излияния русского правительства насчет того, что всем народам Европы необходимо обеспечить свободу, "опирающуюся на ее истинные основания", и что из этого принципа должно исходить все поведение договаривающихся держав, Питт заявил, что английские субсидии будут доведены до такой цифры, до какой только окажется возможным. "Мы гарантируем пять миллионов фунтов стерлингов, - сказал он, - быть может, даже немного более". Он оговорился, правда, что далеко за пределы этой цифры Англия не в состоянии будет выйти, не стесняя своей торговли. Александр не обратил должного внимания на эту оговорку и за то впоследствии в 1807 году был наказан, очутившись в необходимости заключить весьма постыдный и еще более невыгодный для России Тильзитский мир именно по той причине, что английские субсидии, достигнув предела, иссякли. Но в 1804 году это было еще далеко впереди: Питт же, кроме грандиозных размеров суммы, соблазнял еще (как это делают опытные банкиры) разными маленькими, но весьма приятными удобствами: обещал, например, начать выплату субсидий за три или за четыре месяца до объявления Россией войны Франции, так что и расходы по мобилизации оказывались достаточно обеспеченными. Если война не вспыхнула тотчас же, а была отсрочена почти на год, виной была непомерная жадность, проявленная австрийским правительством, тогда как без участия Австрии Россия не могла двинуться с места. Австрийцы одни желали получить два миллиона фунтов единовременно за мобилизацию и сверх того по четыре миллиона в год. Что же осталось бы России? Другим препятствием неожиданно явилась Пруссия, каким-то не совсем ясным образом проникшая, по-видимому, в тайну польских планов князя Чарторыйского: возможно, что "дружба" королевы Луизы с Александром Павловичем была не совсем чужда этому делу. Но большая часть разделенной Польши с Варшавой в центре была тогда в прусских руках: возрождение польского королевства являлось предприятием, непосредственно направленным против Пруссии. С одной стороны, грозила опасность потерять Польшу, с другой, - Наполеон сулил отнятый им у англичан Ганновер. Прусскому королю при всей его симпатии к "интересам законных властей" было от чего поколебаться. С трудом добились от него, чтобы он, по крайней мере, "не мешал", и он действительно не помешал Австрии и России быть наголову разбитыми Наполеоном.

После Аустерлица (ноябрь 1805 года - почти ровно через год после переговоров Новосильцева с Питтом) Австрия, для которой весь реальный интерес войны заключался в английских субсидиях да надежде на территориальные приобретения (ей обещали всю Баварию и, кроме того, "исправление границы" с итальянской стороны), поспешила выйти из игры: интерес идеальный, сводившийся к лютой ненависти австрийских феодалов против "санкюлотской" Франции, должен был помолчать до поры до времени. Будь для России все дело в английских субсидиях, она, конечно, тоже должна была бы заключить мир. Если она этого не сделала, значит русско-английский союз опирался теперь на нечто более солидное, чем взятки частного или государственного характера. Это более прочное основание русско-английской дружбы французские дипломаты уже указывали с полной определенностью. "Россия слишком связана с Англией своей торговлей, чтобы особенно хлопотать о сохранении мира (с Францией)", - писал в той же цитированной нами депеше Эдувиль еще за полтора года до войны. Русско-английский союз был экономической необходимостью для обеих стран, притом для России более, чем Англии, - вот почему и разорвала его вторая, а не первая. Русские войска не только после Аустерлица, но и после Фридланда (2 июня 1807 года), после второй проигранной кампании, продолжали бы пытать счастье против французов, но англичане не только отказывались что бы то ни было платить, они отказались даже гарантировать русский заем в Лондоне. Видимо, там окончательно разочаровались в качестве русских штыков, да и пределы, аккуратно намеченные Питтом, были уже перейдены: русскому императору, волей-неволей, приходилось мириться.

Здесь Александру Павловичу впервые пришлось познакомиться не теоретически, а практически, на самом себе, с неудобствами абсолютизма. Война отнюдь не была его личным делом: русское дворянство, со своей стороны, принесло большие жертвы англо-русской дружбе: в два года было взято 600 тысяч рекрутов - это называлось, правда, милицией, и правительство сначала дало даже обязательство не употреблять ратников ни для чего иного, кроме обороны русской территории, но на самом деле ни один из "милиционеров" после войны не вернулся в деревню, все они пошли на укомплектование действующей армии. Жертвуя столько рабочих рук, помещики вправе были ожидать, что правительство отнесется к войне серьезно, а оно, Бог весть почему, вдруг уступило "врагу рода человеческого". Между тем, по крайней мере в Петербурге, вовсе не были еще утомлены войной. Для дворянской молодежи война представляла, кроме того, специальную выгоду: офицеры на время похода освобождались от обязанности платить долги. Война велась на чужой территории и разоряла пруссаков, а не русских (разоряла в такой степени, что пруссаки весьма откровенно говорили о предпочтительности для них французского "нашествия" перед русской "дружбой"): ни один неприятельский солдат не ступил еще ногою на русскую почву, а Россия уже сдавалась! Мотивы, повелительно диктовавшие Александру такое решение, для сколько-нибудь широких кругов были тайной: не мог же русский император объявить во всеобщее сведение, что англичане его "разочли". В глазах дворянской массы мир был доказательством слабохарактерности Александра и его неуменья вести дела. Его возвращение в Петербург из Тильзита было встречено ледяным молчанием. Его старались "не замечать", как это делают в приличном обществе с осрамившимися

молодыми людьми, и всячески избегали говорить о Тильзите, о мире, о Франции и ее "императоре" (в частных разговорах это был, конечно, по-прежнему "Буонапарте"). Представитель этого последнего (знаменитый обер-полицеймейстер Наполеона Савари) напрасно приписывал такую сдержанность страху: он на себе мог убедиться, что высшее общество Петербурга отнюдь не запугано. Уполномоченный победителя России сделал тридцать визитов и был принят только в двух домах. Два гостеприимных петербуржца - единственные притом, которые и отдали визит Савари, - были, как нарочно, из числа ближайших и раболепнейших слуг Александра Павловича. Все, что было понезависимее, бойкотировало французов без всякого страха. Правительство не решалось опубликовать тильзитский договор, и, пользуясь этим, на бирже публично говорили, что мир, может быть, вовсе еще и не заключен - так только болтают... Причины особенно нервного отношения к делу именно биржи мы сейчас увидим: пока что, отметим, что подмеченные Савари явления вовсе не были местными, петербургскими. Наоборот, чем дальше от столицы, тем разговоры становились, если так можно выразиться, безбрежнее. Проезжавший через Лифляндию французский консул Лессепс слышал там, что "противная миру партия получает с каждым днем все больше силы. Говорят, что во главе этой партии стоит вдовствующая императрица, поддерживаемая англичанами и их приверженцами; к этому прибавляют, что император Александр, опасаясь их угроз, вместо того чтобы въехать в столицу тотчас после своего отъезда из Риги, счел более благоразумным отправиться сначала в Витебск, чтобы заручиться значительной частью войска, которую можно было бы употребить в случае нужды; что в Москве брожение достигло крайних пределов, и ожидают известия о заключении вдовствующей императрицы в монастырь", и т. д. Но что было спрашивать с захолустных помещиков, когда французскому послу в Петербурге, человеку, которого уже одно официальное положение обязывало быть наибольшим оптимистом в этом случае, нет-нет да и подвертывалась под перо параллель с событием 11 марта 1801 года. "Все жалуются, но никто не недоволен настолько, чтобы нужно было бояться катастрофы, - писал в феврале 1808 года преемник Савари Коленкур которого за его дружбу с Александром Наполеон потом прозвал "русским". - Воспоминание об императоре Павле и страх перед великим князем охраняют жизнь императора лучше, нежели правила и честь русских вельмож и офицеров". Другими словами: Александра не убьют, утешал Коленкур Наполеона, потому что боятся, что его наследник, Константин Павлович, окажется копией Павла. Чего стоило одно такое утешение!

Континентальная блокада и дворянская конституция

Экономические результаты Тильзита - положение знати становится безвыходным; лондонская брошюра и разрыв Александра с "молодыми друзьями" - Значение Сперанского - интересы крупной буржуазии - континентальная блокада и развитие русского капитализма -Сперанский и франко-русский союз; разрыв последнего и катастрофа Сперанского - Объективные условия деятельности Сперанского и его идеология - проект буржуазной конституции; уступки

действительности; роль дворянства в проекте - Отношения Александра к конституционным проектам: особенности его положения в 1810 году - близость "катастрофы" - неизбежность мира со знатью, Государственный совет - Победа знати и падение Сперанского - роль Армфельта

Коленкур старался уверить себя и своего повелителя, что дело совсем несерьезно: "фрондируют, как и во всех столицах". Но у дворянской фронды 1807 - 1808 годов были очень глубокие основания. Тильзитский мир обозначал присоединение России к континентальной блокаде, объявленной берлинским декретом Наполеона (21 ноября 1806 года). Французский император не допускал в этом случае никакого нейтралитета - Россия должна была прервать всякие торговые сношения с Англией, как прямые, так и косвенные (через посредство датчан, например). "Последние меры, принятые русским правительством против англичан, произвели здесь очень сильное впечатление, - доносил Савари от 6/18 октября 1807 года. - В особенности в купеческом мире позволяют себе наиболее замечаний по этому поводу. На закрытие гаваней английским кораблям смотрят как на запрещение, наложенное на все произведения русской земли, которые Англия покупала и вывозила ежегодно в таком большом количестве; продолжение такого положения вещей представляется уже бедствием, которое прямо затронет интересы народа. Враги Франции, ловко хватающиеся за всякое оружие, которым они могут бороться с нею здесь и уменьшить влияние, которое, как они опасаются, она может оказать на общественное мнение, не упускают случая воспользоваться таким средством... Можно опасаться, что если вскоре не будут приняты какие-либо репрессивные меры, жалобы торговцев примут более серьезный характер. Г. Румянцев так думает, и только от усердия этого министра будет зависеть помешать тому, что он предвидит". Но даже начальник наполеоновской полиции понимал, что дело слишком серьезно, чтобы его можно было уладить обычной тактикой полицейского участка. Вероятнее всего, не сам, а при помощи французского консула в Петербурге Лессепса, Савари набрасывает далее довольно широкий план, легший позже в основу коммерческой политики Наполеона относительно России. "Франция имеет, может быть, больше средств, чем Россия, чтобы заставить умолкнуть жалобы русских купцов, этого разряда людей, ставящих выше всего свою личную выгоду, - продолжает он свое донесение. - Достаточно бы было распространить в публике слухи, что Франция, которая так давно не делала закупок в России, намеревается закупить лесу, пеньки, холста и пр. При настоящих обстоятельствах подобный торг был бы для нас столь же полезен в политическом отношении, сколько и выгоден: мы приобретем хорошее мнение наиболее недовольных и заставим забыть англичан, о которых будут жалеть по очень многим причинам, если мы не постараемся заменить их; выгода ж будет та, что Франция, пользуясь минутою, закупит все без конкурентов, а следовательно, и дешево". Наполеон очень заинтересовался идеей. Велено было распространить в Петербурге слух, что Франция намерена закупить на русском рынке на 20 миллионов франков материалов для своего флота. Преемнику Савари, Коленкуру, был отпущен миллион франков со специальной целью поддерживать курс русского рубля, за три года (1804 - 1807) упавший с 350 до 200 сантимов, что очень удручало русское министерство финансов. Коленкуру в его инструкции было нарочито

предписано собрать французских негоциантов, имеющихся в Петербурге, "ободрить" их и составить из них комитет, который бы занялся возрождением русско-французской торговли. Все это было очень недурно на бумаге, но действительность готовила жестокое разочарование. Во-первых, никаких французских "негоциантов" в русской столице не оказалось, кроме содержателей модных магазинов, которые не могли же заменять англичан в деле покупки железа и пеньки. Те, кто предлагал свои услуги, были, по признанию самого французского консула, личности очень сомнительные. А затем возник вопрос: что же делать с закупленными товарами? Если еще лионский бархат или брюссельские кружева выдерживали перевозку сухим путем, то от холста, а тем паче железа или пеньки ничего подобного ожидать было нельзя: привезенный на лошадях из Москвы в Париж русский холст обошелся бы дороже самого тонкого голландского полотна. Между тем, как осторожно выражался французский торговый комитет в своем докладе Коленкуру, "мореплавание, если рассматривать его в качестве помощи торговле, не представляет более удобства при перевозке съестных припасов и произведений промышленности обеих наций. Оно будет, по всей вероятности, закрыто в течение этого года более, чем когда-либо, а если сообщение прекратится, ввоз в Россию и вывоз из нее окажутся вполне невозможными, если не принять к тому некоторых мер". Эти последние, по мнению французского торгового комитета, заключались ни более ни менее, как в создании системы внутренних водяных сообщений между Невой и Вислой, с одной стороны, Вислой и Рейном - с другой... Прежде чем французы смогли бы заменить на русском рынке англичан, надо было бы вырыть с тысячу верст новых каналов, примерно. Немудрено, что в Петербурге к возне Коленкура и Лессепса относились с полным равнодушием. В то же время на Балтийское море, хотя на нем в это время не было ни одного английского военного корабля, никто не решался показать носа: так была велика уверенность всех в несокрушимости британской монополии на водную стихию. Блокада Англии на практике превращалась в такую полную и совершенную блокаду балтийских берегов, какую только можно себе вообразить. После шестимесячных хлопот положение на петербургском рынке было таково, по оценке самого французского посланника: "Курс несколько ниже 20 ходячих голландских су за бумажный рубль. Несколько месяцев спустя после Амьенского мира (т.е. в 1803 году) тот же рубль стоил 39 таких же ходячих голландских су. Отчасти курс определяется отношением серебряного рубля к бумажному. В то время как после Амьенского мира за рубль, т.е. 100 копеек серебром, получали не более 1 1/4 рубля или 125 копеек бумажных, теперь за него можно получить 14/5 рубля или 180 копеек тех же бумажных. По всей вероятности, за один серебряный рубль можно будет получить до двух рублей бумажных, как только будет объявлено о новом выпуске бумажных рублей (число которых сохраняется в строжайшей тайне в этой стране)". Приведя некоторые смягчающие обстоятельства в объяснение такой картины денежного рынка, Коленкур переходит затем к рынку товарному и дает чрезвычайно любопытную таблицу цен на главнейшие предметы русского экспорта в ноябре 1803-го и в марте 1808 года. Несколько цифр из этой таблицы дадут понять читателю о размерах кризиса, созданного в этой области Тильзитским миром.

	1803 год (по курсу 39 су за рубль)	1808 год (по курсу 20 су за рубль)
Берковец лучшего железа стоил	2 1/2 р. (82 голл. су)	2 1/4 р. (50 голл. су)
пеньки 1-го сорта	48	45
сала 1-го сорта	58	50 1/2

Таким образом, цены на железо упали на 60, а на пеньку даже на 75 %!

В то же время цены на все мануфактурные товары сильно поднялись, причем Коленкур сам не решался объяснять этого подъема падением курса рубля, как ни сильно ему хотелось этого. Утешение, которое он в этом случае мог придумать, звучит почти комически: если бы Балтийское море было свободно, говорит он, то положение торговли сделалось бы довольно сносным. Но так как именно этого-то и нельзя было ожидать, то оставалось уповать лишь на то, что торговцы в прежнее время получали хорошие барыши и теперь, на прикопленное от счастливых лет, "смогут перенести настоящее тяжелое положение". Утешение было, во всяком случае, не для русских торговцев. Но был разряд предпринимателей, на которых даже сам Коленкур не находил возможным распространить свой оптимизм, и эти наиболее несчастные были ни более ни менее как магнаты тогдашней России, железозаводчики. "Эти последние, не продававшие товара в течение последних двух лет, с целью поддержать необыкновенно высокие цены, поднятые англичанами на этот товар, теперь завалены им; когда же банк принужден был прекратить выдачу ссуд за счет этого товара, потому что их стали требовать слишком много, то последовал усиленный сбыт его со стороны Демидовых, причем 400 000 рублей наличными деньгами понизили этот товар до ничтожной цены 130 копеек или 13/10 кредитного рубля за 330 голландских фунтов...* Для знати, за весьма немногими исключениями, дело непоправимо. При своих запутанных делах, обремененные всегда долгами и находящиеся вечно под ножом ростовщиков, они еще больше будут страдать, пока продолжается война, и, следовательно, будут сетовать".

** То есть за русский берковец.*

Записка Коленкура со всею ясностью, какой только можно пожелать, намечает тот общественный класс, который должен был быть отброшен в оппозицию Тильзитским миром. Это были представители крупного землевладения, т.е. те самые старые и молодые "монаршисты", с которыми управлял Александр до 1807 года, или, вернее, которые до этого времени управляли от его имени. Не сумев предупредить катастрофы, они теперь первые от нее пострадали, но винили, конечно, не себя, а все то же козлище отпущения: самодержавного, юридически, императора, чуть ли не из каприза, и, во всяком случае, из трусости, заключившего мир. Старик Строганов был одним из первых, кто отказался впустить в свои

салоны французского посла. И уже очень скоро дело пошло гораздо дальше. В ноябре 1807 года Савари мог доносить новому союзнику Наполеона почти что о заговоре, затевавшемся "английской партией", называя прямо по именам Новосильцева, Кочубея и Строганова как его вождей. Савари, конечно, мастер был сочинять "заговоры" - такая была его профессия, но у него было в руках документальное доказательство если не злоумышления, то несомненного зложелательства недавних "молодых друзей" императора. Этим доказательством был заграничный памфлет, привезенный в Петербург английским агентом Вильсоном, и распространявшийся в петербургских гостиных не кем другим, как Новосильцевым с братией, памфлет, где не щадили тильзитского друга Наполеона, резко противопоставляя "малодушию" Александра бодрость русского общественного мнения и мужество русской армии, готовой драться до последней капли крови. Прочтя принесенную Савари брошюру, Александр был буквально вне себя. Он назвал ее "подлой", говорил, что он "топчет ногами" то, что в ней говорится по его адресу, но на самом деле он так мало ею пренебрегал, что вчерашние "молодые друзья" моментально превратились в "этих господ", а секундою дальше в "изменников". И как позже Коленкур, так Александр в разговоре с Савари ни минуты не колебался в социальной характеристике этих "изменников". Он никого не пощадил в этом на редкость откровенном для дипломатической аудиенции разговоре - ни отца, ни бабушки. "Это царствование Екатерины бросило семена неудовольствия, с которым я теперь вожусь, - говорил Александр. - Покойный император сделал еще хуже. В эти два царствования коронные имения были отданы в эксплуатацию всем этим грязным людям, которых столь прославили события того времени. При Павле давали 9 тысяч крестьян, как брильянтовый перстень. Я решительно высказался против таких приемов управления, я ничего не даю этим людям, а затем я хочу вывести народ из того состояния варварства, в которое его погружала торговля людьми*. Я скажу даже больше: если бы цивилизация была достаточно развита, я уничтожил бы это рабство, хотя бы мне это стоило головы. Вот, генерал, источник неудовольствия, - но могут говорить, что угодно, меня не заставишь перемениться, и вы скоро услышите о предупреждении, которое я сделаю этим господам". В примечании к этому месту своего донесения Савари прибавляет, что Кочубею немедленно было предложено подать в отставку, а Новосильцев "получил предписание путешествовать".

---

* *Пусть читатель вспомнит споры о продаже людей без земли в негласном комитете!*

Вот в какой связи была произнесена Александром знаменитая фраза о его желании уничтожить крепостное право, фраза, которую так часто цитировали как образчик его обычных взглядов на крестьянский вопрос. На самом деле, это было вовсе не простое "выражение мнения" - это был новый боевой лозунг, это был вызов, брошенный "грязным людям", вчерашним "молодым друзьям". Павловская демагогия возрождалась, но на этот раз в руках людей нормальных и, казалось бы, более страшных поэтому, чем погибший 11 марта 1801 года император. Александр как будто нарочно хотел подчеркнуть свой поворот на павловскую колею. Великий

полководец гатчинского войска, правая рука Павла, Аракчеев именно теперь приобретает то положение исключительно доверенного лица при Александре Павловиче, в каком привыкла его видеть история: 14 декабря 1807 года (месяц спустя после цитированной нами беседы императора с Савари) предписано было "объявляемые генералом от артиллерии графом Аракчеевым высочайшие повеления считать именными нашими указами". Телохранитель, из-за отсутствия которого, как многие думали тогда, погиб Павел, теперь безотлучно сторожил его сына. Но Александр заботился не только о своей личной безопасности - он хотел показать "грязным людям", что он может сделать. Ему был нужен не только телохранитель, а и политический секретарь, вернее (сам он этого не сознавал, конечно), политический руководитель, который занял бы место, опустевшее с изгнанием "молодых друзей". Таким явился Сперанский. Деятельность Сперанского не представляла бы никакого интереса, если бы она была отражением лишь случайной перемены взглядов Александра Павловича. Для историка эта деятельность получает смысл лишь с того момента, как удастся выяснить, интересам каких общественных групп она служила. Нужно признаться, что для выяснения этого вопроса в русской исторической литературе сделано чрезвычайно мало. Достаточно сказать, что до сих пор мы не имеем ни одной монографии, посвященной Сперанскому (о биографиях, из которых лучшая, все-таки, Корфа, несмотря на свою устарелость, не приходится говорить: их авторы научных задач себе и не ставили). Общие исторические работы по данной эпохе упорно придерживаются индивидуалистической точки зрения, и мы имеем, например, весьма тонкий анализ тех мотивов, которые определили в душе Александра I ссылку Сперанского, но никакой попытки анализировать действительный социальный смысл пресловутых указов от 3 апреля и 6 августа 1809 года, указов, которым придают такое огромное значение в истории падения Сперанского, хотя они предшествовали этому падению чуть не на три года. Лишь последний по времени историк Александра косвенно затронул вопрос о социальной подкладке проектов 1809 - 1810 годов, правда, не столько по собственной инициативе, сколько натолкнутый на это своими источниками. Но общее мировоззрение этого историка настолько убого, что большой пользы и от его попытки наука не получила. Мы узнали интересные подробности о связях Сперанского с масонством и о его надеждах на русское духовенство, но не в этом же был смысл "плана государственного образования", давшего проектам Сперанского историческое значение. Чего, однако, и можно было ожидать от ученого, искренне убежденного, что арестуй Николай Павлович вовремя Рылеева - и никакого 14 декабря вовсе бы не было? И после работы проф. Шимана - о ней идет здесь речь*, - как и после очень талантливого в своем роде труда покойного Шильдера, с полным правом можно сказать, что Сперанский ждет своего историка. Пока этот последний не пришел, приходится оперировать очень общими соображениями, правдоподобность которых едва ли, однако же, может быть поколеблена детальными исследованиями. Как все исторически крупное, планы Сперанского примыкали к весьма широким течениям, которые слишком заметны на поверхности истории, чтобы их можно было не видеть, даже рассматривая события, поневоле, с птичьего полета. Тем более, что он и сам нисколько не думал замаскировывать этой связи. Что финансы и кредит являлись становым хребтом его

проектов, об этом он говорит как нельзя более ясными словами. "Все жалуются на запутанность и смешение гражданских наших законов, - читаем мы в "Плане государственного образования", - но каким образом можно исправить и установить их без твердых законов государственных? К чему законы, распределяющие собственность между частными людьми, когда собственность сия ни в каком предположении не имеет твердого основания? К чему гражданские законы, когда скрижали их каждый день могут быть разбиты о первый камень самовластия? Жалуются на запутанность финансов. Но как устроить финансы там, где нет общего доверия, где нет публичного установления, порядка, их охраняющего? В настоящем положении нельзя даже с успехом наложить какой-нибудь налог, к исправлению финансов необходимо нужный: ибо всякая тягость народная приписывается единственно самовластию. Одно лицо государя ответствует народу за все постановления; совет же и министры всегда, во всякой мере тягостной, могут отречься от участия там, где нет публичных установлений". Итак, без "публичных установлений", без политических гарантий, нет публичного кредита, а без кредита немыслимы прочные финансы: такова основная мысль Сперанского. Возьмите теперь "Патриотическое рассуждение московского коммерсанта о внешней российской торговле", почти современное**, и вы прочтете там: "Россия сохраняла всегда и будет сохранять благоговейное повиновение велениям правительства; но доверенность есть чувство внутреннее, оно не вынуждается, но приобретается для каждого коммерсанта. Наипаче нужно то, чтобы он точно был уверен, что постановления сии были отечественны, на которых основывать должен все свои расчисления, предприятия и обороты, чтобы они были прочны и непоколебимы. Иначе, если он раз потерял от внезапного изменения сих постановлений часть своего достояния, то праведно приогорченный не может уж действовать с полною свободою; он связан, он страшится всего и ничему не доверяет; тогда исчезает и взаимная частная доверенность; упадает кредит и прерывается неразрывная цепь беглого оборота капиталов". Точки зрения секретаря Александра Павловича и представителя интересов крупной русской буржуазии той же эпохи различаются лишь постольку, поскольку различны их официальные положения: один смотрит сверху - с высоты казенного сундука, если можно так выразиться, другой снизу - оберегая выгоду частного кармана. Но оба видят одно и то же и говорят почти то же самое и даже чуть не теми же словами.

** Geschichte Russlands unter Nikolaus I (Первый том (1904) целиком посвящен царствованию Александра I)*

*** Написано в начале 20-х годов, напечатано дважды, в 6-м томе "Архива гр. Мордвиновых" и в 8-й книжке "Русского архива" за 1907 год Мы цитируем по последнему изданию В.И. Семевский приписывает его, предположительно, перу декабриста Штейнгеля (Общественное движение в России, т. 1, с 290, прим 2) Нам кажется, что Штейнгель мог бы изложить свои мысли грамотнее, судя по его мемуарам Но г. Семевский не отрицает, что записка была написана для московского купечества и по его поручению, так что для характеристики взглядов буржуазии она, и при его гипотезе, может служить.*

Крупная буржуазия - преимущественно торговая, но не менее и промышленная - была единственной общественной группой, выигравшей от франко-русского союза 1807 года. Уже через несколько месяцев после Тильзита французский представитель в Петербурге отмечал, что "крупные спекулянты", пользуясь лихорадочными скачками курса, наживают себе огромные состояния среди всеобщего разорения. С исчезновением английских купцов и за отсутствием французских, русские купцы сделались царями петербургской биржи. Не нужно забывать, что балтийская торговля при всех усилиях Наполеона не замерла: помимо контрабанды, достигшей невероятных размеров, и тем более прибыльной, процветала "нейтральная" торговля. В Кронштадт и Ригу приходили корабли под датским, голландским, иногда даже прямо французским флагом, и французский посол, покидая сферу высшей политики, должен был предаваться весьма мещанскому занятию, с помощью сыщиков и доносов изобличая перед русскими властями французского капитана из Бордо в провозе товаров несомненно манчестерского происхождения. Французский патриотизм перед лицом торгового барыша оказывался столь же мало устойчивым, как и всякий другой. Зато большими патриотами оказывались (по той же самой причине) русские мануфактуристы. Историк русского хозяйства никогда не забудет, что расцвет русского бумагопрядильного производства был создан именно Тильзитским миром в 1808 году основана первая русская - частная - бумагопрядильня, а в 1812 году в одной Москве их было 11. Исчезнувшую на рынке английскую пряжу сменила русская. Десять лет спустя "благонамеренный и опытный российский коммерсант" воодушевлялся почти до ораторского пафоса, вспоминая об этом времени. "Не только многие богатые коммерсанты и дворяне, но из разного состояния люди приступили к устройству фабрик и заводов разного рода, не щадя капиталов и даже входя в долги, - говорит уже цитированное нами "патриотическое рассуждение". - Все оживилось внутри государства и везде водворилась особенная деятельность". Даже 1812 год, когда, между прочим, сгорели все московские фабрики, не надолго прервал этот золотой век. Официальные союзники России в дни Отечественной войны, англичане, были тогда главными врагами в глазах российского купечества, курьезным образом совершенно сливаясь в этих глазах с фигурою их антагониста, императора Наполеона. "Завистливое око иностранцев предвидело весьма ясно, что должно ожидать от России, если она не будет иметь нужды ни в чьей помощи. Чтобы двигать страшными своими ополчениями (имеется в виду, конечно, Наполеон), она чрез агентов своих тогда же постаралась рассеять слух, что по политическим сношениям вскоре разрешится паки ввоз в Россию их изделий (т.е., конечно, английских изделий) и тем приостановили многих из российских купцов, кои готовились распространить полезные мануфактурные изделия". Но ни англо-наполеоновские козни, ни пожар Москвы не помогли врагам российского капитализма, пока были в силе протекционные тарифы 1810 и 1816 года. "Звонкая монета явилась повсюду в обороте, земледельцы даже нуждались в ассигнациях; в московских же рядах видны были груды золота; фабрики суконные до того возвысились, что китайцы не отказывались брать русское сукно, и кяхтинские торговцы могли обходиться без выписки иностранных сукон. Ситцы и нанка стали не уступать отделкою уже английским; сахар, фарфор, бронза, бумага, сургуч доведены едва ли не до совершенства. Шляпы давно уже стали требовать даже за

границу. При таком усовершенствовании русских фабрик в Англии едва ли не доходили до возмущения от того, что рабочему народу нечего было делать". Но чего не смогли ни пушки Наполеона, ни английские интриги, то одним почерком пера осуществил фритредерский тариф 1819 года - дата, в воспоминаниях нашего автора гораздо более роковая, нежели "двенадцатый год". "Тарифом 1819 года объявлено всеобщее разрешение ввоза иностранных товаров. Российское купечество с сокрушением прочло в одном из отечественных журналов, что в Лондоне по сему случаю даны были многие празднества, британские фабрики, перед тем остановившиеся, пришли в движение, и рабочий народ получил занятие на счет России. Вскоре наводнилось отечество наше отовсюду необъятным множеством разных иностранных изделий, между тем как наше железо лежало на бирже без хода, и последовало из того явное преизбыточество ввоза перед отпуском отечественных товаров, вознаграждение оного звонкою монетою вывело ее всю за границу".

В Западной Европе были целые страны, индустриальному развитию которых континентальная блокада дала сильный толчок: к их числу принадлежали Саксония и Северная Италия. В России нашлась, по крайней мере, группа населения, среди которой русско-французский союз не был непопулярен. Но Сперанский стал у власти именно как сторонник этого союза. "Г. Сперанский (M. de Speransky), секретарь императора, которого ваше величество видели в Эрфурте, только что назначен товарищем министра юстиции, - доносил Наполеону Коленкур от 2/15 января 1809 года. - Помимо того, что он вообще пользуется превосходной репутацией, он один из тех, кто выказывает наиболее преданности настоящей системе, которой другие подчиняются больше по наружности, чем на самом деле - только, чтобы понравиться государю, который продолжает казаться горячим ее сторонником". Естественно, что Наполеон заинтересовался такой редкостью и не забыл Сперанского, хотя никак не мог запомнить его имени: в 1812 году, при разговоре с Балашовым, французский император не без настойчивости допытывался у последнего, за что именно постигла опала бывшего секретаря Александра I. Положение Балашова было очень пикантное, ибо он как раз и был главным действующим лицом при этой опале, но, если верить его словам, он сумел отделаться общими фразами. Что разрыв союза и падение Сперанского оказались так тесно связанными между собою, это лежало, таким образом, в существе дела, а отнюдь не было только результатом провокаторских расчетов тех или того, кто сослал Сперанского1. Для тех, кому Тильзитский мир казался источником всех бедствий России, т. е. для всей "знати", для всего крупного землевладения, Сперанский был действительно изменником, а когда логика истории заставила Александра стать на точку зрения этих людей, Сперанский стал изменником и для него. Как с одной стороны нет надобности подозревать сознательную клевету, так с другой - дело вполне понятно и без предположения о сознательном предательстве Перемена взглядов тем легче могла здесь принять форму личного столкновения, что Сперанский в разговорах с Александром Павловичем не думал скрывать своего преклонения перед Наполеоном и Францией даже тогда, когда не могло уже быть сомнения, что ни о какой русско-французской дружбе больше нет речи. Их последняя беседа, по-видимому, определившая окончательно судьбу Сперанского, в том и состояла, что император высказывал намерение лично вести войну против

французов, а его секретарь, не обинуясь, утверждал, что затевать борьбу с последними - совершенная бессмыслица, что на поле битвы Александр Павлович не может тягаться с Наполеоном, и что если уже он так хочет вести эту войну, пусть раньше, по крайней мере, спросит мнение об этом народа, созвав Государственную думу. Тут-то Александр, по его словам, и убедился вполне в "измене" Сперанского**. Все это, до сих пор "человеческое, слишком человеческое", и могло бы случиться у всякого государя со всяким министром. Своеобразную индивидуальность в этот эпизод, чтобы уже не возвращаться к нему более, вносят лишь долгие дружеские беседы за чашкой чая императора всероссийского с такой, уж без всякого сомнения, "грязной" личностью, как шеф его тайной полиции. Хотелось бы верить, что и эти рассказы де Санглена такое же хвастовство, как и то, что он повествует о своем необыкновенном благородстве, посрамлявшем Армфельда, Балашова и других приближенных Александра. Но, к сожалению, известия из других источников, уже гораздо более надежных, подтверждают, что Александр Павлович любил полицейские мелочи не меньше военных, и в слежке за своими врагами обнаруживал не меньше рвения, чем в "равнении носка" своих гвардейцев. Вскоре после 11 марта 1801 года,, когда у него произошел разрыв с Паниным, "император, - рассказывает Чарторыйский, - ежедневно по нескольку раз получал донесения тайной полиции, подробно рассказывавшие, что делал Панин с утра до вечера, где он бывал, с кем останавливался на улице, сколько часов он провел в том или другом доме, кто был у него и, по мере возможности, что он говорил. Эти донесения, читавшиеся в негласном комитете (!), были изложены загадочным стилем, свойственным тайной полиции, которым так ловко пользуются ее агенты, чтобы сделать себя необходимыми и придать интерес самым незначительным своим рапортам. В сущности они не заключали в себе ничего, достойного внимания, но император чрезвычайно беспокоился и мучился даже от присутствия графа Панина, постоянно предполагая заговор с его стороны". Александр не забывал 11 марта ни в один момент своей жизни, а перед двенадцатым годом опасность была к нему ближе, чем когда бы то ни было. То, что его секретарь, как он знал, принадлежит к масонам, давало достаточную почву для мнительности этого рода. Александр боялся масонов. По его настоянию де Санглен вступил в одну из лож и сделался в ней вице-председателем: за эту ложу можно было, очевидно, ручаться, но добраться до той масонской организации, в которую входил Сперанский, шпион Александра не сумел. Сперанский занимался там, по-видимому, делами весьма невинными - подготовлял нечто вроде нравственного возрождения русского духовенства, рассчитывая, кажется, в нем найти проводника и для своих политических идей. Никаких следов заговора во всей этой, очень безобидной, возне нельзя подметить, но мог ли этому поверить Александр Павлович, не веривший ни одному из своих приближенных (на этот счет он выражался перед де Сангленом вполне определенно, и его нельзя было не понять)? Сперанский крайне неприятен, Сперанский ненадежен, Сперанский опасен - таковы были три совершенно последовательные этапа, которые прошла мысль Александра в данном случае. Итог был - Сперанского нужно расстрелять. Тут явился "светский человек" и европеец, профессор Паррот - разговор с ним был струей свежего воздуха, ворвавшейся в смрадную атмосферу истинно павловского настроения. Александр понял, в какое

положение поставит его казнь Сперанского перед теми, кого он, до известной степени, уважал: вместо казни ограничились ссылкой.

---

* *Такова, как известно, точка зрения Шильдера, неосторожно подчинившегося здесь взглядам де Санглена, начальника тайной полиции Александра на записках де Санглена основаны, главным образом, все рассказы о событии 17 марта 1812 года.*

** *Рассказ императора об этом передает де Санглен, конечно, в очень упрощенном виде, многого просто не поняв; ему, например, послышалось, что Сперанский советовал Александру созвать "боярскую думу"!*

Все это были, как видит читатель, детали, была "обстановка". Суть дела была прямо во внешней политике - дружба или, напротив, разрыв с Наполеоном, а косвенно, в экономических отношениях. Спор шел между промышленным и аграрным капитализмом: первому континентальная блокада была на руку, для второго в ней заключалась гибель. Сперанский был на стороне первого; чрезвычайно характерно в этом случае то, что он говорит, как бы мимоходом, в своем "Плане" по поводу функций отдельных министерств. "Главным предметом" Министерства внутренних дел для него является "промышленность": "Министр внутренних дел должен управлять мануфактурами по их уставу". То, что в наши дни стало Министерством полиции по преимуществу, для Сперанского было чем-то вроде повторения петровской берг- и мануфактур-коллегии, но с несравненно более обширным районом полномочий. "Сверх сих трех существенных частей (земледелия, фабрик и торговли) есть другие предметы, кои хотя сами по себе и не составляют промышленности, но принадлежат к ней или, как средства, коими движения ее совершаются - таковы суть почты и пути сообщения, или как естественные последствия труда и усовершенствования физических способностей - такова есть вообще часть учебная. Посему в естественном разделении дел и сии предметы не могут ни к какому департаменту приличнее относиться, как к Министерству внутренних дел". Наука, коммерция и промышленность у Сперанского всегда рядом: "Какое, впрочем, противоречие: желать наук, коммерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий; желать, чтобы разум был свободен, а воля в цепях... чтобы народ обогащался и не пользовался бы лучшим плодом своего обогащения - свободою. Нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться". Политическая свобода России для него вытекала, таким образом, логически из ее промышленного развития. Его понимание этого последнего было чистобуржуазное: свободный юридически, работник представлялся ему единственно мыслимой базой "промышленности". "Никто не обязан отправлять вещественной службы, платить податей и повинностей иначе, как по закону или по условию, а не по произволу другого". Поскольку речь шла об обрабатывающей промышленности, проекты Сперанского и здесь имели под собою вполне прочное экономическое основание. Мы видели, что фабрика второй половины XVIII века держалась почти исключительно на подневольном труде. По отношению к старым отраслям производства, железоделательным заводам и суконным фабрикам, например, дело и теперь было в прежнем положении, но текстильная промышленность нового типа, - бумагопрядильные и бумаготкацкие

мануфактуры, - почти не имела крепостных рабочих, благодаря чему к 1825 году из 210 568 человек всех рабочих, занятых на русских фабриках и заводах, 114 575 человек, т.е. более половины, были вольнонаемными. Но эти же цифры показывают, какую роль вообще мог играть промышленный капитал: что значили сто или даже двести тысяч фабричных рядом с девятью миллионами душ крепостных крестьян, занятых почти исключительно земледельческим трудом? А в этой последней области общественное мнение помещиков было, безусловно, на стороне барщинного хозяйства. Цитированная нами в своем месте* записка Швиткова как раз современница "Плана государственного образования" - оба относятся к одному и тому же 1809 году. Включенный в этот "План" проект юридического раскрепощения крестьян подошел бы, может быть, крупной знати - главным антагонистам Сперанского по всем остальным вопросам: вся масса среднего дворянства в этом капитальном пункте была бы против него; между тем без содействия этой дворянской массы неосуществима была политическая часть "Плана", которая лично для Сперанского была, нет сомнения, дороже всего. "План" стоял или падал, в зависимости от того, пожелало бы поддержать его большинство помещиков или нет**.

** Русская история, т. 4.*

*** Отчасти понимая это, Сперанский и не выдвигал освобождения крестьян в первую линию, мало того, даже подчеркивал, что "меры", направленные к этой цели, "должны быть постепенны". Но оно логически вытекало из постановки им вопроса о "личной свободе", "существо" которой сводилось им к двум положениям: "1) без суда никто не может быть наказан, 2) никто не обязан отправлять личную службу иначе, как по закону, а не по произволу другого". "Первое из сих положений, - признается он сам в примечании, - дает крепостным людям право суда и, отъемля их у помещиков, ставит их наравне со всеми перед законом".*

В самом деле, логически развитие "промышленности", конечно, должно было привести буржуазию к сознанию необходимости политической свободы. Но индивидуальная логика работает гораздо быстрее исторической: с тех пор как писал Сперанский, прошло более ста лет, а большинство российских "мануфактуристов и коммерсантов" не обнаружило склонности к политической свободе. На первых же порах класс предпринимателей вполне был бы доволен устранением самых грубых форм произвола да возможностью подавать свой голос, хотя бы совещательный, в вопросах, которые непосредственно задевали его интересы. "Благонамеренный и опытный российский коммерсант", автор цитированной нами записки, был, несомненно, одним из самых передовых людей своего класса и своего времени: но по части "конституции" он не идет дальше предложения "учредить мануфактурный совет", который мог бы "предстательствовать перед правительством о тех распоряжениях и пособиях, какие по усмотрению совета для поощрения промышленности вообще или для пособия какой-либо фабрике или мануфактуре в особенности будут необходимы". В самом деле, до мечтаний ли о политической власти было людям, для которых гражданское равноправие было еще мечтой! "Совершенному развитию

коммерческого духа и способностей россиян есть преграда, которая пребудет непреодолима, доколе продолжится ее существование, - читаем мы у того же автора. - Преграда сия состоит в недостатках, какие сокрываются в нашей гражданственности и в самых коммерческих правах... Таковы наши гражданские законы, что все права, облагораживающие некоторым образом купца, приписаны его капиталу, а не особе гражданина, чему едва ли где-либо есть из благоучрежденных государств пример. Скажут, что личность и собственность каждого мещанина довольно ограждена городовым положением. На это можно отвечать, что о силе и пользе государственных узаконений не по тому должно судить, как они написаны, а по тому, как исполняются и какое действие вообще производят. Если внимательнее взглянуть на настоящее положение наших мещан, то оно ближе подходит к положению жидов в Германии*. Известно, что сих последних утесняют так, как безотечественных, оскорбляют несказанно и презирают как бы по долгу и между тем их укоряют, что они не имеют понятия о честолюбии и все обманщики, мошенники и плуты". При таком положении вещей российскому купечеству была нужна не столько конституция, сколько упорядоченный суд и некоторое самоуправление, и когда полвека спустя то и другое было дано буржуазными реформами Александра II, этого оказалось достаточно, чтобы на целое поколение сделать русскую буржуазию одним из оплотов старого порядка. Проекты старшего современника Сперанского, адмирала Мордвинова, гораздо больше отвечали насущным потребностям тогдашней буржуазии, нежели "План государственного образования"**. У Мордвинова мы находим в зародыше большую часть "великих реформ" 60-х годов: и освобождение крестьян за выкуп, причем Мордвинов не находил нужным лицемерить, говоря прямо о выкупе личности, и гласный суд, и отмену откупов, и даже срочную воинскую повинность взамен рекрутчины. И если даже эти проекты не вызвали сколько-нибудь заметного движения буржуазии на их защиту, можно себе представить, насколько она могла быть надежной опорой для несравненно более широких планов Сперанского!

** Напоминаем читателю, что это писано в 20-х годах XIX века.*

*** Об этих проектах см. брошюру г. Гневушева "Политико-экономические взгляды гр. Н.С. Мордвинова" (Киев, 1904).*

Между тем эти планы вовсе не были академической работой. Сперанский серьезно рассчитывал на осуществление своих проектов, Александр серьезно об этой думал - их противники не менее серьезно опасались введения в России конституции. Последнее доказывается лучше всего другого знаменитой запиской Карамзина, недаром доставленной Александру (его сестрой Екатериной Павловной, игравшей в то время, по общему мнению, крупную политическую роль в высших придворных сферах, притом отнюдь не на стороне той "системы", поклонником которой был Сперанский*. При очевидной политической слабости того класса, которому одному "система" была выгодна, что "е заставляло верить в серьезность всего плана? Традиция выднигает здесь, обычно, классический "либерализм" Александра Павловича в первую половину его царствования. Что Александр в деле снискания себе популярности - преимущественно в Европе, а не в

России - при помощи либеральных фраз успешно шел по стопам своей бабушки Екатерины II, это не подлежит сомнению. Но цену "либерализму" их обоих знали уже современники. Мы видели, в своем месте, какими чертами охарактеризовал режим корреспондентки Вольтера в своей предсмертной записке князь Щербатов. А о "либеральных убеждениях" ее внука вот что говорит один из ближайших его друзей, не раз уже цитированный нами Чарторыйский: "Император любил внешние формы свободы, как любят театральные представления; ему доставляло удовольствие видеть вокруг себя обстановку свободного государства - это, притом, льстило его тщеславию; но ему нужны были только формы и обстановка, а не то, что им соответствовало в действительности; словом, он охотно согласился бы, чтобы весь мир был свободен, но под условием, чтобы весь мир с готовностью исполнял его волю". Чарторыйский говорит это по поводу случая, когда сенат вздумал на практике воспользоваться (в первый и последний раз!) дарованным ему в 1802 году правом - делать государю "представления". Но сенату не один Александр придавал только декоративное значение. В приложениях к тем же мемуарам Чарторыйского помещено письмо императора по поводу уже настоящей конституции, к которой, по-видимому, он относился вполне серьезно: только что даровав Польше политическую свободу, Александр в этом письме больше всего, можно сказать, исключительно, заботится о том, чтобы ход управления и реформы, которые предполагается ввести, были согласны с его, Александра, точкой зрения. Чтобы достигнуть этой цели, Чарторыйский должен был, при надобности, "проявить инициативу, для того чтобы ускорить результаты и представить проекты, согласные с принятой системой", т.е. опять-таки согласные, прежде всего, с желаниями Александра Павловича. Когда обнаружилось, что конституционные формы мешают свободному проявлению этих желаний, формы без церемонии выкидывались за борт. "Я не могу умолчать о чрезвычайно существенном нарушении конституции, - писал Чарторыйский императору два года спустя - указы вашего величества опубликовываются без контрассигнирования их кем-либо из министров, что противоречит конституции и органическим статутам... Таким способом, государь, уничтожается всякая ответственность за самые серьезные акты правительства". В результате, познакомившись с тем, как своеобразно новый польский король понимал "свободные учреждения", поляки чувствовали себя очень мало удовлетворенными. "Я нашел в Польше чрезвычайную неуверенность во всем и полную обескураженность, - доносил Чарторыйский еще два года спустя, вернувшись из продолжительной заграничной поездки. - Все кажется поставленным под вопрос; нет учреждения, в котором бы не сомневались; нет печальной перемены, которой бы не предсказывали для страны. Такое положение вещей пагубно. Низшие расчеты и личные интересы берут верх, благородные чувства подавлены; среди высших и низших чиновников люди слабые и неустойчивые, считая общее дело потерянным, убеждены, что они могут ни о чем не заботиться, кроме их собственной выгоды".

---

* *Посторонним, притом заинтересованным, наблюдателям, вроде Коленкура, казалось даже, что великая княгиня не прочь повторить историю ее знаменитой тезки. Она "ласкала старорусскую партию, переписывалась с выдающимися генералами" и т.д., - словом, как будто "подготовляла издалека большие*

события". Коленкур только дивился - чего же смотрит император? Для него, как и для всех, совершенной тайной были действительные отношения между Александром и его сестрой, вскрытые только недавно опубликованной их перепиской...

Нет сомненья, что в конституционной России Александр стеснялся бы еще менее, нежели в конституционной Польше. Когда Сперанский в своем знаменитом оправдательном письме к императору (из Перми) уверял, что план русской конституции вышел "из стократных, может быть, разговоров и рассуждений вашего величества", он был прав формально: поговорить на либеральные темы Александр очень любил. Но по существу Сперанский знал, конечно, не хуже других, чего стоят эти "разговоры и рассуждения". Почему ему в 1809 году казалось, что Александра можно, что называется, поймать на слове? Почему другие стали опасаться, что из невинных "разговоров и рассуждений" на этот раз может что-то выйти? Ответ можно, найти только в том, что мы знаем об общественном настроении тех именно месяцев, когда вырабатывался "План". В это время ко всем плодам тильзитского союза прибавился еще один, некрупный, но особенно горький: России приходилось воевать в союзе с Наполеоном против Австрии, самой феодальной из держав Западной Европы, теперь, после того как прусскому феодализму нанесли тяжелый удар реформы Штейна. Венская аристократия была связана чрезвычайно тесными узами дружбы, отчасти даже родства, с петербургской. "Грязным людям" начинавшаяся война должна была казаться прямо братоубийственной. "Все слишком возбуждены, слишком ожесточены против императора и графа Румянцева (канцлера) все из-за той же системы", - писал Коленкур в июне 1809 года. Придворный двух императоров, обязанный сразу и успокаивать своего французского повелителя, понемногу приближавшегося к краю бездны, смутно сознававшего это и нервничавшего, и не "выдавать" своего русского коронованного друга, Коленкур старался иногда обратить дело в шутку. Но какой это был "виселичный юмор"! В Петербурге теперь "безо всякой злобы, - писал он около того же времени, - говорят в ином доме о том, что нужно убить императора, - как говорили бы о дожде или о хорошей погоде". Но к середине лета это наигранное благодушие не выдержало, и 4 июля Коленкур доносил уже без всяких шуток: "Никогда общество не было еще столь разнуздано: это объясняется новостями из коммерческого мира и ожидаемым появлением будто бы англичан. О катастрофе говорят громче, чем когда бы то ни было". Император не очень этим обеспокоен, спешит он прибавить, предупреждая готовую родиться в голове Наполеона мысль об "измене" Александра: "Эти люди слишком много болтают, чтобы быть опасными"*. Но перед 11 марта 1801 года болтали не менее... "Грязные люди" на самом деле становились все опаснее. На кого опереться? Исконный антагонизм высшей знати и массы провинциальных помещиков, так сказавшийся в цитированной нами выше речи Строганова, антагонизм, в сущности, совсем не глубокий и не серьезный, давал, казалось, последний якорь спасения. Против "крамольников" из потомков Рюрика, Гедимина и екатерининских фаворитов можно было воззвать к верноподданному сельскому сквайру. "Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, - читаем мы в "Плане", - но не иначе, как на основании собственности", - добавил верный своей юридической

логике Сперанский: добавка невинная, потому что безземельные дворяне и раньше голоса не имели. "Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству. Оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего состояния". Соглашались даже удовлетворить давнее требование, обойденное Екатериной II, - закрыть дверь в благородное сословие перед служилыми разночинцами. "Личное дворянство не превращается в потомственное одним совершением службы; к сему потребны особенные заслуги, по уважению которых императорскою властию в течение службы или по окончании ее даруется потомственное дворянство и удостоверяется особенным дипломом".

** Все цитаты из донесений Коленкура - по изданию вел. кн. Николая Михайловича "Дипломатические сношения России и Франции". (СПб., 1905 - 1906, 4 тома).*

Эксперимент был не лишен интереса. При столкновении с жизнью от буржуазной схемы Сперанского осталось бы, вероятно, не очень много, но кое-какие точки опоры в дворянской массе правительство могло бы найти. Декабристы не с неба свалились, а вышли из этой массы, и если пятнадцать лет спустя общественного возбуждения хватило для революционной вспышки, в 1810 году его, вероятно, нашлось бы уже достаточно для мирной демонстрации, вроде екатерининской комиссии 1767 года. Но основание, на котором строил Сперанский, было слишком зыбкое. Этим основанием, в сущности, был страх Александра Павловича перед "катастрофой". Этот страх пока боролся еще с чувством собственного достоинства: еще в апреле 1809 года Сперанскому было позволено довольно болезненно уколоть "грязных людей", лишив служебных преимуществ придворные звания. Это не была антидворянская мера, как часто думают: дети пензенского или тамбовского помещика мало имели шансов сделать карьеру при дворе. Указ от 3 апреля бил по молодежи из тех домов, где говорили об убийстве Александра, "как говорят о дожде или хорошей погоде". Даже еще в августе этого года "буржуазное" направление одержало некоторую победу: указ от 6 августа поставил производство в высшие гражданские чины в зависимость от образовательного ценза. Интересы дворянства прямо этот указ задевал еще менее: дворяне служили либо по выборам, либо в военной службе, а ни того, ни другого указ не касался. Но он упрочивал служебное положение семинаристов, в тогдашней России самой образованной части чиновничества, ибо университет давал пока ничтожное количество подготовленных специалистов, да и среди студентов лучшими были опять-таки бывшие воспитанники духовных семинарий. Дворянство с трудом переносило и одного Сперанского, а тут собирались устроить целый рассадник Сперанских! Мера не могла быть популярной, но, конечно, смешно было бы ставить исход всего дела в зависимость от подобных мелочей. Поворот политики сказался, когда дошло до осуществления "Плана". Согласно последнему, участие в законодательстве с императором должна была делить Государственная дума из депутатов, избранных путем четырехстепенных выборов от всех землевладельцев (размеры ценза Сперанским не были точно установлены). Пределы компетенции этого собрания были очерчены "Планом" довольно тесно: оно было лишено законодательной инициативы, его председатель должен был утверждаться императором, а секретарь был и прямо из чиновников. Видимо, дворянам, которые должны были дать 9/10

всех депутатов, не очень доверяли. Но, тем не менее, дума должна была представлять собою среднее дворянство и отчасти буржуазию: те, чья компетенция до сих пор шла не дальше местных дел, теперь призывались для решения вопросов общегосударственных. Чрезвычайно характерно, что именно эта относительная демократизация центрального управления и не прошла. Вместо думы ограничились открытием 1 января 1810 года Государственного совета. Он был и в схеме Сперанского, но здесь это была чисто чиновничья коллегия, непосредственно содействовавшая императору в текущем управлении, - нечто вроде расширенного государева кабинета. История, не без содействия Александра Павловича, сделала из него нечто совершенно иное. На этот счет мы имеем свидетельство исключительной ценности: подлинные слова самого императора, под свежим впечатлением записанные Коленкуром. С чувством большого удовлетворения рассказывая последнему, как ему удалось провести через совет на 60 миллионов новых налогов (мы помним, что финансовые затруднения были исходной точкой всех проектов), Александр добавил: "Я мог бы просто приказать, но я достиг того же результата, а в то же время все умы во всей империи отнесутся к этой мере с большим доверием, когда увидят вместе с указом мнение совета, скрепленное подписями его членов, принадлежащих всей империи, из которых некоторые даже прямо происходят от старинных московских бояр (dont quelques-uns meme tiennent directement aux vieux Russes de Moscou)". То, что для Сперанского было орудием царской власти, для Александра было моральной силой, на которую эта власть пробовала опереться. Еще не высохли чернила, которыми был написан проект, расстворявший привилегии "старых московских русских" в правах всей дворянской массы, а уже Александр гордился, что "старые русские" не отказали ему в поддержке. Ролью органа общественного мнения, которую играл совет в глазах Александра, объясняется и та странная парламентская декорация, среди которой выступает это учреждение в "Образовании" 1810 года. "Старых русских" нужно было почтить. Но "общественное мнение", говорившее устами нового учреждения, - это было мнение все той же "знати", которая раньше дала "молодых друзей", позже превратившихся в "грязных людей". В разговоре с Коленкуром Александр наивно признавался в своей капитуляции перед этими последними. Государственный совет, который, по мысли Сперанского, должен был стать первым камнем нового государственного здания, на самом деле оказался надгробным памятником "Плана государственного образования". Для капитуляции было слишком много времени. Те же донесения Коленкура достаточно показывают, что только человек исключительного мужества смог бы удержаться против той бури, которая грозила Александру к концу 1809 года. Уже самый факт австрийской войны был, как мы знаем, невыносимо тягостен высшему дворянству. Каково же было ему узнать, что ее ближайшим результатом будет восстановление той самой Польши, которую разрушила екатерининская Россия! Галиция, отнятая у Австрии не без содействия хотя, нужно признаться, крайне слабого русских штыков, должна была пойти на усиление герцогства Варшавского, вот-вот готового превратиться в польское королевство. В это время "не было уже больше никакой меры в отзывах об императоре Александре; об его убийстве говорили громко... За все время своего пребывания в Петербурге я не видал умов в таком волнении, - прибавляет Коленкур. - Все окружающие государя, даже наиболее ему преданные,

перепуганы". Александр умел сохранить наружность спокойного человека. Но до Коленкура же доходили слухи, что поездка царя в Москву (в декабре 1809 года) предпринята не без задней мысли - позондировать мнение того класса общества, который Коленкур называет noblesse, под каковым названием не приходится разуметь, конечно, Коробочек и Собакевичей: Москва издавна была гнездом оппозиционной знати. Прием, встреченный Александром со стороны этой последней, чрезвычайно ободрил императора: черт вблизи оказался не так страшен, как представляли себе в Петербурге, а главное, Александр стал находить, что черт рассуждает довольно здраво. В разговоре с Коленкуром, под свежим впечатлением поездки, Александр впервые, очень осторожно и с массой оговорок, высказал свои сомнения в правильности "системы", усвоенной им после Тильзита. "Так думают в Москве, - прибавил он, - эти люди не совсем не правы в своей оценке вашего внутреннего положения - и моего, на тот случай, если бы императора (Наполеона) постигло какое-нибудь несчастие". Еще в начале года со "знатью" шла беспощадная война. В середине года стало ясно, что война может обойтись дороже, чем кто-либо ожидал, а в конце его оказывалось, что столковаться с "грязными людьми" не невозможно. Это, во всяком случае, было проще, чем предпринимать конституционные эксперименты. Притом для последних и времени уже не оставалось. Читатель очень ошибся бы, если бы отнес происшедший переворот исключительно на счет перемены настроения Александра Павловича. Это последнее само было производным моментом - в основе лежали условия более элементарные. Еще в июле, говоря с Коленкуром, Александр так охарактеризовал итоги русско-французского союза, вынудившего Россию воевать сначала с Англией, а потом с Австрией: в первой из этих войн "его (Александра) торговля уничтожена, ее учреждения сожжены, порты и берега находятся под угрозой неприятельского нашествия, страна, богатая только продуктами, которых ей некуда вывозить, затронута в самых источниках своего благосостояния. Вторая стоит огромных денег, так как приходится содержать войско за границей на звонкую монету, в такой момент, когда курс чрезвычайно невыгоден для России..." Для покрытия военных издержек, а также для того, чтобы поддержать курс, в сентябре пришлось заключить заем из 8%. Так дальше жить было нельзя.

Год спустя, к концу 1810-го, "система", в сущности, уже рухнула. Тарифом 18/31 декабря 1810 года была объявлена таможенная война Франции, в то время как английская контрабанда стала терпеться почти открыто. И не случайно к этому же самому времени относится знаменитая переписка Александра с Чарторыйским, так долго лежавшая под спудом, и недаром, ибо после се опубликования совершенно невозможно говорить о "нашествии" Наполеона на Россию в 1811 году. Письма Александра не оставляют ни малейшего сомнения, что Россия готова была напасть на Францию уже в декабре 1810 года; император подробно перечисляет силы, которыми он думал располагать для этой цели, делая только небольшую ошибку: 50 тысяч поляков, которых он считал на своей стороне, на самом деле оказались на стороне Наполеона, отказавшись принять данайский дар - конституцию, которую гарантировал Александр Польскому королевству, возрожденному при помощи русского оружия. В 1815 году Александр только осуществил это свое старое обещание. Отказ поляков изменить Наполеону в 1810 году сорвал весь план: имея Польшу против себя, Александр не решился на наступательную кампанию, а

пруссаки не соглашались присоединиться к русским иначе, как под условием, чтобы те шли вперед. Наполеон, вовремя предупрежденный, получил полтора года на подготовку своего "нашествия", по существу являвшегося актом необходимой самообороны. Россия воспользовалась отсрочкой гораздо хуже. Кампании 1813 - 1814 годов показали, что с помощью английских субсидий Александр имел полную возможность мобилизовать те же 400 тысяч человек, которые перешли Неман с Наполеоном в июне 1812 года, и остановить этим французов по ту сторону Двины и Днепра, если даже не перейти в наступление. Пожар Москвы и разорение Средней России были бы этим предупреждены. Но знать, очутившись снова в седле, была занята не этим: ей нужно было расправиться со своим "внутренним врагом", воплотившимся в секретаре Александра Павловича. Мы уже видели те субъективные условия, которые определили перемену в отношениях императора к Сперанскому. Объективно падение последнего было совершенно необходимой составной частью падения "системы", выдвинувшей Сперанского на первое место. Нельзя не прибавить подробности: одним из ближайших виновников события 17 марта 1812 года был человек, воплощавший в себе политическое мировоззрение знати в максимальной степени. То был шведский эмигрант граф Армфельт. Его принято рассматривать обыкновенно с одной из двух точек зрения: или как горячего финляндского патриота, или как одного из величайших интриганов своего времени. Он был, как это ни странно, и тем, и другим одновременно: двусмысленное положение финляндского дворянства тех дней, шведского по культуре и исторической традиции, но тянувшегося к России во имя политического расчета, выдвигало на первое место такие двусмысленные фигуры. Но у этой сложной личности была и еще одна сторона, хорошо освещенная в записках декабриста Волконского. "Армфельт, - рассказывает Волконский, - взойдя в тайную связь с неприятелями Сперанского в высших слоях государственного управления, старался иметь опору и в молодежи (т.е. в гвардейском офицерстве, к которому принадлежал автор записок, тогда флигель-адъютант Александра Павловича). Я очень хорошо помню, как при встречах в общественном кругу с молодежью он старался с нами сближаться, и разговор его всегда клонился к тому, чтобы высказывать нам, что аристократия должна faire- faisceau (тесно сплотиться), что аристократия должна и может иметь вес в государственном управлении, что выскочки из демократического строя, вышедшие в люди, прямые враги значения аристократии, что, составляя целое, аристократия получит значение, и этими суждениями возбуждал нас на дело, сходное с его намерениями... Какие были дальние намерения Армфельта, положительно не могу высказать, но из мною слышанного полагаю, что цель его не была только смещение Сперанского... А перебирая в памяти его беседы с нами, выказываемое им желание сблизиться с нами и иметь в нас опору, я невольно полагаю, что его замыслы были: устроить в России образ правления на аристократических началах".

Таким образом, не только разрушение "Плана государственного образования", но и сам эпизод ссылки Сперанского не лишен был принципиальной основы - и выводить этот эпизод исключительно из личных отношений императора и его секретаря было бы не исторично. Напротив, как финал, чрезвычайно характерна эта дуэль старого аристократического монархшизма, нашедшего себе выразителя в шведском графе, и начал буржуазной конституции, представителем которой явился

русский тайный советник из семинаристов. Но Армфельт со своими проектами оказался чересчур европейцем: его русские односословники, сломив упрямство своего государя, вовсе не чувствовали настоятельной потребности в организации у нас "правления на аристократических началах". И по пословице "При ссоре двух радуется третий" - от первого столкновения аристократии с демократией на русской почве выигрыш достался третьей силе, двумя борющимися не предусмотренной. И Сперанский, и Армфельт пали - остался Аракчеев.

Впервые опубликовано: Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен до смутного времени, М., 1896-1899.